9

1966

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ГРЭХЕМ ГРИН — Комедианты 7

ПОВЕСТИ

ФЕРЕНЦ ПАПП — Под корнями 116

СТИХИ

ДАН ДЕШЛИУ — Ленин. О разном. Повседневные чудеса 3

ПЕСНИ, ВЫРВАВШИЕСЯ ИЗ АДА (Стихи поэтов Анголы, Мозамбика и островов Зеленого Мыса) 107

АМЕРИКАНСКИЕ ПОЭТЫ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 173

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА — К 30-летию со дня смерти 184

БЕРНАРД ШОУ — Воскресенье на холмах Суррея (Рассказ) 188

КРИТИКА

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ АСТУРИАС — Латиноамериканский роман — свидетельство нашей эпохи 191

И. ЛЕВИДОВА — Об американской поэзии наших дней 200

Ю. КАГАРЛИЦКИЙ — Публицист или художник? (К 100-летию со дня рождения Герберта Уэллса) 208

9

СЕНТЯБРЬ

1966

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

АНА МАРИЯ МАТУТЕ — Гражданская война и писатели моего поколения 213

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

АНДЖЕЙ ДРАВИЧ — К сердцевине жизни 218

ПУБЛИЦИСТИКА

ДУШАН ГАМШИК — Обед с Аденауэром 222

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

А. КАРАГАНОВ — Для тысяч или для миллионов? 234

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВ — Первая книга Эжена Потье (К 150-летию со дня рождения) 242

НАШИ ГОСТИ

Л. А. — «Самое главное для меня — это действие». **Л. СИМОНЯН** — «Фантастические истории, в которых — правда» (Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и Макс Фриш в «Иностранной литературе») 243

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

З. ПЫШНОВСКАЯ — Герберт Зандберг — художник-публицист 249

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ — Современность, запечатленная в гравюре 251

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Вл. Рубин — Как завести часы? ◇ Г. Ронская — «Грустные игрушки». ◇ Л. Фейгина — На земле Цейлона 255

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

И. Бернштейн — Исповедь пятидесятилетнего. ◇ Е. Бочарникова — Размышления Флориана Тота. ◇ Д. Урнов — Шекспир как он есть. ◇ М. Николаев — Емелька, царица Савская и Герберт Маршалл 260

К ЮБИЛЕЮ ШОТА РУСТАВЕЛИ

800 лет со дня рождения автора бессмертной поэмы «Витязь в тигровой шкуре» 268

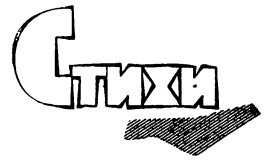
ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 271

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 286

На обложке: Репродукция с картины болгарского художника Ива Милева «Чабан».

ДАН ДЕШЛИУ



С РУМЫНСКОГО

Ленин

В пальто, наброшенном на плечи, скромном,
над ворохом исписанных страниц,
с лицом, заметным средь мильонов лиц:
лоб мудрого мыслителя огромный,
взгляд кормчего, бесстрашно корабли
ведущего, спокойный, чуть раскосый,
способный вникнуть в суть любых вопросов
сегодня и в грядущих дней дали...
Он прост со всеми, мысль его ясна,
всесильна и победна, как весна!

Пред ним боев октябрьских баррикады,
Сибири расцветающей сады
и эллинских философов труды,
а в грохоте тяжелой канонады,
громящей белых, он услышал гул —
работу титанических моторов,
летящих в глубь космических просторов...
Обструганные грубо стол и стул
или сосновый пень тогда, в Разливе летом,
ему подчас служили кабинетом...

Когда зима, от бешенства бела,
свистя осатанелыми снегами,
гасила, пролетев над городами,
последний слабый уголек тепла,
он зорко видел сквозь снега и льдины
огни в бетон закованной реки
и — как цветов гигантских лепестки —
сверкающие лопасти турбины.
А между тем ведь и ему была
нужна, как всякому, лишь капелька тепла...

Непримирим к пустому этикету,
к чиновникам, плодящим суету,
стоял он непреклонно на посту
ответственного за планету.
Земли коммунистической строитель,
он дум людских гордился высотой,
он душ людских гордился красотой —
народа вечный ученик-учитель...
В рабочей кепке, в пиджаке простом,
он по земле любил ходить пешком...

С броневика на площади вокзальной,
со всех трибун — вперед его рука
простерта сквозь пространства и века
к земной звезде, к туманности спиральной...
Я вижу кормчего планеты-корабля,
и что открытье всех земных америк
пред ним, открывшим новой жизни берег
и возвестившим всей земле: Земля!
Таким в сердцах он будет жить навек,
наш Ленин,
самый человечный человек.

Перевод ЯКОВА БЕЛИНСКОГО

О разном

Красок на свете столько,
что и названий нет:
свой особенный цвет
у пенистого потока,
у туч, плывущих с востока,—
у всего особенный цвет.

Взять, например, синеву:
сколько миров уместится
меж синей и голубой,
меж тем, что живет наяву,
и выдумкою любой.
Пламя, когда убывает,
совсем голубым бывает,
и голубым таким же
бывает цветок в кувшине
или эмаль на кувшине,
а утренний свет за окном голубей,
чем горлышко дымчатых голубей.
Синей бывает вода,
синей бывает земля.
Куба мне кажется кубовой
и в то же время зеленой.
О, как я мечтал за партой
над сине-зеленой картой
затеряться в дали далекой!

Я играл в голубые игрушки,
и глотал голубые лекарства,
и, попив из лазоревой кружки,
попадал я в сонное царство,
и в преддверии царства этого
неизменно меня встречали
взглядом своим фиолетовым
лиловые феи Печали.
Если сапфир — голубой
и аметист — голубой,
все равно никогда не спутаешь
эти камни между собой.
Синева сапфира иная,
синева аметиста иная,
хотя и та и другая
больны и грустны, я знаю,
от качания фонаря
под ливнями ноября.

Фантастичны цветные фильмы,
где и небо, и море
словно цветок чернильный
или полярный всполох
над озером Лаго-Маджоре.
И жилище наше земное,
человечья наша планета,

несомненно, не что иное,
как бусина великанья
голубоватого цвета.
Порукой, что это правда,
свидетельство космонавтов,
видевших там, вдали
и черноту безбрежную,
и величаво нежную
голубизну земли.
Радуга делит белое
солнце на семь цветов,
а я об одном готов
рассказывать вечность целую,
о единственном
и отдельном,
таинственно беспредельном.
К счастью, на свете есть
и все остальные
шесть,
а не то, говоря научно,
было бы очень скучно.

По-моему, ничего
более нет прекрасного,
чем то,
что столько всего
существует на свете разного,
что могут быть достижимы
и благородные цели,
что не все на свете мужчины
Мигуэли и Мануэли,
что есть еще миллион
таких же дивных имен,
что есть и певцы-знаменитости,
и прелесть безвестного голоса,
что бесчисленны разновидности
глаголов и гладиолусов,
мотоциклов и мотыльков,
что имеешь полное право,
если это тебе по нраву,
начинать одеванье с носков,
что в квартирах не только спальни,
но и кухни, и умывальни,
что существует умение
иметь особое мнение,
хоть, правда, во многих случаях
единая точка зрения
для всех людей — наилучшая.

Хорошо, что не пишем все мы
одну и ту же поэму
на одну всеобщую рифму
или вовсе без рифмы.
Хорошо, что на небосводе
с наступлением темноты
столько звезд голубых восходит,
столько мечется метеоров,
а не только одна звезда,
что прекраснейшая из женщин —
ты одна, ты одна, которой
нет и не было никогда.

Повседневные чудеса

Без литавров и без фанфар,
без помпы вершится это.
Ничего естественней нету,
чем этот будничный дар,
чем этот великий пустяк
такого примерно рода,
как электрический холод
или магнитная лента,
где разные голоса,
или стеклянный мех
и прочие чудеса —
подарок всем ото всех!
При этом кудесник сам,
способный на чудо любое,
рад не столько своим,
сколько чужим чудесам:
он творит чудеса в забое
или в лаборатории...

И чудотворцу некогда
рассказывать без конца
одни и те же истории
на такой, допустим, манер:
«МОИ БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ»,
или «МОИ УСПЕХИ»,
или «МОЙ ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР».
И если ему сказать:
«Послушай, творец чудес,
я с удовольствием буду
тебя за каждое чудо
превозносить до небес
после работы сразу
на вертолете фразы
хотя бы пять минут!» —
он удивится очень
и скажет:
«Ну-ну! Тогда
надо хвалить источник —
ведь так хорошо вода
струится, журчит, блестит!
А как бесподобно сокол
в небе парит высоком!
И как бесподобно дерево
листьями шелестит!..»

Перевод ЛЕОНА ТООМА

ГРЭХЕМ ГРИН

Комедианты

РОМАН

Перевод с английского
Н. ВОЛЖИНОЙ

А. С. Фриру

Дорогой Фрир!

Когда Вы стояли во главе крупного издательства, я был одним из самых верных Вам писателей, а после того как Вы отошли от издательского дела, мне, подобно многим другим Вашим авторам, стало ясно, что настало время подыскать себе новое пристанище. Это первый роман, написанный мною с тех пор, и мне хочется посвятить его Вам в память о тридцати с лишним годах нашего общения. «Общение» — слово холодное, им не исчерпать ни советов, которые Вы с такой щедростью давали мне (не ожидая, что они будут приняты), ни моральной поддержки, которую с такой щедростью оказывали (не подозревая, что я в ней нуждаюсь), ни нашей обоюдной привязанности, ни того, как нам было хорошо и весело друг с другом все эти годы.

Два слова о персонажах «Комедиантов». Я вряд ли вздумаю затевать дело о клевете против самого себя, но все же мне хочется сказать со всей определенностью, что хотя фамилия рассказчика этой истории Браун, он не Грин. Многие читатели полагают — в чем я убедился на собственном опыте,— что «Я» это всегда автор. Так, в свое время меня считали убийцей друга, ревнивым любовником жены одного государственного служащего и игроком, которого затянула рулетка. Мне бы не хотелось добавлять к своей хамелеонской натуре черты, присущие человеку, который наставил рога южноамериканскому дипломату, был, по всей вероятности, незаконнорожденный и воспитывался в иезуитском коллеже. Скажут: «Ага! Браун — католик, так же как и сам Грин». Часто забывают, что даже в том случае, когда действие романа происходит в Англии, он теряет достоверность, если из выведенного в нем десятка или более персонажей хотя бы один не был католиком. Пренебрежение статистическими данными иногда придает английскому роману некоторую провинциальность.*

«Я» — не единственный выдуманный герой в романе «Комедианты». Никто из них, начиная с эпизодической фигуры британского повереннного в делах и кончая основными персонажами, не существовал в действительности. Какая-нибудь внешняя, где-то подмеченная черточка, манера говорить, услышанный анекдот —

* Браун — по-английски «коричневый», грин — «зеленый».

все это варится в котле подсознательного и в большинстве случаев выходит оттуда неузнаваемым для самого повара.

Несчастное Гаити и режим доктора Дювалье не выдуманы мною, даже краски не сгущены драматического эффекта ради. Мрака этой ночи углубить невозможно. Среди тонтон-макутов есть и похуже, чем Конкассер; прерванные похороны списаны с натуры; не один такой Жозеф ковыляет по улицам Порт-о-Пренса, получив свою долю пыток, и, хотя мне не приходилось встречаться с молодым Филипо, в бывшем сумасшедшем доме под Санто-Доминго я видал партизан, столь же отважных и столь же плохо обученных военному делу. После того как я начал писать эту книгу, обстановка изменилась только в Санто-Доминго — и к худшему.

Любящий Вас
Грэхем Грин

...Мерило в нас самих,
И кто с лица Король,
Тот и Король на деле.
Томас Харди

ЧАСТЬ I

Глава I

1

Когда вспоминаешь все те серые памятники, которые воздвигнуты в Лондоне конным полководцам — героям давних колониальных войн — и уж вовсе забытым политическим деятелям в длинных сюртуках, то не видишь причин глумиться над скромным камнем, поставленным в память Джонса по ту сторону международного шоссе,— ему ведь так и не удалось пересечь это шоссе в далекой от его родных краев стране, хотя я и по сей день не знаю точно, где они, родные края Джонса, если искать их на географической карте. Он, по крайней мере, заплатил за этот памятник своей жизнью — волей-неволей, но заплатил, тогда как полководцы в большинстве случаев возвращаются домой невредимыми и если платят за свои монументы, то лишь кровью своих солдат. Что же касается политических деятелей — кто уж так интересуется ими, покойниками, чтобы помнить, с какими проблемами связаны их имена? Беспошлинная торговля — сюжет, менее увлекательный, чем война в Ашанти, хотя для лондонских голубей разницы между тем и другим не существует. Exegi monumentum *. Когда мои довольно-таки эксцентрические дела заносят меня на север, в Монте-Кристи, и мне приходится проезжать мимо камня, о котором идет речь, я испытываю чувство некоторой гордости при мысли о том, что его установили здесь не без моего прямого участия.

В жизни почти каждого человека бывают минуты необратимости, которые большей частью проходят незамеченными. Ни Джонс, ни я сам не почувствовали, что такие минуты наступили, хотя жизненный опыт, казалось, должен был бы выработать в каждом из нас наблюдательность, не менее острую, чем у пилотов дореактивной эры авиации. Я-то во всяком случае ничего такого не чувствовал, когда в то хмурое августовское утро минуты эти уплыли в Атлантический океан в кильватере за «Медеей» — грузовым судном пароходной компании королевства Ни-

* Я воздвиг памятник *(лат.)*.

дерландов, следовавшим из Нью-Йорка и Филадельфии в Порт-о-Пренс на Гаити. В те дни я все еще с полной серьезностью относился к своему будущему — даже к будущему моего пустого отеля и к роману с Мартой, который был, пожалуй, так же лишен всякого будущего. Насколько я мог судить, ничто не связывало меня тогда ни с Джонсом, ни со Смитом. Они были моими попутчиками, только и всего, и мне даже в голову не приходило, что из-за этих людей я буду причастен к pompes funébres * похоронного бюро мистера Фернандеса. Если б кто предупредил меня об этом, я бы рассмеялся, как смеюсь теперь, когда не так тяжело на душе.

Уровень розового джина в моем стакане колебался, подчиняясь ходу «Медеи», точно стакан был инструментом, регистрирующим удары волн, и, держа его в руке, я услышал, как мистер Смит твердо ответил Джонсу:

— У меня никогда не бывает приступов морской болезни, сэр. Никогда. Морская болезнь — результат излишков кислот в организме. Кислоты образуются, когда человек ест мясо и когда он потребляет алкоголь.

Мистер Смит был родом из Висконсина, но для меня он с самого начала стал Кандидатом в президенты, ибо до того, как я узнал его фамилию, его жена сообщила мне этот факт в первый же час после нашего отплытия, когда мы с ней стояли на палубе, опершись о поручни. Миссис Смит резко дернула в сторону своим внушительным подбородком, по-видимому давая тем самым понять, что, если на борту «Медеи» имеется какой-нибудь другой кандидат в президенты, речь идет не о нем. Она добавила:

— Я говорю о муже, вон он стоит. Мистер Смит баллотировался в президенты в сорок восьмом году. Он идеалист. И поэтому шансов на избрание у него, конечно, не было.

О чем у нас шел тогда разговор? Что могло навести ее на эту тему? От нечего делать мы с ней смотрели на серую гладь океана, которая окружала пароход трехмильным кольцом, точно грозный зверь, неподвижно затаившийся в клетке в ожидании той минуты, когда он сможет показать себя на воле. Я заговорил с ней об одном знакомом пианисте, а ее мысль, вероятно, перескочила к дочери Трумэна, а оттуда к политике — политическими вопросами она интересовалась больше, чем мистер Смит. Мне кажется, она считала, что ее шансы одержать победу на выборах были реальнее, и, следуя взглядом за движением ее упрямого подбородка, я с ней мысленно согласился. Мистер Смит в поношенном дождевике с поднятым воротником, защищавшим его большие, волосатые, наивные уши, расхаживал по палубе позади нас, перекинув через руку плед, и белый клок его волос торчал на ветру, точно телевизионная антенна. Такой мог быть доморощенным поэтом или, пожалуй, директором захолустного колледжа, но уж никак не политическим деятелем. Я стал вспоминать, кто был противником Трумэна в те выборы — ну конечно же Дьюи, какой там Смит! А тем временем ветер с Атлантики унес с собой следующую фразу моей собеседницы. До меня донесся только обрывок — что-то про овощи, но тогда мне показалось, что я ослышался.

С Джонсом я познакомился позднее, и при не совсем приятных обстоятельствах, так как в ту минуту он старался подкупить стюарда и обменять наши места. В дверях моей каюты стоял человек с чемоданом в одной руке и двумя пятидолларовыми бумажками в другой. Человек этот говорил:

— Он еще не заходил сюда. Он не будет скандалить. Он не из таких. Даже если заметит разницу.— Говорилось это так, будто он знал меня.

* Похоронный обряд *(франц.)*.

— Но, мистер Джонс...— отбивался от него стюард.

Джонс был небольшого роста, носил очень приличный светло-серый костюм с двубортной жилеткой, который казался не совсем уместным вдали от лифтов, толчеи контор, перестука пишущих машинок. Такого костюма больше ни у кого не было на нашем захудалом грузовом судне, ковылявшем по хмурому океану. Потом я заметил, что он ни разу не переоделся, даже к прощальному судовому концерту; в его чемоданах, вероятно, никакой другой одежды и не было. Так как Джонсу, видимо, совершенно не хотелось, чтобы на него глазели, я причислил его к тем, кто, снимаясь с места, хватает впопыхах не тот мундир. Он смахивал на француза — может быть, с фондовой биржи: маленькие черные усики, круглые, как у мопса, глаза. И вдруг, к своему изумлению, я узнал, что фамилия этого человека — Джонс.

— Майор Джонс,— с укоризной в голосе поправил он стюарда.

Мне стало неловко почти в той же мере, как и ему. На грузовом судне пассажиров бывает мало, и таить на кого-нибудь обиду просто неудобно.

Прижав руки к груди, стюард проговорил добродетельным тоном:

— Ничего не могу поделать, сэр. Каюта оставлена за этим джентльменом. За мистером Брауном.

Смит, Джонс и Браун — ситуация создалась неправдоподобная. Мне нельзя было отказать хоть в каких-то правах на мою простецкую фамилию, а ему? Казус, в который он попал, вызвал у меня улыбку, но, как я убедился впоследствии, чувство юмора у Джонса было несколько примитивное.

Он внимательно, серьезно пригляделся ко мне и спросил:

— Это действительно ваша каюта, сэр?

— Полагаю, что так.

— Мне сказали, будто она свободна.— Он чуть переменил положение, так, чтобы повернуться спиной к моему плоскому чемодану, стоявшему у самого входа в каюту. Долларовые бумажки куда-то исчезли — уж не в рукав ли? Я не заметил, чтобы его кулак потянулся к карману.

— Вам дали плохую каюту? — спросил я.

— Да нет, просто я предпочитаю с правого борта.

— Я тоже, особенно в этот рейс. Можно не закрывать иллюминатора.— И словно для того, чтобы подчеркнуть правоту моих слов, пароход начал медленно крениться на левый борт, выходя в открытое море.

— Самое время выпить джину,— без всяких обиняков заявил Джонс, и мы с ним поднялись наверх, отыскали небольшой салон и в нем черного официанта, который, разбавляя мой розовый джин водой, при первой же возможности шепнул мне на ухо: «Я британский подданный, сэр». Я отметил, что Джонсу он этого почему-то не сообщил.

Дверь распахнулась, и на пороге появился Кандидат в президенты — весьма внушительная фигура, несмотря на наивные уши: ему пришлось нагнуть голову под притолокой. Он окинул взглядом весь салон, прежде чем ступить в сторону и пропустить вперед жену, и она прошла под аркой его руки, точно невеста под склоненным над нею мечом. Ему, видимо, надо было сначала удостовериться, что в салоне нет неподходящей публики. Глаза у него светились чистой, размытой голубизной, из ноздрей и ушей некрасиво торчали пучки волос. Он был полной противоположностью мистеру Джонсу — самый что ни на есть настоящий, неподдельный. Если б я дал себе тогда труд хоть немного поразмыслить об этих двоих, то пришел бы к выводу, что они несовместимы, как вода с маслом.

— Входите,— сказал мистер Джонс («майор» почему-то не идет мне на язык),— входите, пригубим чарочку.— Жаргонные словечки всегда звучали у него чуть-чуть старомодно (как я убедился в дальнейшем),

точно он заучивал их по словарям, к тому же не самых последних изданий.

— Вы меня извините,— учтиво ответил ему мистер Смит,— но я не прикасаюсь к алкогольным напиткам.

— Я тоже к ним не прикасаюсь,— сказал Джонс.— Я их пью,— и подкрепил свой ответ действием.— Фамилия Джонс,— добавил он.— Майор Джонс.

— Очень приятно с вами познакомиться, майор. Моя фамилия Смит. Уильям Абель Смит. Моя жена, майор Джонс.— Он обратил ко мне вопросительный взгляд, и тут я сообразил, что теперь дело только за мной.

— Браун,— несмело проговорил я. У меня было такое чувство, будто я неудачно сострил, но никто из них не понял, в чем тут соль.

— Позвоните-ка еще разок,— сказал Джонс,— будьте ласковы.— Он уже возвел меня в ранг своего старого приятеля, и я проследовал к звонку через весь салон, хотя мистер Смит сидел ближе. Правда, в эту минуту он укутывал жену дорожным пледом, несмотря на то, что в салоне было тепло. (Возможно, так уж у них повелось в их супружеской жизни.) Вот тогда-то в ответ на заявление Джонса, что нет лучшего средства против морской болезни, чем розовый джин, мистер Смит и провозгласил свое кредо:

— У меня никогда не бывает приступов морской болезни, сэр. Никогда... Я всю свою жизнь был вегетарианцем.

А его жена поставила точку над «i»:

— Мы проводили кампанию под этим лозунгом.

— Кампанию? — громко переспросил Джонс, как будто это слово разбудило в нем дремлющего майора.

— На президентских выборах сорок восьмого года.

— Вы тоже выставляли свою кандидатуру?

— Увы! Шансов на победу у меня было мало,— с кроткой улыбкой проговорил мистер Смит.— Ведь обе сильные партии...

— Это была демонстрация идеи,— яростным голосом перебила его жена.— Мы выкинули свой флаг.

Джонс молчал. То ли он находился под впечатлением услышанного, то ли, подобно мне, хотел вспомнить, кто тогда были главные соперники. Потом он повторил со вкусом:

— Кандидат в президенты на выборах сорок восьмого года.— И добавил:— Горжусь таким знакомством.

— Мы не проводили организованной кампании,— сказала миссис Смит.— Это нам не по средствам. И все-таки за нас подали свыше десяти тысяч голосов.

— Я даже предполагать не мог, что нам окажут такую поддержку,— сказал Кандидат в президенты.

— Мы заняли не самое последнее место. Там был один кандидат... он имел какое-то отношение к сельскому хозяйству. Верно, голубчик?

— Да, но я не помню точно, как называется их партия. Он, кажется, последователь Генри Джорджа.

— А я-то думал, что только республиканцы и демократы выставляли тогда кандидатов,— сказал я.— Ах, да! Там, кажется, еще участвовал кто-то от социалистов?

— Вокруг съездов этих партий создают шумиху,— сказала миссис Смит,— хотя это пошлейший цирк. Вы можете вообразить мистера Смита в сопровождении отряда девиц с барабанами?

— В президенты может баллотироваться каждый,— смиренно и мягко пояснил Кандидат.— Нашей демократии есть чем гордиться. И знаете ли, этот жизненный опыт имел для меня огромное значение. Огромное! Я никогда его не забуду.

2

Суденышко наше было совсем маленькое. Оно могло вместить, кажется, не больше четырнадцати пассажиров, и все-таки «Медея» была отнюдь не переполнена. Туристский сезон подходил к концу, и вообще остров, куда мы ехали, уже не привлекал к себе туристов.

Среди пассажиров «Медеи» был элегантно одетый негр, щеголявший очень высоким белым воротничком, крахмальными манжетами и золотой оправой очков. Ехал он в Санто-Доминго, держался сам по себе, а за столом отвечал на вопросы односложными словами — вежливо и двусмысленно. Так, например, когда я поинтересовался, какой основной груз капитан берет в Трухильо — и поправился: «Извините. В Санто-Доминго»,— он важно склонил голову и сказал: «Да». Сам он никого ни о чем не спрашивал, и его сдержанность как бы служила укором нашему праздному любопытству. Еще у нас на борту был коммивояжер фармацевтической фирмы — уж не помню, почему он ехал пароходом, а не летел. Я тогда не сомневался, что выставленная им причина не настоящая и что он страдает болезнью сердца, но умалчивает об этом. Кожа у него на лице была как туго натянутая бумага, туловище несуразно большое по сравнению с головой, и он подолгу отлеживался на своей койке.

Что касается меня — а может, не только меня, но и Джонса,— то мы предпочли пароход из осторожности. В аэропорту, выйдя на бетонированное поле, пассажир сразу отрывается от команды самолета; в гавани чувствуешь под ногами надежную опору из иностранных досок. За мной как бы сохранялось голландское подданство до тех пор, пока я находился на борту «Медеи». Билет у меня был взят до Санто-Доминго, и я все убеждал себя (без особого успеха), что не сойду с парохода, пока не получу определенных гарантий от британского консула — или от Марты. Мой отель в горах над столицей обходился без меня целых три месяца, гостей там сейчас, конечно, не будет, а мне моя жизнь была дороже, чем пустой бар и коридор с пустыми номерами и такое же пустое, без всяких надежд, будущее. Что касается Смитов, то их на пароход привела не иначе как любовь к морю, но почему они вздумали съездить именно в Республику Гаити, я узнал значительно позже.

Капитан у нас был сухопарый, неприступный голландец, надраенный до блеска, как медные поручни на палубе его судна, и за всю дорогу он только раз вышел к общему столу. В противоположность ему, судовой казначей отличался неряшливостью, буйно-веселым нравом, а также пристрастием к голландскому джину и гаитянскому рому. На второй день пути он пригласил нас выпить у него в каюте. Мы все туда втиснулись, кроме коммивояжера, который сказал, что в девять вечера он всегда ложится спать. Джентльмен из Санто-Доминго и тот присоединился к нам и сказал «нет», когда судовой казначей спросил, каково его мнение о погоде.

У разудалого казначея была склонность все преувеличивать, и его жизнерадостность сникла только самую малость, когда Смиты потребовали лимонаду, а поскольку этого не оказалось — кока-колу.

— Вот она, ваша смерть,— заявил он им и начал излагать свою собственную теорию относительно того, какие примеси шито-крыто добавляют в такие напитки. На Смитов это не произвело ни малейшего впечатления, и кока-колу они пили с явным удовольствием.— Ну, в тех местах, куда вы едете, вам потребуется что-нибудь покрепче,— сказал судовой казначей.

— Мы с мужем ничего более крепкого не пьем,— ответила миссис Смит.

— Вода там сомнительная, кока-колы теперь, после ухода американцев, не сыщете. Поднимется ночью стрельба на улицах, вот тогда вы, может, и подумаете: стаканчик бы крепкого рома...

— Только не рома,— сказала миссис Смит.

— Стрельба? — переспросил мистер Смит.— Разве там стреляют? — Он посмотрел на жену, съежившуюся под дорожным пледом (в душной каюте ей и то было холодно), и во взгляде у него появилось легкое беспокойство.— А почему стреляют?

— Спросите мистера Брауна. Он там живет.

Я сказал:

— Стрельбу мне приходится слышать не часто. Как правило, они действуют втихомолку.

— Кто это «они»? — спросил мистер Смит.

— Тонтон-макуты,— бесовски весело ввернул казначей.— Президентские чудища. Ходят в черных очках и наведываются к своим жертвам, как только стемнеет.

Мистер Смит положил руку жене на колени.

— Этот джентльмен старается запугать нас, голубчик,— сказал он.— В туристском бюро нам ничего такого не говорили.

— Где же ему знать,— сказала миссис Смит,— что мы не из пугливых.— И я почему-то поверил ей.

— Мистер Фернандес, вы понимаете, о чем у нас разговор? — крикнул судовой казначей во весь голос, как это обычно делают некоторые, обращаясь к иностранцам.

Взгляд у мистера Фернандеса был затуманенный, точно его клонило ко сну.

— Да,— сказал он, но, по-моему, ему было все равно, что да, что нет.

Джонс, который сидел с краю на койке судового казначея и, держа в руке стакан с ромом, поглаживал его пальцами, заговорил впервые за все время.

— Дайте мне пятьдесят десантников,— сказал он,— и я прочищу эту страну, как слабительным.

— Вы служили в десантных войсках? — с удивлением спросил я.

Ответ прозвучал несколько туманно:

— Другое подразделение тех же частей.

Кандидат в президенты сказал:

— У нас есть личное рекомендательное письмо к министру социального благосостояния.

— Министру чего? — переспросил казначей.— Благосостояния? Там благосостоянием и не пахнет. Вот увидите крыс величиной с терьеров, тогда...

— В туристском бюро мне говорили, что в городе есть очень хорошие отели.

— Например, у меня,— сказал я и, вынув бумажник, протянул ему три открытки. Несмотря на всю вульгарность аляповатых красок, открытки обладали благородством исторических документов, будучи реликвиями навсегда ушедшей от нас эпохи. На одной был плавательный бассейн, выложенный голубой плиткой и полный девиц в «бикини», на второй — под соломенным навесом креольского бара играл барабанщик, знаменитость во всем Карибском море, а на третьей — общий вид отеля: крутая кровля, балконы, башенки — вычурный архитектурный стиль, полюбившийся Порт-о-Пренсу с девятнадцатого века. Это, по крайней мере, не изменилось.

— Нам хотелось бы что-нибудь поспокойнее,— сказал мистер Смит.

— Теперь у нас совсем спокойно.

— А что ж, голубчик! По-моему, будет очень приятно попасть к хорошему знакомому. Как ты считаешь? Если у вас найдется свободный номер с ванной или с душем.

— Ванны у нас в каждом номере. Шума можете не опасаться. Барабанщик бежал в Нью-Йорк, а девицы теперь осели в Майами. Кроме вас, вероятно, других гостей у меня и не будет.

Мне пришло в голову, что двое таких постояльцев окажутся, пожалуй, ценнее денег, которые они заплатят. Кандидат в президенты безусловно имеет определенный статус, он будет находиться под защитой своего посольства или того, что от этого посольства осталось. (Когда я уезжал из Порт-о-Пренса, штат его уже сократился до поверенного в делах, секретаря и двух солдат морской пехоты — вместо всей военной миссии.) Может быть, такая же мысль пришла в голову и Джонсу.

— Я, пожалуй, присоединюсь к вам,— сказал он,— если обо мне уже не позаботились. Будем вместе, точно и не сходили с парохода.

— Держись друг за дружку,— поддержал его судовой казначей.

— Трое! Все прочие hoteliers * Порт-о-Пренса будут мне завидовать.

— Зависть ближнего вещь не безопасная,— сказал судовой казначей.— Вам троим было бы куда спокойнее плыть с нами до конца рейса. Меня, например, дальше пятидесяти ярдов от порта не заманишь. В Санто-Доминго есть прекрасный отель. Роскошный отель. Могу показать вам открытки не хуже, чем у него.— Он выдвинул ящик стола, и передо мной мелькнули так называемые «приветы из Франции» — с десяток квадратных пакетиков, которые команда раскупит у него втридорога, перед тем как сойти на берег и заглянуть к мамаше Катрин или в другое, более дешевое заведение. (Я уже предвидел, что, расхваливая свой товар, казначей будет оперировать кое-какими устрашающими статистическими данными.) — Куда же я их засунул? — обратился он к мистеру Фернандесу, что было совершенно бесполезно, так как мистер Фернандес улыбнулся и сказал «да». Потом снова начал рыться в ящике, полном бланков, скрепок для бумаг, флаконов с красными, зелеными и синими чернилами, вышедших из употребления деревянных ручек с перышком, и наконец нашел несколько затрепанных цветных снимков плавательного бассейна, точно такого, как у меня, и креольского бара, который отличался от моего только тем, что там играл другой барабанщик.

— Мой муж едет не развлекаться,— презрительно сказала миссис Смит.

— Если не возражаете, я возьму одну открытку,— сказал Джонс и выбрал ту, где был плавательный бассейн с девицами в «бикини».— Ведь никогда не знаешь...— Эта фраза, как мне кажется, выражала самую глубокую степень его проникновения в смысл жизни.

3

На следующий день я нежился в шезлонге с подветренной стороны и, послушно покачиваясь в ритме розовато-зеленых волн, попадал то в тень, то на солнце. Я пытался читать роман, но его тяжеловесные герои, каждый шаг которых по скучным коридорам власти можно было угадать заранее, нагоняли на меня сон, и, когда книга выскользнула у меня из пальцев на палубу, поднимать ее мне не захотелось. Я открыл глаза, услышав шаги представителя фармацевтической фирмы, он цеплялся за поручни и перехватывал их руками, точно карабкался вверх по лестнице. Дыхание у него было тяжелое, лицо выражало отчаянную решимость, как будто он знал твердо, куда ведет эта лестница, знал, что добираться туда стоит, но что сил на это у него не хватит. Я опять за-

* Владельцы отеля *(франц.)*.

дремал и очутился совсем один в затемненной комнате и почувствовал прикосновение чьей-то холодной руки. Я проснулся — это был мистер Фернандес, который, видимо, потерял равновесие, когда судно вдруг дало сильный крен, и ухватился за меня, чтобы не упасть. Мне показалось, будто с черного неба посыпало золотым дождем, когда его очки вдруг вспыхнули в солнечном луче.

— Да,— сказал он с извиняющейся улыбкой.— Да,— и, пошатываясь, зашагал дальше.

В этот второй день пути пассажиров внезапно обуяла потребность двигаться — всех, кроме меня. Следующим был мистер Джонс — я все еще не мог заставить себя называть его майором. Он твердо ступал посередине палубы, приноравливаясь к ходу судна.

— Крепчает! — крикнул Джонс, проходя мимо, и у меня снова появилось ощущение, что его английский почерпнут из книг, а применительно к данному случаю, может, даже из романов Диккенса.

И вдруг, отчаянно прядая из стороны в сторону, мимо меня опять пронесся мистер Фернандес, а следом за ним коммивояжер, с мучительным трудом совершавший свое восхождение. Он хоть и потерял первое место, но упорно не желал покидать беговую дорожку. Я только успел подумать, что пора бы появиться Кандидату в президенты, не то гандикап будет слишком большой, как он возник в дверях салона. Шел он один, и ему будто чего-то недоставало, как в старинном барометре, где фигурки не появляются одновременно.

— Штормит,— сказал он, точно выправляя стилистическую погрешность мистера Джонса, и сел рядом в шезлонг.

— Надеюсь, миссис Смит хорошо себя чувствует?

— Прекрасно,— сказал он.— Прекрасно. Она сейчас в каюте, штудирует французскую грамматику. Уверяет, что своим присутствием я мешаю ей сосредоточиться.

— Французскую грамматику?

— Мне сказали, что там, куда мы едем, в ходу французский язык. У миссис Смит поразительные лингвистические способности. Дайте ей в руки учебник — и через несколько часов она все усвоит, кроме произношения.

— Но с французским ей придется иметь дело впервые?

— Миссис Смит все нипочем. Одно время у нас служила молоденькая немка, и в первый же день к вечеру миссис Смит уже наставляла ее по-немецки, что свою комнату надо убирать. Затем мы взяли финку. У миссис Смит ушла чуть ли не целая неделя на поиски учебника финского языка, но потом ей просто удержу не было.— Он замолчал и после паузы проговорил с улыбкой, придавшей неожиданное благородство смехотворности его заявления: — Я женат тридцать пять лет и до сих пор не перестаю восхищаться этой женщиной.

— А вам часто приходилось,— не без умысла спросил я,— отдыхать в таких местах?

— Мы всегда стараемся сочетать отдых,— сказал он,— с нашей миссией. Моя жена не сторонница пустых развлечений, и я тоже.

— Понимаю. И на этот раз ваша миссия привела вас...

— Однажды,— сказал он,— мы поехали на отдых в Теннесси. Это были незабываемые дни. Мы, знаете ли, принимали участие в рейсе свободы. И по дороге в Нашвилл случилось такое, что я испугался за миссис Смит.

— Нужно немалое мужество, чтобы так проводить свой отдых.

Он сказал:

— Мы очень любим негров.— Ему, видимо, думалось, что другого объяснения и не требуется.

— Боюсь, что там, куда вы едете, они вас разочаруют.

— Пока не вглядишься попристальнее, многое приносит разочарование.

— Чернокожие могут быть такими же насильниками, как и белые в Нашвилле.

— У нас в Америке не все ладно. Но, знаете, мне показалось, что... может быть... судовой казначей подшучивал надо мной.

— Он хотел подшутить. Но шутка обратилась против него же. На самом деле все обстоит гораздо хуже, чем можно увидеть, не выходя из порта. Вряд ли он бывал в самом городе.

— По-вашему, нам надо последовать его совету — ехать дальше, в Санто-Доминго?

— Да.

Он грустно посмотрел на неизменное в своем однообразии море. Мне показалось, что мой ответ произвел на него впечатление. Я предложил:

— Хотите послушать? Вот вам пример, как там живут люди.

Я рассказал мистеру Смиту об одном человеке, которого заподозрили в том, будто он участвовал в попытке похитить президентских детей, когда они возвращались домой из школы. Вряд ли против него имелись какие-нибудь улики, но в свое время он завоевал первое место на международном состязании снайперов в Панаме, и власти, вероятно, полагали, что для того, чтобы снять выстрелами президентскую охрану, надо быть не иначе как чемпионом по стрельбе. И вот тонтон-макуты окружили дом, где он жил,— в его отсутствие,— облили стены керосином и подожгли и расстреляли из пулемета всех, кто пытался выбраться оттуда. Пожарным разрешили только помешать распространению огня, и теперь на той улице до сих пор зияет дыра, будто там вырвали зуб.

Мистер Смит выслушал меня внимательно. Он сказал:

— Гитлер делал и похуже, ведь правда? А он был белый. Не надо все сваливать на цвет кожи.

— Я и не сваливаю. Тот бедняга тоже был черный.

— Когда вглядишься попристальнее, убеждаешься, что всюду плохо. Миссис Смит вряд ли захочет возвращаться домой только потому, что...

— Я вас не отговариваю. Вы сами меня спросили.

— Тогда почему — если мне дозволено задать вам еще один вопрос,— почему *вы* туда возвращаетесь?

— Потому что там находится единственное, что у меня есть. Мой стель.

— А единственное, что есть у нас — у моей жены и у меня,— это, кажется, наша миссия.

Он сидел, не сводя глаз с моря, и тут мимо нас прошел Джонс. Он бросил нам через плечо:

— Четвертый круг делаю,— и проследовал дальше.

— Вот он тоже не боится,— сказал мистер Смит, видимо считая, что его смелость нуждается в оправдании, подобно слишком пестрому галстуку — подарку жены: надо как-то защитить ее выбор, вот и приходится ссылаться на то, что не один такие носишь.

— Вряд ли тут следует говорить о смелости. Может быть, у нас с ним есть что-то общее и ему, как и мне, некуда деваться?

— Он очень хорошо к нам относится,— твердо проговорил мистер Смит Ему явно хотелось переменить тему разговора.

Познакомившись с ним поближе, я научился распознавать эту особенную его интонацию. Он испытывал острое чувство неловкости, когда я дурно о ком-нибудь отзывался — даже о людях незнакомых или о врагах. Он пятился от таких разговоров, как лошадь от воды. Забавляясь, я иногда старался незаметно подвести его к самой канаве и потом сразу посылал вперед хлыстом и шпорами. Но прыжок у нас так ни разу

и не вышел. Подозреваю, что он скоро научился угадывать мои намерения, хотя никогда не высказывал своего недовольства вслух. Это значило бы критиковать хорошего знакомого. Он предпочитал просто отходить в сторонку. Вероятно, это была единственная черта характера, отличавшая его от жены. В пылкости и прямоте ее нрава мне пришлось убедиться позднее — она была способна накинуться на кого угодно, кроме, конечно, самого Кандидата в президенты. В дальнейшем мы с ней часто ссорились, она подозревала, что я посмеиваюсь над ее мужем, но ей и в голову не могло прийти, как я им завидовал. Мне не случалось встречать в Европе ни одной супружеской четы, связанной такой преданностью друг к другу.

Я сказал:

— Вы говорили о своей миссии.

— Разве? Вы меня извините, что я так о себе распространяюсь. Миссия — это, пожалуй, слишком громко сказано.

— Мне интересно послушать.

— Если хотите, это моя мечта. Но вряд ли вы по роду своих занятий проникнетесь к ней сочувствием.

— Другими словами, она имеет какое-то отношение к вегетарианству?

— Да.

— Антипатии оно у меня не вызывает. Мое дело угождать гостям. Если мои гости вегетарианцы...

— Вегетарианство — это не только вопрос питания, мистер Браун. Оно затрагивает многие стороны жизни. Если бы нам удалось полностью устранить кислоты из человеческого организма, мы устранили бы и взрывы страстей.

— Тогда мир прекратил бы существование.

Он сказал с мягкой укоризной:

— Я говорю о страстях, а не о любви.

И мне, как это ни удивительно, сделалось стыдно. Цинизм — вещь дешевая, его можно купить в любом магазине стандартных цен, он входит во все виды низкосортной продукции.

— Ну что ж, вы на пути в вегетарианскую страну,— сказал я.

— Не понимаю, мистер Браун.

— Девяносто пять процентов населения Гаити не могут себе позволить ни мяса, ни рыбы, ни яиц.

— Но, мистер Браун, неужели вы не задумывались над тем, от кого происходят все несчастья в мире? Не от бедняков же. Войны затевают политические деятели, капиталисты, интеллектуалы, бюрократы, боссы Уолл-стрита и коммунистические боссы. Бедняки не начинали ни одной войны.

— А среди богачей и сильных мира сего, надо полагать, вегетарианцев не бывает?

— Нет, сэр. Как правило, не бывает.

И я опять устыдился своего цинизма. Глядя в эти бледно-голубые глаза, не ведающие ни сомнений, ни колебаний, можно было поверить на минуту, что человек этот не так уж наивен. Ко мне подошел стюард. Я сказал:

— Я супа не буду.

— Для супа еще рано, сэр. Капитан спрашивает, сэр, не будете ли вы добры зайти к нему.

Капитан сидел у себя в каюте — суровой и надраенной, как он сам, и лишенной личных примет ее обитателя, если не считать кабинетной фотографии пожилой женщины, у которой был такой вид, будто она сию минуту вышла из парикмахерской, где ей высушили фэном не только волосы, но и все нутро.

— Пожалуйста, садитесь, мистер Браун. Не угодно ли сигару?

— Нет, благодарю вас.

Капитан сказал:

— Давайте сразу перейдем к делу. Я вынужден просить вас о содействии. Все это очень неприятно.

— Да?

Он проговорил мрачнейшим голосом:

— Хуже нет, когда в пути случаются неожиданности.

— Да, море... штормы...

— Не о море же пойдет речь. С морем дело простое.— Он переставил на столе пепельницу, ящичек с сигарами, а потом придвинул к себе на сантиметр фотографию женщины с бесстрастным лицом и завивкой, словно смазанной для крепости цементным раствором. Может быть, рядом с ней он чувствовал себя увереннее. У меня же такая совершенно парализовала бы волю. Он сказал: — Вы знакомы с этим пассажиром — с майором Джонсом? Он сам себя так аттестует.

— Да, мы с ним разговаривали.

— Какое он на вас произвел впечатление?

— Да не знаю... как-то не задумывался над этим.

— Только что получена каблограмма из нашего управления в Филадельфии. Оттуда требуют, чтобы я сообщил, когда и где он сойдет на берег.

— Но по его билету можно...

— Там хотят знать наверняка, не изменит ли он своих планов. Мы идем в Санто-Доминго... Вы сами мне говорили, что билет у вас взят до Санто-Доминго, на тот случай, если в Порт-о-Пренсе... Может, он тоже так сделает.

— Запрос исходит от полиции?

— Да, возможно — это только мое предположение,— возможно, что полиция им интересуется. Поймите меня правильно: я ничего не имею против майора Джонса. Всего вернее, потребовалась обычная справка, только потому, что какой-нибудь там канцелярист... Но я решил... вы тоже англичанин, живете в Порт-о-Пренсе... Предупрежу вас, а вы в свою очередь...

Меня бесила его предельная осторожность, предельная корректность, предельная порядочность. Неужели наш капитан ни разу в жизни не оступился — в молодости или в подпитии, когда рядом с ним не было его хорошо причесанной жены? Я сказал:

— Получается, будто это шулер какой-то. Уверяю вас, он ни разу не предлагал мне сесть с ним за карты.

— Я ничего такого не...

— Вы хотите, чтобы я навострил глаза и уши?

— Вот именно. Только и всего. Будь тут что-нибудь серьезное, потребовали бы задержать его. Может быть, он скрылся от своих кредиторов. Кто знает? Или какая-нибудь история с женщиной,— брезгливо добавил капитан, перехватив взгляд той — беспощадной, с каменными волосами.

— Но при всем моем уважении к вам, капитан, я никогда не специализировался на доносах.

— Ничего такого от вас и не требуется, мистер Браун. Не могу же я обратиться к мистеру Смиту — человеку пожилому... по поводу... майора Джонса...

И мой слух опять засек наши три фамилии, взаимозаменяемые, точно комические маски в фарсе. Я сказал:

— Если действительно будет что-нибудь такое, о чем следует сообщить... но учтите, проявлять особое рвение в этом деле я не намерен.

Капитан испустил легкий вздох, соболезнуя самому себе.

— Будто человеку и без того не хватает забот в этом рейсе.

Он пустился рассказывать мне длинную историю о том, что случилось два года назад в порту, куда мы шли. В час ночи на берегу послышалась стрельба, и спустя полчаса у сходен появился офицер с двумя полицейскими: они потребовали, чтобы их допустили произвести обыск на судне. Он, разумеется, не позволил. Судно — суверенная территория пароходной компании королевства Нидерландов. Затеяли долгий спор. Он всецело полагался на вахтенного — как потом выяснилось, напрасно, так как матрос заснул на посту. Потом, отправившись поговорить с вахтенным помощником, капитан увидел на палубе цепочку кровавых следов. Они привели его к одной из шлюпок, и там он обнаружил беглеца.

— Как же вы с ним поступили? — спросил я.

— Судовой врач оказал ему помощь, а потом я, конечно, передал его властям.

— Может, он искал политического убежища?

— Не знаю, чего он искал. Откуда мне это знать? Он был совершенно неграмотный, да и вообще, денег на билет у него не оказалось.

4

Когда я снова увидел Джонса, мои симпатии начали склоняться на его сторону. Если бы он предложил мне в ту минуту партию в покер, я согласился бы без малейших колебаний и с радостью проиграл бы ему, ибо такая демонстрация доверия, может, уничтожила бы дурной вкус, который остался у меня во рту после разговора с капитаном. Я шел по левому борту, чтобы не встретиться с мистером Смитом, попал там под душ и, не успев сбежать к себе в каюту, столкнулся лицом к лицу с мистером Джонсом. Меня сразу охватило чувство вины, будто я уже выдал его тайну, а он прервал свою прогулку и предложил мне пойти выпить с ним.

— Рановато,— сказал я.

— В самый раз, в Лондоне уже открывают пивные.

Я посмотрел на часы — без пяти одиннадцать — и подумал, что это похоже на проверку его документов. Пока он разыскивал стюарда, я взял книгу, оставленную им на столике салона. Это было дешевое американское издание, на обложке обнаженная девица, лежащая ничком в роскошной постели. Название: «Лови минуту». На титульном листе стояла карандашная подпись — Г. Д. Джонс. Удостоверял ли он этим свою личность или хотел сохранить книгу? Я открыл наугад. « — Доверие? — Голос Джефа стегнул ее, как бичом...» И тут Джонс вернулся с двумя бокалами пива. Я положил книгу на место и сказал с наигранным смущением:

— Sortes Virgilianae? *

— Какой сорт? — Джонс поднял бокал и, перелистав мысленно страницы своего словаря и, может быть, отвергнув «прозит», как выражение устарелое, разрешился более современным «будьте». И добавил после первого глотка: — Я видел, вы только что беседовали с капитаном.

— Да?

— К нему не подступишься, к старому хрычу. Удостаивает разговора только заправских комильфо.— От этого слова повеяло чем-то уж совсем древним. На сей раз словарь все-таки подвел его.

— Какой же я комильфо?

— Вы не смейтесь. У меня это слово с особым смыслом. Я делю весь мир на две части — комильфо и шельмы. Комильфо без шельм обходятся, а шельме без них не обойтись. Я сам — шельма.

* Гадание по Вергилию *(лат.)*

— Как вы, собственно, себе представляете, что такое шельма? Ведь у этого слова тоже особый смысл.

— У комильфо твердое положение или приличный доход. Они всегда где-нибудь что-нибудь застолбуют. Вот как вы с вашим отелем. Мы... шельмы... по зернышку клюем — в барах, в салунах. Глядим — не зеваем.

— Изворотливость выручает, так, что ли?

— Когда выручит, а когда и угробит.

— Ну, а комильфо, разве они не изворотливые?

— Им это не требуется. У них есть разум, знания, твердость характера. А мы, шельмы, иной раз бываем слишком шустрые, себе во вред.

— А другие пассажиры, кто они — комильфо или шельмы?

— Никак не пойму мистера Фернандеса. Он либо то, либо другое. А об этом фармацевте составить суждение и вовсе довольно трудно — он не дает нам такой возможности. Но мистер Смит — вот уж кто комильфо чистейшей воды.

— Можно подумать, что вы такими людьми восхищаетесь.

— Всем нам хотелось бы превратиться в комильфо, но вы признайтесь, старина, разве у вас не бывает, чтобы вы завидовали шельмам? Когда, скажем, надо подводить итоги и слишком далеко заглядывать вперед?

— Да, такие минуты бывают.

— И вы думаете: «У нас обязанности, ответственность, а они живут в свое удовольствие».

— Надеюсь, вы поживете в свое удовольствие там, куда сейчас едете. Вот уж действительно страна шельм — там все такие, сверху донизу, начиная с президента.

— Для меня это лишнее осложнение. Шельма шельму видит издалека. Возможно, придется играть роль комильфо, чтобы сбить их с толку. Надо бы приступить к изучению мистера Смита.

— И часто вам приходится перевоплощаться?

— Нет, слава богу, не часто. Эта роль самая трудная. Ловлю себя на том, что смех меня некстати разбирает. Как?! Я, Джонс, в *этом* обществе и такое вещаю? Бывает, что и страх нападает. Теряюсь. В чужом городе заплутаешься и то жутко, правда? А когда начинаешь плутать в самом себе... Повторим?

— Теперь я угощаю.

— Про вас мне не очень ясно. Когда вы сидели там... с капитаном... я видел в окно, проходя... по-моему, вам было не по себе. А вы, случайно, не шельма? Не притворяетесь чем-то другим?

— Разве в самом себе разберешься? — Вошел стюард и начал расставлять пепельницы по столикам.— Еще два пива,— сказал я ему.

— Ничего, если я на сей раз попрошу виски?— сказал Джонс.— Меня от пива пучит и распирает.

— Два раза виски,— сказал я.

— Вы играете в карты? — спросил он, и я подумал: наконец-то наступила минута, когда мне можно будет искупить свою вину. Тем не менее мой ответ прозвучал настороженно:

— В покер?

Его прямолинейность наводила на размышления. Почему он так разоткровенничался со мной насчет комильфо и шельм? Может, догадался, о чем у нас с капитаном шла речь, и теперь, прощупывая меня, бросил в поток моих мыслей свою прямоту, чтобы проверить, не изменит ли он цвета, как лакмусовая бумажка? Или думает, что мне не так уж обязательно сохранять верность тому, кто именуется у него комильфо? А может быть, моя фамилия, Браун, казалась ему такой же ненастоящей, как и его собственная?

— Я в покер не играю,— ответил он и сощурил свои черные глаза,

будто говоря: «Вот и попались!» Потом добавил: — Я слишком себя выдаю, когда партнеры приятные. Не умею блефовать. Нет, я признаю только джин-рамми.— Он так произнес это слово, будто назвал какую-то детскую игру — символ невинности.— Умеете?

— Раза два играл.

— Я не настаиваю, но надо как-то провести время до ленча.

— Что ж, давайте.

— Стюард, карты.— Он чуть заметно улыбнулся, точно давая мне понять: «Видите? Я не ношу с собой крапленой колоды».

В какой-то степени игра эта действительно невинная. Жульничать в ней трудно. Он спросил:

— По маленькой? Сто очков — десять центов?

Джонс привносил в игру что-то свое. Он рассказал мне потом, что прежде всего смотрит, в какой части руки неопытный игрок держит приготовленное на сброс, и из этого выводит, скоро ли тот кончит. По тому, как перекладывают карты и долго ли колеблются перед ходом, он угадывал, хорошие они, плохие или ни то ни се, и в первом случае предлагал пересдать, уверенный в отказе. Исполнившись чувства превосходства и уверенности в себе, партнер рисковал, затягивал игру, надеясь кончить с руки. Даже поспешность или замедленность движения, когда берут карту и сбрасывают, о многом говорили Джонсу.

— Психология всегда побьет голую математику,— сказал он однажды и действительно почти всегда побивал меня. Чтобы выиграть, мне надо было сразу при сдаче получить на руки две верные комбинации.

Когда гонг позвал нас к ленчу, он встал с шестью долларами выигрыша. Примерно такая степень успеха ему обычно и требовалась — сумма скромная, партнер никогда не откажется от реванша. Шестьдесят долларов в неделю прибыль не большая, но он говорил, что всегда может рассчитывать на это, а значит, не будет сидеть без сигарет и выпивки. Ну и, конечно, время от времени бывали и coups *: иногда его партнеры гнушались такими детскими ставками и предлагали по пятидесяти центов за очко. Так было однажды в Порт-о-Пренсе, у меня на глазах. Если бы Джонс проиграл тогда, вряд ли у него хватило бы денег, чтобы расплатиться, но фортуна, даже в двадцатом веке, кое-когда благоволит к храбрецам. Его партнер обремизился, и Джонс встал из-за стола на две тысячи долларов богаче. Но и в тот раз победитель вел себя скромно. Он предложил партнеру реванш и проиграл ему пятьсот с чем-то долларов.

— И вот что я вам скажу,— поучал он меня.— Женщины, как правило, в покер не садятся. Мужья возражают: есть в этой игре что-то распущенное и опасное. Но джин-рамми по десять центов за сотню — это же на мелкие расходы. Ну и, само собой, таким образом расширяется круг партнеров.— Даже миссис Смит, которая, безусловно, с негодованием отвернулась бы от игры в покер, иной раз приходила и наблюдала за нашими баталиями.

В тот день за ленчем — не знаю, почему так получилось,— разговор у нас зашел о войне. Начал его, насколько я помню, коммивояжер, который, как выяснилось, служил в гражданских частях противовоздушной обороны и теперь пустился в воспоминания о бомбежках, с навязшими в зубах подробностями, мучительно нудными, как чужие сны. На лице у мистера Смита застыла маска учтивого внимания, миссис Смит нервно поигрывала вилкой, а фармацевт все говорил и говорил о том, как разбомбили общежитие еврейских девушек на Стор-стрит («В ту ночь работы у нас было столько, что мы даже не заметили, как оно рухнуло».). и вдруг Джонс грубо перебил его на полуслове:

---

* Удачи *(франц.)*.

— Я сам потерял однажды целый взвод.

— Как это случилось? — спросил я, радуясь возможности подстрекнуть Джонса.

— До сих пор не знаю,— сказал он.— Назад никто не вернулся, докладывать было некому.

Бедняга фармацевт сидел, чуть приоткрыв рот. Он добрался только до середины своего рассказа, а слушателей у него не осталось; в нем было что-то общее с моржом, упустившим рыбу. Мистер Фернандес взял вторую порцию копченой селедки. Он единственный не проявил никакого интереса к словам Джонса. Мистера Смита это выступление несколько заинтриговало, и он попросил:

— Расскажите, мистер Джонс.— Как я заметил, все мы избегали прибавлять к его фамилии воинский чин.

— Дело было в Бирме,— сказал Джонс.— Нас перебросили через линию фронта с диверсионным заданием в японском тылу. Тот взвод потерял связь с моим командным пунктом. Взводным был один юнец, не обученный военным действиям в условиях джунглей. В таких случаях, конечно, sauve qui peut *. Как ни странно, у меня за всю войну не было потерь в людском составе — только один этот взвод, целиком. Исчез — вот так.— Он отломил кусочек хлеба и проглотил его.— Из плена потом никто не вернулся.

— Вы были в соединении Уингэйта? — спросил я.

— В таких же частях,— ответил он и на этот раз туманно.

— И долго вы пробыли в джунглях? — спросил судовой казначей.

— Да, я там, знаете ли, как-то приспособился,— сказал Джонс. И скромно добавил: — В пустыне толк от меня был бы небольшой. Я славился тем, что ухитрялся чуять воду издали, не хуже туземцев.

— В пустыне такая способность тоже могла бы пригодиться,— сказал я, и он бросил на меня через стол сурово-укоризненный взгляд.

— Как это ужасно! — сказал мистер Смит, отодвигая от себя тарелку с недоеденной котлетой — разумеется, ореховой, по специальному заказу.— На что тратится мужество, выучка — на то, чтобы убивать своих ближних!

— Кандидатуру моего мужа на президентский пост,— сказала миссис Смит,— поддерживали в нашем штате все, кто отказывался от воинской повинности.

— Разве мясоедов среди них не было? — спросил я, и миссис Смит в свою очередь бросила на меня разочарованный взгляд.

— Тут нет ничего смешного,— сказала она.

— Вопрос справедливый, голубчик,— с мягкой укоризной сказал ей мистер Смит.— Но если вдуматься, мистер Браун, то не так уж странно, что вегетарианство и идейный отказ от воинской повинности идут рука об руку. Я говорил вам на днях про кислоты и про то, как от них зависит проявление человеческих страстей. Выведите кислоты из организма, и в нем, так сказать, освободится место для совести. А совесть — ведь она, знаете ли, растет, растет и растет. И вот в один прекрасный день вы говорите: «Не хочу, чтобы ради моего удовольствия резали ни в чем не повинное животное», а потом, может быть неожиданно для самого себя, в ужасе отворачиваетесь от уничтожения своих ближних. И дальше перед вами встает расовый вопрос и Куба... Могу вас заверить, что меня поддерживали также многие теософские общества.

— И Лига бескровных видов спорта,— сказала миссис Смит.— Конечно, не официально, как таковая, но многие ее члены голосовали за мистера Смита.

— При такой поддержке...— начал было я.— Удивительно, как же...

---

* Спасайся, кто может *(франц.)*.

— В наш век,— сказала миссис Смит,— прогрессивные элементы всегда оказываются в меньшинстве. Но, по крайней мере, мы выразили свой протест.

И тут завязалась обычная в таких случаях утомительная перепалка. Начал ее коммивояжер. Я с удовольствием придал бы ему прописную букву, наравне с Кандидатом в президенты, ибо он, видимо, тоже был типичным представителем определенных кругов, правда, низшего порядка. Как бывший участник противовоздушной обороны, коммивояжер считал себя строевиком. Кроме того, ему только что пришлось проглотить обиду: его воспоминания о бомбежках перебили на полуслове.

— Не понимаю пацифистов,— сказал он.— Этих субъектов вполне устраивает, что их жизнь защищают такие, как мы...

— Вы же с нами не советуетесь,— мягко возразил ему мистер Смит.

— Поди различи, кто уклоняется от военной службы по идейным соображениям, а кто просто увиливает.

— Во всяком случае, от тюрьмы эти люди не увиливают,— сказал мистер Смит.

Его неожиданно поддержал Джонс.

— А сколько их было среди санитаров Красного Креста,— сказал он.— Многие из нас обязаны жизнью этим доблестным людям.

— В тех местах, куда вы едете, пацифистов не густо,— сказал судовой казначей.

Не желая сдаваться, коммивояжер проговорил срывающимся от обиды голосом:

— А если кто-нибудь нападет на вашу жену, тогда что?

Кандидат в президенты устремил через весь стол долгий взгляд на тучного, болезненно-бледного коммивояжера и сказал веско и с достоинством, точно отражая реплику с места на политическом собрании:

— Я никогда не утверждал, сэр, что с исчезновением кислот из организма исчезнут и взрывы всех наших страстей. Если бы на миссис Смит совершили нападение, а в руке у меня оказалось бы в тот момент оружие, не могу поручиться, что я не пустил бы его в ход. Мы не всегда выдерживаем нами же установленные нормы поведения.

— Браво, мистер Смит! — крикнул Джонс.

— Но потом я осудил бы себя за такой взрыв, сэр. Несомненно осудил бы.

5

В тот вечер мне понадобилось зайти перед обедом к казначею, не помню уж, по какому делу. Я застал его за письменным столом. Он надувал «привет из Франции», доводя его до размеров полицейской дубинки. Потом перевязал ему отверстие тесемочкой и вынул изо рта. Весь стол был завален огромными раздутыми фаллосами. Точно здесь свиней забивали.

— Завтра устраиваем прощальный концерт,— пояснил он мне,— а воздушных шаров у нас нет. Мистер Джонс подал идею пустить в ход вот это.— Я увидел, что на некоторых презервативах были нарисованы цветными чернилами смешные рожи.— У нас на борту только одна дама,— сказал казначей,— и вряд ли она поймет происхождение этих...

— Не забывайте, что она дама прогрессивная.

— В таком случае возражений с ее стороны не предвидится. И вообще, это же символы прогресса.

— Поскольку мы страдаем от кислот, не будем хотя бы передавать их по наследству нашим детям.

Он хихикнул и стал подрисовывать цветным карандашом одну из чудовищных рож. Оболочка повизгивала под его пальцами.

— Как вы думаете, в котором часу мы будем на месте в среду?

— Капитан рассчитывает пришвартоваться ближе к вечеру.

— Хорошо бы успеть, пока не выключат свет. Наверное, до сих пор выключают?

— Да. Сами увидите, перемен к лучшему нет. Только к худшему. Выехать из города без полицейского пропуска теперь невозможно. На всех дорогах из Порт-о-Пренса заставы. Вряд ли вам удастся добраться до вашего отеля без того, чтобы вас не обыскали. Мы предупредили команду, если кто захочет в город, пусть делают это на свой страх и риск. Они, конечно, все равно пойдут. У мамаши Катрин двери всегда будут настежь.

— Что слышно о Бароне? — Так иногда называли президента в замену его обычного прозвища Папа Док. Мы облагораживали это невзрачное, колченогое существо титулом Барона Субботы, который в мифологии воду слоняется по кладбищам во фраке и цилиндре, покуривая огромную сигару.

— Говорят, он уже три месяца нигде не показывается. Даже к окну не подходит полюбоваться оркестром у дворца. Кто знает, может, его и в живых нет. Если только он помрет от чего другого, а не от серебряной пули. Последние два рейса нам пришлось отменить заход в Кап-Аитьен. Город на военном положении. Слишком близко от доминиканской границы, и нас туда не пускают.— Он набрал воздуху и стал надувать очередной «привет из Франции». Пипочка на нем выпятилась, точно опухоль на темени, и каюту наполнил больничный запах резины. Он спросил: — Зачем вы туда возвращаетесь?

— Собственный отель так просто не бросают.

— Но вы же его бросили.

Я не собирался делиться с казначеем своими соображениями по этому поводу. Они были слишком интимны и слишком серьезны, если можно назвать серьезной путаную комедию нашей личной жизни. Казначей надул еще один «привет из Франции», а я подумал: существует, безусловно, какая-то сила, которая норовит, чтобы все важное для нас происходило при самых унизительных обстоятельствах. Мальчиком я верил в христианского бога. Жизнь под такой сенью была делом очень серьезным. Я чувствовал его воплощение в каждой трагедии. Он виделся мне сквозь lacrimae rerum*, словно великан, окутанный шотландским туманом. Теперь, когда жизнь моя была на исходе, только чувство юмора помогало мне верить в него изредка. Жизнь — это комедия, а не трагедия, к которой меня готовили, и я подозревал, что некий полноправный шутник завладел всеми нами, кто едет на этом пароходе с греческим названием (почему голландское пароходство задумало назвать свое судно по-гречески?), и теперь влечет всех нас к кульминационной точке комедии. Сколько раз приходилось мне слышать в толпе после конца спектакля на Шефтсбери-авеню или на Бродвее эту фразу: «Я хохотал до слез!»

— Какого вы мнения о мистере Джонсе? — спросил казначей.

— О майоре Джонсе? Разбираться в таких вопросах я предоставляю вам с капитаном.— Было ясно, что к нему тоже обращались, как и ко мне. Моя фамилия Браун, вероятно, делала меня более чувствительным к комедии Джонса.

Я взял со стола одну из огромных сосисок и сказал:

— А вы используете когда-нибудь эти штуки по их прямому назначению?

---

* Мировая скорбь *(лат.)*

Казначей вздохнул.

— Увы, нет! Я уже в том возрасте, когда... Всякий раз crise de foi *. Стоит только воспылать.

Казначей посвятил меня в свои интимные дела и теперь ожидал взаимных интимностей. а может быть, капитан затребовал сведения и обо мне, и казначей решил воспользоваться случаем, чтобы получить их. Он спросил меня:

— Каким это образом такой человек, как вы. вообще обосновался в Порт-о-Пренсе? Почему вы заделались hotelier? Вы и не похожи на hotelier. Вы похожи больше на... на...—Но тут воображение отказало ему.

Я рассмеялся. Вопрос был вполне уместный, что и говорить, но ответ на него я предпочел удержать при себе.

6

На другой день капитан почтил нас своим присутствием за обедом, вместе со старшим механиком. Между капитанами и старшими механиками, вероятно, всегда существует соперничество, так как ответственность у них одинаковая. Пока наш капитан завтракал и обедал в одиночестве, точно так же поступал и старший механик. Теперь оба они — капитан во главе стола, механик на противоположном конце — сидели на равных правах под весьма сомнительными украшениями. По случаю нашего последнего вечера на море в меню было дополнительное блюдо, и все пассажиры, кроме Смитов, пили шампанское.

В присутствии начальства судовой казначей держался с несвойственной ему сдержанностью (по-моему, он предпочел бы менее стеснительное общество старшего помощника на мостике, в подветренной темноте), а капитан с механиком явно чувствовали бремя столь торжественной обстановки, подобно священникам, отправляющим праздничное богослужение. Миссис Смит сидела по правую руку от капитана, я — по левую, а присутствие Джонса и подавно не способствовало непринужденности застольной беседы. Ситуацию осложняло даже меню, ибо ради такого случая пристрастие голландцев к тяжелым мясным блюдам развернулось во всю ширь, и тарелка миссис Смит частенько попрекала нас своей пустотой. Впрочем, Смиты захватили с собой из Америки множество всяких бутылок и коробок, которые, точно бакены, всегда отмечали их места за столом, и теперь, видимо, считая, что нельзя отступаться от принципов и пить весьма сомнительную по рецептуре кока-колу, они разбавляли горячей водой какие-то экстракты из собственных запасов.

— Насколько я понимаю,— мрачно проговорил капитан,— после обеда ожидаются увеселения?

— Общество у нас немноголюдное,— сказал казначей,— но мы с майором Джонсом все-таки решили, что надо как-то отметить наш последний вечер. Будет, конечно, кухонный оркестр, и мистер Бакстер обещал нам что-то весьма интересное.

Миссис Смит обменялась со мной недоуменным взглядом. Кто такой мистер Бакстер, мы не знали. Неужели у нас заяц на борту?

— Я предложил мистеру Фернандесу самому придумать номер, и он с радостью согласился,— весело говорил казначей.— Закончим пением «За дружбу старую до дна» в честь наших англо-саксонских пассажиров.— Утка обошла стол по второму кругу, и, чтобы поддержать компанию, Смиты опять намешали себе чего-то из своих бутылок и коробок.

— Прошу прощения, миссис Смит,— сказал капитан,— но что вы пьете?

---

* Приступ печени *(франц.)*.

— Пивные дрожжи, разбавленные горячей водой,— ответила ему миссис Смит.— По вечерам мой муж отдает предпочтение дрожжелину. Или векону. Он считает, что дрожжи действуют на него возбуждающе.

Капитан испуганно посмотрел на тарелку миссис Смит и отрезал себе утиное крылышко. Я сказал:

— А что вы едите, миссис Смит? — Мне хотелось, чтобы капитан оценил всю прелесть ситуации.

— Не понимаю, мистер Браун, почему именно вам понадобилось меня спрашивать? Я ем это каждый вечер, в один и тот же час, в вашем присутствии. Питательный препарат из семечек плакучего вяза,— пояснила она, обращаясь к капитану. Он положил нож с вилкой на тарелку, отодвинул ее и склонил голову. Я подумал сначала, что капитан молится, но, вернее всего, ему подступила тошнота к горлу.

— Закушу орехином,— сказала миссис Смит,— если у вас не найдется простокваши.

Капитан громко прокашлялся, отвел от нее глаза, чуть заметно передернул плечами при виде мистера Смита, который подбирал ложечкой с тарелки какие-то сухие, бурого цвета гранулы, и уставился на мистера Фернандеса, будто тот был повинен во всем этом. Потом он объявил должностным голосом:

— Мы прибываем завтра, надеюсь, не позже четырех часов. Рекомендую не задерживаться в таможне, так как свет в городе обычно выключают в шесть тридцать вечера.

— Почему? — спросила миссис Смит.— Это же создает неудобства решительно для всех.

— Из экономии,— ответил ей капитан.— Последние сообщения по радио неутешительны. Как было сказано, мятежники пересекли доминиканскую границу. Правительство заверяет, что в городе все спокойно, однако тем из вас, кто сходит в Порт-о-Пренсе, я советую держать тесную связь с вашими консульствами. Мною получены инструкции без всяких промедлений высадить пассажиров и сразу же следовать в Санто-Доминго. Задерживаться в Порт-о-Пренсе на погрузку я не буду.

— Судя по всему, голубчик, мы с тобой попадем в неспокойные места,— послышался голос мистера Смита с другого конца стола, и он положил себе еще одну ложечку — кажется, фромента, о составе которого я узнал от него за ленчем.

— Это нам не впервые,— с мрачным удовлетворением ответила ему миссис Смит.

Вошел матрос с запиской капитану, и, когда он отворил дверь, «приветы из Франции» вздыбило сквозняком, они повизгивали, задевая один о другой. Капитан сказал:

— Прошу меня извинить. Что поделаешь — долг. Придется уйти. Желаю вам всем приятно провести вечер.— Но я подумал, что о вызове, наверное, договорились заранее — человек он был необщительный, а кроме того, миссис Смит пришлась ему явно не по нутру. Старший механик тоже встал, точно боясь оставить судно на произвол капитана.

Теперь, когда начальство удалилось, казначей снова стал самим собой и все подстрекал нас больше есть и больше пить. Даже Смиты — после долгих колебаний («Я не такая уж сладкоежка»,— сказала она.) — отважились на вторую порцию орехина. Подали сладкий ликер — по разъяснению казначея, за счет пароходной компании, и самая идея дарового ликера вдохновила на дальнейшие возлияния нас всех — разумеется, кроме Смитов,— даже фармацевта, хотя он поглядывал на свою рюмку боязливо, точно зеленый цвет сигнализировал ему об опасности. Когда, наконец, мы перебрались в салон, на стульях уже были разложены программки концерта.

Казначей крикнул бодрым голосом:

— Смотри веселей! — И стал похлопывать ладонями по своим толстым коленкам, глядя на оркестр, который появился во главе с коком — костлявым, как скелет, молодым человеком, с щеками, пылающими от жара плиты, и в поварском колпаке. Оркестранты несли кастрюли, сковороды, ножи, ложки, была и мясорубка для извлечения скрежещущих звуков, дирижерскую палочку коку заменяла длинная вилка для гренков. Первым номером программы был «Ноктюрн», затем «Chanson d'amour» *, которую спел кок — голосом нежным и не совсем ровным: «Automne, tendresse, feuilles mortes»**... Ничегó другого, кроме этих печальных слов, я не разобрал из-за гулкой дроби ложкой о кастрюлю.

Мистер и миссис Смит рука об руку сидели на диване, колени ее были прикрыты пледом, а коммивояжер слушал, весь подавшись вперед, и в упор смотрел на тощего певца, может быть прикидывая наметанным глазом, какие из его медикаментов окажутся полезными в данном случае. Что касается мистера Фернандеса, то он сидел в сторонке, время от времени внося какие-то записи в блокнот. Джонс торчал за стулом казначея и то и дело наклонялся и шептал ему на ухо. Он ликовал, по причинам, никому, кроме него, не известным, будто вся эта затея принадлежала ему одному, и аплодировал горячо, как бы поздравляя самого себя. Оглянувшись, он подмигнул мне, что, видимо, означало: «Дайте срок. Моя творческая фантазия этим не исчерпывается. То ли еще будет!»

После романса я собирался уйти, но поведение Джонса пробудило во мне любопытство. Коммивояжер куда-то исчез, впрочем, ему давно пора было спать. Теперь Джонс о чем-то совещался с дирижером, к ним подошел главный барабанщик, держа под мышкой большую медную сковороду. Я сверился с программой и увидел, что следующий номер — «Драматический монолог в исполнении мистера Дж. Бакстера».

— Все очень интересно,—сказал мистер Смит.—Правда, голубчик?

— Лучше использовать кастрюли хотя бы так, чем жарить в них злосчастную утку,—ответила ему миссис Смит. Отсутствие кислот в организме, видимо, не очень-то спасало ее от игры страстей.

— Как хорошо он пел, вы не находите, мистер Фернандес?

— Да,— сказал мистер Фернандес и пососал кончик карандаша.

Коммивояжер вошел в салон в стальной каске — он вовсе не ложился, а успел переодеться за это время в синие джинсы, и в зубах у него был зажат свисток.

— Так вот кто такой мистер Бакстер!—с облегчением проговорила миссис Смит. По-моему, ей претила всякая таинственность. Она хотела, чтобы на всех элементах человеческой комедии стояло такое же обозначение, как на любом из лекарств мистера Бакстера или на этикетке флакона с пивными дрожжами. Синие джинсы коммивояжер мог позаимствовать у кого-нибудь из команды, но откуда у него взялась стальная каска, этого я себе не представлял.

Он свистнул в свой свисток, призывая нас всех к тишине, хотя говорила одна миссис Смит, и объявил:

— Драматический монолог под названием «Дежурный на посту».

К его ужасу, кто-то в оркестре воспроизвел вой сирены.

— Браво!—сказал мистер Джонс.

— Надо было меня предупредить,—сказал мистер Бакстер.—Теперь я сбился.

При следующей попытке его прервали глухие раскаты артиллерийской стрельбы, воспроизведенные на донышке кастрюли.

— А это что должно означать? — раздраженно осведомился мистер Бакстер.

---

* Песнь любви *(франц.)*.

** Осень, нежность, опавшие листья *(франц.)*.

— Зенитные батареи в устье Темзы.

— Вы нарушаете мой сценарий, мистер Джонс.

— Продолжайте,— сказал Джонс.— Увертюра кончилась. Настроение создано. Лондон. Тысяча девятьсот сороковой год.

Мистер Бакстер бросил на него грустный, обиженный взгляд и снова объявил:

— Драматический монолог под названием «Дежурный на посту». Сочинение уполномоченного гражданской противовоздушной обороны Х.— Прикрыв глаза щитком ладони, точно защищаясь от осколков стекла, он начал декламировать:

Взлетают ракеты, и небо в огне
Над родной нашей Тоттенхем-роуд.
Дежурный один стоит на посту,
Видя тень свою на стене.

Зенитка в Гайд-парке грохочет, грохочет,
И первая бомба упала.
Дежурный кулак поднял к небесам —
Он Гитлеру гибель пророчит.

Но выстоит Лондон и Трафальгар-сквер,
А немец не лицемер.
Из сердца у немцев вырвется крик:
Будь проклят ты, дьявол фюрер!

Попадание в Сити, Пикадилли в дыму,
Но без гренок сидеть мы не будем.
Паек наш при нас, и горе тому,
Кто блицкригом грозит храбрым людям.

Мистер Бакстер дал свисток, вытянулся во фронт и объявил:

— Отбой!

— Давно пора,— сказала миссис Смит.

Мистер Фернандес воскликнул взволнованным голосом:

— Нет, нет! О нет, сэр! — И, по-моему, все, кроме миссис Смит, почувствовали, что дальнейшее будет уже не так сильно.

— Тут требуется шампанское,— сказал Джонс.— Стюард!

Оркестр ушел в камбуз, но дирижер остался по просьбе Джонса.

— Шампанское за мой счет,— сказал Джонс.— Вы, безусловно, заслужили бокал.

Мистер Бакстер вдруг опустился на стул рядом со мной и задрожал всем телом. Его рука отбивала нервную дробь на столике.

— Не обращайте внимания,— сказал он.— Со мной всегда так. Начинаю волноваться после выступления. Как, по-вашему, меня хорошо приняли?

— Очень,— сказал я.— А где вы раздобыли каску?

— Я всегда вожу с собой на дне чемодана кое-какие памятки, и ее в том числе. Я с ней, собственно, и не расстаюсь. У вас, наверное, тоже так — хранишь вещи, которые...

Что верно, то верно; у меня, правда, они были более портативные, чем стальная каска, но в такой же мере ненужные — фотография, старая почтовая открытка, давнишняя квитанция на вступительный взнос в ночной клуб в районе Риджент-стрит, разовый билет в казино Монте-Карло. Если вытрясти мой бумажник, там найдется немало таких памяток.

— Синие джинсы мне дал помощник капитана, но они не английского покроя.

— Позвольте, я налью вам шампанского. У вас руки все еще дрожат.

— Стихи вам правда понравились?

— Очень живая картина.

— Тогда я скажу вам то, в чем никому не признавался... Уполномо-

ченный противовоздушной обороны Х.— это я сам. Стихи моего сочинения. Написаны после майских налетов сорок первого года.

— И у вас есть что-нибудь еще? — спросил я.

— Нет, сэр, больше ничего нет. Ах, да! Еще я описал в стихах похороны ребенка.

— А теперь, джентльмены,— объявил казначей,— гвоздь нашей программы в исполнении мистера Фернандеса.

Это действительно оказалось гвоздем программы, ибо мистер Фернандес зарыдал, и его слезы были так же неожиданны, как и дрожь, охватившая мистера Бакстера. Может быть, он злоупотребил шампанским? Или расчувствовался над декламацией мистера Бакстера? Последнее казалось маловероятным, потому что он как будто ни слова не знал по-английски, кроме «да» и «нет». И вот он плакал, сидя в кресле навытяжку; он плакал с большим достоинством, и я подумал: первый раз передо мной плачущий негр. Мне приходилось видеть, как они смеются, злятся, пугаются, но чтобы кого-нибудь из них так сразило какое-то горе, как сразило оно этого человека, я не помнил. Мы сидели молча и смотрели на него; тут ничего нельзя было поделать — у нас с ним не было средств общения. Он чуть подрагивал всем телом, как подрагивало все в салоне от вибрации машин, и я сказал себе, что в общем-то скорбь приуготовит нас к приезду в эту черную республику гораздо лучше, чем музыка и пение. Нам было над чем поплакать в тех местах, куда мы плыли.

И тут я впервые увидел Смитов во всем их блеске. Меня покоробило, когда миссис Смит отбрила несчастного Бакстера — ей, вероятно, вообще были отвратительны стихотворения о войне, но теперь она, единственная из нас, пришла на помощь мистеру Фернандесу. Она села рядом с ним и, не сказав ни слова, взяла его руку в свою, а другой поглаживала его розовую ладонь. Словно мать, которая успокаивает ребенка, впервые попавшего на люди. Мистер Смит тут же присоединился к ней и сел слева от мистера Фернандеса, так что втроем они образовали маленькую группу. Миссис Смит негромко гукала, будто это было ее родное дитя, и мистер Фернандес перестал плакать так же внезапно, как и начал. Он встал, поднес к губам старчески сухенькую руку миссис Смит и вышел из салона.

— Ну, знаете! — воскликнул Бакстер.— Что это с ним?..

— Странно,— сказал казначей.— Очень странно.

— Весьма некстати,— сказал Джонс и поднял бутылку со стола. Она была пустая, и Джонс снова поставил ее на место. Дирижер взял свою длинную вилку и ушел в камбуз.

— У этого несчастного человека горе,— сказала миссис Смит. Другого объяснения как бы и не требовалось, и она посмотрела на свою руку, точно ожидая, что кожа сохранит отпечаток полных губ мистера Фернандеса.

— Ах, как некстати! — повторил Джонс.

Мистер Смит сказал:

— Если возражений не будет, я бы предложил закончить наш концерт пением «За дружбу старую до дна». Скоро двенадцать. Мне бы не хотелось, чтобы мистер Фернандес, сидя один у себя в каюте, думал, будто мы все еще продолжаем... резвиться.— Вряд ли мне пришло бы в голову воспользоваться этим словом для характеристики нашего празднества, но в принципе я с мистером Смитом согласился. Оркестра уже не было, но мистер Джонс сел за рояль и довольно прилично подобрал аккомпанемент этой ужаснейшей песни. Чувствуя себя неловко, мы переплели руки и запели. Без кока, Джонса и мистера Фернандеса кружок у нас получился маленький. Мы еще не успели как следует проверить «дружбу старых лет», а вина в чарках у нас уже не осталось.

7

Было далеко за полночь, когда Джонс постучал в дверь моей каюты. Я просматривал свои бумаги на предмет уничтожения всего того, что власти могли бы истолковать не в мою пользу — например, у меня хранилась переписка относительно предполагаемой продажи отеля, и в некоторых письмах были рискованные ссылки на политическое положение в стране. Я сидел, погруженный в свои мысли, и ответил на его стук с некоторой нервозностью, точно мы были уже на Гаити, и там, за дверью, стояли тонтон-макуты.

— Вы еще не спите? — спросил он.

— Даже не начинал раздеваться.

— А я все сокрушаюсь о сегодняшнем вечере. Вот нехорошо получилось! Правда, материал был очень уж скудный. Но знаете, у меня какой-то бзик насчет последнего вечера на пароходе — может, никогда больше и не увидимся. Будто под Новый год — когда хочется, чтобы старикан ушел с честью. Ведь умирать можно и по-доброму. Мне было не по себе, когда этот черный заплакал. Ему словно виделось что-то. Впереди. Я, конечно, человек не религиозный.— Он испытующе посмотрел на меня.— И вы тоже, по-моему.

У меня создалось впечатление, что Джонс явился неспроста — не только за тем, чтобы посетовать по поводу неудавшегося вечера, а, скорее, с какой-нибудь просьбой или с вопросом. Если бы он имел возможность чем-то пригрозить мне, я бы даже заподозрил, что этим его приход и объясняется. Двусмысленность выделяла его, точно кричащий костюм, и он явно выставлял ее напоказ, будто говорил: «Принимайте меня таким, каков я есть». Он снова начал:

— Казначей уверяет, что вы в самом деле хозяин отеля...

— А у вас были сомнения на этот счет?

— Да нет, не то чтобы. Но, на мой взгляд, вы человек не того склада. Паспортные данные у нас не всегда соответствуют истине,— пояснил он с умилительной рассудительностью.

— А что стоит в вашем паспорте?

— Директор компании. И это верно... до некоторой степени.

— Звучит несколько неопределенно,— сказал я.

— А в вашем?

— Бизнесмен.

— Но это еще неопределеннее! — торжествующим голосом воскликнул он.

Выспрашивание — правда, несколько завуалированное — стало основой наших отношений на тот короткий срок, пока они длились: мы цеплялись за малейшие ниточки, хотя и делали вид, будто верим друг другу, когда речь шла о вещах серьезных. Я думаю, что те из нас, кто почти всю свою жизнь лукавит — с женщинами ли, с компаньонами и даже с самими собой, чуют себе подобных издали. Мы с Джонсом успели узнать многое друг о друге, прежде чем все кончилось, ибо частичке правды всегда даешь ход, если выпадает такая возможность. Это своеобразная форма экономии.

Он сказал:

— Вы жили в Порт-о-Пренсе. И, должно быть, знаете кое-кого из тамошних больших шишек.

— Они приходят и уходят.

— Скажем, в армии.

— Из этих никого не осталось. Папа Док не доверяет армии. Начальник штаба, по-моему, скрывается в посольстве Венесуэлы. Генерал убрался в Санто-Доминго. Несколько полковников засели в доминикан-

ском посольстве, а еще два или три майора в тюрьме — если они до сих пор еще живы. У вас есть рекомендательные письма к кому-нибудь из них?

— Да нет, не совсем,— сказал он, но вид у него при этом был довольно кислый.

— С такими письмами лучше подождать, пока не удостоверитесь, что ваш адресат жив.

— У меня есть записочка от гаитянского генерального консула в Нью-Йорке, он пишет...

— Не забывайте: мы три дня пробыли в море. За это время мало ли что могло случиться. А вдруг генеральный консул попросил там политического убежища...

Он сказал мне то же, что и судовой казначей:

— Не понимаю, почему вы сами туда возвращаетесь, если там такие дела?

Ответить правдиво было менее утомительно, чем что-то выдумывать, да и час был поздний.

— Соскучился,— сказал я.— Спокойная жизнь может действовать на нервы не меньше, чем опасность.

Он сказал:

— Да. Мне тоже думалось, что чем другим, а всякими опасностями я был сыт по горло на войне.

— В каких частях вы служили?

Джонс осклабился; вопрос был задан слишком уж в лоб.

— Э-э! — сказал он.— Я и в те дни отличался непоседливостью. Летал с места на место. Скажите, а что за тип наш посол?

— Нашего посла там нет. Его выдворили больше года назад.

— Тогда поверенный в делах?

— Он делает все, что может. И когда может.

— К любопытной стране мы подплываем.

Он подошел к иллюминатору, точно надеясь увидеть эту страну за последними двумя сотнями морских миль, но там ничего нельзя было разглядеть, кроме света из каюты, желтыми маслянистыми разводами лежавшего на темной воде.

— Не совсем то, что считалось туристским раем?

— Да. Собственно, туристского рая на Гаити никогда и не было.

— Но, может, для человека с воображением некоторые возможности там есть?

— Все зависит от...

— От чего?

— От степени щепетильности человека.

— Щепетильности? — Он смотрел на клубившуюся за иллюминатором ночь и, казалось, старательно взвешивал мой ответ.— Да-а... но щепетильность стоит денежек... Как вы думаете, почему этот негр плакал?

— Понятия не имею.

— Неудачный получился вечер. Надеюсь, в следующий раз все будет лучше.

— В следующий раз?

— Да. Когда станем провожать этот год. Куда бы нас всех ни занесло к тому времени.— Он отошел от иллюминатора и сказал: — Ну, видимо, пора на боковую? А Смит — как по-вашему, что *он* замышляет?

— Почему он должен что-то замышлять?

— Может быть, вы и правы. Ладно, не будем. Ну, я пойду. Кончилось наше путешествие. Отступать некуда.— И добавил, взявшись за дверную ручку: — Я хотел, чтобы было немножко веселее, но что-то ничего не получилось. На боковую — всему делу венец. Вот так-то.

Глава II

возвращался в эту запуганную, замордованную страну, не возлагая особенных надежд на свое возвращение, и все-таки чуть ли не обрадовался, когда увидел с борта «Медеи» так хорошо знакомый мне лик Порт-о-Пренса. Громада Кенскоффа, накренившаяся над городом, как всегда, наполовину скрывалась в густой тени; позднее солнце стеклянными бликами отсвечивало от фасадов новых зданий, выстроенных к международной выставке в так называемом современном стиле. «Медея» подходила к Порт-о-Пренсу на глазах у каменного Колумба — места наших вечерних свиданий с Мартой, которые длились до тех пор, пока комендантский час не разгонял нас по нашим тюрьмам, и мы замыкались: я у себя в отеле, она — в посольстве, не имея даже возможности позвонить друг другу, потому что телефон не работал. Марта всегда сидела в машине своего мужа, в полной темноте и, услышав приближение моего «хамбера», включала навстречу ему фары. Где она назначает свидания теперь, когда комендантский час отменен, и кому? В том, что мне нашли замену, я не сомневался. В наши дни на верность ставки не делают.

Я был слишком погружен в свои нелегкие мысли, чтобы помнить о тех, кто ехал вместе со мной. Из британского посольства на мое имя ничего не поступало, значит, пока что все обстоит благополучно. В иммиграционном пункте и на таможне началась обычная сутолока. Причалил только один наш пароход, и все-таки там было не протолкнуться: носильщики, шоферы такси, сидевшие неделями без пассажиров, полицейские, нет-нет да и тонтон-макут в темных очках и мягкой шляпе и нищие — нищие, куда ни глянь. Они просачивались в каждую щель, как вода в период дождей. Один, безногий, сидел под таможенной стойкой, точно кролик в клетке, и, стараясь выразить что-то мимикой, гримасничал, не произнося ни слова.

Сквозь толпу ко мне протискивалась знакомая фигурка. Обычно он шнырял в аэропорту, и я никак не ожидал увидеть его здесь. Это был журналист по прозвищу Крошка Пьер — метис в стране, где представителей смешанных рас считают аристократами и где они дожидаются своей очереди на плаху. Про Крошку Пьера поговаривали, будто он связан с тонтонами, иначе как ему удалось избежать побоев или чего-нибудь похуже? Но тем не менее в его отделе светской хроники звучали иной раз довольно смелые сатирические нотки — может быть, он рассчитывал на то, что в полиции не умеют читать между строк.

Крошка Пьер схватил меня за обе руки, как будто мы с ним были закадычные друзья, и заговорил по-английски:

— Мистер Браун, мистер Браун! Вы ли это?

— Здравствуйте, Крошка Пьер.

Крошка Пьер залился смехом, привстав на цыпочки в своих узконосых ботинках и глядя на меня снизу вверх, потому что он был совсем малюсенький. Все такой же хохотун, каким я его помнил. Поздороваться — ему и то смешно. Движения у Крошки Пьера были по-обезьяньи юркие, и казалось, что смех, точно на канате, носит его от стены к стене. Я всегда думал: придет день — а такого дня не миновать человеку со столь ненадежным и рискованным промыслом,— когда Крошка Пьер станет потешаться над своим палачом, как, говорят, поступают в подобных случаях китайцы.

— Рад вас видеть, мистер Браун. Ну, как там лампионы Бродвея? Мэрилин Монро, вдоволь хорошего виски из-под полы?..— Он несколько

поотстал от жизни, ибо за последние тридцать лет не выезжал дальше Кингстона на Ямайке.— Дайте мне ваш паспорт, мистер Браун. А багажные квитанции? — Он помахал ими над головой, проталкиваясь сквозь толпу, и все за меня уладил, потому что знал всех и вся. Таможенник даже не подумал открывать мои чемоданы. Крошка Пьер пошушукался о чем-то с тонтон-макутом, стоявшим в дверях, и к тому времени, когда я выбрался наружу, уже достал мне такси.— Садитесь, садитесь, мистер Браун. Ваши вещи сейчас будут.

— Ну, как тут у вас? — спросил я.

— Все нормально. Все тихо.

— И комендантского часа нет?

— Зачем нам комендантский час, мистер Браун?

— В газетах писали о беспорядках на севере.

— В газетах? В американских газетах? Да неужели вы им верите, американским газетам? — Он просунул голову в машину и сказал, как всегда похохатывая ни к селу, ни к городу: — Нет, вы даже представить себе не можете, как я рад, что вы вернулись!

Я почти поверил ему.

— А что тут удивительного? Разве мое место не здесь?

— Конечно здесь, мистер Браун. Вы истинный друг Гаити.— Он снова захохотал.— Тем не менее за последнее время многие из наших истинных друзей поразъехались отсюда.— Потом, чуть понизив голос: — Правительству пришлось конфисковать некоторые пустующие отели.

— Благодарю за предупреждение.

— Нельзя же, чтобы недвижимая собственность приходила в негодность.

— Да, это сделано, безусловно, из добрых чувств. Кто же в них теперь живет?

Он хихикнул.

— Гости нашего правительства.

— Стали принимать гостей?

— Приезжала польская миссия, но что-то быстро отбыла восвояси. А вот и ваши чемоданы, мистер Браун.

— Успею я добраться до «Трианона», пока не выключат свет?

— Да... если сразу туда поедете.

— Куда же мне еще ехать?

Крошка Пьер фыркнул и сказал:

— Возьмите меня с собой, мистер Браун. Сейчас между Порт-о-Пренсом и Петьонвилем всюду заставы.

— Садитесь. Так и быть. Только бы поменьше неприятностей,— сказал я.

— Что вы делали в Нью-Йорке, мистер Браун?

Я ответил с полной откровенностью:

— Пытался найти покупателя на свой отель.

— Не удалось?

— Нет, не удалось.

— Такая великая страна — и нет духа предпринимательства?

— Вы же выдворили их военную миссию. Вынудили отозвать посла. И после этого рассчитывать на доверие? Да-а! Я совсем забыл. С нашим пароходом приехал Кандидат в президенты.

— Кандидат в президенты? Что же меня никто не предупредил?

— Правда, не преуспевший.

— Не важно! Кандидат в президенты! А зачем он сюда приехал?

— У него рекомендательное письмо к министру социального благосостояния.

— К доктору Филипо? Но доктор Филипо...

— Что-нибудь случилось?

— Да ведь знаете, какое это дело политика. Всюду, во всех странах.

— Доктор Филипо смещен?

— Он нигде не показывался последнюю неделю. Говорят, уехал отдыхать.— Крошка Пьер тронул шофера за плечо.— Остановись, mon ami*.— Мы еще не успели доехать до статуи Колумба, а уже заметно стемнело. Крошка Пьер сказал: — Мистер Браун, я, пожалуй, вернусь и разыщу этого кандидата. Вспомните свою собственную страну — ведь не годится попадать в ложное положение. Вряд ли мне пошло бы на пользу, если б я приехал теперь в Англию с рекомендательным письмом на имя Макмиллана.— Он взмахнул рукой на прощание.— Скоро загляну к вам выпить стаканчик виски. Ах, как я рад, как я рад, что вы вернулись, мистер Браун! — И убежал в состоянии эйфории, без малейшей на то причины.

Мы поехали дальше. Я спросил шофера — по всей вероятности, агента тонтон-макутов:

— Успеем мы добраться до «Трианона», пока не выключат электричество?

Он пожал плечами. Сообщать какие бы то ни было сведения не входило в его обязанности. В окнах выставочного павильона, занятого теперь министром иностранных дел, все еще горел свет, а около статуи Колумба стоял «пежо». Конечно, в Порт-о-Пренсе много таких машин, и вряд ли она может быть настолько жестока или настолько лишена вкуса, чтобы назначать кому-то свидания на прежнем месте. Все же я сказал шоферу:

— Я здесь выйду. Вещи отвезите в «Трианон». Жозеф вам заплатит.

Большее безрассудство трудно было себе представить. Полковнику тонтон-макутов завтра же к утру будет точно известно, где я бросил такси. Единственная мера предосторожности, которую еще можно было принять, это удостовериться, что машина ушла. Я следил за огоньками ее задних фар, пока они не исчезли из виду. Потом пошел к Колумбу и стоявшему около него автомобилю. Я подошел к нему сзади и увидел на номерном знаке букву «д». Это была машина Марты, и она сидела там одна.

Несколько минут я наблюдал за ней, не будучи замеченным. Потом вдруг подумал, что можно постоять здесь, в двух шагах, и увидеть человека, которому назначена встреча. Но тут она повернула голову и посмотрела в мою сторону — почувствовала, что за ней наблюдают. Потом приспустила стекло и резко проговорила по-французски, точно я был одним из тех бесчисленных нищих, которыми кишел район порта:

— Кто это? Что вам нужно? — И включила фары.— О боже! Ты все-таки вернулся,— сказала она таким тоном, будто речь шла о перемежающейся лихорадке.

Она отворила дверцу, и я сел рядом с ней. В ее поцелуе чувствовалась неуверенность и опаска.

— Почему ты вернулся?

— Мне тебя недоставало — наверное, потому.

— И ради такого открытия стоило убегать?

— Я надеялся, что если уехать, то все изменится.

— Ничего не изменилось.

— Что ты здесь делаешь?

— Скучаю по тебе, лучшего места не нашла.

— А может быть, ждешь кого-нибудь?

— Нет.— Она взяла меня за палец и так его вывернула, что мне стало больно.— Несколько месяцев я могу хранить благоразумие. Если не считать снов. Я изменяла тебе только во сне.

— Я тоже был тебе верен — по-своему.

---

* Друг *(франц.)*.

— Не надо мне объяснять сейчас,— сказала она,— как это у тебя бывает «по-твоему». Помолчи. Просто побудь тут.

Я повиновался. Мне было и хорошо и горько, потому что *здесь* ничего не изменилось, разве лишь то, что нет моей машины и ей придется отвезти меня в своей с риском попасться кому-нибудь на глаза вблизи «Трианона» — не прощаться же нам тут, у Колумба. И, даже лаская, я испытывал ее. Неужели она настолько смела, чтобы отдаться мне, ожидая встречи с кем-то другим? Но я тут же подумал, что такое испытание ничего не решит — этой женщины хватит на что угодно. Не отсутствие же смелости удерживает ее около мужа. Она вскрикнула — таким знакомым мне голосом — и зажала рот рукой. Дрожь ушла, она, как усталый ребенок, покоилась у меня на коленях. Она сказала:

— Я забыла поднять стекло.

— Надо ехать в «Трианон», пока не погасили свет.

— Нашелся покупатель на твой отель?

— Нет.

— Я рада.

Музыкальный фонтан в городском парке стоял темный, без воды, музыка в нем не играла. Электрические лампочки, перемигиваясь, вещали в ночи: «Je suis le drapeau Haïtien, Uni et Indivisible. François Duvalier».*

Мы миновали обугленные балки дома, подожженного тонтон-макутами, и стали подниматься вверх к Петьонвилю. На полпути была застава. Волоча винтовку за ствол, к машине подошел человек в рваной рубашке, серых штанах и в старой мягкой шляпе, уже побывавшей в мусорном ящике. Он велел нам выйти на предмет обыска.

— Я выйду, но эта дама из дипломатического корпуса,— сказал я.

— Оставь, милый,— сказала Марта.— Теперь привилегиями никто не пользуется.— Она первая подошла к обочине шоссе, подняв руки над головой и улыбаясь караульному такой улыбкой, от которой меня передернуло.

Я сказал ему:

— Вы что, не видите букву «д» на номерном знаке?

— А ты не видишь,— сказала она,— что он не умеет читать?

Караульный ощупал мне бедра и провел рукой между ног. Потом открыл багажник. Обыск производился без особой сноровки и скоро кончился. Караульный поднял барьер и пропустил нас.

— Мне не хочется, чтобы ты ехала назад без провожатого,— сказал я.— Пошлю с тобой кого-нибудь из коридорных — если у меня хоть один остался.— И потом, проехав еще с полмили, я снова вспомнил о своих подозрениях. Если мужья, по слепоте своей, не замечают неверности, то любовники, должно быть, грешат другим: они видят ее всюду.— Признайся, чего ты там ждала, у памятника?

— Не будь глупцом хоть сегодня,— сказала она.— Я счастлива.

— Да ведь я тебе не писал, что возвращаюсь.

— В этом месте было хорошо вспоминать тебя, только и всего.

— Какое совпадение, что именно сегодня...

— Ты думаешь, что я только сегодня потрудилась тебя вспомнить?— Она добавила:— Луис спросил меня как-то, почему я больше не езжу играть в джин-рамми — ведь комендантский час отменили. И на следующий вечер я взяла машину, как раньше. Встречаться мне не с кем, делать нечего, вот я и езжу сюда, к памятнику.

— И Луис доволен?

— Он всегда всем доволен.

И внезапно вокруг нас, над нами и внизу все огни потухли. Элек-

---

* Я знамя Гаити, Единое и Неделимое. Франсуа Дювалье *(франц.)*.

трическое зарево осталось только в районе порта и правительственных зданий.

— Надеюсь, Жозеф сберег хоть немного керосину к моему приезду,—сказал я.— Надеюсь, его благоразумие все еще при нем, так же как и девственность.

— А он девственник?

— Во всяком случае целомудренный. С тех пор как его исколошматили тонтон-макуты.

Машина свернула на крутой въезд к отелю, обсаженный пальмами и кустами бугенвиллеи. Я всегда удивлялся, почему первый владелец назвал свой отель «Трианоном». Трудно было придумать более неподходящее название. Постройка — и не классическая, под восемнадцатый век, и не пышная во вкусе двадцатого. С этими башенками, балконами и деревянным орнаментом по фасаду он смахивал по вечерам на одно из творений Чарльза Адамса в каком-нибудь номере «Нью-Йоркера». Так и ждешь, что двери тебе откроет колдунья или одержимый слуга, а позади него на люстре будет висеть летучая мышь. Но при солнечном свете или когда среди пальм горели фонари, «Трианон» казался легким, старинным, изящным и нелепым — точно с картинки из книги сказок. С годами я полюбил свой отель и отчасти был даже рад, что покупателя на него не нашлось. Если не расставаться с ним еще несколько лет, думалось мне, я почувствую, что это и есть мой дом. Для того чтобы почувствовать себя дома, требуется немалое время, как и для того, чтобы сделать любовницу своей женой. Даже самоубийство моего компаньона не так уж отразилось на моих собственнических аппетитах. Я мог бы повторить вслед за братом Лоренцо фразу из французского перевода «Ромео и Джульетты», которую у меня были все основания запомнить:

Le remède au chaos
N'est pas dans ce chaos.*

Исход был в успехе, к которому мой компаньон не имел никакого касательства; в голосах, доносившихся от плавательного бассейна, в позвякиванье кусочков льда в баре, где Жозеф подавал свой знаменитый ромовый пунш, в наездах такси из города, в гомоне на веранде во время ленча, а ближе к ночи — барабанщик, танцовщицы, гротескный персонаж балета Барон Суббота в цилиндре и его легкие шажки под освещенными пальмами. Хоть и недолго, но все это у меня было.

Мы подъехали к отелю в полной темноте, и я снова поцеловал Марту. Поцелуй все еще был вопросительный. Я не верил, что за три месяца, проведенные в разлуке, можно сохранить верность. Может быть — эта догадка претила мне меньше, чем другая,— может быть, она опять с мужем? Я прижал ее к себе и спросил:

— Как там Луис?

— Такой же,— сказала она.— Все такой же.

А ведь когда-то, подумал я, она любила его. Вот одна из казней преступной любви: самое тесное объятие вашей возлюбленной — лишнее доказательство того, что любовь проходит. Мы с Луисом встретились во второй раз, когда я, среди других тридцати приглашенных, был на каком-то приеме в его посольстве. Мне казалось невероятным, чтобы посол — вот этот тучный человек лет пятидесяти, волосы у которого блестели, точно начищенный башмак,— мог не заметить, как часто мы находили друг друга глазами в толпе, как она коснулась моей руки, проходя мимо. Но Луис держался величественно, выработав в себе величие раз и навсегда: вот мое посольство, вот моя жена, вот мои гости. Спичечные книжечки были у него с монограммами, монограммы стояли

* Слезы не исход в несчастье.— Перевод Б. Пастернака.

даже на сигарных этикетках. Помню, как он поднял на свет бокал с коктейлем и показал мне тончайше наведенную на стекле бычью морду. Он сказал:

— Это сделано в Париже, по моему специальному заказу.

Чувство собственности было развито в нем чрезвычайно, но, может быть, он легко одалживал другим то, что ему принадлежало.

— Луис утешал тебя в мое отсутствие?

— Нет,— сказала она, и я мысленно проклял себя за трусость, ибо так сформулировал вопрос, что ее ответ можно было истолковать по-разному. Она добавила: — Никто меня не утешал.— А я сразу начал перебирать в уме все оттенки слова «утешение», из которых она могла выбрать нужный ей, не погрешив против правды. Она была человек правдивый.

— У тебя другие духи.

— Луис подарил в день рождения. Твои кончились.

— День рождения. Я забыл...

— Ничего.

— Где там Жозеф застрял? — сказал я.— Он же должен услышать машину.

Она сказала:

— Луис добрый. Это только ты меня колошматишь. Как тонтон-макуты Жозефа.

— Как это понимать?

Все было по-старому. Через десять минут после встречи — объятия, через полчаса начали ссориться. Я вылез из машины и в темноте поднялся на веранду. На верхней ступеньке я чуть было не споткнулся о свои чемоданы, брошенные тут, должно быть, шофером такси, крикнул:

— Жозеф! Жозеф! — и ответа не услышал. Веранда отеля тянулась вправо и влево от меня, но обеденной сервировки ни на одном из столиков не было. В открытую дверь мне был виден бар, освещенный маленькой керосиновой лампой — вроде тех ночников, что ставят у постели ребенка или больного. Вот он, мой роскошный отель — кружок света, в который только-только попадает початая бутылка рома, два табурета, сифон с содовой, притаившийся в тени, точно какая-то длинноклювая птица. Я опять позвал: — Жозеф! Жозеф! — И опять никто мне не ответил. Тогда я сошел вниз к машине и сказал Марте:— Побудь тут минутку.

— Что-нибудь случилось?

— Никак не доищусь Жозефа.

— Мне пора домой.

— Не поедешь же ты одна. Нечего торопиться. Подождет твой Луис.

Я снова поднялся наверх, в отель «Трианон». «Центр интеллектуальной жизни Гаити. Роскошный отель, где угождают вкусам знатоков первоклассной кухни и любителям экзотики. Заказывайте наши напитки, изготовленные из лучших марок гаитянского рома, купайтесь в роскошном плавательном бассейне, слушайте игру на гаитянском барабане и любуйтесь гаитянскими танцовщицами. У нас можно встретить местную интеллектуальную элиту, музыкантов, поэтов, художников, которые считают отель «Трианон» своим центром...» Когда-то все, изложенное в этой рекламной брошюре для туристов, было недалеко от истины.

Я сунул руку под стойку и нащупал там электрический фонарик. Потом прошел через холл к себе в контору... Письменный стол, заваленный старыми счетами и квитанциями. Надеяться, что в конторе меня будет ждать клиент, не приходилось, там даже моего Жозефа не было. Вот ты и вернулся домой, подумал я, вот и вернулся. Под окнами конторы был плавательный бассейн. Раньше к этому часу в «Трианон» уже съезжались бы на коктейль гости из других гостиниц. В добрые старые

времена туристы приезжали пить в «Трианон», кроме тех, у кого все виды обслуживания входили в стоимость поездки. Американцы неизменно заказывали сухой мартини. К ночи кто-нибудь из них уж обязательно плавал в бассейне нагишом.

Помню, я как-то выглянул из окна своей комнаты в два часа ночи. Над деревьями стояла большая желтая луна, а в бассейне девушка обнимала какого-то мужчину. Его я не разглядел. Она не заметила, что на нее смотрят, она ничего вокруг себя не замечала. И в ту ночь я подумал, засыпая: ну, теперь у тебя все как надо.

В саду, со стороны бассейна, послышались шаги — припадающие шаги хромого. Жозеф охромел со времени своего знакомства с тонтон-макутами. Я хотел выйти ему навстречу, но в последнюю минуту еще раз посмотрел на письменный стол. Там чего-то не хватало. Вот счета, скопившиеся за время моей отлучки, но где маленькое бронзовое пресс-папье в виде гробика с буквами «R.I.P.», которое я купил как-то на рождество в Майами? Никакой ценности эта вещица не имела — я заплатил за нее всего два доллара семьдесят пять центов, но она была моя, она казалась мне забавной, и вот ее нет. Почему всегда что-нибудь меняется за наше отсутствие? Даже у Марты другие духи. Чем менее прочно наше существование, тем с большей неохотой расстаешься с мелочами, из которых оно складывается.

Я вышел навстречу Жозефу. С веранды мне был виден его фонарик, штопором буравивший извилистую дорожку от бассейна.

— Это вы, мосье Браун? — испуганно спросил он.

— А кто же еще? Почему тебя не было на месте, когда я приехал? Как это ты бросил мои чемоданы?

Он стоял внизу, подняв ко мне свое черное расстроенное лицо.

— Меня подвезла мадам Пинеда. Поедешь с ней в город, проводишь. Обратно вернешься на автобусе. А садовник здесь?

— Он ушел.

— Повар?

— Он ушел.

— Мое пресс-папье? Куда девалось мое пресс-папье?

Он посмотрел на меня, будто не понимая, о чем это я.

— Гостей тут у вас совсем не было в мое отсутствие?

— Нет, мосье. Только...

— Ну?

— Четыре ночи назад пришел доктор Филипо. Он сказал, никому не говорить.

— А что ему тут понадобилось?

— Я ему сказал, здесь нельзя. Я сказал, тонтон-макуты будут его здесь искать.

— Ну, а он что?

— Он все равно. Тогда повар ушел и садовник ушел. Они сказали, мы придем, когда он уйдет. Он очень больной. И остался. Я сказал, надо в горы, а он говорит, не могу ходить, не могу ходить. У него ноги очень распухли. Я ему сказал, надо, а то вы скоро вернетесь.

— Вот вернулся, а тут черт-те что делается,— сказал я.— Я сам с ним поговорю. В каком он номере?

— Когда я услышал, идет машина, я ему крикнул: тонтоны, скорей бегите. А у него нет сил. Он не хочет уходить. Он говорит: я старик. Я ему сказал, вас найдут, мосье Брауну будет плохо. Если тонтоны вас поймают на дороге, вам все равно, а если здесь — мосье Брауну будет плохо. Я сказал: я пойду, буду говорить с ними. Тогда он побежал быстро-быстро. А это был дурак шофер с вашими чемоданами... Тогда я скорей к нему — рассказать.

— Что же нам с ним делать, Жозеф?

Доктор Филипо, хоть и лицо должностное, был не такой уж плохой человек. В первый год своего пребывания у власти он даже пытался заняться благоустройством трущобных кварталов в районе порта. В нижнем конце улицы Дезе поставили водокачку, к ней привинтили чугунную плиту с его именем, но водопроводные трубы так и не успели смонтировать, потому что подрядчики остались недовольны размерами взятки.

— Я пришел в номер, а его там больше нет.

— Ты думаешь, он скрылся в горы?

— Нет, мосье Браун, не в горы,— сказал Жозеф. Он стоял внизу, понурившись.— Я думаю, он очень нехорошо сделал.— Жозеф повторил вполголоса надпись, начальные буквы которой украшали мое пресс-папье: — «Requiescat in Pace»,* — ибо Жозеф был добрый католик и столь же добрый водуист.— Пожалуйста, мосье Браун, пойдемте со мной.

Я пошел следом за ним к бассейну, где совсем в другую эпоху, в Золотом веке, хорошенькая девушка занималась любовью. Вода оттуда была спущена. Мой фонарик осветил мелкий сектор и дно, засыпанное листьями.

— В том конце,— сказал Жозеф и, остановившись в нескольких шагах от бассейна, дальше не двинулся. Доктор Филипо, видимо, вошел в узкую норку тени, падавшей от трамплина, и теперь лежал под ним, скорчившись, подтянув колени к подбородку, точно престарелый утробный плод, облаченный к погребению в приличный серый костюм. Он перерезал себе сначала вены на руках, а потом, чтоб уж наверняка, и горло. Над самой его головой зияло темное отверстие водопроводной трубы. Чтобы смыть кровь, надо было только отвернуть кран. Доктор Филипо проявил к нам максимум внимания, в меру своих возможностей. Смерть наступила недавно. Первые мои мысли были эгоистического порядка: человек не несет ответственности, если кто-то покончил с собой в его плавательном бассейне. Попасть сюда можно прямо с дороги, минуя самый отель. Раньше к бассейну постоянно приходили нищие — всучивать купающимся резные деревянные фигурки и прочую ерунду.

Я спросил Жозефа:

— Доктор Мажио все еще в городе?

Он молча кивнул.

— Ступай к мадам Пинеда, она сидит внизу в машине, и попроси подвезти тебя к нему по дороге в посольство. Ничего ей не говори. Потом прямо сюда, если он согласится приехать.— Это единственный врач в городе, подумал я, у которого хватит смелости заняться врагом Барона, хоть и бездыханным. Но Жозеф не успел отойти от меня, как я услышал чьи-то шаги и голос, который мог принадлежать только миссис Смит.

— Нью-йоркским таможенникам есть чему поучиться у здешних. Они так вежливо нас приняли. Вот что значит чернокожие. А от белых учтивости ждать не приходится.

— Осторожнее, голубчик, тут на дорожке выбоина.

— Я прекрасно все вижу. Сырая морковь незаменимая вещь, если вы хотите сохранить зрение, миссис...

— Пинеда.

— ...миссис Пинеда.

Марта шла последняя с электрическим фонариком. Мистер Смит сказал:

— Мы обнаружили эту милую даму внизу, в машине. Там поблизости не было ни души.

---

* Да почиет в мире *(лат.)*.

— А-а, прошу прощения! Я совсем забыл, что вы решили остановиться у меня.

— По-моему, мистер Джонс тоже собирался к вам, но, когда мы уходили, с ним о чем-то беседовал полицейский. Надеюсь, у него там обойдется без неприятностей.

— Жозеф, приготовь для мистера и миссис Смит номер «люкс» Джона Барримора. И побольше ламп туда. Вы уж нас извините за темноту. Свет должны дать с минуты на минуту.

— А нам и так нравится,— сказал мистер Смит.— В этом есть что-то романтическое.

Если душа, по убеждению некоторых витает час-другой над оставленным ею телом, каких только банальностей ей не суждено наслушаться, когда в горестной надежде она будет ждать, что вот-вот родится серьезная мысль, прозвучит слово, облагораживающее покинутую ею земную жизнь. Я сказал миссис Смит:

— Сегодня, если вы не возражаете, будет только яичница. Завтра я все налажу, как вам нужно. К несчастью, повар у меня ушел со вчерашнего дня.

— Не хлопочите насчет яичницы,— сказал мистер Смит.— Мы, признаться, относимся к яйцам несколько отрицательно. Но у нас есть дрожжелин.

— А я буду пить свои пивные дрожжи,— сказала миссис Смит.

— Нам только немного кипятку,— сказал мистер Смит.— Мы с женой умеем приспосабливаться. Вы о нас, пожалуйста, не беспокойтесь. Какой прекрасный плавательный бассейн!

Чтобы показать им его величину, Марта повела лучом своего фонарика к трамплину и глубокому сектору. Я выхватил фонарик у нее из рук и направил свет кверху, на декоративную башенку и на балкон, нависавший над пальмами. Окна двойного номера, который прибирал Жозеф, были освещены.

— Вон ваши апартаменты,— сказал я.— Номер Джона Барримора. Оттуда прекрасно виден весь Порт-о-Пренс — гавань, дворец, собор.

— А Джон Барримор действительно здесь останавливался? — спросил мистер Смит.— В этом самом номере?

— Это было до меня, но я могу показать вам счета на виски, которые ему подавали.

— Какой талант загублен! — грустно проговорил мистер Смит.

У меня не выходило из головы, что часы экономии электроэнергии скоро кончатся и во всем Порт-о-Пренсе зажгутся огни. Свет выключали иной раз часа на три, а то и часу не проходило — словом, когда как. Уезжая, я распорядился, чтобы во время моего отсутствия дела в отеле велись по-прежнему, ибо — кто знает — вдруг приедет на несколько дней кто-нибудь из журналистов писать очерк о том, что, конечно, будет у него называться «Республика кошмаров». Может быть, на взгляд Жозефа, ведение дел по-прежнему означало прежнее количество фонарей среди пальм, фонари вокруг всего бассейна? Мне не хотелось, чтобы Кандидат в президенты увидел труп, скорчившийся под трамплином,— по крайней мере не в день приезда. Это не соответствовало моему пониманию законов гостеприимства. К тому же он, кажется, упоминал о рекомендательном письме на имя министра по делам социального благосостояния.

На дорожке появился Жозеф. Я велел ему проводить Смитов в их номер, а потом отвезти в город миссис Пинеда.

— Наши чемоданы на веранде,— сказала миссис Смит.

— Теперь они уже в номере. Ручаюсь вам, свет скоро дадут. Вы уж нас извините. Страна наша очень бедная.

— Как подумаешь, сколько электричества жгут без толку на Бродвее...— сказала миссис Смит, и, к моему величайшему облегчению, они стали подниматься вверх по дорожке следом за Жозефом, который освещал им путь. Мы стояли у мелкого сектора бассейна, но теперь, когда глаза мои привыкли к темноте, я, кажется, различал в дальнем его конце будто глыбу земли — труп.

Марта сказала:

— Что-нибудь неладно? — и посветила фонариком прямо мне в лицо.

— Я еще не успел проверить. Дай-ка мне фонарь на минутку.

— Почему ты задержался тут?

Я направил луч на пальмы, подальше от бассейна, будто осматривая электропроводку.

— Разговаривал с Жозефом. Пойдем теперь наверх?

— Чтобы налететь на Смитов? Нет, лучше останемся. Подумать только! Ведь я ни разу здесь не бывала. Здесь, у тебя дома.

— Да, мы вели себя благоразумно.

— Ты даже не спросишь, как Анхел.

— Виноват.

Анхел — это был ее сын, несносный ребенок, наш разлучник. Он был слишком толст для своего возраста, глаза у него были отцовские, эдакие коричневые пуговки, он вечно сосал конфеты, он все замечал и требовал — требовал непрерывно, чтобы мать отдавала ему все свое внимание. Он высасывал нежность из наших отношений так же, как тянул ром из шоколадной бутылочки с долгим смачным присвистом. Половина наших разговоров касалась его: «Мне пора уходить. Я обещала Анхелу почитать вслух». «Сегодня мы не увидимся. Анхел хочет в кино». «Милый, я сегодня так устала — у Анхела были гости к чаю — шестеро!»

— Ну, *как* Анхел?

— Он болел, пока тебя не было. Гриппом.

— А теперь ему лучше?

— Да, гораздо лучше.

— Пойдем.

— Луис не ждет меня так рано. Анхел тоже. Раз уж я здесь — семь бед, один ответ.

Я осветил циферблат своих часов. Было почти половина девятого. Я сказал:

— Смиты...

— Они заняты своим багажом. Милый, что тебя так тревожит?

Я промямлил:

— У меня пресс-папье куда-то исчезло.

— Очень ценное?

— Нет... но сначала пресс-папье, а там и еще чего-нибудь хватишься.

И вдруг все вокруг нас засияло огнями. Я взял Марту под руку, круто повернул и повел по дорожке. Мистер Смит вышел на балкон и сказал нам сверху:

— Нельзя ли попросить второе одеяло для миссис Смит на случай, если похолодает?

— Сейчас пришлю, но холода не бойтесь.

— Да, вид отсюда действительно прекрасный.

— Сейчас я выключу свет в саду, и будет еще лучше.

Рубильник был у меня в конторе, и мы почти дошли туда, когда на балконе снова раздался голос мистера Смита:

— Мистер Браун, у вас в бассейне кто-то спит.

— Наверно, нищий.

Миссис Смит, должно быть, вышла к мужу, потому что теперь я услышал и ее голос:

— Где, голубчик?

— Вон там.

— Ах бедняга. Может, сойти вниз и подать ему хоть сколько-нибудь?

Меня так и подмывало крикнуть ей: «Подайте ему ваше рекомендательное письмо. Это министр социального благосостояния».

— Пожалуй, не стоит, голубчик. Разбудишь несчастного, только и всего.

— Странное он выбрал место.

— Вероятно, искал, где попрохладнее.

Я наконец-то добрался до конторы и выключил свет в саду. Мне было слышно, как мистер Смит сказал:

— Посмотри, голубчик. Вон там белое здание с куполом. Это, наверно, дворец.

Марта сказала:

— Нищий спит в бассейне?

— Бывает.

— Я его не видела. Что ты ищешь?

— Пресс-папье. Кому понадобилось мое пресс-папье?

— Какое оно?

— В виде гробика, и на нем выгравировано «R. I. P.» Я клал под него что не срочно.

Она рассмеялась, крепко обняла меня и поцеловала. Я постарался ответить ей должным образом, но труп в бассейне придавал этим нашим делам нечто комедийное. Труп доктора Филипо больше тяготел к трагедии, мы же были всего лишь небольшим отклонением от трагического сюжета, внесенным для разрядки и контраста. Я услышал шаги Жозефа в баре и окликнул его:

— Что ты там делаешь? — Миссис Смит, должно быть, уже успела изложить ему свои нужды: две чашки, две ложечки и бутылку кипятку.— Захвати еще одеяло,— сказал я,— и поторапливайся, пора ехать.

— Когда мы увидимся? — спросила Марта.

— На том же месте, в то же время.

— Ничего не изменилось, правда? — тревожно допытывалась она.

— Нет, нет.— Но что-то в моем голосе резнуло ей слух.

— Ну что ж... А все-таки ты вернулся.

Когда она наконец уехала вместе с Жозефом, я пошел к бассейну и сел в темноте на бортик. Меня беспокоило: а вдруг Смиты спустятся вниз и затеют разговор, но не просидел я у бассейна и нескольких минут, как свет в номере Джона Барримора погас. Наверно, поели дрожжелина, выпили пивных дрожжей и теперь уснут безмятежным сном. Из-за вчерашнего празднества они засиделись позже обычного, да и нынче день тянулся долго. Я подумал о Джонсе. Уж не случилось ли с ним чего-нибудь? Он ведь говорил, что хочет остановиться в «Трианоне». Вспомнился мне и мистер Фернандес и его загадочные слезы. О чем угодно думать, только не о министре социального благосостояния, скорчившемся под трамплином.

Далеко в горах, за Кенскоффом рокотал барабан — значит, там святилище воду. При Папе Доке не часто случалось слышать барабанную дробь. Что-то мягко прошуршало в темноте, и, наведя туда луч фонарика, я увидел замоpенную, тощую собаку, на согнутых лапах застывшую у края трамплина. Она поглядела на меня слезящимися глазами и безнадежно вильнула хвостом, испрашивая позволения спрыгнуть вниз и подлизать кровь. Я прогнал ее. Несколько лет назад я держал троих садовников, двоих поваров, Жозефа, еще одного бармена, четве-

рых коридорных, двоих горничных, шофера, а в сезон—сейчас бы сезон еще не кончился — нанимал несколько человек сверх штата. В такой вечер, как сегодня, возле бассейна устроили бы кабаре, и в паузы между музыкой до меня долетал бы несмолкаемый пчелиный гул далеких улиц. Теперь, несмотря на отмену комендантского часа, вокруг стояла полная тишина, без луны даже собаки не лаяли. Похоже, и мой успех тоже так далеко, что и не услышишь. Недолго же он мне сопутствовал, но можно ли жаловаться? В отеле «Трианон» двое гостей, я снова обрел свою любовницу и, в отличие от господина министра, все еще жив. Я сел поудобнее на бортик бассейна и приготовился к долгому ожиданию доктора Мажио.

Глава III

1

Мне в жизни не раз приходилось писать свое curriculum vitae *. Начинал я примерно так: родился в 1906 г. в Монте-Карло. Родители — британские подданные. Воспитывался в иезуитском коллеже Посещения Приснодевы. Неоднократно получал награды за версификацию и сочинения на латинском. С молодых лет избрал карьеру бизнесмена... Детали этой карьеры я, разумеется, менял в зависимости от того, кому надлежало представить мое curriculum.

А сколько всего опускалось или было сомнительной достоверности даже в этих начальных сведениях! Моя мать была безусловно не англичанка, и я по сей день не знаю, считать ли ее француженкой, а может — редчайший случай — подданной княжества Монако? Человек, которого она избрала мне в отцы, уехал из Монте-Карло до моего рождения. Может статься, он действительно был Браун. Такая фамилия звучит до некоторой степени правдоподобно — обычно моя мать не блистала скромностью, когда дело касалось ее избранников. В нашу последнюю встречу, когда она умирала в Порт-о-Пренсе, у нее был титул графини де Ласко-Вилье. Она покинула Монте-Карло (а заодно и сына) второпях, вскоре после перемирия в 1918 году, не уплатив за мое обучение в коллеже. Но Орден Иисуса не удивишь просроченными платежами: он трудится на обочине аристократического общества, где опротестованные чеки явление, пожалуй, не менее распространенное, чем адюльтер, так что коллеж продолжал содержать меня. Я был из первых учеников и в какой-то степени подавал надежды на то, что со временем буду призван к служению господу. Я даже сам уверовал в свое предназначение, мысли о нем были неотвязны, как ядовитый гриппозный туман при температуре ниже нормальной холодно-рассудочным утром и горячечной — в ночные часы. Другие мальчики сражались с демоном мастурбации, я сражался с верой. Теперь мне даже дико вспомнить о своих латинских стихах и прозе — все эти познания испарились бесследно, подобно моему отцу. Только одна строчка крепко засела у меня в голове — как память о былых мечтах и чаяниях: «Exegi monumentum aere perennius»**. Я повторил ее мысленно почти сорок лет спустя, когда стоял в день смерти матери у плавательного бассейна отеля «Трианон» в Петьонвиле и смотрел на нелепый деревянный орнамент среди пальм и на чернильно-темные грозовые тучи, мчавшиеся над Кенскоффом. Отель больше чем наполовину принадлежал мне, и я знал, что скоро стану здесь полноправным хозяином. У меня уже есть недвижимость, я теперь собственник. Помню такую свою мысль: «Трианон» будет самым излюбленным для туристов отелем на всем Карибском море» — и, возможно, я

* Жизнеописание *(лат.)*.

** Я воздвиг вечный памятник *(лат.)*.

преуспел бы в этом, если бы к власти на Гаити не пришел осатанелый врачишка и наши ночи не наполнились бы скрежетом насилия вместо звуков джаза.

Как уже говорилось, карьера hotelier — это было отнюдь не то, к чему хотели подвигнуть меня иезуиты. Ту карьеру в конце концов загубила наша школьная постановка «Ромео и Джульетты» в весьма заземленном французском переводе. Мне дали играть престарелого брата Лоренцо, и некоторые заученные наизусть строки из этой роли сохранились у меня в памяти до сих пор, сам не знаю почему. Поэзия в них почти не ночевала. «Accordes moi de discuter sur ton état»*. Брат Лоренцо сумел превратить в прозу даже трагедию любовников, родившихся под злосчастной звездой. «J'apprends que tu dois et rien ne peut le reculer, etre mariée à ce comte jeudi prochain» **.

Наши добрые пастыри, видимо, полагали, что, учитывая обстоятельства, эта роль самая для меня подходящая — к тому же не слишком эмоциональная и не слишком трудная для исполнения, но, как мне самому кажется, мой духовный грипп подходил в то время к концу, а бесконечные репетиции, постоянное присутствие любовников, чувственность их отношений, хоть и приглушенная французским переводчиком, приблизили меня к кризису. Я выглядел гораздо старше своих лет, а режиссер, не преуспевший со мной, как с актером, по крайней мере довольно основательно преподал мне тайны грима. Я «позаимствовал» паспорт у одного преподавателя английской литературы из мирян и однажды днем преспокойно пошел в казино. Там за непостижимо короткий срок, за сорок пять минут, благодаря из ряда вон частому выходу «19» и зеро, я выиграл сумму, равную тремстам фунтам, а часом позже неумело и неожиданно для самого себя терял невинность в одном из номеров «Отель де Пари».

Моя наставница была по меньшей мере лет на пятнадцать старше меня, но в воспоминаниях моих она все того же возраста, а постарел я сам. Мы познакомились в казино. Видя, что меня преследует удача (делая ставки, я тянулся через ее плечо), она начала ставить свои фишки рядом с моими. Если я выиграл в тот день больше трехсот фунтов, то ее выигрыш был что-нибудь около сотни, и тут она остановила меня, воззвав к моему благоразумию. Я уверен, что о совращении ей тогда и не думалось. Правда, последовало приглашение выпить чаю в ее отеле, но, нè в пример служителям казино, она разгадала мою личину и, повернувшись ко мне на лестнице с заговорщицким видом, спросила шепотом:

— Как тебе удалось пройти? — В ту минуту я был для нее не больше чем забавным, озорным ребенком.

Стоило ли тут притворяться? Я показал ей мой фальшивый паспорт, и в ванной при номере она помогла мне снять разводы грима, которые при электрическом свете, да еще зимним днем вполне сошли за глубокие борозды на лице. Брат Лоренцо морщина за морщиной исчезал передо мной в зеркале над полочкой, где хранились ее лосьоны, ее баночки с кремом и карандаши для ресниц. Мы с ней были точно актеры, у которых одна уборная на двоих.

Чай в коллеже подавали на длинных столах, по концам их ставили чайники, к длинным батонам — по три на стол — полагались скудные порции сливочного масла и джема, посуда была грубая — лишь бы выдержала мальчишеские лапы, чай крепкий. В «Отель де Пари» меня поразило все: хрупкость чашек, серебряный чайник, вкусные треугольные сандвичи, эклеры с кремом. Смущения моего как не бывало. Я рас-

* Давай поговорим о твоих делах *(франц.)*.

** Я слышал, что твое венчание с графом назначено на четверг и ничто не может его отсрочить *(франц.)*.

сказывал о матери, о моих экзерсисах на латинском, о «Ромео и Джульетте». Без какого-либо умысла, а лишь бы показать свою ученость я цитировал Катулла.

Не могу вспомнить теперь последовательность событий, которые привели к первому долгому, взрослому поцелую на диване. Помню, было сказано, что она замужем за директором Индокитайского банка, и мне представился человек, сгребающий медной лопаткой монеты в ящик стола. Тогда он уехал в Сайгон, где, как она подозревала, у него была любовница-сиамка. Разговор наш не затянулся, скоро я возвратился вспять к начальной стадии обучения, постигая азы любви на большой белой кровати с резными столбиками в маленькой белой комнате. И даже теперь, больше чем сорок лет спустя, сколько подробностей все еще живет у меня в памяти об этих часах. Про писателей говорят, будто первые двадцать лет вмещают в себе весь их жизненный опыт, остальным они обязаны своей наблюдательности, но, по-моему, это в равной степени относится к каждому из нас.

Странная произошла вещь, пока мы лежали на кровати. Ей было трудно со мной — робким, струсившим. Ее пальцы ничему не помогли, даже губы не выполнили своего назначения, и вдруг из порта внизу, под склоном холма, в окно влетела чайка. На секунду мне показалось, что комнату заполнил размах белых крыльев. Женщина испуганно вскрикнула и подалась к стене, теперь не мне, а ей стало страшно. Успокаивая, я тронул ее за плечо. Птица опустилась на комод под зеркалом в золоченой раме и, стоя там на своих длинных, как ходули, ножках, смотрела на нас. Она чувствовала себя в этой комнате совершенно по-свойски, точно кошка, и, казалось, вот-вот примется за чистку перышек. Моя новая подруга чуть вздрагивала с испугу, и вдруг я почувствовал себя по-мужски твердым и взял ее так свободно и так уверенно, будто мы с ней были любовниками не первый год. Ни я, ни женщина не заметили в эти минуты, как чайка улетела, хотя у меня навсегда осталось такое ощущение, будто в спину мне повеяло ветерком от ее крыльев, когда она вымахнула на волю, туда, где был порт и залив.

Вот так все это и случилось: удача в казино, а в белой с золотом комнате еще несколько победоносных минут — единственный мой роман, который кончился без боли, без раскаяний. Ведь она даже не стала причиной моего ухода из коллежа, виной этому была моя собственная неосторожность, так как однажды после конца мессы я бросил в мешочек рулетную фишку в пять франков, которую мне не удалось обменять на наличные. Я думал, что проявляю щедрость, ибо обычная моя лепта не превышала двадцати су, но меня выследили, донесли декану. В последовавшей за тем беседе с ним остатки моей предназначенности развеяло в прах. В последние перед разлукой дни обе стороны держались учтиво; мне кажется, что к чувству разочарования у отцов-наставников примешивалось невольное уважение ко мне — разве мои подвиги не были достойны нашего коллежа? Свой скромный капиталец я припрятал под матрасом, и, будучи заверены, что дядюшка с отцовской стороны прислал мне денег на проезд в Англию, а также брался поддерживать меня и впредь и устроить на службу в своей фирме, мои пастыри без сожалений отпустили меня. Я пообещал при первой же возможности погасить долг, числившийся за моей матерью (этот посул был выслушан с некоторым смущением, так как отцы-наставники явно сомневались, что он будет выполнен), и еще я обещал им непременно снестись со старым другом нашего ректора — неким отцом Тома Каприоле в Обществе Иисуса на Фарм-стрит в Лондоне (в этом они на меня полагались). Что же касается письма воображаемого дядюшки, состряпать его было проще простого. Если уж мне удалось провести администрацию казино, то с отцами из коллежа Посещения Приснодевы осечки и вовсе не

предвиделось, и действительно, никому из них не пришло в голову поинтересоваться конвертом от дядюшкиного письма. Я выехал в Англию международным экспрессом, который делает остановку на маленькой станции ниже здания казино. Тут мне в последний раз пришлось увидеть нарядные башенки, под знаком которых прошло мое детство,— башенки чертога удачи, где я наконец-то соприкоснулся с жизнью взрослых, вкусил изменчивого счастья и где может случиться все самое невероятное, как я это доказал на собственном примере.

2

Это повествование утратило бы соразмерность своих частей, если б в нем отмечались все этапы моего пути от казино в Монте-Карло до другого казино — в Порт-о-Пренсе, где я снова оказался при деньгах и увлекся женщиной,— совпадение, ничуть не более удивительное, чем встреча в Атлантическом океане троих людей по фамилии Смит, Браун и Джонс.

В промежутке между этими двумя датами, довольно продолжительном, я перебивался кое-как, если не считать военных лет, принесших мне ощущение покоя и собственной респектабельности, и далеко не все мои тогдашние дела заслуживали упоминания в curriculum vitae. Первую работу мне удалось получить благодаря хорошему знанию французского языка (латынь оказалась вещью на редкость бесполезной). Я прослужил полгода официантом в небольшом ресторанчике в Сохо. Эта должность в моем curriculum не упоминается, так же как и переход на такую же работу в «Трокадеро» при помощи поддельной рекомендации от Фукэ в Париже. Прослужив в «Трокадеро» несколько лет, я поднялся ступенькой выше и поступил консультантом в небольшое педагогическое издательство, задумавшее выпуск серии французских классиков со скрупулезно пуристским комментарием. Эта должность получила доступ в мой curriculum. Дальнейшие — нет. По правде говоря, меня немало избаловала надежность заработка во время войны, когда я служил в отделе политической информации Форин-оффиса редактором пропагандистской литературы, засылаемой нами в Виши, и даже имел при себе писательницу в качестве секретаря. После конца войны мне захотелось чего-нибудь понадежнее моего прежнего существования, и хотя в течение еще нескольких лет я едва сводил концы с концами, в голову мне, наконец, запала одна идея. Случилось это в районе Пикадилли, то ли около одной из тех галерей, где можно увидеть картину какого-нибудь малоизвестного голландского мастера семнадцатого века, то ли около подобного же заведения сортом пониже, которое торгует картинами, угождая вкусам тех, кто, неизвестно почему, любит развеселых кардиналов, вкушающих лососину в постный день. Перед витриной этой галереи стоял человек, на мой взгляд, совершенно чуждый искусству — средних лет, в синем двубортном пиджаке, с цепочкой для часов,— и рассматривал выставленные там полотна. При виде его я вдруг подумал, что знаю точно, какие мысли приходят ему сейчас в голову: «Месяц назад одна картина пошла у Сотби за сто тысяч фунтов. Одна картина может принести целое состояние — кабы понимать в этом толк или хотя бы не бояться риска». Он не спускал глаз с каких-то коров на лугу, точно следил за маленьким шариком слоновой кости, бегающим по кругу рулетки. Внимание его привлекали, конечно, коровы, а не кардиналы. Не кардиналов же пускают с молотка на аукционном торге у Сотби.

Спустя неделю после этого прозрения у художественной галереи в районе Пикадилли я рискнул всем, что сберег за тридцать с лишним

лет, и купил автофургон и штук двадцать недорогих репродукций — на одном конце шкалы там был Теодор Руссо, на другом — Джексон Поллок. Репродукции заняли у меня одну стену фургона; под каждой была обозначена ее аукционная цена и дата продажи. Потом я подыскал себе молодого художника-студийца, который быстро делал по моему заказу картины, подражая той или иной манере, и ставил под каждой новое имя. Я часто сидел рядом с ним, когда он работал, и пробовал на листке бумаги разные росчерки. Хотя на примере Поллока и Мура доказано, что ценность могут иметь даже англо-саксонские имена, большинство придуманных нами были иностранные. Помню фамилию Мжлазь, но она удержалась у меня в памяти только потому, что его творения упорно не желали продаваться, и в конце концов нам пришлось замазать эту подпись и поставить вместо нее «Вейль». Я убедился, что, стремясь получить удовольствие от своего приобретения, покупатель хочет, как минимум, хотя бы без запинки произнести фамилию художника. «Я раздобыл на днях нового Вейля, а ближайшее к «Мжлазь», что получалось даже у меня самого, смахивало на «Мразь» — имечко, которое, вероятно, вызывало бессознательное сопротивление у клиентуры.

Я разъезжал из одного провинциального города в другой в своем фургоне и останавливался в богатых предместьях промышленных центров. Вскоре мне стало ясно, что от ученых и женщин проку мало: ученые слишком много всего знают, а из домашних хозяек редко кто любит рисковать, не имея перед глазами банка с наличными, как при игре в бинго. Я рассчитывал на игроков азартных, ибо смысл моей экспозиции был таков: «На этой стене галереи вы видите картины, достигшие самой высокой цены за последние десять лет. Кто бы мог предвидеть, что стоимость вот этих «Четырех велосипедистов» Леже, этого «Начальника станции» Руссо будет равняться целому состоянию? Теперь у вас есть возможность открыть их преемников — вот они, на другой стене — и тоже получить в руки целое состояние. Если вам не повезет, на стенах вашего дома по крайней мере останется кое-что такое, о чем можно поговорить с соседями, за вами утвердится репутация покровителей самого передового искусства, и это будет стоить не дороже...» Цены у меня колебались в пределах двадцати-пятидесяти фунтов, в зависимости от района и клиентуры. Однажды я даже продал за сотню фунтов двухголовую женщину, сделанную под самого что ни на есть Пикассо.

Когда мой молодой человек набил себе руку на такой работе, он стал выдавать мне за одно утро штук шесть картин, выполненных в разной манере, и получал с меня по два фунта десять шиллингов за каждую. Я никого не грабил. Дневной заработок в пятнадцать фунтов вполне его устраивал. Тем самым я даже оказывал поддержку многообещающему молодому дарованию, а с другой стороны, можно не сомневаться, что не один званый обед в каком-нибудь провинциальном доме сходил успешно, благодаря чудовищному надругательству над хорошим вкусом, украшавшему его стены. Как-то раз мне удалось продать подделку под Поллока одному человеку, в саду у которого вокруг солнечных часов и по обе стороны дорожки, мощенной какой-то пестрятиной, стояли диснеевские гномики. Разве я нанес ему вред? Он мог себе позволить такую роскошь. На вид это был мужчина железный, хотя одному только богу известно, какие отклонения от нормы в половой жизни или в коммерческой деятельности восполнял ему Соня вместе с другими гномиками.

И вот вскоре после моей удачной сделки с обладателем Сони я получил призыв от матери — если такое можно назвать призывом. Он был изложен на почтовой открытке с видом развалин цитадели императора Кристофа в Кап-Аитьене. На обороте стояли ее фамилия, новая для

меня, адрес и две фразы: «Сама понемножку становлюсь развалиной. Хорошо бы повидаться, если ты заглянешь в наши края». В скобках после «maman» — не зная ее почерка, я прочел сначала «Manon», что было не так уж некстати,— она добавила: «Графиня де Ласко-Вилье». Открытка путешествовала долгие месяцы, прежде чем добралась до меня.

Последний раз мы с матерью встретились в Париже, в 1934 году, а за время войны она мне не писала. Я, пожалуй, не отозвался бы на такое приглашение, если бы не два следующих обстоятельства: это был единственный жест с ее стороны, в какой-то мере приближавшийся к материнскому призыву, а кроме того, пора мне было кончать с разъездной художественной галереей, ибо одна воскресная газета вознамерилась установить источник моих экспонатов. В банке у меня лежала тысяча фунтов. Я продал за пятьсот свой автофургон, запас картин и репродукций одному человеку, который никогда не читал газеты «Народ», и вылетел в Кингстон, где попытался пристроиться к какому-нибудь делу, но безуспешно, после чего улетел другим самолетом в Порт-о-Пренс.

3

Несколько лет назад в Порт-о-Пренсе все было совсем по-другому. Он был, наверно, так же заражен коррупцией, был даже грязнее, в нем так же кишели нищие, но нищих по крайней мере не оставляла хоть какая-то надежда, потому что тогда в Порт-о-Пренс приезжали туристы. Теперь, если человек говорит вам: «Я голодаю», — вы ему верите. Я недоумевал, что моя мать может делать в отеле «Трианон» — живет ли там на вспомоществование графа, если граф действительно существует, или служит экономкой. Когда мы виделись последний раз в 1934 году, она была vendeuse * в одном из небольших ателье. В предвоенные годы считалось особым шиком держать продавщиц-англичанок, и тогда она называла себя Мэгги Браун (может, ее фамилия по мужу действительно была Браун?).

На всякий случай я отвез свои чемоданы в «Эль ранчо» — роскошный американизированный отель. Мне хотелось пожить с удобствами, пока хватит денег, а в аэропорту никто ничего не знал о «Трианоне». Когда я выехал на подъездную аллею к нему, обсаженную пальмами, вид его показался мне довольно убогим: на дороге было больше травы, чем гравия, кусты бугенвиллеи давно не подстригали. На веранде, за выпивкой, сидело несколько человек, среди них Крошка Пьер, хотя я вскоре убедился, что он оплачивает то, что пьет, только своим пером. На ступеньках меня встретил молодой, хорошо одетый негр и спросил, нужен ли мне номер. Я сказал, что хочу повидать графиню... ее двуствольная фамилия выскочила у меня из головы, а открытку я забыл у себя в номере.

— Она, к сожалению, нездорова. Вас ожидают?

Со стороны бассейна появилась совсем молоденькая парочка в купальных халатах — оба американцы. Мужчина шел, обняв девушку за плечи.

— Эй, Марсель! — сказал он.— Два бокала вашего особого.

— Жозеф! — крикнул негр.— Два ромовых пунша мистеру Нелсону.— И снова повернулся ко мне.

— Доложите ей,— сказал я,— что приехал мистер Браун.

— Мистер Браун?

— Да.

---

* Продавщица *(франц.)*.

— Пойду посмотрю, не спит ли она.— Он помялся. Потом сказал: — Вы приехали из Англии?

— Да.

Из бара вышел Жозеф с двумя бокалами ромового пунша. В те дни он еще не хромал.

— Мистер Браун из Англии? — переспросил Марсель.

— Да, мистер Браун из Англии.— Он нехотя поднялся по лестнице.

Сидевшие на веранде с любопытством разглядывали меня — все, кроме молодой парочки: эти были поглощены тем, что брали друг у друга вишенки из губ. Солнце собиралось заходить за огромный горб Кенскоффа.

Крошка Пьер спросил меня:

— Вы из Англии?

— Да.

— Из Лондона?

— Да.

— Очень холодно было в Лондоне?

Это становилось похоже на допрос в тайной полиции, но в те дни тайной полиции в Гаити еще не было.

— Я уезжал под дождем.

— Нравится вам у нас, мистер Браун?

— Я только два часа, как приехал.— На следующий день причина такой любознательности выяснилась: в местной газете в отделе светской хроники мне было посвящено несколько строк.

— Ты стала хорошо плавать на спине,— сказал девушке молодой человек.

— Ой, Чик! Неужели правда?

— Правда, птичка.

Какой-то негр поднялся до половины лестницы с двумя уродливыми деревянными фигурками в руках. На него никто не обратил внимания, и он стоял там, не говоря ни слова и протягивая нам свои статуэтки. Я даже не заметил, когда он исчез.

— Жозеф, что будет на обед? — крикнула девушка.

Веранду обошел человек с гитарой. Он сел за столик рядом с парочкой и начал играть. На него тоже никто не обратил внимания. Я почувствовал какую-то неловкость. Мне могли бы оказать более теплый прием под материнским кровом.

По лестнице, впереди Марселя, спустился высокий пожилой негр с лицом римлянина, как бы потемневшим от копоти городских поселений, и с волосами, припорошенными седой каменной пылью. Он сказал:

— Мистер Браун?

— Да.

— Я доктор Мажио. Давайте пройдем в бар на минутку.

Мы вошли в бар. Жозеф смешивал очередные порции ромового пунша для Крошки Пьера и его компании. Повар в высоком белом колпаке просунул голову в дверь и спрятался при виде доктора Мажио. Очень миленькая горничная-мулатка прервала свой разговор с Жозефом и ушла на веранду со стопкой белых полотняных скатертей накрывать столики.

Доктор Мажио сказал:

— Вы сын графини?

— Да.— С первой минуты своего появления здесь я, кажется, только и делал, что отвечал на вопросы.

— Ваша матушка, конечно, хочет поскорее увидеться с вами, но я должен сначала поставить вас в известность относительно некоторых фактов. Ей нельзя волноваться. Пожалуйста, возьмите себя в руки. Будьте как можно сдержанней.

Я улыбнулся.

— Наши отношения всегда отличались сдержанностью. А что случилось, доктор?

— У нее был второй crise cardiaque*. Удивительно, что она все еще жива. Ваша матушка замечательная женщина.

— Может быть... следует вызвать...

— Вы напрасно тревожитесь, мистер Браун. Сердце — моя специальность. Вы не найдете более квалифицированной помощи ближе, чем в Нью-Йорке. Да и там вряд ли.— Это было не хвастовство, он просто объяснял мне положение, привыкнув к тому, что белые ему не доверяют.— Я учился,— сказал он,— у Шардена в Париже.

— Безнадежно?

— Еще один приступ она вряд ли переживет. До свидания, мистер Браун. Не задерживайтесь там. Как хорошо, что вы смогли приехать. Я боялся, что ей некого будет вызвать.

— Она, собственно, меня не вызывала.

— Может быть, вы не откажетесь как-нибудь пообедать со мной? Я знаю вашу матушку многие годы. И питаю большое уважение...— Он склонил голову, как сделал бы римский император, давая понять, что аудиенция закончена. В этом не чувствовалось ни малейшего высокомерия. Просто он знал себе цену.— До свидания, Марсель.— Марселю поклона не полагалось.

Я заметил, что Крошка Пьер пропустил его без приветствия, без расспросов. Мне стало стыдно при мысли о том, что такому человеку я намекнул на желательность консультации с кем-то другим.

Марсель сказал:

— Будьте любезны подняться наверх, мистер Браун.

Я пошел следом за ним. Стены отеля были увешаны картинами гаитянских художников: тела и формы, схваченные в застылости движений яркими, густыми мазками,— петушиный бой, водуистский обряд, черные тучи над Кенскоффом, банановые деревья буро-зеленого цвета, голубоватые копья сахарного тростника, желтый маис. Марсель распахнул передо мной дверь, и меня сразу ошеломило зрелище волос моей матери, рассыпавшихся по подушке,— волос гаитянского золота, которого не существует в природе. Они двумя волнами струились с подушки на огромную двуспальную кровать.

— Дорогой мой,— сказала она таким тоном, будто я приехал повидаться с ней с другого конца города.— Как хорошо, что ты заглянул ко мне.— Я поцеловал ее в широкий лоб, похожий на побеленную стену, и немножко от этой побелки осталось у меня на губах. Я чувствовал, что Марсель наблюдает за нами.— Ну, как там Англия? — спросила она. точно справляясь о невестке, не пользующейся ее симпатией.

— Я уезжал под дождем.

— Твой отец не переносил климата своей родины,— последовало в ответ на мои слова.

Она могла бы где хотите сойти за женщину лет около пятидесяти и не показалась бы мне тяжелобольной, если б не натянутость кожи около губ — то, что несколько лет спустя я заметил у коммивояжера фармацевтической фирмы.

— Марсель, подай, на что сесть моему сыну.— Он нехотя поставил мне стул, но, сев, я не приблизился к матери — ширина кровати по-прежнему разделяла нас. Это была бесстыдная кровать, сооруженная только для одной надобности, с порожком в золотых завитках, приличествующая больше куртизанке из исторического романа, чем умирающей старой женщине.

---

* Сердечный приступ *(франц.)*.

Я спросил ее:

— Мама, а граф действительно существует?

Она лукаво улыбнулась мне:

— Его место в далеком прошлом.— И я не совсем понял, счесть ли это эпитафией или чем другим.— Марсель,— сказала она,— дурачок, можешь спокойно оставить нас наедине. Я же тебе говорила. Это мой сын.— И, когда дверь за ним затворилась, добавила самодовольным тоном:— Он ревнив до нелепости.

— Кто он такой?

— Мой помощник по отелю.

— А, случайно, не тот самый граф?

— Méchant*,— последовала машинальная реплика. Этот легкий тон просвещенного восемнадцатого века следовало приписать безусловно влиянию кровати — а может, графа?

— Тогда с чего бы ему ревновать?

— Он, должно быть, не верит, что ты мой сын.

— Другими словами, это ваш любовник? — Интересно, подумал я, что бы сказал мой отец, мне неизвестный, фамилия которого была якобы Браун, о своем преемнике — негре?

— Почему ты улыбаешься, дорогой?

— Вы замечательная женщина, мама.

— Мне чуть-чуть повезло на старости лет.

— Это вы о Марселе?

— О нет! Он славный мальчик, только и всего. Речь идет о «Трианоне». Я впервые в жизни обзавелась недвижимостью. Отель целиком принадлежит мне. Не заложен. Обстановка и та вся оплачена.

— А картины?

— Картины, конечно, выставлены для продажи. Я беру их на комиссию.

— Это вспомоществование графа дало вам возможность...

— Нет, нет! Что ты! Графу я ничем не обязана, кроме титула, и никогда не проверяла по Готскому альманаху, существует ли такой на самом деле. Нет, это было чистое везение. В Порт-о-Пренсе жил некий мосье Дешо. Он очень беспокоился из-за налогов, а я тогда работала у него секретаршей и разрешила ему перевести отель на мое имя. В завещании у меня мосье Дешо, конечно, упоминался в качестве наследника, и, поскольку мне тогда было за шестьдесят, а ему тридцать пять, наше соглашение вполне его устраивало.

— Он доверял вам?

— И правильно делал, дорогой мой. Но его просчет заключался в том, что он гонял спортивный «мерседес» по здешним дорогам. Счастье, что других жертв не было.

— И отель перешел в вашу собственность?

— Мосье Дешо был бы очень доволен, если б мог знать это. Дорогой мой, ты не представляешь себе, как ему была ненавистна его жена. Толстенная негритянка огромного роста, и совершенно необразованная. У нее бы тут все развалилось. После его смерти завещание, конечно, пришлось переделать — твой родитель, если он еще жив, считался бы ближайшим родственником. Да, кстати, отцам из Посещения Приснодевы я завещала свои четки и молитвенник. Мне до сих пор неприятно, что я так с ними обошлась, но у меня тогда было туго с деньгами. Твой родитель оказался порядочной свиньей, да покоится душа его с миром.

— Значит, он умер?

— Есть все основания так полагать, доказательств, правда, нет. Теперь люди живут ужасно подолгу. Бедняжка.

---

* Злюка *(франц.)*.

— Я говорил с вашим врачом.

— С доктором Мажио? Я очень жалею, что мы с ним не встретились, когда он был моложе. Каков мужчина! Правда?

— Он сказал, что если вы будете соблюдать покой...

— Да я и так лежу пластом!— воскликнула она с хитрой и вместе с тем умоляющей улыбкой.— Что еще ему надо? Можешь себе представить, он, добрая душа, спросил меня, не хочу ли я позвать священника. А я ему ответила: «Как же так, доктор! Ведь исповедь будет длинная, не утомит ли это меня — придется ворошить такие воспоминания!» Будь добр, милый, подойди к двери и приотвори ее.

Я сделал, как она меня просила. В коридоре никого не было. Снизу донесся стук ножей и голос:

— Ой, Чик! Неужели ты думаешь, что меня на это хватит?

— Спасибо, мой дорогой. Я просто хотела проверить... Раз уж ты встал, дай мне заодно головную щетку. Еще раз спасибо. Огромное. Как приятно старухе, что за ней ухаживает сын.— Она помолчала. Видимо, ждала, что я, с галантностью платного партнера в танце, опровергну ее возраст.— Мне надо поговорить с тобой о моем завещании,— продолжала она слегка разочарованным тоном, все расчесывая и расчесывая невероятное изобилие своих волос.

— Может быть, вам лучше отдохнуть? Доктор не велел мне засиживаться около вас.

— Надеюсь, тебе дали хороший номер? Некоторые у нас не очень уютные. Нет наличных на обстановку.

— Я оставил свои чемоданы в «Эль ранчо».

— Ну что ты, дорогой! Тебе надо жить здесь. «Эль ранчо»! Зачем же создавать рекламу этому заведению? Ведь когда-нибудь — на эту тему я и собираюсь с тобой поговорить — «Трианон» отойдет тебе. Только ты должен знать вот что... Законы вещь такая сложная, предосторожности никогда не лишни... Владение у меня на паях, и третья часть принадлежит Марселю. Если ты правильно к нему подойдешь, он будет тебе весьма полезен, и ведь обязана же я что-то сделать для него, правда? Он был у меня не только управляющим. Понимаешь? Ты же мой сын, ты должен понять.

— Я понимаю.

— Как хорошо, что ты здесь. Мне не хотелось, чтобы из-за какой-нибудь оплошности... Когда дело касается завещаний, с гаитянскими адвокатами надо держать ухо востро... Я скажу Марселю, что ты немедленно же возьмешь все в свои руки. Только будь тактичен с ним, хорошо? Марсель очень обидчивый.

— Успокойтесь, мама, отдохните. И если можете, не думайте больше о делах. Постарайтесь заснуть.

— Говорят, что лучшего покоя, чем в смерти, не найдешь. Не вижу необходимости предупреждать события. Это ведь будет надолго.

Я снова коснулся губами побеленной стены. Она закрыла глаза в притворной благости материнской любви. Я на цыпочках отошел от нее, тихонько отворил дверь, чтобы не потревожить больную, и вдруг с кровати до меня донесся смешок.

— А ты действительно мой сын,— сказала она.— Какую же роль ты сейчас играешь?— Это были ее последние обращенные ко мне слова, и я до сих пор не знаю, что она имела в виду.

Я доехал до «Эль ранчо» на такси и пообедал там. Отель был переполнен, у плавательного бассейна вовсю работал буфет с гаитянскими кушаньями, старательно приготовленными с учетом американских вкусов, костлявый человек в остроконечной шляпе выбивал мелкую дробь на гаитянском барабане, и, насколько я помню, именно там в первый мой вечер в Порт-о-Пренсе у меня зародилась честолюбивая мысль поднять

«Трианон» на высоту. В те дни это был отель явно второразрядный. Мелкие туристские агентства, наверно, включали его в программы своих недорогих круизов с оплаченным обслуживанием. Сомнительно, чтобы прибылей тут хватило и на меня, и на Марселя. Я решил добиться успеха во что бы то ни стало, поставить дело на самую широкую ногу и дожить до того приятного дня, когда гости, которых переполненный «Трианон» не сможет устроить, будут уезжать с записками от меня выше в горы, в «Эль ранчо». И как ни странно, моя мечта сбылась на короткое время. Мне понадобилось три сезона, чтобы превратить убогий «Трианон» в самый фешенебельный отель Порт-о-Пренса, а следующие три я видел, как он снова приходит в упадок, и вот теперь у меня только чета Смитов и мертвый господин министр в плавательном бассейне.

Я уплатил по счету, спустился на такси вниз по шоссе и вступил в пределы того, что уже считал своей безраздельной собственностью. Завтра надо будет просмотреть с Марселем счета, ознакомиться с персоналом и взять бразды правления в свои руки. Я уже прикидывал, как лучше всего откупиться от Марселя, хотя с этим следовало повременить до тех пор, пока моя мать не обретет своей дальнейшей судьбы. Мне отвели большой номер на одном этаже с ней. Обстановка, по ее словам, была вся оплачена, но полы требовали перестилки, половицы скрипели и прогибались у меня под ногами, и единственной ценной вещью в комнате была кровать — великолепное широкое викторианское ложе (моя мать понимала толк в кроватях) с большими медными шишками. Насколько помню, мне впервые в жизни приходилось ложиться на кровать, не уплатив за ночлег и завтрак или не задолжав хозяевам, как в коллеже Приснодевы. Чувствовал я себя в тот вечер непривычно — настоящим сибаритом — и спал крепко до тех пор, пока истерический дребезг старомодного звонка не ворвался в мой сон, а снилось мне, бог весть почему, боксерское восстание.

Звонок звонил, звонил, и мне уже стало казаться, что это пожарный сигнал. Я надел халат и отворил дверь в коридор. В ту же минуту дальше по коридору отворилась другая дверь и на пороге появился Марсель. Сон все еще не сошел с его широкого негритянского лица с приплюснутым носом. На нем была ярко-красная шелковая пижама, и, пока он мешкал в дверях, я успел разглядеть вензель на кармашке: «М», перевитое с «И». Я не сразу сообразил, почему «И», но потом вспомнил, что мою мать зовут Иветта. Значит, пижама — подарок в знак нежной любви? Вряд ли. Вернее всего, этот вензель своего рода вызов. Моя мать всегда отличалась хорошим вкусом, фигура у Марселя была как бы создана для одеяний из ярко-красных шелков, а ее, женщину не мелочную, мало беспокоило, что о ней подумают туристы не очень высокого разбора.

Марсель поймал мой взгляд и сказал извиняющимся тоном:

— Она зовет меня.— Потом медленно, как бы нехотя, направился к ее двери. Я заметил, что вошел он не постучавшись.

Когда я заснул, мне приснился странный сон, еще более странный, чем тот — про боксерское восстание. Одетый церковным служкой, я шел по берегу озера при свете луны, чувствуя притягательную силу неподвижной озерной глади, и с каждым шагом все ближе и ближе подходил к ее кромке, и вот носки моих черных башмаков уже залило. Потом подул ветер, и вода в озере завилась невысокой приливной волной, но вместо того, чтобы идти на меня, она стала отступать, увлекая за собой в своем протяженном отступлении всю воду, так что под конец я шагал по сухой гальке, а от озера остался только отблеск на далеком горизонте, в пустыне, усеянной мелкими камнями, которые саднили мне ноги сквозь дырявые башмаки. Я проснулся от суматошной беготни, сотрясавшей лестницу и полы во всем отеле. Моя мать, графиня де Ласко-Вилье, скончалась.

Я путешествовал налегке, в европейском костюме было жарко, и для посещения смертного покоя выбирать мне приходилось только из своих пестрых спортивных рубашек. Мой выбор пал на ту, что была куплена на Ямайке,— алого цвета, вся в рисунках, взятых из трактата восемнадцатого века об экономике Больших Антильских островов. К этому времени покойницу успели убрать, и она лежала в прозрачной розовой ночной рубашке, с двусмысленной улыбкой на губах, говорившей о сокровенном или даже чувственном удовлетворении. Но пудра у нее на лбу чуть запеклась в такую жару, и я не мог заставить себя поцеловать эти белые катышки. Марсель в строгом черном костюме стоял у ее кровати, и слезы лились у него с лица, точно дождевые потоки с черной крыши. Я воспринял Марселя как последнюю блажь моей матери — и только, но альфонс не сказал бы мне с такой болью в голосе:

— Я не виноват, сэр. Я говорил ей, говорил: «Вы еще совсем слабая. Подождите немножко. Подождите — тогда будет еще лучше».

— А она что?

— Ничего. Взяла и сбросила с себя простыню. Но стоит мне увидеть ее такой... и со мной всегда так.— Он пошел к двери и замотал головой, точно стряхивая дождевые капли из глаз, и вдруг кинулся обратно, упал на колени у кровати и прижался губами к простыне — там, где она круглилась, обрисовывая живот. Он стоял коленопреклоненный, весь в черном — будто негритянский священник, совершающий какой-то непристойный обряд. И я, а не он вышел из комнаты, и не ему, а мне пришлось спуститься на кухню и заставить прислугу снова взяться за приготовление завтрака для гостей (слезы вывели из строя даже повара), и я, а не он позвонил доктору Мажио. (В те дни телефон работал довольно часто.)

— Она была замечательная женщина,— сказал мне позднее доктор Мажио.

— Я ее почти не знал.— Это было единственное, чем я, ошеломленный, мог ответить на его слова.

На следующий день я просматривал ее бумаги в поисках завещания. Аккуратностью она не отличалась: ящики письменного стола были отведены у нее под счета и квитанции, но по какому признаку они туда складывались, затрудняюсь сказать,— даже не по датам. Иногда среди вороха квитанций из прачечной попадалось то, что когда-то называли billet doux*. Одна такая, написанная карандашом по-английски на обороте ресторанного меню, была следующего содержания: «Иветта! Придите ко мне сегодня ночью. Я умираю медленной смертью. Жажду coup de grace **». Кто ее прислал — какой-нибудь гость отеля? И почему она сберегла этот листок? Ради такой весточки или ради меню, ибо меню было праздничное по случаю 14 июля?

В другом ящике, где лежали главным образом тюбики с клеем, канцелярские кнопки, заколки для волос, скрепки и запасные вставки для шариковых ручек, я нашел фаянсовую копилку в виде поросенка. На вес она была легкая, но в ней что-то звякало. Разбивать поросенка мне не хотелось, хотя приобщать его, необследованного, ко все растущей кучке всякого хлама тоже было ни к чему. Когда я все-таки разбил его, оттуда выпали две вещи: пятифранковая фишка из казино в Монте-Карло, точная копия той, которую я опустил в церковный мешочек для подаяний много десятилетий тому назад, и потускневшая медаль на ленточке. Такая попадалась мне впервые, но когда я показал ее доктору Мажио, он ответил не задумываясь:

— Это медаль французского Сопротивления.— И тогда-то я и услышал от него:— Она была замечательная женщина.

Медаль французского Сопротивления... Во время оккупации мы с

* Любовная записка *(франц.)*.

** Последняя милость *(франц.)*.

матерью не переписывались. Заслужила ли она ее, стащила ли у кого-нибудь или получила в подарок в знак чьей-то любви? Доктор Мажио на этот счет не сомневался, а я, хоть мне и трудно было представить себе мою мать героиней, не сомневался в том, что такая роль была бы ей под силу не менее, чем роль grande amoureuse* английского туриста. Сумела же она убедить отцов из Посещения Приснодевы в своей высокой нравственности, вопреки сомнительным связям с Монте-Карло. Я знал ее очень мало, но все же достаточно, чтобы почувствовать в ней законченную комедиантку.

Впрочем, несмотря на сумбур, царивший в ее бумагах, с завещанием все оказалось в порядке. Оно было составлено точно и ясно, под ним стояли подписи — завещательницы, графини де Ласко-Вилье, и свидетеля, доктора Мажио. Отель принадлежал обществу на паях, и именные паи были закреплены один за Марселем, второй за доктором Мажио и третий за ее адвокатом Александром Дюбуа. Остальные девяносто семь принадлежали ей, так же как и три трансфера, аккуратно подколотые к завещательному документу. Общество владело всем отелем до последней ложки и вилки, и, согласно завещанию, мне предназначались шестьдесят пять паев, а Марселю — тридцать три. Таким образом я стал фактическим владельцем «Трианона». К осуществлению моей вчерашней мечты можно было приступать немедленно — или чуть погодя, после того, как спешно похоронят мою мать, а спешка с похоронами объяснялась климатом.

Во всех этих хлопотах неоценимую помощь оказал мне доктор Мажио; ее в тот же день доставили на небольшое кладбище кенскоффского горного селения, где и опустили в землю... с соблюдением католического похоронного обряда, среди маленьких надгробий, и Марсель, не стыдясь своих слез, плакал у могилы, похожей на водосточную канавку посреди городской улицы, так как вокруг нее стояли маленькие домики, которые гаитяне сооружают для своих покойников; в день поминовения усопших они ставят туда хлеб и вино. Пока на гроб, согласно обряду, падали с лопатки комья земли, я думал, как мне удобнее всего отделаться от Марселя. Мы стояли под пологом чернильно-черных туч, всегда собирающихся в эти часы над Кенскоффом, и вдруг они с яростью пролились на нас, и мы побежали к машинам — священник впереди, могильщики в арьергарде. Тогда я не знал, но теперь-то знаю, что закапывать гроб моей матери они вернулись не раньше утра, ибо по ночам на кладбище никто не работает, разве только какой-нибудь зомби — покойник, который вылезет из своей могилы по приказу хунгана и будет трудиться там до рассвета.

Вечером доктор Мажио угощал меня обедом у себя дома и вдобавок не поскупился на множество полезных советов, которыми я по глупости пренебрег, заподозрив, что ему хочется передать отель кому-то другому. Ведь у него был пай в акционерном обществе, учрежденном моей матерью, хотя подписанный им трансфер я держал у себя.

Он жил ниже по склону Петьонвиля в трехэтажном доме — миниатюрной копии моего отеля, с такими же деревянными резными балконами и башенкой. В саду у него стояла засыхающая пирамидальная сосна, будто с иллюстрации к какому-нибудь викторианскому роману, а единственной современной вещью в комнате, где мы сидели после обеда, был телефон. Казалось, он попал сюда по недосмотру тех, кто отвечал за эту музейную экспозицию. Тяжелые складки ярко-красных занавесей, шерстяные салфеточки с бомбошками, лежавшие на столиках, фарфоровые статуэтки на каминной доске — среди них две собачки с таким же кротким взглядом, как у самого доктора Мажио, портреты его родителей (цветные фотографии в овальных рамках, наклеенные на сиреневый

* Великая любовница *(франц.)*.

шелк), шелковый экран перед ненужным здесь камином — все говорило о прошлом веке; книги в застекленном шкафу (литературу по специальности доктор Мажио держал в приемной) были по-старинному переплетены в телячью кожу. Я разглядывал их, пока доктор ходил «мыть руки», как он деликатно выразился. «Отверженные» в трех томах, «Парижские тайны» без последнего тома, несколько полицейских романов Габорио, «Жизнь Иисуса» Ренана и вдруг, в таком соседстве, «Капитал» Маркса, тоже в кожаном переплете, так что издали его нельзя было отличить от трехтомника «Отверженных». На лампе, у самого локтя доктора Мажио розовел стеклянный абажур, и была она — весьма предусмотрительно, ибо даже в те времена ток давали с перебоями,— керосиновая.

— Так вы действительно,—спросил доктор Мажио,— хотите взять отель на себя?

— А почему бы и нет? Я работал в ресторанах, у меня есть кое-какой опыт в этой области. По-моему, в «Трианоне» можно многое усовершенствовать. Моя мать, видимо, не стремилась поставить дело на широкую ногу.

— На широкую ногу? — повторил доктор Мажио.— Вряд ли тут приходится на это рассчитывать.

— В других отелях рассчитывают.

— Хорошие времена могут прийти к концу. Скоро выборы, ждать их недолго...

— Разве такое уж будет иметь значение, кто на них победит?

— Для бедных людей не будет. А для туристов — пожалуй.

Он поставил передо мной блюдечко с узором из цветов: пепельница нарушила бы стиль этой комнаты, где в прежние времена никогда не курили. Он взял блюдечко осторожно, точно это был бесценный фарфор. Он был очень большой и очень черный, но в нем чувствовалась такая мягкость. Нельзя было представить, чтобы он плохо обошелся даже с неодушевленным предметом — скажем, с заупрямившимся стулом. Что могло бы казаться более назойливым человеку его профессии, чем телефон? Но когда он вдруг зазвонил во время нашего разговора, доктор Мажио взял трубку таким мягким движением, точно это была кисть больного.

— Вы, наверно, слышали,— сказал доктор Мажио,— об императоре Кристофе.

— Да, конечно.

— Те времена вполне могут вернуться и принести с собой, пожалуй, еще больше жестокостей и, несомненно, еще больше позора. Упаси нас боже от маленького Кристофа.

— Отпугивать американских туристов? Кто же позволит себе такую роскошь? Вам нужны доллары.

— Когда вы познакомитесь с нами поближе, вам станет ясно, что мы здесь живем не на деньги, мы живем в долг. Никому не придет в голову убивать должника, а такую роскошь, как убить кредитора, всегда можно себе позволить.

— Кого вы опасаетесь?

— Я опасаюсь одного незначительного сельского врача. Сейчас его имя будет для вас пустым звуком. Боюсь только, как бы не настал день, когда оно засияет электрическими лампочками над всем нашим городом. А если такой день настанет, верьте мне, я скроюсь отсюда.— Это было первое несбывшееся пророчество доктора Мажио. Он недооценивал своего упорства или своего мужества. Иначе я не ждал бы его несколько лет спустя около пустого плавательного бассейна, где в полной неподвижности, точно туша в мясной лавке, лежал господин министр.

— А Марсель? — спросил он меня.— Как вы думаете поступить с Марселем?

— Я еще не решил. Завтра поговорю с ним. Вам известно, что отель на треть принадлежит ему?

— Вы забыли: на завещании стоит моя свидетельская подпись.

— Мне кажется, он уступит свой пай. Наличных у меня нет, но, может быть, удастся получить ссуду в банке.

Доктор Мажио положил свои большие розовые ладони на колени, на черное сукно парадных брюк, и наклонился ко мне, точно собираясь поделиться со мной какой-то тайной. Он сказал:

— А я посоветовал бы вам сделать как раз наоборот. Пусть Марсель купит ваши паи. Пойдите ему навстречу, уступите подешевле. Он гаитянин. Он привык довольствоваться малым, он выживет.— Но доктор Мажио и на сей раз оказался ложным пророком. Будущее его страны виделось ему яснее, чем судьбы отдельных людей, населяющих ее.

Я сказал с улыбкой:

— Э-э, нет! Мне «Трианон» пришелся по душе. Вот увидите — я здесь останусь, и я выживу.

Прошло еще два дня, прежде чем у меня состоялся разговор с Марселем, но за это время я успел побеседовать с директором банка. Последние два сезона выдались в Порт-о-Пренсе хорошие. Я изложил свои планы относительно отеля, и директор, европеец, не стал чинить мне препятствия. Единственное, на чем он стоял твердо,— это на сроке возврата ссуды.

— Вы даете мне три года?

— Да.

— Почему?

— Да знаете ли, за это время у нас должны состояться выборы.

Со дня похорон я Марселя почти не видел. Бармен Жозеф приходил за распоряжениями ко мне, повар и садовник приходили ко мне. Марсель отрекся без борьбы, но, сталкиваясь с ним на лестнице, я замечал, что от него разит ромом, и поэтому у меня в номере был припасен стаканчик к тому дню, когда наш разговор наконец состоится. Он слушал меня без единого слова и принял все мои условия безропотно. Те деньги, что я предложил ему, составляли большую сумму по гаитянским масштабам, и я платил не гурдами, а долларами, хотя мой выкуп равнялся половине номинальной стоимости его паев. Ради вящего психологического эффекта эти деньги были приготовлены у меня сотенными бумажками.

— Проверьте,— сказал я ему, но он сунул их в карман не считая.— А теперь,— сказал я,— если вы поставите свою подпись вот здесь...— И он расписался, не глядя, под чем расписывается. Все оказалось проще простого. Никаких сцен.— Ваша комната мне понадобится,— сказал я.— С завтрашнего дня.

Может быть, я обошелся с ним слишком круто? Отчасти меня сковывало чувство неловкости, что приходится иметь дело с любовником матери, и ему, вероятно, тоже было неловко общаться с ее сыном — человеком значительно старше его. Перед тем как уйти, он заговорил о ней.

— Я притворился, будто не слышу звонка,— сказал он,— но она все звонила, звонила. Тогда я подумал, вдруг ей что-нибудь нужно.

— А нужны оказались вы сами?

Он сказал:

— Мне стыдно.

Не мог же я обсуждать с ним могучую силу вожделений моей матери. Я сказал:

— Не забудьте допить ром.

Он выпил все до дна. Он сказал:

— Когда она сердилась или когда любила меня, она говорила: «Ах ты зверь, большой черный зверь!» Таким я себя и чувствую — большим черным зверем.

Марсель вышел из комнаты с оттопыренным на правой ягодице карманом, где лежала пачка стодолларовых бумажек, а часом позже я видел, как он идет по дорожке, неся в руке старенький картонный чемодан. Ярко-красная пижама с вензелем «МИ» осталась, брошенная, в его комнате.

Неделю после этого он никак не давал о себе знать. С «Трианоном» оказалось очень много хлопот. Единственный в отеле, от кого действительно был толк,— это Жозеф (потом он у меня прославился своим ромовым пуншем); что же до повара, мне оставалось только предполагать, что, привыкнув дома к плохому столу, наши гости считают здешнюю стряпню неотъемлемой частью жизни. Он подавал им пережаренные бифштексы и мороженое. Мне самому приходилось жить почти на одних грейпфрутах, потому что их было не так-то легко испортить. Сезон подходил к концу, и я мечтал, что, как только последний гость уедет, повар получит у меня расчет. Правда, где найти ему замену, я понятия не имел — подыскать в Порт-о-Пренсе хорошего повара было дело не простое.

Как-то вечером я вдруг почувствовал сильную потребность забыть о своем отеле и отправился в казино. В те времена, до прихода к власти доктора Дювалье, туристов в Порт-о-Пренсе хватало, и три рулетных стола не бездействовали. Снизу, из ночного клуба, туда доносилась музыка, случалось, что дамы в вечерних туалетах, уставшие от танцев, приводили к рулетке своих партнеров. По-моему, нет в мире женщин красивее гаитянок, и там встречались такие лица и такие фигуры, которые принесли бы целое состояние их обладательницам в любой западной столице. И как всегда, лишь только я попадал в казино, мне казалось, что тут может случиться все, что угодно. «Девственность теряют только раз», я же потерял свою в тот зимний день в Монте-Карло.

Я играл уже несколько минут и вдруг увидел, что за тем же столом сидит Марсель. Можно было пересесть за другой, но мне как раз повезло — вышло en plein *. У меня есть примета, что за один вечер удача бывает только за одним столом, и в тот вечер я, видимо, напал на этот счастливый стол, так как за первые же двадцать минут выиграл сто пятьдесят долларов. Я поймал взгляд молодой европейской женщины, сидевшей напротив. Она улыбнулась мне и стала повторять мои ставки, сказав что-то своему спутнику — толстяку с огромной сигарой, который снабжал ее фишками, а сам не играл. Но стол, принесший мне такую удачу, оказался несчастливым для Марселя. Нам случалось ставить в один и тот же квадрат, и тогда я проигрывал. Я стал выжидать, пока он не сделает ставки, и только потом вступал в игру; женщина, разгадавшая эту хитрость, последовала моему примеру. Мы с ней словно танцевали шаг в шаг, не касаясь друг друга, как в малайском рон-рон. Мне это нравилось, потому что она была хорошенькая и потому что я вспомнил Монте-Карло. Что же касается толстяка, с ним разберемся позднее. Может быть, он тоже имеет отношение к Индокитайскому банку.

Марсель следовал какой-то безумной системе. Казалось, игра надоела ему и он торопился проиграть, чтобы поскорее выйти из-за стола. Но вот он увидел меня и, собрав лопаткой оставшиеся у него фишки, поставил их все на зеро, которое не выходило ни разу за последние тридцать, а то и больше кругов. Он, разумеется, проиграл, как всегда проигрывают, когда делают ставку в отчаянии, и отодвинул свой стул от стола. Я наклонился к нему с десятидолларовой фишкой в руке:

— Возьмите, может быть, вам тоже повезет.

Хотелось ли мне унизить его, намекнуть, что он был на содержании у моей матери? Не знаю, не помню, но если это было сделано по таким мотивам, то я потерпел неудачу. Он взял у меня фишку и очень вежливо ответил, старательно выговаривая французские слова:

* Сполна *(франц.)*.

— Tout ce que j'ai eu de chance dans ma vie, m'est venue de votre famille *.— Потом опять поставил на зеро, и зеро вышло — а я не повторил его ставки. Он вернул мне фишку и сказал: — Простите. Я пойду. Я очень хочу спать.

Я видел, как он вышел из зала — менять фишки на триста с лишним долларов. Теперь моя совесть могла успокоиться. И хотя он был и в самом деле очень большой и очень черный, называть его зверем, как это делала моя мать, не следовало.

С уходом Марселя игра сразу утратила свою деловитость. Все мы, оставшиеся, были мелкой сошкой, играли забавы ради, ничем не рискуя, ничего не получая взамен, кроме как на выпивку. Мои выигрыши поднялись до трехсот пятидесяти долларов, а потом я свел их до двухсот, единственно ради того, чтобы позлорадствовать над мелкими проигрышами толстяка с сигарой. На этом я поставил точку. Обменивая фишки, я спросил кассира, кто эта женщина.

— Мадам Пинеда,— сказал он.— Немка.

— Не люблю немцев,— разочарованно проговорил я.

— И я тоже.

— А толстяк?

— Ее муж — посол.— Он назвал маленькую страну в Южной Америке, но какую, я тут же забыл. Раньше мне удавалось отличать одну южноамериканскую республику от другой по маркам, но моя коллекция осталась в коллеже Посещения Приснодевы, я подарил ее мальчику, которого считал самым большим своим другом (теперь даже имени его не помню).

— Послов я тоже недолюбливаю,— сказал я кассиру.

— Неизбежное зло,— ответил он, отсчитывая мне долларовые бумажки.

— Вы верите в неизбежность зла? Тогда мы с вами оба манихейцы.

Наш теологический диспут на этом и застрял, так как кассир не обучался в коллеже Посещения Приснодевы, а кроме того, нам помешал голос той женщины:

— Мужья тоже.

— Что мужья?

— Тоже неизбежное зло,— сказала она, подавая кассиру свои фишки.

Качества, недоступные нам самим, неизменно вызывают у нас восхищение. Меня, например, восхищает в человеке верность, и в эту минуту я чуть было не отошел от нее — навсегда. Не знаю, что меня удержало. Может, я уловил в ее голосе еще одно качество, тоже на мой взгляд прекрасное,— смелость отчаяния. Отчаяние сродни правде. Исповеди отчаявшегося человека обычно верят, и как не каждый может чистосердечно покаяться на смертном одре, так и смелость отчаяния дарована избранным, и я не принадлежу к их числу. Но у нее такой дар был, и это оправдало ее в моих глазах. Я поступил бы умнее, если б прислушался к своему первому побуждению и ушел, ибо тогда я ушел бы от многих горьких минут. Вместо этого я остановился в дверях зала и подождал, пока она получит в кассе свой выигрыш.

Она была тех же лет, что и та женщина, которую я знал в Монте-Карло, но время заставило нас поменяться местами. Та, первая, годилась мне в матери, а теперь я был уже в том возрасте, когда эта незнакомка могла сойти за мою дочь. Она была брюнетка, небольшого роста и, видимо, нервничала — я никогда не угадал бы в ней немку. Она подошла ко мне, пересчитывая свои доллары, чтобы скрыть смущение. Она закинула удочку отчаянным броском и теперь не знала, что ей делать со своим уловом.

* Всем хорошим, что у меня было в жизни, я обязан вашей семье *(франц.)*.

Я спросил:

— А где ваш муж?

— В машине,— сказала она, и, выглянув на улицу, я впервые увидел «пежо» с буквой «д» на дощечке номерного знака. Толстяк сидел спереди, левее руля, покуривая свою длиннейшую сигару. Плечи у него были широкие и прямые. На них вполне удержался бы рекламный щиток. Они были как стена, в которую упираешься в конце тупика.

— Где мы встретимся?

— Здесь. На стоянке для машин. Приехать к вам в отель я не смогу.

— Вы знаете меня?

— Я тоже умею расспрашивать,— сказала она.

— Завтра вечером.

— В десять. К часу мне надо быть дома.

— А он не захочет узнать, почему вы сейчас задержались?

— Его терпение безгранично,— сказала она.— Это свойство дипломата. Прежде чем заговорить, он выжидает, пока политическая ситуация не созреет окончательно.

— Тогда почему вам надо возвращаться к часу?

— У меня сын. Он всегда просыпается в это время и зовет меня. Что с ним поделаешь, привычка, дурная привычка. Его мучают кошмары. Будто в доме вор.

— Он у вас единственный?

— Да.

Она тронула меня за локоть, и в эту минуту посол, сидевший в машине, протянул руку и посигналил — два раза, но не так чтобы уж очень нетерпеливо. Он даже не повернул головы, иначе увидел бы нас.

— Вас требуют,— сказал я, и на первое мое притязание тенью легли права, которые имели на нее другие люди.

— Наверное, уже около часа.— Она быстро добавила: — Я знала вашу мать. Она мне нравилась. В ней было что-то настоящее,— и пошла к машине. Муж, не поворачиваясь, открыл ей дверцу, и она села за руль, кончик сигары рдел у ее щеки, точно красный фонарь, предупреждающий: «Осторожно! Впереди на дороге ремонт».

Я вернулся в отель, и на ступеньках меня встретил Жозеф. Он сказал, что Марсель приехал полчаса назад и попросил номер на одну ночь.

— Только на одну?

— Он говорит, он завтра уедет.

Марсель заплатил вперед, зная, сколько с него причитается, заказал наверх две бутылки рому и спросил, нельзя ли ему занять комнату графини.

— Мог бы и в своей прежней переночевать.— Но тут я вспомнил, что недавно приехавший американский профессор занял ее.

Такая просьба меня не встревожила. Скорее даже растрогала. Мне было приятно, что к моей матери так хорошо относились — и ее любовник, и та женщина в казино, имя которой я позабыл спросить. Да я бы и сам, вероятно, привязался к ней, дай она сыну хоть капельку такой возможности. И как знать, не унаследовал ли я от нее вместе с двумя третями отеля и способность нравиться людям. А это большой плюс, когда начинаешь дело.

4

Я подошел около казино к машине с буквой «д» на номерном знаке, опоздав на полчаса. Было много такого, что меня задержало, и мне вообще не хотелось приезжать. Я не мог притворяться перед самим собой, будто увлекся сеньорой Пинеда. Немножко вожделения, немножко любо-

пытства — больше, кажется, ничего не было, и по дороге в город я припоминал все, что говорило против нее: то, что она немка, что она сама сделала первый шаг, что она жена посла. (В ее болтовне, наверное, будет слышаться позвякиванье хрустальных подвесок на канделябрах и бокалов с коктейлем.) Она отворила дверцу машины мне навстречу.

— А я уж отчаялась,— сказала она.

— Простите меня. Столько всего было сегодня.

— Ну, раз уж вы здесь, давайте отсюда уедем. Наша публика начинает съезжаться в казино в начале двенадцатого, после приемов.

Она вывела машину задним ходом.

— Куда же мы поедем? — спросил я.

— Не знаю.

— Почему вы заговорили со мной вчера вечером?

— Не знаю.

— Вы приобщились к моей удаче?

— Да. И мне было любопытно, какой сын у вашей матери. Здесь у нас никогда ничего не случается.

Впереди перед нами лежал порт, ненадолго залитый светом прожекторов. Шла разгрузка двух торговых судов. Оттуда длинной вереницей двигались фигуры, сгорбившиеся под мешками. Она развернула машину полукругом и ввела ее в пласт густой тени у белой статуи Колумба.

— Вечером наши сюда не ездят,— сказала она.— Следовательно, и нищим здесь нечего делать.

— А полиция?

— Номер с буквой «д» что-нибудь да значит.

Я подумал: кто из нас кого использует? Я уже несколько месяцев не был с женщиной, а она — она явно достигла того тупика, которым кончается большинство браков. Но меня подкосили события того дня, и я жалел, что приехал, и еще я не мог забыть, что она немка, хотя на ней, по молодости лет, и не могло лежать никакой вины. Для нашего пребывания здесь был только один повод, и все же мы сидели и ничего не делали. Мы сидели и смотрели на статую, которая смотрела на Америку.

Чтобы покончить с этой глупейшей ситуацией, я положил руку ей на колено. Кожа у нее была холодная; она была без чулок. Я спросил:

— Как вас зовут?

— Марта.— Она повернулась ко мне, сказав это, и я поцеловал ее— неловко, мимо рта.

Она сказала:

— Это не обязательно. Мы же взрослые люди.

И вдруг я опять очутился в «Отель де Пари» и был так же бессилен, а птицы, которая спасла бы меня на своих белых крыльях, здесь не было.

— Мне просто хотелось поговорить,— мягко сказала она неправду.

— А я думал, у вас и в посольстве хватает разговоров.

— Вчера вечером... если б я приехала к вам в отель, все было бы хорошо?

— Слава богу, что не приехали,— сказал я.— Там и без того было много неприятностей.

— Каких?

— Не надо сейчас об этом.

И опять, чтобы как-то замаскировать отсутствие всяких чувств, я повел себя неуклюже. Я рывком пересадил ее из-за руля к себе на колени, и, задев ногой о радиоприемник, она вскрикнула.

— Простите.

— Ничего, не больно.

Она села поудобнее, она прижалась губами к моей шее, но я все еще ничего не чувствовал, ничего во мне не шевельнулось, и я подумал, долго ли можно терпеть такое разочарование, если она действительно разоча-

рована. Потом она ушла из моих мыслей. Снова была полуденная жара, и я стучал в дверь бывшей комнаты моей матери, и мне никто не отзывался оттуда. А я все стучал, стучал, думая, что Марсель спит, пьяный.

— Расскажите, что там у вас случилось,— попросила она.

И я вдруг заговорил. Я рассказал ей, как сначала забеспокоился коридорный, а потом Жозеф и как, не дождавшись ответа на свой стук, я отпер дверь отмычкой и она оказалась запертой изнутри на засов. Пришлось сломать перегородку между двумя балконами и перелезть с одного на другой — гостей, к счастью, в отеле не было, все уехали купаться на рифы.

Марсель висел на люстре, в петле из собственного пояса. Он был, видимо, тверд в своем решении, так как ему стоило только чуть раскачнуться, чтобы достать ногами край золоченого порожка у широкой кровати моей матери. Ром был весь выпит, лишь во второй бутылке было немного на донышке, а в конверт, адресованный мне, он вложил то, что у него осталось от трехсот долларов.

— Теперь вы можете себе представить,— сказал я,— сколько у меня было хлопот весь день. Полиция... да и гости. Американский профессор держался прилично, но одна супружеская чета, англичане, заявила, что они сообщат об этом своему агенту из туристского бюро. По-видимому, самоубийство переносит отель в низшую категорию. Я начинаю под недобрым знаком.

— Какой ужас! — сказала она.

— Я его почти не знал, и мне до него нет никакого дела, и тем не менее это ужасно. Придется, должно быть, освящать комнату — призвать священника или хунгана. Не знаю кого. И люстру надо разбить. Этого требует прислуга.

Я разговорился, и мне стало легче, а вместе со словами пришло желание. Мои губы касались ее затылка. Она задрожала всем телом, и ее взметнувшаяся рука, как назло, нажала на кнопку клаксона. Он выл и выл, точно подраненный зверь или судно, затерявшееся в тумане, до тех пор, пока дрожь в ней не утихла.

Мы сидели молча в той же неудобной позе, словно части какого-то аппарата, не пригнанные механиком. Теперь самое время было проститься и уехать: чем дольше мы оставались здесь, тем больше требований друг к другу могло уготовить нам будущее. В молчании зарождается доверие, растет чувство покоя. Я вдруг осознал, что заснул на короткий миг, проснулся и увидел, что она тоже спит. Разделенный сон — это лишние узы. Я посмотрел на часы. До двенадцати было далеко. Подъемные краны скрипели над торговыми судами, и грузчики длинной вереницей шли от пристани к складу, согнувшись под мешками, точно монахи в капюшонах. У меня затекла нога. Я двинулся и разбудил Марту.

Она высвободилась из моих рук и резко проговорила:

— Который час?

— Без двадцати двенадцать.

— Мне приснилось, будто машина испортилась и уже час ночи.

Я почувствовал, что меня поставили на отведенное мне место — между десятью и часом. Страшно было думать, как быстро занимается ревность — я знал эту женщину только сутки и уже негодовал, что кто-то еще имеет на нее права.

— Что с вами? — спросила она.

— Я думаю, когда мы теперь увидимся.

— Завтра. В то же самое время. Здесь. Чем плохо место? Только смотрите, чтобы таксист был другой.

— Постель у нас не идеальная.

— Мы сядем сзади. Там будет хорошо,— сказала она с удручившей меня деловитостью.

Вот так и начался наш роман, и так он и продолжался с небольшими изменениями: например, через год она сменила «пежо» на новую модель. Кое-когда нам выпадала возможность обойтись без машины — правительство как-то вызвало ее мужа с докладом; однажды при содействии ее приятельницы мы провели два дня в Кап-Аитьене, но потом приятельница уехала на родину. Мне часто казалось, что мы с ней не столько любовники, сколько заговорщики, связанные соучастием в каком-то преступлении. И, подобно заговорщикам, мы все время чувствовали, что за нами следят сыщики. Одним из них был ее ребенок.

Я пошел на прием в посольство. Не приглашать меня причин не было, так как за полгода со дня нашего знакомства я стал полноправным членом местной иностранной колонии. Мой отель имел скромный успех, хотя скромностью я не довольствовался и все еще мечтал о первоклассном поваре. С послом мы встретились впервые, когда он привез как-то в отель с дипломатического приема одного из моих гостей — своего соотечественника. Он принял и похвалил поданный ему пунш — творение Жозефа, и тень его длинной сигары ненадолго протянулась по веранде «Трианона» эдаким указующим перстом. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы человек так часто употреблял притяжательные местоимения «мое, мой». «Нельзя ли дать моему шоферу выпить что-нибудь?» «Вот мои сигары — курите, пожалуйста». Мы заговорили о предстоящих выборах. «Мое мнение таково, что победит доктор. Его поддерживает Америка. Мои источники информации надежны». Он пригласил меня: «Приходите на мой ближайший прием».

Почему он вызывал во мне такую неприязнь? Я не был влюблен в его жену. Я с ней сошелся, только и всего. Так, по крайней мере, мне казалось в то время. Может быть, неприязнь возникла потому, что, узнав из нашего разговора о моем пребывании в коллеже Посещения Приснодевы, он нашел между нами что-то общее?

— Я учился в коллеже святого Игнациуса...— То ли в Парагвае, то ли в Уругвае — да какое мне дело где!

Позднее я узнал, что прием, на который меня во благовремении пригласили, шел у них по второму разряду; первый — с подачей черной икры — был чисто дипломатического порядка: послы, министры, первые секретари; а третьеразрядные носили чисто «служебный» характер. Быть званым на прием второго разряда считалось лестным, потому что на них бывало якобы «забавно». В эти дни приглашали богатых гаитян с женами редкостной прелести. Для них еще не пришло время бежать из страны или сидеть ночами взаперти по домам из страха, как бы с ними чего не случилось на улицах — темных после введения комендантского часа.

Посол сказал:

— Познакомьтесь — моя жена.

Опять «моя». И она увела меня к стойке с напитками.

— Завтра вечером? — спросил я, но она нахмурилась и поджала губы, давая понять. что нельзя сейчас об этом, что за нами наблюдают. Но боялась она не мужа. Он был занят — показывал одному из гостей «свое» собрание работ Ипполита и, переходя от картины к картине, объяснял, что на каждой изображено, точно сюжет их тоже принадлежал ему.

— В таком шуме твой муж ничего не разберет.

— Ты разве не видишь,— сказала она,— что он прислушивается к каждому нашему слову.— Но этот «он» был вовсе не ее муж. Крошечный мальчуган футов трех росту, устремив на нас сосредоточенный взгляд темных глаз, протискивался сквозь толпу с бесцеремонностью лилипута и отталкивал от себя колени гостей, будто это были какие-то кустики

в принадлежавшем ему лесу. Я заметил, что он смотрит на ее губы, точно умеет читать по ним.

— Мой сын Анхел,— представила она его, и с тех пор, когда я думал о нем, в этом имени мне слышалось богохульство. Анхел... почти что Ангел.

Пробившись к ней, он уже не отпускал ее от себя, хотя не говорил ни слова. Ему было не до того — он слушал, а его маленькая стальная рука охватывала ее кисть, точно половинкой наручника. Так я познакомился со своим настоящим соперником. В следующую нашу встречу она сказала, что он расспрашивал ее обо мне.

— Учуял неладное?

— Ну, как можно! В его возрасте? Ему только-только исполнилось пять лет.

Прошел год, и мы нашли способ отделываться от Анхела, хотя он по-прежнему притязал на нее. Я уже успел убедиться, что Марта мне необходима, но, когда я требовал, чтобы она бросила мужа, ребенок преграждал ей путь к бегству. Она никогда не согласится поставить под удар его счастье. Она уйдет от мужа хоть завтра, но как пережить, если он отнимет у нее Анхела? А мне казалось, что сын с каждым месяцем становится все больше и больше похож на отца. Теперь он тоже говорил *моя* мама, и однажды я увидел его с длинной шоколадной сигарой во рту; он заметно прибавлял в весе. Отец словно вселил в сына своего демона, чтобы наша связь не зашла слишком далеко и не преступила границ благоразумия.

Одно время мы снимали комнату для свиданий над магазином сирийца по имени Гамит. Хозяин не внушал нам опасений — это было сразу после прихода к власти доктора Дювалье, и тень будущего, черная, как тучи над Кенскоффом, нависала над всеми. Для человека без гражданства было важно установить хоть какую-нибудь связь с иностранным посольством, ибо кто мог знать, не пробьет ли час, когда придется просить политического убежища? Мы с ней тщательно обследовали весь этот магазин, но, как на грех, не учли, что в углу, за прилавком с аптекарскими товарами, было несколько полок с лучшими в Порт-о-Пренсе игрушками, а среди бакалейных продуктов (спрос на деликатесы тогда еще не исчез) изредка попадалась банка-другая песочного печенья — любимого корма Анхела, который он поедал в промежутки между завтраком, обедом и ужином. Это привело нас к нашей первой ссоре.

Мы уже три раза побывали в комнате у сирийца, где имелось следующее: железная кровать, покрытая сиреневым шелковым одеялом, у стены четыре жестких стула с прямыми спинками и изрядное количество раскрашенных от руки снимков семейных групп. Это была, наверное, гостевая комната, и в ней поддерживали идеальную чистоту и порядок в ожидании какого-то важного гостя из Ливана, который так и не приехал и теперь уже никогда не приедет. В четвертый раз я прождал Марту два часа, но она не появилась. Я прошел через магазин, и сириец осторожно заговорил со мной.

— Вы разминулись с мадам Пинеда,— сказал он.— Она была здесь со своим маленьким сыном.

— С сыном?

— Они купили заводной автомобильчик и коробку песочного печенья.

В тот же вечер Марта позвонила мне. Она говорила запыхавшись, каким-то испуганным голосом и очень быстро.

— Я на почтамте,— сказала она.— Анхела оставила в машине.

— Жевать песочное печенье?

— Печенье? Откуда ты знаешь? Милый, мне не удалось прийти. Я вошла в магазин, а там Анхел с няней. Пришлось сделать вид, будто я хотела купить ему что-нибудь в награду за хорошее поведение.

— А он действительно хорошо себя вел?

— Да не очень. Няня говорит, что на прошлой неделе они видели, как я вышла оттуда — счастье, что мы с тобой всегда уходим порознь,— и ему захотелось посмотреть, где это я была, и таким образом он обнаружил там свое любимое печенье.

— Песочное?

— Да. Ой! Он идет искать меня. Сегодня вечером. На старом месте.— Телефон заглох.

И вот мы снова встретились у статуи Колумба в машине марки «пежо». В тот раз мы не занимались любовью. Мы ссорились. Я говорил ей, что Анхел избалованный ребенок, и она соглашалась со мной, но, когда я сказал, что он за ней шпионит, она вышла из себя, а когда я сказал, что он догоняет отца толщиной, она размахнулась дать мне пощечину. Я схватил ее за руку, и она обвинила меня в том, будто я ее ударил. Тут мы оба нервически рассмеялись, но ссора продолжала кипеть на медленном огне, точно мясной отвар для завтрашнего супа.

Я сказал вполне резонно:

— Надо тебе все же порвать или тут, или там. Так жить больше невозможно.

— Ты хочешь, чтобы я оставила тебя?

— Конечно нет.

— Но я не могу без Анхела. Разве он виноват, что его избаловали? Я нужна ему. Нельзя же губить его счастье.

— Через десять лет ты ему не понадобишься. Он будет бегать к мамаше Катрин или спать с одной из твоих горничных. Впрочем, к тому времени вы уедете отсюда — куда-нибудь в Брюссель или Люксембург, но там бордели для него тоже найдутся.

— Десять лет срок немалый.

— Но ты будешь тогда пожилой женщиной, а я совсем состарюсь — так состарюсь, что ничем меня не проймешь. И ты так и останешься при своих двух толстяках... И, разумеется, при своей чистой совести. Этого добра у тебя никто не отнимет.

— А ты? Тебя будут утешать разные бабы и самыми разными способами. И не пытайся отрицать это.

В темноте под статуей наши голоса звучали все громче и громче. Такие ссоры обычно ни к чему не приводят, после них остаются только ранки, которые легко заживают. Место для новых ран у нас всегда находится, прежде чем мы начинаем сковыривать старые болячки. Я вылез из ее машины и подошел к своей. Я сел за руль и дал задний ход. Я уговаривал себя: надо кончать, игра не стоит свеч, пусть нянчится со своим отвратительным мальчишкой, у мамаши Катрин найдутся женщины и получше — и вообще, она немка. Поравнявшись с ее машиной, я высунулся из окошка и злобно крикнул:

— Всего вам хорошего, фрау Пинеда!— И вдруг увидел, что она плачет, упав головой на руль. Мне, вероятно, надо было попрощаться с этой женщиной, чтобы понять, что я без нее не смогу.

Когда я сел рядом с ней, она уже взяла себя в руки.

— Нет,— сказала она.— Сегодня у нас ничего не выйдет.

— Да.

— Завтра увидимся?

— Непременно.

— Как всегда? Здесь?

— Да.

Она сказала:

— Мне ведь надо было поговорить с тобой. Я приготовила тебе сюрприз. То, о чем ты давно мечтаешь.

Я подумал, что она решила сдаться и пообещает оставить мужа и ребенка. Я обнял ее, чтобы ей было легче принять такое серьезное решение, и она сказала:

— Тебе ведь нужен хороший повар?

— А... да. Да. Как будто нужен.

— У нас повар замечательный, и он уходит. Я нарочно так все подстроила, чтобы закатить ему скандал и рассчитать. Ну вот, если хочешь, он твой.— Мое молчание, кажется, опять ее обидело.— Теперь ты видишь, как я тебя люблю? Муж придет в ярость. Он говорил, что Андре единственный повар во всем Порт-о-Пренсе, которому удаются суфле.

Я вовремя удержался, чтобы не спросить: «А как же Анхел? Он тоже большой любитель покушать».

— Ты меня озолотишь,— сказал я вместо этого. И так оно почти и было: «Трианон» славился своими суфле «au Grand Marnier» до той самой поры, пока не начался террор и американская миссия выехала, британского посла выдворили из страны, папский нунций не вернулся из поездки в Рим, а комендантский час отгородил нас друг от друга хуже всякой ссоры, и наконец я сам вылетел с последним самолетом компании «Дельта» рейсом Порт-о-Пренс — Новый Орлеан. Жозеф тогда еле выбрался живым с допроса у тонтон-макутов, и мне стало страшно. Я не сомневался, что это они до меня добираются. Может быть, их главарю — Жирному Грасиа захотелось прибрать к рукам мой отель? Крошка Пьер и тот перестал навещать нас, жертвуя даровой выпивкой. Неделями я сидел один — с покалеченным Жозефом, поваром, горничной и садовником. Отель нуждался в покраске, в ремонте, но стоило ли убивать столько труда на него, когда надежды на гостей не было? В полном порядке у нас содержался только номер Джона Барримора — как могила.

Наш роман с Мартой почти кончился и уже не мог вознаградить меня за страх и скуку. Телефон не работал: аппарат стоял на моем письменном столе реликвией лучших времен. После введения комендантского часа встречаться по вечерам нам стало невозможно, а днем всегда был Анхел. И вот я решил, что убегаю и от любви, и от политики, когда после десятичасового ожидания мне дали наконец выездную визу в полиции, где было не продохнуть от тяжелого запаха мочи, а из тюремных камер то и дело выходили полицейские с довольными улыбками на физиономиях. Помню священника в белой сутане, который сидел там весь день и читал свой бревиарий, и его каменную позу, говорившую о невозмутимом долготерпении. Священника так и не вызвали. На стене цвета сырой печенки над самой его головой были пришпилены снимки мертвого отступника Барбо и других мятежников, которых месяц назад перебили из пулемета в хижине на окраине столицы. Когда полицейский чин наконец-то выдал мне визу, швырнув ее на стойку, точно огрызок хлеба нищему, священнику сказали, что помещение на ночь закрывается. На следующий день он, наверно, опять приходил. Не все ли ему было равно, где читать бревиарий — что здесь, что в другом месте, ведь из транзитных никто не решался заговорить с ним, поскольку архиепископ был в изгнании, а президента отлучили от церкви.

Какой прекрасный город приходится покидать, подумал я, увидев его сверху сквозь вольный, прозрачный воздух, когда самолет лег на одно крыло, уходя от грозовых разрядов, постоянно бушующих над Кенскоффом. Порт казался совсем крохотным по сравнению с изборожденной складками пустыней, которая расстилалась вдали, и высушенной зноем, необитаемой горной цепью, тянущейся в дымке к Кап-Аитьену, к доминиканской границе, и похожей на переломленный хребет допотопного чудовища, отрытый в глинистой почве. Найду какого-нибудь смель-

чака, пообещал я себе, пусть покупает мой отель, и у меня больше не будет никакой обузы, как в тот день, когда я приехал в Петьонвиль и застал мать распростертой на огромной бордельной кровати. Я был счастлив, что уезжаю, я шептал это черной горе, разворачивающейся внизу, я говорил это своей улыбкой, адресованной стройной американской стюардессе, которая подала мне стакан виски с содовой, и пилоту, который вышел сказать, где мы летим.

Прошел месяц, прежде чем я с тоской открыл однажды утром глаза в гостиничном номере с кондиционированным воздухом на 44-й улице в Нью-Йорке и вспомнил, что видел во сне переплетение рук и ног в машине марки «пежо» и статую, уставившуюся на океан. И тогда я понял, что рано или поздно вернусь туда — вернусь, когда мое упрямство иссякнет, планы относительно продажи отеля рухнут и когда мне покажется, что сухую корку глодать, дрожа от страха, лучше, чем вовсе голодать.

Глава IV

1

Доктор Мажио долго стоял, склонившись над телом бывшего министра. В тени, поверх луча моего фонарика, он был похож на колдуна, изгоняющего смерть. Я не решался прервать этот ритуал, но меня беспокоило, как бы Смиты не проснулись в своем башенном номере, и я все-таки заговорил, нарушив его раздумья:

— Самоубийство есть самоубийство, ничего другого они не докажут.

— Они смогут доказать все, что угодно,— ответил доктор Мажио.— Не обольщайтесь на этот счет.— Он стал опоражнивать левый карман министра, оказавшийся сверху.— Этот человек был лучше многих из них,— сказал он и, точно банковский клерк, проверяющий, нет ли в пачке фальшивых банкнот, стал внимательно разглядывать каждую бумажку, близко поднося их к глазам, к толстым выпуклым стеклам очков, которые служили ему только для чтения.— Мы с ним проходили вместе курс анатомии в Париже. Но в те дни даже Папа Док был вполне порядочным человеком. Я помню Дювалье во время эпидемии тифа в двадцатых годах...

— Что вы отыскиваете?

— Смотрю, нет ли тут чего-нибудь, что может связать его с вами. Этому острову очень кстати католическая молитва: «Подобно льву рыскающему, дьявол ищет, кого бы пожрать ему».

— Вас он еще не пожрал.

— Дайте срок.— Записную книжку министра он спрятал к себе в карман.— Сейчас нам некогда этим заниматься.— Потом перевернул тело навзничь. Сдвинуть его было трудно даже доктору Мажио.— Я рад, что ваша матушка умерла вовремя. На ее долю и так много всего пришлось. Одного Гитлера хватит на человеческую жизнь.— Мы говорили шепотом, чтобы не разбудить Смитов.— Кроличья лапка,— сказал он.— Приносит счастье.— И сунул ее обратно.— А дальше что-то тяжелое.— Он держал в руке мое медное пресс-папье в виде гробика с буквами «R.I.P.».— Вот не знал, что у него было чувство юмора.

— Это моя вещь. Он, наверно, взял ее у меня в кабинете.

— Поставьте ее на то же место.

— Послать Жозефа за полицией?

— Нет, нет. Здесь тело нельзя оставлять.

— Это самоубийство. Не могут же они взвалить вину на меня.

— Ваша вина будет в том, что он прятался у вас в доме.

— Но почему у меня? Я его не знал. Встретился с ним как-то на одном приеме, вот и все.

— Посольства строго охраняются. Он, видимо, поверил вашей английской пословице: «Дом англичанина — его крепость». Надежд на спасение у него было так мало, что он цеплялся за афоризмы.

— Первый мой вечер дома — и такая чертовщина!

— Да, действительно. Еще Чехов писал: «Самоубийство явление нежелательное».

Доктор Мажио выпрямился и посмотрел на мертвое тело. У людей черной расы сильно развито чутье, диктующее им, как себя вести подобающе случаю,— образование, полученное на Западе, не вытравляет в них этого чутья, а лишь меняет форму его проявления. Прадед доктора Мажио, вероятно, стенал бы в каком-нибудь бараке для рабов, взывая к безучастным звездам, доктор Мажио произнес краткое, тщательно сформулированное слово над покойником.

— Как бы ни был велик страх человека перед жизнью,— сказал доктор Мажио,— самоубийство остается мужественным актом — актом ясного математического ума. Самоубийца исходит из теории вероятности: столько-то шансов против одного, единственного, что жить будет горше, чем умереть. Его математическая интуиция была острее инстинкта самосохранения. Но вы только представьте себе, с какой силой этот инстинкт требует, чтобы ему вняли в последнюю минуту, какими он оперирует доводами, отнюдь не научными.

— Мне думалось, что, будучи католиком, вы безоговорочно осуждаете...

— Я не практикующий католик, а вы к тому же переносите отчаяние в область теологическую. Вот в этом отчаянии никакой теологии не было. Ведь он, бедняга, нарушал правило. Ел мясо в постные дни. Инстинкт самосохранения этого человека не вооружился заповедью божией в качестве довода, оправдывающего бездействие.— Он сказал: — Сойдите вниз и возьмите его за ноги. Тело надо убрать отсюда.— Лекция кончилась, заупокойное слово было произнесено.

С каким облегчением чувствовал я себя в больших, квадратных руках доктора Мажио. Точно пациент, безропотно соглашающийся на строгий режим, необходимый, чтобы выздороветь. Мы вытащили министра социального благосостояния из бассейна и понесли его к подъездной аллее, где с потушенными фарами стояла машина доктора Мажио.

— Когда вернетесь,— сказал доктор Мажио,— пустите воду и смойте кровь.

— Пустить-то пущу, а вот пойдет ли она...

Мы привалили его к спинке заднего сиденья. В детективных романах трупу с такой легкостью придают видимость пьяного, а этот мертвец был бесспорно мертв — кровь уже не текла, но, чтобы увидеть страшную рану на шее, стоило только заглянуть в машину. К счастью, по ночам никто не решался выезжать на шоссе; в эти часы работали одни лишь зомби, восставшие из могил, да тонтон-макуты. Что касается тонтонов, то они, безусловно, дома не сидели: еще не доехав до конца подъездной аллеи, мы услышали их машину — чья другая могла появиться в такое позднее время? Мы погасили фары и стали ждать. Машина медленно поднималась вверх от столицы, нам были слышны пререкания тех, кто сидел в ней, перекрывающие фырканье мотора, который работал на третьей скорости. У меня создалось впечатление, что машина дряхлая и ей не одолеть длинного подъема к Петьонвилю. Что мы будем делать, если она испустит дух у въезда к «Трианону»? Тонтон-макуты, конечно, явятся в отель за подмогой и за даровой выпивкой, несмотря на поздний час. Нам показалось, что мы ждали бог знает сколько времени, прежде чем машина миновала въезд к отелю и затихла вдали.

Я спросил доктора Мажио:

— Куда мы его денем?

— Далеко отъехать не удастся ни вверх, ни вниз,— ответил он.— Всюду заставы. Это шоссе идет к северу, и караульные на нем не спят, боятся проверки. Тонтоны за тем, должно быть, и ездят. Если машина у них не застопорит, они проверят полицейский пост у Кенскоффа.

— Вам только что надо было проехать заставу по пути ко мне. Как же вы объяснили?..

— Сказал, что тут одна женщина не оправилась после родов. Если мне повезет, караульный не станет об этом докладывать. Случай слишком заурядный.

— А если доложит?

— Скажу, что не нашел хижины.

Мы выехали на главную магистраль. Доктор Мажио снова включил фары.

— Если нас кто-нибудь увидит, — сказал он, — подумают, мы тонтоны.

Наш маршрут сильно ограничивали заставы, одна вверх по шоссе, другая — вниз. Мы сделали ярдов двести кверху — так будет ясно, что Филипо миновал «Трианон», что он не туда пробирался,— свернули во второй проулок налево, где стояли небольшие дома с заброшенными садиками. В прежние времена здесь селились люди тщеславные, но не слишком преуспевающие, они были на пути к Петьонвилю, но туда так и не добрались: адвокат, бравшийся за мелкие дела, неудачливый астролог, врач, предпочитавший пациентам бутылку рома. Доктор Мажио знал точно, кто из них еще живет в своем доме, а кто убежал от поборов, которые тонтон-макуты взимали по ночам на строительство нового города — Дювальевиля. Я сам пожертвовал на него сто гурдов. Мне же все эти дома и садики казались одинаково нежилыми и запущенными.

— Вот сюда,— решил доктор Мажио. Он проехал несколько ярдов в сторону от шоссе. Мы не могли потушить фары, руки у нас были заняты, некому было держать фонарик. Фары осветили поломанную вывеску, на которой осталось только: «...пон. Ваше будущее вам откроет...».

— Значит, его уже нет,— сказал я.

— Он умер.

— Естественной смертью?

— Насильственные смерти считаются здесь естественными. Его убила обстановка.

Мы вытащили тело доктора Филипо из машины и поволокли его к разросшемуся кусту бугенвиллеи, чтобы не было видно с дороги. Доктор Мажио обмотал правую руку носовым платком и вынул из кармана покойника маленький кухонный нож, которым режут мясо на бифштексы. Возле бассейна глаза его оказались зорче моих. Он положил нож в нескольких дюймах от левой руки министра. Он сказал:

— Доктор Филипо был левша.

— Вам известно решительно все.

— Вы забыли, что мы с ним вместе изучали анатомию. Непременно купите другой такой же нож.

— У него семья?

— Жена и сын шести лет. Он, верно, думал спасти их своим самоубийством.

Мы сели в машину и задним ходом выехали на шоссе. У поворота к отелю я вылез.

— Теперь все зависит от прислуги,— сказал я.

— Они побоятся говорить,— сказал доктор Мажио.— Свидетели у нас могут пострадать не меньше обвиняемых.

2

Мистер и миссис Смит спустились к завтраку на веранду. Мне чуть ли не впервые пришлось увидеть его без пледа, переброшенного через руку. Они хорошо выспались и с аппетитом ели грейпфруты, гренки и джем. Я опасался, как бы им не вздумалось потребовать какой-нибудь диковинный напиток с названием, изобретенным рекламной фирмой, но они примирились с кофе и даже похвалили его.

— За всю ночь я проснулся только раз,— сказал мистер Смит,— и мне послышались чьи-то голоса. Может быть, мистер Джонс приехал?

— Нет.

— Странно. Последнее, что он мне сказал на таможне, было: «Вечером увидимся у мистера Брауна».

— Его, наверно, умыкнули в другой отель.

— Я думала искупаться перед завтраком,— сказала миссис Смит,— но Жозеф чистил бассейн. Он у вас, как видно, на все руки.

— Да. Жозефу цены нет. Но к ленчу он, безусловно, управится.

— А что с нищим? — спросил мистер Смит.

— Он ушел еще до рассвета.

— Надеюсь, не на пустой желудок? — Он улыбнулся мне, как бы говоря: «Я, конечно, шучу. Я знаю, что вы человек добрый».

— Жозеф, безусловно, позаботился об этом.

Мистер Смит взял еще один гренок. Он сказал:

— Мы с женой решили поехать утром в посольство и расписаться там в книге для посетителей.

— Вполне разумное решение.

— По-моему, этого требует вежливость. А потом я, пожалуй, вручу рекомендательное письмо министру социального благосостояния.

— На вашем месте я бы сначала справился в посольстве, не произошло ли каких-нибудь перемен за последнее время. Если, конечно, письмо адресовано определенному лицу.

— Да. Некоему доктору Филипо.

— Тогда обязательно надо справиться. Перемены здесь происходят быстро.

— Но в таком случае меня, вероятно, примет тот, кто заменил его на этом посту? Цель, с которой я сюда приехал, должна заинтересовать министра, ведающего и здравоохранением.

— Вы мне еще не говорили, какова...

— Я приехал сюда в качестве представителя,— сказал мистер Смит.

— Американских вегетарианцев,— добавила миссис Смит.— Истинных вегетарианцев.

— А разве есть мнимые вегетарианцы?

— Конечно. Попадаются и такие, кто ест яйца с зародышами.

— Еретики и отступники вносили раскол во все великие движения,— грустно проговорил мистер Смит,— которые когда-нибудь знала история человечества.

— А что вегетарианцы намерены предпринять здесь?

— Помимо распространения бесплатной литературы — конечно, в переводе на французский — мы хотим открыть в самом сердце столицы вегетарианский центр.

— Сердце столицы — трущобный район.

— Тогда в другом, более подходящем месте. Нам хотелось бы, чтобы президент и кто-нибудь из министров присутствовали на торжественном открытии и отведали нашу первую вегетарианскую трапезу. Пусть подадут пример народу.

— Но президент боится покидать дворец.

Мистер Смит вежливо посмеялся над тем, что он счел весьма красочным преувеличением с моей стороны. Миссис Смит сказала:

— Ну, от мистера Брауна поддержки ждать не приходится. Это не наш человек.

— Полно, полно, голубчик. Мистер Браун просто шутит. Я, пожалуй, позвоню в посольство сразу после завтрака.

— Телефон не работает. Но можно послать Жозефа с запиской.

— Нет, тогда мы возьмем такси. Если вы нам его достанете.

— Я пошлю Жозефа.

— А он у вас действительно на все руки,— резко проговорила миссис Смит, точно имея дело с южным плантатором. Я увидел Крошку Пьера, поднимавшегося к отелю, и отошел от них.

— О, мистер Браун! — крикнул Крошка Пьер.— С добрым, добрым утром! — Он помахал мне номером местной газеты.— Вот почитайте, что я о вас написал. Ну, как ваши гости? Надеюсь, хорошо спали? — Он взбежал по ступенькам, отвесил поклон столику, за которым сидели Смиты, и полной грудью вдохнул сладостный, благоуханный воздух Порт-о-Пренса, точно был не местный житель.— Какой вид! — сказал он.— Деревья, цветы, залив, дворец.— И хихикнул.— «Вдали все кажется прекрасней». Мистер Уильям Вордсворт*.

Я был уверен, что Крошка Пьер явился сюда не ради прекрасных видов, да и для дарового стакана рома было рановато. По всей вероятности, ему хотелось получить какие-то сведения, а может, наоборот, самому что-то сообщить. Его веселость вовсе не означала, что новости будут хорошие. Крошка Пьер всегда был в прекрасном настроении. Он словно кинул монету, чтобы решить жребием, какую из двух единственно возможных в Порт-о-Пренсе позиций ему занять — разумную или абсурдную, скорбеть или веселиться. Монета упала головой Папы Дока вниз, и Крошка Пьер веселился напропалую, весельем отчаяния.

— Дайте посмотреть, что вы там написали.

Я отыскал отдел светской хроники — он всегда помещался на четвертой полосе — и прочел, что среди прочих знатных пассажиров, прибывших вчера на «Медее», был достопочтенный мистер Смит, которого на президентских выборах 1948 года только небольшим количеством голосов победил мистер Трумэн. Ему сопутствует его элегантная и приветливая супруга, которая при более благоприятных обстоятельствах стала бы Первой леди Америки — украшением Белого дома. В числе многих других пассажиров был также пользующийся всеобщей любовью владелец интеллектуального центра Гаити, отеля «Трианон», который вернулся в Порт-о-Пренс из деловой поездки в Нью-Йорк... Вслед за тем я пробежал важнейшие новости на первой полосе. Министр просвещения излагал шестилетний план по борьбе с неграмотностью на севере Гаити — почему именно на севере? Подробности не сообщались. Может быть, он рассчитывал на хорошенький ураган? В 1951 году ураган «Хэзел» провел весьма успешную борьбу с неграмотностью во внутренних областях страны — количество жертв так и не было опубликовано. Далее следовало краткое сообщение о том, что границу с Доминиканской Республикой нарушил отряд мятежников, их оттеснили обратно, взяты в плен двое, имевшие при себе американское оружие. Если б президент не поссорился с американской миссией, оружие, вероятно, приписали бы чехам или кубинцам.

Я сказал:

— Ходят слухи о новом министре социального благосостояния.

— Нельзя верить слухам,— сказал Крошка Пьер.

---

* Уильям Вордсворт (1770—1850) — английский поэт. На самом деле приведенная цитата — из стихотворения Т. Кэмбелла.

— Мистер Смит приехал с рекомендательным письмом на имя доктора Филипо. Мне бы не хотелось, чтобы он попал впросак.

— Может, ему следует выждать несколько дней. Я слышал, что доктор Филипо сейчас в Кап-Аитьене — вообще на севере.

— Там, где идут бои?

— По-моему, никаких серьезных боев там нет.

— А что за человек доктор Филипо? — Меня разбирало любопытство: хотелось побольше узнать о том, кто, умерев в моем плавательном бассейне, стал мне чем-то вроде дальнего родственника.

— Человек,— ответил Крошка Пьер,— который страдает расстройством нервной системы.

Я сложил газету и вернул ее Крошке Пьеру.

— О приезде нашего друга Джонса вы даже не упоминаете?

— Ах, да! Джонс. А, собственно, кто он такой, этот майор Джонс?— И мне стало ясно, что Крошка Пьер явился сюда не столько сообщить какие-нибудь сведения, сколько получить их.

— Наш попутчик. Больше я о нем ничего не знаю.

— Он ссылается на дружбу с мистером Смитом.

— Значит, так оно, вероятно, и есть.

Как бы ненамеренно Крошка Пьер повел меня по веранде, пока мы не завернули за угол, где чета Смитов не могла нас видеть. Белые манжеты далеко вылезали у него из обшлагов на черные руки.

— Если вы будете говорить со мной по душам,— сказал он,— может быть, я окажусь вам полезен чем-нибудь.

— По душам? О чем же?

— О майоре Джонсе.

— Да не называйте вы его майором. Это ему как-то не подходит.

— Вы считаете, что он...

— Я о нем ничего не знаю. Ровным счетом ничего.

— Он собирался остановиться в вашем отеле.

— Видимо, нашел себе пристанище в другом месте.

— Да. В полиции.

— Как так?

— У него, кажется, обнаружили что-то недозволенное в багаже. Не знаю, что именно.

— В британском посольстве это известно?

— Нет. Но вряд ли они смогут чем-нибудь помочь. Такие дела должны идти своим путем. Пока что ничего плохого с ним не сотворили.

— Как же быть? Посоветуйте, Крошка Пьер.

— Это, вероятно, просто недоразумение, но тут возникает вопрос престижа. Начальник полиции человек с гонором. Если бы мистер Смит поговорил с доктором Филипо, доктор Филипо мог бы поговорить с министром внутренних дел. Тогда для майора Джонса все ограничилось бы штрафом за чисто формальную провинность...

— В чем же она заключается, его провинность?

— Такой вопрос тоже носит чисто формальный характер,— сказал Крошка Пьер.

— Но вы сами говорили, что доктор Филипо где-то на севере.

— Правильно. Тогда, может быть, мистеру Смиту лучше обратиться к министру иностранных дел.— Он горделиво взмахнул газетой.— Министру будет известно, какая важная персона мистер Смит, потому что он, несомненно, уже прочитал мою статью.

— Я сейчас же поеду к нашему поверенному в делах.

— Вот это неправильный ход,— сказал Крошка Пьер.— Польстить самолюбию начальника полиции гораздо проще, чем ублажать национальную гордость. Гаитянские власти не принимают протестов иностранных граждан.

Почти такой же совет я получил в тот же день от британского поверенного в делах. Это был человек высокого роста, со впалой грудью и с болезненным выражением лица, чем-то напомнивший мне в первую нашу встречу Роберта Льюиса Стивенсона. В словах поверенного слышались и нерешительные нотки, и примиренность с крушением, и юмор — сокрушили его условия жизни в столице, а не посягательства туберкулеза. Ему были не чужды мужество и юмор человека, потерпевшего крах. Так, например, он всегда держал в кармане темные очки и надевал их при встречах с тонтон-макутами, которые носили темные окуляры в обязательном порядке, для устрашения. Он собирал литературу по флоре островов Карибского моря, но все самое ценное отослал в Англию, равно как и своих детей, ибо в доме всегда мог вспыхнуть пожар — для этого было достаточно канистры с керосином.

Не перебивая меня, поверенный терпеливо выслушал мой рассказ о злоключениях Джонса и советах Крошки Пьера. Мне казалось, он нисколько не удивился бы, если бы я поведал ему и о министре социального благосостояния, покончившем с собой у меня в плавательном бассейне, и о том, как мы избавились от трупа, и втайне был бы благодарен мне, что его не поставили в известность об этом. Когда я кончил, он сказал:

— Я получил телеграмму из Лондона относительно Джонса.

— Капитана «Медеи» тоже запрашивали из их пароходства в Филадельфии. Но в той телеграмме ничего особенного не было.

— Меня, так сказать, предостерегают. Не советуют особенно идти ему навстречу. Я подозреваю, что в каком-то консульстве кто-то получил из-за него нахлобучку.

— Тем не менее британский подданный в тюрьме...

— Да, согласен, это уже слишком. Но все-таки не следует забывать — правда? — что веские причины для ареста могли быть даже у этих мерзавцев. Я буду действовать осторожно, как мне советуют в телеграмме. Начнем с официального запроса.— Он протянул руку над столом и рассмеялся.— Никак не отвыкну от привычки браться за телефонную трубку.

Наш поверенный был идеальный зритель — зритель, о котором, вероятно, хоть изредка мечтает каждый актер,— умный, внимательный, умеющий смеяться и в меру наделенный критическим чутьем. Он постиг эту науку, повидав столько посредственных пьес, когда в хорошем, а когда и в плохом исполнении. Мне почему-то вспомнились слова моей матери, сказанные ею в последнюю нашу встречу: «Какую же роль ты сейчас играешь?» И я, кажется, *действительно* играл сейчас роль — роль англичанина, озабоченного судьбой своего соотечественника, роль солидного бизнесмена, который ясно сознает свой долг и обращается за советом к представителю своей монархии. На время я забыл о переплетении ног в машине марки «пежо». Наш поверенный безусловно осудил бы то, что я наставил рога члену дипломатического корпуса. Этот сюжет был слишком близок к фарсу.

Он сказал:

— Вряд ли мои запросы дадут какой-нибудь результат. Министр внутренних дел ответит, что дело находится в руках полиции. Может быть, даже прочтет мне лекцию о разграничении функций судебной и исполнительной власти. Я не рассказывал вам о нашем поваре? Это случилось в ваше отсутствие. Я пригласил к обеду своих коллег, а мой повар вдруг исчез. Ничего не купил, ничего не приготовил. Его схватили на улице, когда он шел на рынок. Моей жене пришлось открыть консервные банки, которыми мы запаслись на всякий случай. Суфле из консервированного лосося не понравилось вашему сеньору Пинеда.— Почему он сказал «ваш сеньор Пинеда»? — Потом я узнал, что повар мой сидит

в полицейском участке. Освободили его только на следующий день, но это было уже поздно. Ему учинили там допрос, кто у меня бывает. Я, разумеется, заявил протест министру внутренних дел. Сказал, что меня следовало предупредить об этом и я сам отпустил бы его в полицию в удобное для нас время. Министр ответил мне просто-напросто, что мой повар гаитянин, а с гаитянами он вправе делать все, что угодно.

— Но Джонс — англичанин.

— Предположим. Однако сейчас не прежние времена, вряд ли наше правительство пошлет сюда фрегат. Я готов сделать все, от меня зависящее, но, по-моему, Крошка Пьер дал вам разумный совет. Попробуйте сначала другие пути. Если они ни к чему не приведут, я конечно, заявлю протест — завтра утром. Что-то мне кажется, не первая это каталажка, в которой пришлось побывать Джонсу. Тут важно не перестараться.— И я почувствовал в себе какое-то сходство с актером на роли короля в «Мышеловке», которого Гамлет предостерегал от переигрывания.

Когда я вернулся в отель, плавательный бассейн был полон, садовник, прикидываясь сильно занятым, сгребал граблями несколько листиков с поверхности воды, из кухни доносился голос повара — все было почти как раньше. У меня даже были гости, ибо в бассейне, увертываясь от граблей, плавал мистер Смит в темно-серых нейлоновых трусиках, которые так пузырились в воде, что зад у него был похож на круп доисторического животного. Плавал он брассом не спеша и ритмически покряхтывал, делая выдох. При виде меня мистер Смит стал на дно бассейна, теперь он был похож на какое-то мифологическое существо. Всю грудь его покрывали длинные космы седых волос.

Я сел около бассейна и крикнул Жозефу, чтобы он принес ромового пунша и кока-колу. Мне сделалось не по себе, когда мистер Смит зашагал к лесенке через глубокий сектор — он шел так близко от того места, где умер министр социального благосостояния. Я вспомнил Холируд в Шотландии и неизгладимые пятна крови, пролитой Риччио*. Мистер Смит отряхнулся и сел рядом со мной. На балконе номера Джона Барримора появилась миссис Смит и крикнула ему:

— Вытрись, голубчик, не то простудишься.

— Солнце быстро меня обсушит, голубчик,— крикнул в ответ мистер Смит.

— Накинь полотенце на плечи, не то спалишься.

Мистер Смит повиновался ей. Я сказал:

— Мистер Джонс арестован полицией.

— Бог мой! Быть того не может! Что он такого сделал?

— Может быть, и ничего не сделал — это не обязательно.

— С адвокатом он виделся?

— Здесь это невозможно. Полиция не разрешает.

Мистер Смит обратил на меня непреклонный взгляд.

— Полиция всюду одинакова. Такие вещи часто случаются и у нас,— сказал он,— на Юге. Негров бросают в тюрьму, отказывают в защитниках. Разумеется, от этого не легче.

— Я был в посольстве. Там сомневаются, что смогут помочь.

— Возмутительно! — сказал мистер Смит. Это относилось скорее к позиции посольства, чем к обстоятельствам ареста Джонса.

— Крошка Пьер считает, что в данный момент лучше всего вмешаться в эту историю вам — может быть, повидать министра иностранных дел.

— Я постараюсь помочь мистеру Джонсу чем только могу. Тут, очевидно, произошла ошибка. Но почему этот журналист думает, что со мной посчитаются?

---

* Фавориткой Марии Стюарт.

— Вы были кандидатом на президентский пост,— сказал я, и тут Жозеф подошел с подносом.

— Я постараюсь помочь,— повторил мистер Смит, сосредоточенно глядя в свой стакан с кока-колой.— Мне мистер Джонс очень понравился. Никак себя не заставлю называть его майором — в конце концов, хорошие люди попадаются и в армии. Типичный англичанин — из лучших представителей этой нации. Произошла какая-то нелепая ошибка.

— Мне бы не хотелось, чтобы у вас были осложнения с властями.

— Меня не запугать осложнениями,— сказал мистер Смит,— ни с какими властями.

3

Приемная министра иностранных дел помещалась в одном из выставочных павильонов недалеко от порта и статуи Колумба. Мы миновали музыкальный фонтан, уже давно не играющий, и городской парк с лозунгом Бурбонов: «Je suis le drapeau Haïtien, Uni et Indivisible. François Duvalier», подошли наконец к длинному современному зданию из бетона и стекла и поднялись по широкой лестнице в большой холл с фресками гаитянских художников, уставленный мягкими, удобными креслами. Здание это имело столь же отдаленное отношение к нищим на площади у почтамта и к трущобным кварталам, сколь и дворец Кристофа «Сан-Суси», но развалины его будут выглядеть гораздо менее живописно, когда серебряная пуля наконец-то найдет свою цель.

В холле было человек пятнадцать — все буржуа, толстые и преуспевающие на вид. Женщины в нарядных туалетах цвета электрик и ядовито-зеленых тонов оживленно беседовали друг с другом, точно за чашкой утреннего кофе, и оглядывали с ног до головы каждого вновь входящего. Воздух этого помещения, пронизанный неторопливым перестуком пишущих машинок, сообщал достоинство даже тем, кто являлся сюда в качестве просителей. Минут через десять после нашего прихода мимо нас с твердой уверенностью в силе дипломатических привилегий, тяжелой поступью проследовал сеньор Пинеда. С сигарой во рту, не глядя по сторонам, но без спросу прошел в дверь, ведущую на один из внутренних балконов.

— Там кабинет министра,— пояснил я.— Южноамериканские послы все еще персона грата. Сеньор Пинеда в особенности. У него в посольстве нет политических беженцев. Во всяком случае, пока еще нет.

Мы ждали уже сорок пять минут, но мистер Смит не проявлял нетерпения.

— Тут, видимо, дело поставлено правильно,— сказал он только, когда после коротких переговоров с чиновником количество просителей сократилось на два человека.— Министров надо оберегать.

Наконец в холле опять появился Пинеда, по-прежнему с сигарой, но уже новой. Этикетка с нее не была сорвана, он никогда не срывал этикеток, потому что на них красовалась его монограмма. На сей раз я удостоился поклона — на секунду мне даже показалось, что он остановится и заговорит. Этот поклон, видимо, не прошел незамеченным для молодого человека, который сопровождал его до лестницы, так как, вернувшись, он вежливо спросил нас, что нам угодно.

— Пройти к министру,— сказал я.

— Министр сейчас очень занят. У него совещание с иностранными послами. Надо многое обсудить. Дело в том, что завтра он вылетает на сессию ООН.

— Тогда мистера Смита следует принять немедленно.

— Мистера Смита?

— Вы не читали сегодняшней газеты?

— Мы так заняты.

— Мистер Смит приехал вчера. Он Кандидат в президенты.

— Кандидат в президенты? — недоверчиво переспросил молодой человек.— Здесь, на Гаити?

— Он приехал сюда по делам, но обсуждать их будет с вашим президентом. Сейчас ему хотелось бы повидать министра до его отъезда в Нью-Йорк.

— Будьте добры подождать минутку.— Молодой человек прошел в одну из комнат внутреннего двора и тут же выскочил обратно с газетой в руках. Он постучал в дверь министерского кабинета и вошел туда.

— Мистер Браун, вы же знаете, что я уже не кандидат в президенты. Это была демонстрация нашей идеи, сделанная раз и навсегда.

— Тут вам не надо вдаваться в такие подробности, мистер Смит. И как-никак вы принадлежите истории.— Глядя в его честные светло-голубые глаза, я почувствовал, что, пожалуй, слишком далеко зашел. И добавил:— Ваша идея пребудет...— но не мог уточнить, где именно.— Она принадлежит настоящему в такой же мере, как и прошлому.

Молодой человек уже стоял около нас — номера газеты при нем не было.

— Будьте добры пройти со мной...

Министр чрезвычайно любезно сверкнул навстречу нам зубами. Я заметил, что газета лежит у него на краю стола. Ладонь, протянутая нам, была большая, квадратная, розовая и влажная. Он сказал на превосходном английском языке, что с большим интересом прочитал о приезде мистера Смита и что уже не надеялся иметь честь, так как завтра вылетает в Нью-Йорк... Из американского посольства не поступало никаких сообщений, иначе он, конечно, нашел бы время...

— Поскольку президент Соединенных Штатов,— сказал я,— счел нужным отозвать своего посла, мистер Смит решил нанести вам неофициальный визит.

Министр сказал, что ему это понятно. И добавил, обратившись к мистеру Смиту:

— Насколько мне известно, вы должны быть у президента?

— Мистер Смит еще не просил принять его. Ему хотелось повидаться сначала с вами — прежде чем вы прибудете в Нью-Йорк.

— Я должен заявить протест в Организацию Объединенных Наций,— горделиво пояснил министр.— Не хотите ли сигару?— Мистер Смит взял одну. Я заметил, что этикетка у нее была с монограммой сеньора Пинеды.

— Протест? — переспросил мистер Смит.

— Нарушения границы со стороны Доминиканской Республики. Америка снабжает мятежников оружием. У нас есть доказательства.

— Какие доказательства?

— У двоих пленных обнаружены револьверы производства Соединенных Штатов.

— К сожалению, их продают повсюду.

— Мне обещала поддержку Гана. И, надеюсь, что другие афро-азиатские государства...

— Мистер Смит пришел сюда совсем по другому вопросу,— перебил я их беседу.— Его большой друг, который приехал вместе с ним, арестован вчера полицией.

— Американец?

— Англичанин, по фамилии Джонс.

— А британское посольство посылало запрос? Это, собственно, касается министра внутренних дел.

— Но достаточно одного слова вашего превосходительства...

— Я не вправе вмешиваться в дела других ведомств. Весьма сожалею. Мистер Смит поймет меня.

Мистер Смит вторгся в наш диалог с бесцеремонностью, которой я и не подозревал в нем:

— Но вы же можете выяснить, в чем состоит обвинение.

— Обвинение?

— Обвинение.

— Ах, обвинение!

— Вот именно,— сказал мистер Смит.— Обвинение.

— Но обвинения может и не быть. Вы предвосхищаете события в их худшем варианте.

— Тогда зачем держать его в тюрьме?

— Мне об этом деле ничего не известно. Вероятно, надо что-то выяснить.

— Тогда его следует вызвать в суд и выпустить под залог. Я готов внести любую сумму в пределах разумного.

— Залог? — переспросил министр.— Залог?— Он повел сигарой в мою сторону, взывая о помощи.— А что такое залог?

— Это своего рода взнос государству на тот случай, если обвиняемый не явится в суд к назначенному сроку. Сумма залога может быть довольно значительная,— добавил я для соблазна.

— Надеюсь, вы знаете, что такое «Хабеас корпус»,— сказал мистер Смит.

— Да, да. Конечно. Но я основательно подзабыл латынь. Вергилий. Гомер. Некогда заниматься, вот беда!

Я сказал мистеру Смиту:

— Считается, что в основе здешнего судопроизводства лежит Наполеоновский кодекс.

— Наполеоновский кодекс?

— Англо-саксонский свод законов несколько отличается от него. В частности, правом «Хабеас корпус».

— Но человеку все-таки должны предъявить какое-то обвинение!

— Да. И предъявят — со временем.— Я быстро заговорил с министром по-французски. Мистер Смит французский знал слабо, несмотря на то, что миссис Смит дошла уже до четвертого урока по самоучителю Гюго. Я сказал:— Не произошло бы политической ошибки. Кандидат в президенты большой друг этого Джонса. Вам не следовало бы восстанавливать его против себя — накануне вашего прибытия в Нью-Йорк. Вы знаете, как в демократических странах считаются с оппозицией. Если это дело не слишком серьезное, я бы посоветовал вам разрешить мистеру Смиту свидание с его другом. В противном случае, он безусловно подумает, что этого Джонса... может быть... ну, что с ним плохо обращались.

— Мистер Смит говорит по-французски?

— Нет.

— Видите ли, в чем дело: полиция иной раз превышает свои полномочия. Мне бы не хотелось, чтобы мистер Смит вынес неблагоприятное впечатление о ее методах.

— Может быть, вы прежде всего пошлете туда врача — человека доверенного, чтобы он... привел там все в порядок?

— Скрывать нам, конечно, нечего. Но арестованные иной раз плохо себя ведут. Я уверен, что даже в вашей стране...

— Значит, мы можем на вас положиться, вы поговорите со своим коллегой? И еще я бы посоветовал, чтобы мистер Смит оставил у вас небольшую сумму — конечно, в долларах, а не в гурдах — в виде компенсации за повреждения, которые мистер Джонс мог нанести полицейскому.

— Я постараюсь помочь. Если этим делом не заинтересуется наш президент. Тогда мы все окажемся бессильны.

— Понимаю.

Над головой у него висел портрет Папы Дока — портрет Барона Субботы. Облаченный в черный кладбищенский фрак, он посматривал на нас сквозь толстые стекла очков своими близорукими, ничего не выражающими глазами. Ходили слухи, будто иной раз Папа Док лично наблюдает, как жертвы тонтонов умирают медленной смертью. Взгляд, вероятно, оставался таким же. Надо полагать, что смерть интересовала его с медицинской точки зрения.

— Дайте двести долларов,— сказал я мистеру Смиту. Он вынул из бумажника два банкнота по сто долларов. Я увидел, что в другом отделении бумажника у него хранилась фотография жены, закутанной в плед. Я положил деньги министру на стол, мне показалось, что он бросил на них пренебрежительный взгляд, но, по-моему, мистер Джонс большего и не стоил. В дверях я оглянулся и спросил:— А доктор Филипо сейчас в городе? Мне надо бы поговорить с ним относительно канализации у меня в отеле. Хочу проводить новую.

— Он, кажется, на юге, в Ле-Кей. Там проектируют строительство больницы.— Каких только проектов не замышляли на Гаити! Каждый проект всегда сулит деньги подрядчикам, пока он остается на бумаге.

— Значит, о дальнейшем вы нас известите?

— Конечно, конечно. Но я ничего не обещаю.— Теперь его голос звучал почти резко. Мне часто приходилось наблюдать такое следствие взятки (эти двести долларов были, разумеется, совсем другой коленкор). Взятка меняет отношения между людьми. Человек дающий в какой-то степени лишается своего превосходства, а принявший взятку смотрит на него сверху вниз, как женщина, за которую уже заплачено. Может быть, я совершил ошибку. Может быть, следовало повернуть дело так, чтобы мистер Смит оставался неясной угрозой. Шантажист всегда сохраняет за собой преимущество.

4

Однако министр сдержал слово: на следующий день нам разрешили свидание с арестованным.

Самым важным лицом в полицейском управлении оказался сержант — куда важнее секретаря министра, который сопровождал нас туда. Секретарь тщетно пытался поймать взгляд этой персоны, но ему пришлось выстоять в очереди у стойки вместе с другими просителями. Мистер Смит сел рядом со мной под фотографиями расстрелянных мятежников, все еще выгоравшими здесь на стене. Мистер Смит посмотрел на них и быстро отвел глаза в сторону. В небольшой комнате как раз напротив нашей скамьи сидел рослый негр в щегольском штатском костюме, ноги у него были задраны на стол, и он в упор смотрел на нас сквозь темные очки. Может быть, виной тому были мои нервы, но во всем его облике я чувствовал что-то отвратительно жестокое.

— Он нас запомнит,— с улыбкой сказал мистер Смит.

Негр понял, что речь шла о нем. Он нажал кнопку звонка на столе, и к нему вошел полицейский. Не переменив позы, не переставая смотреть на нас, негр спросил его о чем-то, полицейский тоже посмотрел в нашу сторону и ответил; глазенье продолжалось. Я отворачивался, но эти два круглых черных стекла неизменно притягивали к себе мой взгляд. Они были точно линзы бинокля, в который тонтон наблюдал повадки каких-то двух зверушек.

— Мерзкий тип,— опасливо проговорил я. И вдруг заметил, что мистер Смит выдерживает его взгляд. Черные очки не позволяли уловить, сколько раз тонтон мигнул за это время, он мог и вовсе закрыть глаза и незаметно для нас дать им отдых, и все-таки победа в этом поединке осталась за неослабным взглядом голубых глаз мистера Смита. Тонтон встал и затворил дверь своей комнаты.

— Браво!— сказал я.

— Я тоже его запомню,— сказал мистер Смит.

— Он, видимо, страдает от излишков кислот.

— Это весьма возможно, мистер Браун.

Мы просидели так, наверно, больше получаса, прежде чем секретарь министра иностранных дел добился, чтобы его заметили. В странах с диктаторской властью министры приходят и уходят, в Порт-о-Пренсе удерживались на постах только шеф полиции, глава тонтон-макутов и начальник дворцового караула — только они одни могли обеспечить прочное положение своим подчиненным. Сержант полиции отправил секретаря министра восвояси, как мальчишку на побегушках, и мы пошли следом за капралом по длинному тюремному коридору, куда выходили двери камер и где пахло зверинцем.

Джонс сидел на ведре, опрокинутом вверх дном, около соломенного тюфяка. Лицо его перечеркивали ленточки пластыря, а правая рука была забинтована. В порядок его привели, по мере возможности, но кусок сырого мяса пошел бы на пользу его левому глазу. Двубортная жилетка с ржавым пятнышком подсохшей крови казалась здесь особенно неуместной.

— Ну, ну! — с веселой улыбкой приветствовал он нас.— Кого я вижу!

— Похоже, вы оказали сопротивление при аресте? — спросил я.

— Это их версия,— живо ответил он.— Сигарета есть?

Я дал ему сигарету.

— Без фильтра?

— С фильтром нет.

— Ну что ж, дареному коню... Я с утра почувствовал, что дела идут на лад. В полдень мне дали поесть бобов, а потом меня стал обрабатывать врач.

— В чем вас обвиняют? — спросил мистер Смит.

— В чем *обвиняют?* — Это слово вызвало у него такое же недоумение, как и у министра.

— Что вы такое сделали, мистер Джонс? Что они вам говорят?

— Да у меня и возможности не было что-нибудь *сделать.* Я даже таможню не успел пройти.

— Но должен же быть какой-то повод для ареста? Может, вас приняли за кого-то другого?

— Пока что мне ничего вразумительного не сказали.— Он осторожно дотронулся до глаза.— Вид у меня, должно быть, аховый.

— И это вся ваша постель? — негодующе спросил мистер Смит.

— Мне приходилось спать и не в таких местечках.

— Где? Я не могу себе представить, чтобы...

Ответ Джонса прозвучал неопределенно и неубедительно:

— Да в войну, знаете ли...— Он добавил: — По-моему, вся беда в рекомендательном письме. Вы, правда, предупреждали меня, но я думал, вы преувеличиваете — как судовой казначей.

— От кого оно у вас?

— От одного человека, с которым я познакомился в Леопольдвиле.

— Что вы делали в Леопольдвиле?

— Да это было год назад. Я ведь много разъезжаю.

Я подумал, что пребывание в тюремной камере для него дело

обыденное, все равно как в очередном аэропорту во время долгого перелета.

— Мы вызволим вас отсюда во что бы то ни стало,— сказал мистер Смит.— Мистер Браун говорил с вашим поверенным в посольстве. Мы были вместе у министра иностранных дел. Мы внесли за вас залог.

— Залог? — Джонс был куда большим реалистом, чем мистер Смит.— Знаете, чем вы действительно сможете мне посодействовать, если на то будет ваша воля? За мной, конечно, не пропадет. При выходе отсюда дайте сержанту двадцать долларов.

— Пожалуйста,— сказал мистер Смит.— Если вы считаете, что это поможет.

— Еще как поможет! А кроме того, мне надо уладить это дело с рекомендательным письмом. У вас найдется бумага и ручка?

Мистер Смит дал ему то и другое, и Джонс стал писать.

— А конверт есть?

— Конверта, к сожалению, нет.

— Тогда я изложу все несколько по-иному.— Он помедлил минутку, потом спросил меня:— Как по-французски фабрика?

— Usine.

— Иностранные языки мне никогда не давались, но по-французски я немного насобачился.

— В Леопольдвиле?

— Отдайте это сержанту и попросите доставить по назначению.

— А он умеет читать?

— Думаю, что умеет.— Джонс встал, возвращая мистеру Смиту авторучку, и вежливо проговорил, как бы отпуская нас:— Очень мило, друзья, что вы меня навестили.

— Вам предстоит еще одно свидание? — насмешливо спросил я.

— Откровенно говоря, бобы начинают оказывать свое действие. Мне предстоит свидание вот с этим ведром. Если б вы не пожалели бумажки...

Мы собрали по карманам три старых конверта, оплаченный счет, листка два из записной книжки мистера Смита, а я добавил к этому почему-то не уничтоженное мною письмо от моего нью-йоркского агента, в котором тот высказывал сожаление, что в данный момент у него нет на примете клиентов, желающих приобрести отель в Порт-о-Пренсе.

— Какое мужество! — воскликнул мистер Смит, когда мы вышли в коридор.— Оно-то и помогло вашему народу пережить блицкриг. Нет! Я вызволю его отсюда, даже если придется идти ради этого к самому президенту.

Я взглянул на сложенный пополам листок, который держал в руке. Фамилия адресата показалась знакомой мне. Это был один из старших чинов тонтон-макутов. Я сказал:

— Не знаю, следует ли нам дальше впутываться в эту историю.

— Мы уже впутались,— горделиво проговорил мистер Смит, и я понял, что этот человек мыслит высокими категориями, чуждыми мне, такими, как Человечество, Справедливость, Право на счастье. Недаром же он выставлял свою кандидатуру на президентский пост.

Глава V

1

На следующий день было много всяких событий, которые отвлекли меня от мыслей о судьбе Джонса, но я уверен, что мистер Смит ни на минуту не забывал о нем. В семь часов утра я уже увидел его в бассейне, где он ворочался взад и вперед, и это медленное

движение — от глубокого сектора к мелкому — должно быть, помогало ему думать. После завтрака он сел писать письма, и миссис Смит двумя пальцами отстукивала их на портативной «короне», а потом Жозефа отправили на такси по адресам. Одно письмо было в американское посольство, другое — новому министру социального благосостояния, о назначении которого сообщал утренний выпуск газеты Крошки Пьера. Для человека его возраста мистер Смит обладал неуемной энергией, и я не сомневаюсь, что, памятуя о Джонсе, сидевшем на ведре в тюремной камере, он думал и о вегетарианском центре, который не преминет избавить гаитян от излишков кислот и взрывов страстей. Одновременно с этим мысли мистера Смита были заняты и путевыми очерками, обещанными их местной газете — органу, разумеется, демократического направления, ратующему против сегрегации и сочувствующему вегетарианству. Накануне он попросил меня просмотреть его рукопись — нет ли там каких-нибудь фактических неточностей.

— Мнения, которые я тут высказываю, конечно, мои личные,— добавил он с застенчивой улыбкой первооткрывателя.

Первое из событий того дня нагрянуло рано, до того, как я встал. Жозеф постучался ко мне и сообщил невероятное: труп доктора Филипо уже обнаружен, и несколько человек уже покинули свои дома и укрылись в венесуэльском посольстве — среди них начальник одного полицейского участка, помощник начальника почты и школьный учитель (каковы были их связи с доктором Филипо, никто понятия не имеет). Говорят, будто бывший министр покончил с собой, но как власти объяснят его смерть, разумеется, неизвестно — может, скажут, что это политическое убийство, совершенное по заданию из Доминиканской Республики? Президент, вероятно, в ярости. Уж очень ему хотелось добраться до бывшего министра, который, по слухам, недавно позволил себе под влиянием выпитого рома поиздеваться над медицинскими познаниями Папы Дока. Я послал Жозефа на рынок собрать там все сведения, какие только удастся.

Вторым событием было известие о том, что Анхел заболел свинкой — очень мучается, писала мне Марта (а я не мог не пожелать, чтобы его еще больше скрутило). Она боится уезжать из посольства — вдруг Анхел позовет ее? — и поэтому не сможет встретиться со мной у статуи Колумба, как мы условились. Но почему, шло дальше в записке, почему бы мне не приехать в посольство — после моего долгого отсутствия это будет выглядеть вполне естественно. С тех пор как отменили комендантский час, многие считают необходимым навещать их, правда, стараясь не попадаться на глаза полицейскому в воротах, а он обычно уходит в девять часов на кухню за своей порцией рома. Визитеры, видимо, подготавливают почву на тот случай, если вдруг придется спешно просить политического убежища. В конце записки она добавила: «Луис будет очень доволен. Он часто тебя вспоминает»,— но последней фразе можно было дать двоякое истолкование.

После завтрака, когда я читал статью мистера Смита, ко мне снова зашел Жозеф — рассказать, каким образом обнаружили труп доктора Филипо; история эта была известна во всех подробностях если не полиции, то во всяком случае каждому торговцу на рынке. Из тысячи шансов один, по чистой случайности, совершенно нелепой, навел полицейских на труп, который, как мы с доктором Мажио рассчитывали, должен был бы не одну неделю пролежать в садике покойного астролога, и, когда я выслушал Жозефа, мне уже было трудно с должным вниманием отнестись к рукописи мистера Смита. Рано утром кому-то из караульных с заставы ниже «Трианона» приглянулась крестьянка, которая шла на большой рынок у Кенскоффа. Он не пропускал ее, утверждая, будто она прячет что-то под юбками. Женщина предложила ему показать, что

у нее там есть, и они проследовали боковой дорогой в заброшенный сад астролога. До Кенскоффа было далеко, время терять ей не хотелось, и, недолго думая, она стала в саду на колени, задрала юбки, легла на землю и вдруг увидела, что на нее смотрят широко открытые остекленевшие глаза бывшего министра социального благосостояния. Она его сразу узнала, так как еще до своего прихода к власти он принимал у ее дочери, когда у той были трудные роды.

Под окнами моего кабинета стоял садовник, так что мне не хотелось проявлять излишний интерес к рассказу Жозефа, и я перевернул страницу рукописи мистера Смита. «Мы с женой,— писал он,— с величайшим сожалением покидали Филадельфию после вечера, проведенного у мистера и миссис Генри С. Окс, новогодние приемы которых, когда они еще жили на площади Ди Ленси, в доме № 2041, помнят многие из наших читателей. Однако боль разлуки с добрыми друзьями вскоре смягчило удовольствие, которое мы испытали от новых знакомств на пароходе «Медея»...»

— Зачем их понесло в полицию? — спросил я. После такого сюрприза, казалось бы, самое естественное для этой парочки было удрать и помалкивать.

— Она очень громко кричала, прибежали другие караульные.

Я пропустил две-три страницы, напечатанные миссис Смит, и остановился на прибытии «Медеи» в Порт-о-Пренс. «Черная республика, но черная республика со своей историей, своим искусством и своей литературой. Я словно заглянул в то будущее, которое ждет все вновь образованные африканские республики, когда трудности роста, испытываемые ими, останутся позади». У мистера Смита отнюдь не было намерения показаться пессимистом. «Разумеется, многое остается незавершенным даже здесь. Гаити знало монархию, демократию и диктаторскую власть, но не будем приравнивать диктатуру в стране с цветным населением к диктатуре белых. История Гаити насчитывает всего лишь несколько веков, а, если мы до сих пор ошибаемся, хотя за нами стоят два тысячелетия, насколько больше прав у этих народов на подобные же ошибки и на выводы из них, может быть, более эффективные, чем те, что сделали мы. Здесь есть бедность, есть нищие на улицах, здесь имеются и кое-какие признаки самоуправства полицейских властей,— он не забыл о мистере Джонсе в тюремной камере,— но встретят ли человека цветной расы, впервые попавшего в Нью-Йорк, так любезно, окажут ли ему такие дружеские услуги, какими порадовали меня и миссис Смит в иммиграционном пункте Порт-о-Пренса?» Все это было написано будто про какую-то другую страну.

Я спросил Жозефа:

— А что сделали с трупом?

— Полиция хотела его забрать,— ответил он,— но морозилка в морге испортилась.

— Мадам Филипо все знает?

— Да, да. Она отвезла его в похоронное бюро мосье Эркюля Дюпона. Наверно, быстро-быстро похоронят.

Я чувствовал себя до некоторой степени обязанным отдать последний долг доктору Филипо: он умер в моем отеле.

— Дашь мне знать, как там будет дальше,— сказал я Жозефу и снова вернулся к писаниям мистера Смита.

«То, что меня, личность неизвестную, в первый же мой день в Порт-о-Пренсе принял министр иностранных дел, опять же свидетельствует о поразительной любезности, которую нам оказывают здесь на каждом шагу. Министр иностранных дел уезжал в Нью-Йорк на сессию ООН, но тем не менее он не пожалел для меня получаса своего драгоценного времени и, лично связавшись с министром внутренних дел, пре-

доставил мне возможность посетить в тюрьме одного англичанина — тоже пассажира «Медеи», у которого вследствие какой-то бюрократической путаницы, не исключающейся и в странах более старых, чем Гаити, возникли, к несчастью, некоторые недоразумения с властями. Я слежу за этим делом и не сомневаюсь в его благополучном исходе. Вот два основных качества, неизменно присущие моим цветным друзьям, живут ли они в Нью-Йорке, где пользуются относительной свободой, или в условиях неприкрытой тирании штата Теннесси: качества эти — стремление к справедливости и чувство человеческого достоинства». Когда читаешь прозу мистера Черчилля, всегда слышишь оратора, выступающего под сводами исторического здания, а читая мистера Смита, я так и видел лектора в зале провинциального городка. Меня будто окружали добропорядочные пожилые дамы в шляпках, внесшие по пяти долларов на благое дело.

«Я предвкушаю встречу,— продолжал мистер Смит,— со вновь назначенным министром социального благосостояния и нашу с ним беседу на тему, каковую читатели этой газеты издавна считают моим пунктиком,— речь идет об учреждении вегетарианского центра. Как это ни жаль, но сейчас в Порт-о-Пренсе нет бывшего министра, доктора Филипо, к которому я привез личное письмо от одного гаитянского дипломата в ООН, но смею заверить наших читателей, что мой энтузиазм проведет меня сквозь все преграды и, если понадобится, даже к самому президенту. Я вполне могу рассчитывать на сочувственное внимание с его стороны, ибо, до того как посвятить себя политической деятельности, он заслужил высокое признание как врач во время эпидемии тифа в двадцатых годах. Подобно президенту Кении мистеру Кениата, президент Гаити оставил след и в антропологии». «След» — это было мягко сказано: я вспомнил переломанную ногу Жозефа.

Днем мистер Смит со смущенным видом зашел ко мне в кабинет выслушать мое мнение о его статье.

— Здешним властям она понравится,— сказал я.

— Они ее не прочитают. Тираж газеты рассчитан только на штат Висконсин.

— Я бы не стал полагаться на то, что с вашей статьей здесь не ознакомятся. Теперь за границу не так уж много пишут. При желании письма легко перлюстрировать.

— Вы хотите сказать, что их вскрывают? — недоверчиво спросил он, но тут же добавил:— Впрочем, это случается даже в Америке.

— На вашем месте — просто на всякий случай — я бы опустил все, что касается доктора Филипо.

— Но я ничего плохого о нем не пишу.

— В данный момент это может их покоробить. Видите ли, в чем дело: он покончил с собой.

— Несчастный, несчастный человек! — воскликнул мистер Смит.— Что же его заставило решиться на такой шаг?

— Страх.

— Он в чем-нибудь провинился?

— Долго ли тут провиниться? Он плохо отзывался о президенте.

Старческие голубые глаза скользнули в сторону. Мистер Смит твердо решил не выдавать своих сомнений человеку чужому — тоже белому, представителю расы рабовладельцев.

Он сказал:

— Я хотел бы повидать его вдову, может быть, ей надо помочь чем-нибудь? Во всяком случае, мы с женой пошлем цветы на гроб.— Как бы ни была велика его любовь к черным, жил он в мире белых и другого мира не знал.

— На вашем месте я бы не стал так делать.

— Почему?

Объяснять ему было бесполезно, а тут, как на грех, вошел Жозеф. Тело уже не в похоронном бюро мосье Дюпона; гроб повезли на петьонвильское кладбище, но их задержали у заставы ниже «Трианона».

— Что-то они поспешили.

— Они очень беспокоятся,— пояснил Жозеф.

— Но теперь-то бояться нечего,— сказал мистер Смит.

— Кроме жары,— добавил я.

— Я присоединюсь к похоронной процессии,— сказал мистер Смит.

— Даже не думайте!

И вдруг я увидел, что эти голубые глаза способны загораться гневом.

— Мистер Браун, вы не сторож мне. Я пойду позову миссис Смит, и мы с ней...

— Ее-то по крайней мере не берите. Неужели вы не понимаете всю опасность...— И на этом опасном слове «опасность» в кабинет вошла миссис Смит.

— Какая опасность? — вопросила она.

— Голубчик, этот несчастный доктор Филипо, к которому у нас было письмо, покончил с собой.

— Почему?

— Причины самоубийства не совсем ясны. Его везут хоронить в Петьонвиль. Я считаю, что нам с тобой нужно присоединиться к кортежу. Жозеф, пожалуйста, *сиву плей,* такси.

— О какой опасности вы говорите? — снова вопросила миссис Смит.

— Неужели вы не отдаете себе отчета, где вы находитесь? В этой стране все может случиться.

— Голубчик, мистер Браун считает, что мне надо пойти одному.

— Я считаю, что вообще не надо ходить — ни миссис Смит, ни вам,— сказал я.— Это безумие.

— Но вы же знаете от самого мистера Смита, что мы приехали с письмом на имя доктора Филипо. Он друг одного нашего друга.

— Это сочтут политической акцией.

— Мы этого никогда не боялись. Голубчик, у меня есть черное платье... Дай мне ровно две минуты.

— Он и одной минуты вам не даст,— сказал я.— Прислушайтесь.— Голоса с дороги доносились даже до моего кабинета, но они как-то не вязались с похоронной процессией. Ни дикой музыки крестьянских pompes funèbres, ни стенаний, ни чинности буржуазного погребального обряда. Там шла перебранка, там кричали. И вдруг все эти голоса перекрыл вопль женщины. Я не успел остановить Смитов, они бросились вниз по дороге. Кандидат в президенты бежал чуть впереди. Вероятно, это объяснялось правилами этикета, а не его прытью, так как миссис Смит была, безусловно, более рысиста. Я последовал за ними, но гораздо медленнее и без всякой охоты.

«Трианон» дал приют доктору Филипо и живому и мертвому, и мы все еще не отделались от него: у самого въезда к отелю я увидел катафалк. Шофер, вероятно, дал задний ход, чтобы свернуть с петьонвильского шоссе обратно к городу. Одна из множества голодных, ничейных кошек, которые вечно тут шныряли, вскочила на самый верх катафалка, испуганная таким вторжением, и стояла там, выгнув спину дугой и дрожа всем тельцем, будто от удара током. Прогнать ее никто не решался: гаитяне вполне могли верить, что в это существо вселилась душа бывшего министра.

Мадам Филипо, с которой я однажды познакомился на каком-то посольском приеме, стояла перед катафалком, не давая шоферу развернуться. Это была красивая, оливково-смуглая женщина, ей едва ли

исполнилось сорок, и сейчас она стояла, протянув перед собой руки, точно бездарный патриотический памятник давно забытой войне.

Мистер Смит все повторял:

— Что случилось?

Шофер катафалка — черного, дорогого, инкрустированного эмблемами смерти — дал гудок. Мне и в голову не приходило, что у катафалков могут быть клаксоны. Двое мужчин в черных костюмах с двух сторон вели спор с шофером, они вылезли из дряхлого такси, которое тоже остановилось у въезда к «Трианону», а на шоссе, на подъеме к Петьонвилю, я увидел еще одно. В нем, прижавшись носом к стеклу, сидел маленький мальчик. Вот это и был весь похоронный кортеж.

— Что здесь происходит? — страдальческим голосом снова воскликнул мистер Смит, и кошка ощерилась на него с застекленного верха катафалка.

Мадам Филипо крикнула шоферу:

— Salaud! — Потом: — Cochon!* — И метнула взгляд на мистера Смита, точно бросила в него два темных цветка. Она понимала по-английски.— Vous êtes americain?**

Доведя почти до предела свои познания во французском языке, мистер Смит сказал:

— Вуй.

— Этот cochon, этот salaud,— сказала мадам Филипо, по-прежнему загораживая дорогу катафалку,— хочет ехать назад, в город.

— Но почему?

— Нас не пропускают у верхней заставы.

— Но почему, почему? — растерянно твердил мистер Смит, а двое в черном, оставив свое такси у въезда к отелю, с решительным видом зашагали вниз по шоссе к городу. Теперь на головах у них сидели цилиндры.

— Они убили его,— сказала мадам Филипо,— и теперь даже похоронить не дают, а у нас есть место на кладбище.

— Тут какая-то ошибка,— сказал мистер Смит.— Явная ошибка.

— Я велела этому salaud прорваться сквозь барьер. Пусть стреляют. Пусть убьют и жену и сына,— сказала мадам Филипо и добавила презрительно, хоть и без всякой логики: — У них и ружья-то, наверно, не заряжены.

— Maman, maman! — крикнул ребенок, сидевший в такси.

— Chéri ?

— Tu m'as promis une glace à la vanille.

— Attends un petit peu, chéri.***

Я сказал:

— Значит, у первой заставы вас пропустили без всяких расспросов?

— Да, да. Вы понимаете — за небольшое вознаграждение.

— А на следующей что, не берут?

— Он говорит, получен приказ. Боится.

— Тут какая-то ошибка,— сказал я, повторив слова мистера Смита, но в отличие от него имея в виду отвергнутую взятку.

— Вы здешний. Неужели этому можно поверить? — Она повернулась к шоферу и сказала:— Поезжай. Вверх по шоссе. Salaud.— И кошка, будто приняв оскорбление на свой счет, прыгнула на ближайшее дерево, ее когти скребнули по коре и зацепились. Повернув к нам голо-

---

* Подлец! Свинья *(франц.)*.

** Вы американец? *(Франц.)*.

*** — Мама, мама!
— Что тебе, милый?
— Ты обещала мне ванильное мороженое.
— Подожди немножко, милый *(франц.)*.

ву, она опять ощерилась на нас на всех с ненавистью изголодавшегося зверя и сорвалась в кусты бугенвиллеи.

Двое в черном медленно возвращались назад. Вид у них был пришибленный. За это время я успел посмотреть на гроб — он был богатый, вполне достойный катафалка, но на нем лежал только один венок с одной-единственной карточкой, похороны были суждены бывшему министру малолюдные, так же как и смерть не на людях.

Двое в черном, теперь присоединившиеся к нам, показались мне совершенно одинаковыми — правда, один был выше сантиметра на два,— может, это цилиндр увеличивал его рост. Тот, что повыше, пояснил:

— Мы ходили к нижней заставе, мадам Филипо. Там говорят, что везти гроб назад нельзя. Нет разрешения властей.

— Это кого же? — спросил я.

— Министра социального благосостояния.

Мы все, как один, посмотрели на роскошный гроб с блестящими медными ручками.

— *Вот* министр социального благосостояния,— сказал я.

— С сегодняшнего утра уже нет.

— Вы мосье Эркюль Дюпон?

— Я мосье Клеман Дюпон. Мосье Эркюль — вот.— Мосье Эркюль снял цилиндр и согнулся в поясном поклоне.

— Что тут происходит? — спросил мистер Смит.

Я объяснил.

— Какая нелепость! — перебила меня миссис Смит.— Неужели гроб должен ждать, пока там разберутся в этой глупейшей ошибке?

— Боюсь, что никакой ошибки тут не было.

— А что же тогда?

— Месть. Живым он им в руки не дался.— Я сказал мадам Филипо:— Они скоро появятся. Это несомненно. Ступайте лучше в отель вместе с ребенком.

— И оставить мужа посреди дороги? Нет.

— Ребенка хотя бы ушлите. Жозеф даст ему ванильного мороженого.

Солнце теперь стояло почти у нас над головой, стеклянный верх катафалка и блестящие медные украшения гроба отсвечивали пучками лучей. Шофер выключил мотор, и мы услышали внезапную тишину, протянувшуюся далеко-далеко, до окраины столицы, где выла собака.

Мадам Филипо распахнула дверцу такси и взяла мальчика на руки. Он был чернее матери, и белки глаз у него были огромные, как два яйца. Она велела ему пойти на поиски Жозефа и ванильного мороженого, но он не желал уходить. Он цеплялся за ее черное платье.

— Миссис Смит,— сказал я,— отведите его в отель.

Она заколебалась. Она сказала:

— Если тут ожидаются какие-то неприятности, мне надо быть рядом с мадам Фили... Фили... Голубчик, отведи его ты.

— И оставить тебя здесь, голубчик? — сказал мистер Смит.— Нет.

Я только сейчас заметил двух шоферов такси, которые в полной неподвижности сидели в тени под деревьями. И вдруг, точно обменявшись между собой каким-то знаком, пока мы говорили, оба сразу ожили. Один вывел свою машину с подъездной аллеи, другой развернулся на шоссе. Заносясь из стороны в сторону, скрежеща тормозами, точно дряхлые гоночные автомобили, такси понеслись вниз по склону к Порт-о-Пренсу. Мы услышали, как их остановили у заставы, потом моторы снова зафыркали и наконец утихли вдали.

Мосье Эркюль Дюпон откашлялся. Он сказал:

— Вы совершенно правы. Ребенка отведем мы с мосье Клема-

ном...— Они взяли его каждый за руку, но мальчик заскреб ногами по асфальту, стараясь вырваться.

— Иди, chéri,— сказала мать.— Там тебе дадут ванильного мороженого.

— Avec de la crème au chocolat?

— Oui, oui, bien sûre, avec de la crème au chocolat.*

Странное это было зрелище, когда они зашагали втроем под пальмами, между кустами бугенвиллеи — два пожилых близнеца в цилиндрах и между ними ребенок. Отель «Трианон» не посольство, но братья Дюпон, видимо, считали, что на худой конец и он сгодится — как-никак владение иностранца. Шофер катафалка — мы о нем совсем забыли — вдруг спрыгнул на землю и побежал догонять их. Мадам Филипо, Смиты и я остались одни возле катафалка и гроба, и мы прислушивались к тишине — к другой тишине, той, что была на дороге.

— Как быть дальше? — немного погодя спросил мистер Смит.

— От нас это не зависит. Мы ждем. Вот и все.

— Кого ждем?

— Их.

Ситуация напомнила мне детские ночные страхи, когда ждешь, что из шкафа вот-вот кто-то вылезет. Нам не хотелось смотреть друг на друга и видеть в чужих глазах отражение своего кошмара, и мы смотрели сквозь стекло катафалка на блестящий новенький гроб с медными ручками, который был причиной всех волнений. Далеко-далеко, из той страны, где жила воющая собака, вверх по длинному склону поднималась машина.

— Едут,— сказал я.

Мадам Филипо прижалась лбом к стеклянной панели катафалка; машина медленно одолевала подъем.

— Правда, уйдите,— сказал я ей.— Нам всем было бы лучше уйти отсюда.

— Ничего не понимаю,— сказал мистер Смит. Он взял жену за руку и крепко сжал ее.

Машина остановилась у нижней заставы — мы слышали, что мотор не выключен; потом медленно, на первой скорости пошла дальше и наконец появилась. Это был длинный «кадиллак» времен американской помощи беднякам Гаити. «Кадиллак» поравнялся с нами, и из него вышли четверо — все в мягких шляпах и очень темных очках. На бедре у каждого был револьвер, но вынуть оружие из кобуры потрудился только один из них, и направил он его не в нашу сторону. Он подошел к катафалку и стал лупить револьвером по стеклу — не спеша, размеренными движениями. Мадам Филипо не шевельнулась, не вымолвила ни слова, а я — что я мог? С четырьмя револьверами не спорят. Мы были свидетелями, но есть ли суд, где когда-нибудь выслушают наши показания? Разбив вдребезги стеклянную панель катафалка, главный тонтон стал откалывать револьвером острые зазубрины. Спешить им было некуда, а чтобы кто-нибудь оцарапал себе руки об осколки, ему не хотелось.

И вдруг миссис Смит ринулась вперед и ухватила тонтон-макута за плечо. Он обернулся, и я узнал его. Это был тот самый, которого мистер Смит переглядел в полицейском управлении. Тонтон высвободился из цепких пальцев миссис Смит и, точно рассчитанным движением приложив руку в перчатке ей к лицу, толкнул ее с такой силой, что она отлетела в кусты бугенвиллеи. Мне пришлось обхватить мистера Смита поперек туловища, чтобы удержать его на месте.

— Они не смеют так поступать с моей женой!— крикнул он через мое плечо.

* — С шоколадным кремом?
— Да, да, конечно, с шоколадным кремом *(франц.)*.

— Смеют, смеют.

— Пустите меня!— кричал мистер Смит, вырываясь из моих объятий. Я впервые видел такую внезапную перемену в человеке.— Свинья!— возопил он. Это было самое крепкое, доступное ему ругательство, но тонтон-макут не понимал по-английски. Мистер Смит извернулся, и я чуть не упустил его. Он был сильный старик.

— Если вас застрелят, легче от этого никому не станет,— сказал я. Миссис Смит сидела в кустах. Вероятно, впервые в жизни вид у нее был растерянный.

Тонтоны вытащили гроб из катафалка и пошли с ним к своей машине. Они вдвинули его в багажник, но он чуть ли не на четверть торчал наружу, для верности им пришлось обвязать выступающий конец веревкой. Действовали они не спеша, торопиться им было некуда, их дело было верное: они — закон. Мадам Филипо униженно подошла к «кадиллаку», и нам стало стыдно — но разве мы могли выбирать между унижением и применением силы? Силу применила одна миссис Смит. Мадам Филипо стала умолять, чтобы ей тоже разрешили поехать. Я понял это по ее жестикуляции, говорила она тихо, так что слов нельзя было разобрать. Может, она предлагала им выкуп за своего покойника? При диктаторской власти человеку ничего не принадлежит, даже мертвый муж. Тонтоны захлопнули дверцу перед самым ее лицом и поехали вверх по шоссе, и гроб торчал из багажника, точно ящик с фруктами, который везут на рынок.

Они нашли место, где развернуться, и снова подъехали к нам. Миссис Смит уже выбралась из кустов, мы стояли кучкой, и вид у нас был виноватый. Безвинные жертвы почти всегда смотрят виновато, точно козлы отпущения в земле непроходимой. Машина остановилась, и офицер — я только мог предполагать, что он в офицерском чине, так как у них нет знаков различия, все ходят в темных очках и мягких шляпах и с револьверами,— распахнул дверцу и поманил меня. Я не герой. Я повиновался и перешел дорогу.

— Вы хозяин этого отеля?

— Да.

— Были вчера в полиции?

— Да.

— При следующей нашей встрече не глазейте на меня. Я не люблю, когда на меня глазеют. Кто этот старик?

— Кандидат в президенты,— сказал я.

— То есть как? Кандидат в какие президенты?

— В президенты Соединенных Штатов Америки.

— Вы со мной не шутите.

— Я не шучу. Вы, наверно, газет не читали.

— Зачем он сюда приехал?

— А я откуда знаю? Вчера он был у министра иностранных дел. Министру, может, и объяснил. Его должен принять президент.

— Сейчас в Америке никаких выборов нет. Это-то я знаю.

— Там президентов выбирают не пожизненно, не как у вас. Там выборы каждые четыре года.

— А почему он тут, при этом... ящике с падалью?

— Он хоронит своего друга, доктора Филипо.

— Я действую согласно приказу.— И в его голосе послышалась малодушная нотка. Я понял, почему тонтон-макуты ходят в темных очках— они люди, но им не полагается выдавать свой страх, иначе конец ужасу, который испытывают перед ними другие. Трое тонтонов, сидевших в машине, смотрели на меня совершенно без всякого выражения, точно огородные пугала.

Я сказал:

— В Европе мы много таких повесили, кто действовал согласно приказам. В Нюрнберге.

— Мне не нравится, как вы со мной говорите,— сказал он.— Все что-то крутите. Разве можно так разговаривать? У вас служит некий Жозеф?

— Да.

— Я его хорошо помню. Беседовал с ним однажды.— Он дал мне время прочувствовать сказанное.— Это ваш отель. Вы зарабатываете здесь на жизнь.

— Уже не зарабатываю.

— Старик скоро уедет, а вы останетесь.

— Напрасно вы ударили его жену,— сказал я.— Что другое, а это ему запомнится.— Он хлопнул дверцей, и «кадиллак» двинулся вниз по шоссе, не уместившийся в багажнике гроб смотрел на нас до тех пор, пока тонтоны не скрылись за поворотом. Снова наступила тишина, и мы услышали, что у заставы машина остановилась, а потом сразу развила скорость, торопясь в Порт-о-Пренс. Но куда именно в Порт-о-Пренсе? Кому нужно тело бывшего министра? Ведь труп не заставишь страдать. Однако бессмыслица подчас бывает куда страшнее того, что делается продуманно.

— Это чудовищно! Чудовищно!— сказал наконец мистер Смит.— Я позвоню президенту. Я добьюсь, чтобы этого человека...

— Телефон не работает.

— Он ударил мою жену.

— Мне не впервые, голубчик,— сказала миссис Смит.— И он меня просто оттолкнул. Помнишь, Нашвилл? В Нашвилле мне больше досталось.

— Нашвилл совсем другое дело,— ответил мистер Смит, и в его голосе послышались слезы. Он любил людей за цвет их кожи и обманулся в своей любви сильнее, чем обманываются те, в ком говорит ненависть. Он добавил:— Прости меня, голубчик, я позволил себе такие выражения...— Он взял ее под руку, и мы с мадам Филипо пошли к отелю следом за ними. Дюпоны сидели на веранде за одним столом с мальчиком, и они все трое ели ванильное мороженое с шоколадным кремом. Цилиндры стояли возле них, точно роскошные пепельницы.

Я сказал им:

— Катафалк цел. Только стекло разбили.

— Варвары, — сказал мосье Эркюль, а мосье Клеман тронул его за руку утешающим прикосновением похоронных дел мастера. Мадам Филипо держалась теперь совершенно спокойно, не плакала. Она подсела к сыну и помогла ему справиться с мороженым. Что прошло, то кануло в прошлое, а здесь возле нее было будущее. Я вдруг почувствовал, что настанет время — хоть, может быть, и не скоро,— когда этому мальчику ничего не позволят забыть. Она произнесла лишь одну фразу, перед тем как сесть в такси, которое ей привел Жозеф:

— Найдется серебряная пуля, дайте только срок.

За неимением второго такси Дюпоны уехали в своем катафалке, и я остался один с Жозефом. Мистер Смит увел миссис Смит в номер Джона Барримора — прилечь отдохнуть. Он так суетился вокруг нее, что она ему покорилась. Я сказал Жозефу:

— Зачем им понадобился покойник в гробу? Боятся они, что ли, как бы на его могилу не стали возлагать цветы? Что-то я в этом сомневаюсь. Он был не так уж плох, но и не настолько хорош. Водопровод в трущобных кварталах ведь не провели. Часть денег, наверно, попала ему в карман.

— Люди испугаются, — сказал Жозеф, — когда узнают. Они боятся, президент заберет их, когда они умрут.

— Ну и пусть! Скелет да кожа — вот все, что от нас остается, и вообще зачем президенту трупы?

— Они очень темные люди,— сказал Жозеф.— Они думают, президент спрячет доктора Филипо в подвале во дворце и велит ему работать ночью. Президент — важный водуист.

— Барон Суббота?

— Темные люди говорят: да.

— Если его охраняет столько зомби, значит, по ночам ему ничто не грозит? Они надежнее всяких стражей, надежнее тонтон-макутов.

— Тонтон-макуты тоже зомби. Так говорят темные люди.

— А ты сам, Жозеф, как думаешь?

— Я темный человек, сэр, — сказал Жозеф.

Я пошел наверх, в номер Джона Барримора, и, поднимаясь по лестнице, думал, куда они свалят труп — заброшенных котлованов много, и вряд ли кто заметит, если зловония в Порт-о-Пренсе станет чуть больше. Я постучал в дверь, миссис Смит сказала:

— Войдите.

У мистера Смита горела маленькая портативная керосинка на комоде, и он кипятил на ней воду. Возле нее стояла чашка с блюдцем и картонная коробка с дрожжелином. Он сказал:

— Я убедил миссис Смит хоть раз отказаться от ее бармина. Дрожжелин действует успокаивающе. — На стене висела большая фотография Джона Барримора, который пренебрежительно посматривал на нас, больше, чем всегда, напустив на себя аристократический вид. Миссис Смит лежала на кровати.

— Как ваше самочувствие, миссис Смит?

— Прекрасно, — твердо сказала она.

— На лице никаких следов, — с облегчением сообщил мне мистер Смит.

— Он меня толкнул, только и всего. Сколько раз тебе это повторять?

— Женщин не толкают.

— По-моему, ему даже было невдомек, что перед ним женщина. Я... я ведь, признаться, сама на него набросилась.

— Вы храбрая женщина, миссис Смит.

— Вздор. Грошовые темные очки для меня не помеха, я этих молодчиков насквозь вижу.

— Ее только рассердить — она тигрица,— сказал мистер Смит, помешивая дрожжелин.

— Как вы намерены осветить этот инцидент в своей статье?— спросил я его.

— Надо все тщательно взвесить,— сказал мистер Смит. Он поднес ложечку дрожжелина ко рту, пробуя, готово ли.— Еще минутку, голубчик. Пожалуй, слишком горячо. Ах да, статья. Я считаю, было бы нечестно совсем умолчать об этом инциденте, а в то же время вряд ли можно надеяться, что читатели увидят его в должном свете. Миссис Смит очень любят и уважают у нас в Висконсине, но даже там найдутся люди, которые используют такое происшествие для разжигания расистских страстей.

— О белом полисмене в Нашвилле никто из них и не заикнулся,— сказала миссис Смит.— А ведь синяк под глазом поставил мне он.

— Так что, учитывая все это,— сказал мистер Смит,— я решил порвать свою статью. Ничего! В Висконсине подождут отчета о нашей поездке. Вот так. Может быть, попозже, в какой-нибудь своей лекции я упомяну об этом, но обязательно в присутствии миссис Смит, пусть все видят, что ничего особенно плохого с ней не случилось.— Он снова попробовал дрожжелин.— Теперь, голубчик, в самый раз.

2

Ехать вечером в посольство мне не хотелось. Я предпочел бы не знать дома, в котором жила Марта. Тогда, расставшись со мной, она исчезала бы в пустоте и я мог бы не думать о ней. Теперь же я знал точно, куда она девается, когда «пежо» увозит ее от статуи Колумба. Я видел холл и книгу на цепи, куда посетители заносят свои фамилии, за холлом — гостиную с глубокими креслами, диванами, и сверканием канделябров и большую фотографию генерала такого-то — их более или менее пристойного президента, при виде которого у каждого гостя, даже у меня, возникало чувство, будто мы являемся сюда с официальным визитом. Хорошо хоть, что я не видел ее спальни.

Приехав в половине десятого, я застал посла одного. Мне никогда не случалось видеть его в одиночестве — это был совсем другой человек. Он сидел на диване и листал номер «Пари-матч», точно в ожидании приема у зубного врача. Я подумал: а может, мне тоже сесть и молча взяться за «Жур де Франс», но он предупредил мое намерение и поздоровался со мной. Тут же последовало предложение выпить, закурить сигару... Может, ему на самом деле одиноко живется? Что он делает, когда нет официального приема, а жена уезжает на свидание со мной? Марта говорила, будто я ему симпатичен,— эта мысль помогла мне почувствовать в нем человека. Вид у него был усталый, хмурый. Он переносил свою тушу к столу с бутылками и от стола к дивану медленно, точно тяжелый груз. Он сказал:

— Моя жена наверху, читает вслух моему сыну. Она скоро спустится. Она говорила, что вы, возможно, приедете.

— Я колебался, ехать или нет. Вам, должно быть, хочется кое-когда провести вечер вдвоем.

— Я всегда рад моим друзьям,— сказал он и погрузился в молчание. Я подумал: догадывается он о наших отношениях или нет? А может, знает доподлинно?

— Я слышал, ваш сын схватил свинку?

— Да. Сейчас самый болезненный период. Как это ужасно — правда? — видеть, что ребенок мучается.

— Да, наверное. У меня не было детей.

— А-а.

Я посмотрел на портрет генерала. Мне следовало бы явиться сюда по делам, связанным хотя бы с культурой. У генерала вся грудь была в орденах, и он сжимал рукоятку меча.

— Как вам показался Нью-Йорк? — спросил посол.

— Все такой же.

— Мне бы хотелось повидать Нью-Йорк. Я бывал только в аэропорту.

— Может быть, со временем вас назначат в Вашингтон? — Я не подумал как следует, прежде чем говорить комплименты. Маловероятно, чтобы ему дали этот пост, если в его годы — по моим расчетам, около пятидесяти — он так надолго застрял в Порт-о-Пренсе.

— О нет,— с полной серьезностью ответил он.— Там мне не бывать. Ведь моя жена немка.

— Да, я знаю, но теперь, кажется...

Он сказал так, будто речь шла о вещах, вполне естественных в нашем мире:

— Ее отца повесили в американской зоне. Во время оккупации.

— Понятно.

— Мать уехала с ней в Южную Америку. У них там жили родственники. Она, разумеется, была тогда ребенком.

— Но она все знает?

— Да, конечно. Это ни для кого не секрет. Она вспоминает о нем с нежностью, но у властей были все основания...

Я подумал: сможет ли мир когда-нибудь так же безмятежно парить в пространстве, как это, кажется, было сто лет назад? В викторианскую эпоху люди держали свои тайны под замком, но разве такими тайнами теперь кого-нибудь испугаешь? Ведь Гаити не представляет собой исключения в здравомыслящем мире: это просто небольшой ломтик, наугад вырезанный из повседневности. Барон Суббота бродит по всем нашим кладбищам. Мне вспомнился «висельник» из колоды гадальных карт. Странно, должно быть, сознавать, что твоего сына зовут Анхел, а его деда повесили, но потом у меня вдруг мелькнуло в мыслях: а что бы почувствовал я сам... Мы не очень предохранялись, и вполне могло случиться, что мой ребенок... Он тоже приходился бы внуком карте из гадальной колоды.

— Ведь в конце концов,— сказал посол,— дети ни в чем не повинны. Сын Мартина Бормана — священник в Конго.

Но зачем, недоумевал я, зачем рассказывать мне это про Марту? Рано или поздно, а оружие против любовницы становится необходимым; он сунул мне нож в руку, чтобы в злую минуту я поразил им его жену.

Лакей распахнул дверь и впустил еще одного гостя. Фамилию мне не удалось расслышать, но когда он, мягко ступая по ковру, подошел к нам, я узнал сирийца, у которого мы снимали комнату год назад. Он улыбнулся мне улыбкой соучастника и сказал:

— Ну, как же! Я прекрасно знаю мистера Брауна. Не подозревал только, что вы вернулись. Как вам показался Нью-Йорк?

— Что слышно в городе, Гамит? — спросил посол.

— В венесуэльском посольстве еще один беженец.

— В один прекрасный день они, наверное, и ко мне пожалуют,— сказал посол.— На миру и смерть красна.

— Ваше превосходительство, сегодня утром произошла ужасная вещь. Они помешали похоронам доктора Филипо и увезли его гроб.

— Да, слышал. Но, по-моему, это только слухи, я им не поверил.

— Слухи правильные. Я там был,— сказал я.— Видел весь этот...

— Мосье Анри Филипо,— доложил лакей, и в наступившей тишине к нам подошел молодой человек, слегка прихрамывая, вероятно, после полиомиелита. Я узнал его. Это был племянник бывшего министра, с которым мы познакомились как-то еще в те, лучшие, времена,— участник небольшого кружка писателей и художников, часто собиравшихся в «Трианоне». Он читал тогда свои стихи — гладкие, музыкальные, чуть декадентские и старомодные, с отзвуками Бодлера. Как это все далеко ушло. Единственное, что осталось памятью тех времен,— ромовый пунш Жозефа.

— К вам первый беженец, ваше превосходительство,— сказал Гамит.— Я был почти уверен, что вы явитесь сюда, мосье Филипо.

— О нет! — сказал молодой человек.— Я не за тем. Пока еще не за тем. Если не ошибаюсь, от тех, кто просит убежища, требуют обязательства не принимать участия ни в каких политических акциях.

— Какую же политическую акцию вы намерены предпринять? — спросил я.

— Плавлю старое фамильное серебро.

— Я не понял,— сказал посол.— Вот мои сигары, Анри. Закуривайте — настоящие гаванские.

— Моя дорогая и прекрасная тетушка все твердит о серебряной пуле. Но с одного выстрела можно не попасть в цель. Я того мнения, что их много понадобится. К тому же нам предстоит иметь дело не с одним дьяволом, а с тремя. Папа Док, шеф тонтон-макутов и полковник дворцовой охраны.

— Как хорошо,— сказал посол,— что американская помощь выразилась здесь в поставках оружия, а не микрофонов.

— Где вы были сегодня утром?— спросил я.

— Ехал из Кап-Аитьена и опоздал на похороны. Может, это и к лучшему. Меня задерживали у каждой заставы. Наверно, принимали мою легковушку за передовой танк армии завоевателей.

— Как там дела?

— Тихо, слишком тихо. Город кишит тонтон-макутами. Глядя на такое количество темных очков, можно подумать, что находишься в Беверли-хиллс.

Он еще не кончил говорить, как вошла Марта, и меня зло взяло, когда она посмотрела на него первого, хоть я и понимал, что с ее стороны было бы неблагоразумно сразу обращаться ко мне. Она поздоровалась с ним теплее, чем следовало, на мой взгляд.

— Анри,— сказала она.— Я так рада, что вы здесь. Я за вас беспокоилась. Побудьте с нами несколько дней.

— Я должен быть у моей тетки, Марта.

— Ее тоже возьмите. И ребенка.

— Время для этого не приспело. Еще рано.

— Смотрите, как бы поздно не было.— Она повернулась ко мне с милой, пустопорожней улыбкой, которую держала про запас для вторых секретарей, и сказала:— Пока у нас не появятся свои собственные политические беженцы, мы будем считаться третьеразрядным посольством, не правда ли?

— Как ваш сын?— спросил я. Мне хотелось, чтобы мой вопрос был так же пуст, как и ее улыбка.

— Гораздо лучше. Он очень хочет видеть вас.

— Зачем я ему понадобился?

— Он любит побыть с нашими друзьями. Чтобы не чувствовать, будто его оттесняют.

Анри Филипо сказал:

— Если б у нас были белые солдаты, как у Чомбе! За последние сорок лет мы, гаитяне, сражались только ножами и битыми бутылками. Нам нужно хоть несколько человек с опытом партизанской войны. Горы на Гаити высокие, такие же как на Кубе.

— А лесов нет, скрываться негде,— сказал я.— Их свели ваши же крестьяне.

— И тем не менее мы долго держались против американской морской пехоты.— Он добавил с горечью:— Я говорю «мы», но сам принадлежу к более молодому поколению. Мое поколение училось живописи — вы знаете, что картины нашего Бенуа теперь покупает Музей современного искусства (правда, за них дают гораздо меньше, чем за европейских примитивистов). Наших писателей печатают в Париже, а теперь они и сами туда перебрались.

— А какова судьба ваших стихов?

— Мои стихи были весьма музыкальны, не правда ли? Но под их музыку к власти пришел Доктор. Все наши негативы дали один этот огромный черный позитив. Я даже голосовал за него. Знаете, я ведь и понятия не имею, как обращаться с пулеметом Брена. А вы умеете обращаться с «бреном»?

— Это не сложная штука. За пять минут ее освоите.

— Тогда научите меня.

— Для этого нам прежде всего понадобится «брен».

— Нарисуйте мне карандашом на бумаге и покажите на пустых спичечных коробках, а настоящий пулемет Брена я, может, когда-нибудь раздобуду.

— Я знаю одного человека, который больше подойдет вам в учи-

теля, но сейчас он сидит в тюрьме.— Я рассказал ему про майора Джонса.

— Его били там? — с удовлетворением спросил он.

— Да.

— Вот и прекрасно. Белые плохо переносят побои.

— По-моему, он перенес их очень легко. У меня даже осталось такое впечатление, что ему это не в первый раз.

— Вы думаете, он человек с большим опытом?

— Якобы воевал в Бирме, но я знаю это только с его слов.

— И не верите?

— Есть в нем что-то, чему нельзя поверить до конца. Во время одного разговора с ним мне вспомнилось, как я в молодости устраивался на работу в один лондонский ресторан — врал им, благо хорошо говорил по-французски, будто служил официантом у Фукэ, а сам ждал, что меня вот-вот выведут на чистую воду. Но этого не случилось. Я продал себя, точно бракованный товар, а ценник приколол на месте дефекта. Не так давно я не менее успешно спекульнул собой, как знатоком живописи, но меня и тут не вывели на чистую воду. Иной раз мне кажется, что Джонс ведет ту же игру. Помню, я присматривался к нему однажды вечером, когда мы ехали сюда на пароходе — это было после прощального концерта,— присматривался и думал: а не комедианты ли мы с тобой?

— Это можно сказать чуть ли не о каждом из нас. А я разве не был комедиантом — с моими-то стихами, попахивающими бодлеровскими «Цветами зла» и напечатанными за мой счет на дорогой бумаге? Я разослал их во все крупные французские журналы. А этого делать не следовало. Меня вывели на чистую воду. Я ни одного отзыва о себе не дождался, если не считать статейки Крошки Пьера. На те деньги, наверное, можно бы купить пулемет Брена. (Это слово звучало у него как заклинание — Брен!)

Посол сказал:

— Ну зачем же унывать? Давайте играть комедию все вместе. Вот мои сигары — курите, пожалуйста. Пойдемте к стойке — наливайте себе сами. У меня прекрасное виски. Может быть, Папа Док тоже комедиант.

— Э-э, нет,— сказал Филипо.— Он настоящий. Ужасы, они всегда настоящие.

Посол сказал:

— Стоит ли нам так уж сетовать на свое комедиантство — это почтенная профессия. Если б мы были хорошими комедиантами, мир избавился бы от жанрового разнобоя. Нас постигла неудача — только и всего. Мы плохие комедианты, но не плохие люди.

— Избави меня боже! — сказала Марта по-английски, будто эти слова относились прямо ко мне.— Никакая я не комедиантка.— Мы совсем о ней забыли. Она ударила обеими руками по спинке дивана и громко заговорила, обращаясь к остальным уже на французском языке:— Вы слишком много разглагольствуете. И несете такую чепуху! Моего ребенка только что стошнило. У меня от рук еще пахнет его рвотой. Он плакал. А вы обсуждаете тут, кто какую роль играет. Я никаких ролей не играю. Я что-то делаю. Я подношу ему таз. Даю аспирин. Я вытираю ему рот. Кладу его к себе в постель.

Она заплакала, стоя за диваном.

— Дорогая моя,— смущенно проговорил посол. Я даже не мог подойти к ней, не мог посмотреть ей в лицо: Гамит не сводил с меня иронического и всепонимающего взгляда. А я вспомнил пятна, которые мы оставляли на его простынях, и подумал: а может, он сам менял белье? Ему, как собаке проститутки, было известно много всяких интимных подробностей.

— Вы пристыдили нас,— сказал Филипо.

Марта повернулась и пошла прочь из гостиной, но у нее сломался каблук, она споткнулась о ковер и чуть не упала в дверях. Я догнал ее и поддержал под локоть. Я знал, что Гамит наблюдает за мной, но посол, даже если он заметил что-нибудь, не подал вида.

— Скажи Анхелу, что я приду через полчаса пожелать ему спокойной ночи.

Я притворил за собой дверь. Марта прилаживала сломанный каблук. Я взял у нее туфлю.

— Не починишь,— сказал я.— Другой пары у тебя нет?

— У меня их двадцать. Как, по-твоему, он догадывается?

— Может быть. Не знаю.

— А так было бы проще?

— Не знаю.

— Может, тогда нам не пришлось бы разыгрывать комедию?

— Ты же не комедиантка. Сама так сказала.

— Я хватила через край, знаю. Но эти разговоры меня возмутили. Такими мы кажемся мелкими, никудышными, все-то нам самих себя жалко. Может, мы и на самом деле комедианты, но зачем упиваться этим? Я, по крайней мере, что-то делаю — правда? Пусть в моих поступках ничего хорошего нет, но все-таки. Я не притворялась, что ты мне не нужен. Я не притворялась в тот первый вечер, будто полюбила тебя.

— Ты меня любишь?

— Я люблю Анхела,— настороженно сказала она, ступая в одних чулках по широкой викторианской лестнице.

Мы вошли в длинный коридор с пронумерованными комнатами.

— У вас хватит места для политических беженцев.

— Да.

— Найди нам какую-нибудь комнату.

— Нет, рискованно.

— Не более рискованно, чем в машине. И какое это имеет значение, если ему известно...

— Он скажет: «В моем доме?» — так же, как ты бы сказал: «В нашем «пежо»?» Мужчины мерят измену по каким-то градациям. Тебе тоже было бы легче, если б это случилось в чужом «кадиллаке», правда?

— Не будем терять времени зря. Он дал нам полчаса.

— Ты обещал зайти к Анхелу.

— А потом?

— Может быть. Не знаю. Дай мне подумать.

Она отворила третью дверь направо, и я очутился там, где мне никогда не хотелось побывать,— в ее спальне, общей с мужем. Обе кровати были двойной ширины, их розовые покрывала, точно ковер, заполняли собой всю комнату. У стены стояло высокое трюмо, в которое он мог видеть, как она раздевается на ночь. Теперь, когда этот человек начинал нравиться мне, я не видел причин, почему бы Марте не любить такого мужа. Он был толстый, но некоторые женщины любят толстяков, и горбатых, и одноногих. У него натура собственника, но некоторым женщинам по душе рабство.

Анхел сидел, привалившись к двум розовым подушкам. Свинка не так уж изменила его физиономию, и без того щекастую. Я сказал:

— Ну-с? — Я не умею говорить с детьми.

Глаза у Анхела были романские — карие и невыразительные, как у отца; висельник не передал ему саксонской голубизны. Голубые были у Марты.

— Я хвораю,— сказал он с чувством собственного превосходства.

— Да, вижу.

— Я сплю здесь с моей мамой. А мой папа спит в гардеробной. Так и будет, пока у меня жар. Сегодня температура...

Я сказал:

— Что это за игрушка?

— Фокус.— Он спросил Марту:— А больше в гостиной никого нет?

— Там мосье Гамит и Анри.

— Пусть они тоже ко мне придут.

— Вдруг у них не было свинки? Может, они боятся заразы.

— А у мосье Брауна была свинка?

Марта замешкалась с ответом, и он приметил ее колебание, как адвокат, ведущий перекрестный допрос. Я сказал:

— Была.

— А в карты мосье Браун умеет играть?— ни с того ни с сего спросил он.

— Нет... То есть не знаю,— сказала она, точно опасаясь ловушки.

— Я карты не люблю,— сказал я.

— А моя мама любит. Она почти каждый вечер уезжала играть в карты — до вашего отъезда в Нью-Йорк.

— Ну, мы пойдем,— сказала Марта.— Папа придет через полчаса пожелать тебе спокойной ночи.

Он протянул мне свою игрушку и сказал:

— Вот, сделайте.

Это была маленькая квадратная коробочка, застекленная по бокам, а в ней картинка клоуна с двумя ямками вместо глаз, куда следовало загнать две маленькие ртутные бусинки. Я стал вертеть ее так и сяк; одна бусинка попадала в глазницу, но когда я пробовал загнать вторую, выкатывалась первая. Мальчик следил за мной презрительно и с неприязнью.

— Увы! Я не ловкий. Ничего не получается.

— Вы плохо стараетесь,— сказал он.— Ну, еще раз.

Я чувствовал, как время, которое осталось у меня, чтобы побыть наедине с Мартой, уходит, точно песок в песочных часах для варки яиц, и, по-моему, он тоже это понимал. Чертовы бусинки гонялись друг за другом по стенкам коробочки и пробегали по глазницам, не попадая в них; они прятались по углам. Я заставлял их медленно, под небольшим уклоном катиться к ямкам сверху, но малейшего моего движения было достаточно, чтобы они ныряли на самый низ. Приходилось все начинать сначала — теперь коробочка была почти неподвижна, ей передавалась только дрожь моих нервов.

— Одну загнал.

— Этого мало,— неумолимым тоном сказал он.

Я бросил ему коробочку.

— Хорошо. Покажи, как у тебя получается.

Он посмотрел на меня с предательской, злой ухмылкой. Потом взял коробочку и, подставив под нее левый кулак, держал руку почти неподвижно. Одна бусинка, будто сама собой пошла чуть не вверх по наклону, задержалась на краю глазницы и упала в нее.

— Раз,— сказал он.

Другая бусинка сразу покатилась ко второй ямке, проскочила мимо, вернулась назад и тоже попала на место.

— Два,— сказал он.

— Что у тебя в левой руке?

— Ничего.

— Ничего, тогда покажи.

Он разжал кулак и показал мне маленький магнит.

— Обещайте никому не говорить.

— А если не пообещаю?

Это было похоже на стычку взрослых за карточным столом. Он сказал:

— Если вы умеете хранить секреты, я тоже сумею.— Его карие глаза ничего не выдавали.

— Обещаю,— сказал я.

Марта поцеловала его, взбила подушку, велела ему лечь как следует и зажгла у кровати ночничок.

— Ты скоро придешь?— спросил он.

— Когда гости уйдут.

— А когда они уйдут?

— Ну, откуда мне знать?

— Скажи, что я хвораю. Меня опять может стошнить. Аспирин не подействовал. Мне больно.

— Лежи тихонько. Закрой глаза. Папа скоро будет. Тогда, наверно, гости разойдутся и я приду спать.

— А вы не сказали мне «спокойной ночи»,— попрекнул он меня.

— Спокойной ночи.— Я притворно дружеским жестом положил ему руку на голову и взлохматил его сухие, жесткие волосы. Потом от руки у меня долго пахло мышами.

В коридоре я сказал Марте:

— По-моему, даже он все знает.

— Ну, может ли это быть?

— А как тогда понимать про секреты?

— Это такая игра, все ребята в нее играют.—Но до чего же трудно было видеть в нем ребенка.

Она сказала:

— Ему пришлось помучиться. Ты не находишь, что он хорошо себя ведет?

— Да. Конечно. Очень хорошо.

— Как взрослый, правда?

— О да! Я сам об этом подумал.

Я взял ее за руку и повел по коридору.

— Кто спит в этой комнате?

— Никто.

Я отворил дверь и потянул Марту за собой. Она сказала:

— Нет. Неужели ты не понимаешь, что это невозможно.

— Меня не было здесь три месяца, а с моего приезда мы только раз...

— Я не гнала тебя в Нью-Йорк. Неужели ты не чувствуешь, что я не в настроении? Не сегодня.

— Ты сама просила меня прийти.

— Мне хотелось повидать тебя. Только и всего. А не заниматься любовью.

— Значит, ты меня не любишь?

— Не задавай таких вопросов.

— Почему?

— Потому что я тоже могу спросить.

Я признал справедливость ее ответа и разозлился, и злость прогнала желание.

— Сколько у тебя в жизни было интрижек?

— Четыре.—не раздумывая, ответила она.

— Четвертая со мной?

— Да. Если то, что с тобой, ты считаешь интрижкой.

Потом, спустя много месяцев, когда у нас с ней все кончилось, я отдал должное ее прямоте, оценил ее. Она не играла. Она точно ответила на мой вопрос. Она никогда не притворялась: если ей не нравилось что-нибудь, так уж не нравилось, если она была к чему-нибудь равнодушна,

так не говорила, что любит это. Я не смог понять ее только потому, что задавал не те вопросы, вот и все. Она на самом деле не была комедианткой. Она сохранила наивное прямодушие, и теперь мне ясно, почему я любил ее тогда. В конце концов, единственное, что привлекает меня в женщине, помимо красоты, это нечто трудно определимое — то, что мы имеем в виду, когда говорим: она «хорошая». Та — в Монте-Карло, хотя и изменила мужу со школьником, побуждения у нее были благие. Марта тоже изменяла мужу, но пленяла меня в ней не ее любовь, если она действительно меня любила, а ее слепая, самоотверженная преданность ребенку. Когда рядом с тобой «хорошая», ты можешь чувствовать себя спокойно; почему же мне было мало этого, почему я всегда задавал ей не те вопросы?

— А что, если остановиться на последней интрижке навсегда?— спросил я, отпуская ее.

— Как же это можно знать заранее?

Помню единственное настоящее письмо, которое я получил от Марты, кроме записок о свиданиях, составленных с нарочитой неопределенностью на тот случай, если они попадут в чужие руки. Оно пришло в Нью-Йорк, когда я торчал там, пришло в ответ на мое — вероятно, скованное, полное подозрений и ревности. (К тому времени я уже обзавелся в Нью-Йорке девицей, которая принимала на 56-й улице, и, разумеется, думал, что и Марта прибегла к такому же способу заполнить месяцы разлуки.) Письмо ее было теплое, беззлобное. Вероятно, когда отец у тебя повешен за чудовищные преступления, все мелкие обиды рассматриваешь в другом ракурсе. Она писала об Анхеле, о его математических способностях, она много писала об Анхеле и о кошмарах, которые ему снятся. «Я теперь при нем почти все вечера», и я тут же стал думать, а что она делает, если ей не надо быть около него, с кем она тогда проводит вечерние часы? Бесполезно было убеждать себя, что она с мужем или в казино, где я впервые ее встретил.

И вдруг — точно она знала, какой оборот примут мои мысли,—фраза, примерно следующая: «Может быть, сексуальная жизнь человека и есть самая серьезная проверка. Если мы такую проверку выдерживаем, если мы милосердны к тем, кого любим, и не теряем привязанности к тем, кого обманываем, зачем нам высчитывать, чего в нас больше, хорошего или плохого. Но ревность, недоверие, жестокость, мстительность, взаимные попреки... это провал. Все зло именно в этом, даже если мы жертвы, а не палачи. Добродетель не может служить оправданием».

Тогда это письмо показалось мне претенциозным, не совсем искренним. Я злился на самого себя, а значит, и на нее. Я разорвал его, хотя оно было такое теплое, хотя оно было единственное. Мне казалось, Марта отчитывает меня за то, что в тот день я провел два часа в квартире на 56-й улице, но откуда ей было знать об этом? Вот почему среди всех моих сорочьих сокровищ — пресс-папье из Майами, входной билет в монте-карлское казино — не осталось ни клочка с ее почерком. И все-таки я прекрасно его помню — округлый, детский, а вот голос ее забыл.

— Ну что ж,—сказал я.—Если так, пойдем вниз.—Комната, в которой мы стояли, была холодная и необжитая, картины, висевшие на стенах, вероятно, отбирали в посольской канцелярии.

— Иди сам. Я не хочу видеть этих людей.

— У статуи Колумба, как только ему станет легче?

— У статуи Колумба.

И когда я уже ничего не ждал, она вдруг обняла меня.

— Бедный, бедный! Вернулся домой, а как все нехорошо.

— Ты тут ни при чем.

Она сказала:

— Давай. Давай скорее.

Она легла на кровать с краю, потянула меня к себе, и я услышал голос Анхела в конце коридора:

— Папа, папа!

— Не слушай,—сказала Марта. Она согнула ноги в коленях, и это напомнило мне труп доктора Филипо под трамплином: роды, любовь и смерть — эти положения так схожи между собой. И я почувствовал, что не могу, ничего не могу, белая птица не влетела в окно спасать мою мужскую гордость. Вместо этого за дверью послышались шаги посла, поднимавшегося по лестнице.

— Не бойся,—сказала она.—Он сюда не зайдет.—Но не посол охладил меня. Я поднялся, и она сказала: — Ну что ж, ничего. Это моя вина. Затея была неумная.

— У статуи Колумба?

— Нет. Я найду что-нибудь получше. Клянусь тебе.

Она вышла из комнаты первая и крикнула:

— Луис!

— Да, милая?— Он выглянул из их спальни, держа в руках игрушку Анхела.

— Я показываю мистеру Брауну верхние комнаты. Он говорит, что у нас хватит места для беженцев.— В ее голосе не чувствовалось ни одной фальшивой нотки, она держалась совершенно свободно, и я вспомнил, как ее возмутили наши разглагольствования о комедиантах, а ведь на большее комедиантство никто из нас не был способен. Я сыграл свою роль хуже, мой голос прозвучал сухо, что свидетельствовало о волнении.

— Мне пора идти,— сказал я.

— Но почему? Еще рано,— сказала Марта.— Мы так давно вас не видели, правда, Луис?

— У меня свидание,— сказал я Марте, сам не подозревая, что говорю правду.

3

Этот долгий, долгий день все еще не кончился: до полуночи оставался час — целая вечность. Я сел в машину и повел ее вдоль побережья по дороге, изборожденной рытвинами. Прохожих на улицах было мало: люди, вероятно, еще не привыкли к тому, что комендантский час отменен, или же боялись попасть в засаду. Справа от дороги тянулись деревянные домишки; они стояли, как на блюдечках, посреди огороженных клочков земли с редкими пальмами, с полосками воды между ними, поблескивавшими, точно металлический лом на свалке. То тут, то там огонек свечи озарял головы, склонившиеся, будто у гроба, над стаканами рома. Кое-где украдкой звучала музыка. Впереди прямо на дороге плясал какой-то старик — мне пришлось резко затормозить. Он подбежал к машине и захихикал, глядя на меня сквозь стекло,— нашелся же в тот вечер хоть один человек в Порт-о-Пренсе, который ничего не боялся. Я не понял, что он там бормочет по-креольски, и поехал дальше. Я уже года два не заглядывал к мамаше Катрин, но сегодня мне были нужны ее услуги. Бессилие гнездилось в моем теле, как проклятие, и, чтобы снять его с меня, требовалась помощь колдуньи. Я вспомнил девицу с 56-й улицы, потом с неохотой подумал о Марте, и мысли о ней распалили мою злобу. Если б она отдалась мне, когда я хотел ее, того, что сейчас, не было бы.

Перед самым заведением мамаши Катрин дорога разветвлялась: гудронированное шоссе, если уж так его именовать, внезапно кончилось (то

ли не хватило средств, то ли кому-нибудь не дали взятки). Влево шла главная южная магистраль, почти непроезжая, разве только для джипов. Здесь была застава — непонятно почему, ведь с юга никакого вторжения не ждали. Пока меня обыскивали, тщательнее, чем обычно, я стоял под большим плакатом, который вещал: «США — Гаити. Совместный пятилетний план. Строительство Главной южной магистрали». Но американцы выехали, и от всего пятилетнего плана осталась только вот эта вывеска, торчавшая над лужами стоячей воды, канавами, навалом камней и скелетом экскаватора, который никто не потрудился вытащить из грязи.

Когда меня отпустили, я свернул направо и подъехал к владениям мамаши Катрин. Вокруг было так тихо, что я заколебался, стоит ли вылезать из машины. Любовью здесь занимались в длинном, приземистом домишке, похожем на конюшню со стойлами. Свет горел только в главном помещении, где мамаша Катрин принимала гостей и подавала им выпивку, но сейчас там не танцевали, музыки не было слышно. На минуту я поддался искушению сохранить верность Марте, и мне захотелось уехать. Но мой недуг слишком далеко затащил меня, да еще по плохой дороге, и, решив, что отступать нельзя, я осторожными шагами пошел через темный двор к освещенным окнам — шел и ненавидел себя. Ставить машину впритык к стене дома, конечно, было глупо, я сразу очутился в темноте и, пройдя еще несколько шагов, налетел на джип с потушенными фарами, за рулем его спал человек. И опять я чуть не повернул назад, потому что в Порт-о-Пренсе было не так уж много джипов, которые не принадлежали бы тонтон-макутам, а если тонтон-макуты развлекаются с девицами мамаши Катрин, другим клиентам места у нее не найдется.

Но, упорствуя в ненависти к самому себе, я пошел дальше. Мамаша Катрин услыхала мои спотыкающиеся шаги и встретила меня на пороге с керосиновой лампой в руках. Лицо у нее было как у доброй негритянской нянюшки из фильма о глубоком американском Юге, а фигурка тоненькая, хрупкая, когда-то, вероятно, прелестная. Лицо мамаши Катрин вполне соответствовало ее натуре: я не знал более доброй женщины во всем Порт-о-Пренсе. Она утверждала, будто ее девицы все из почтенных семей, будто она лишь помогает им зарабатывать немного на мелкие расходы, и ей почти верили, так как они у нее были вышколенные и на людях держались прекрасно. От гостей тоже требовалось соблюдение благопристойности, до того как они расходились по стойлам, и, глядя на парочки, танцующие в зале, можно было подумать, что присутствуешь на вечере после окончания учебного года в монастырской школе. Помню, три года назад мамаша Катрин кинулась спасать одну из своих девушек от каких-то там мучительств. Я сидел за стаканом рома и вдруг услышал, что в стойлах — так у нас назывались эти комнатушки — закричала женщина. Прежде чем я успел сообразить, что делать, мамаша Катрин схватила топорик на кухне и на всех парусах выплыла во двор, точно маленький «Мститель», двинувшийся против вражеской Армады. Противник мамаши Катрин — вдвое выше ее, к тому же накачавшийся ромом, стоял с ножом. (Фляжка, наверно, была припрятана у него в заднем кармане, потому что хозяйка никогда бы не отпустила с девушкой пьяного клиента.) При ее приближении он повернулся и дал тягу, а потом я увидел мамашу Катрин в окно кухни: она сидела там, держа девушку на коленях, точно малого ребенка, и ворковала ей что-то по-креольски, а девушка спала, припав головой к ее костлявому плечику.

Мамаша Катрин предостерегла меня шепотом:

— Тонтоны понаехали.

— И разобрали всех девушек?

— Нет. Но та, что вам нравится, занята.

Я не заезжал к мамаше Катрин целых два года, а она все помнила, и

что самое удивительное — моя девушка все еще работала здесь, ей, наверно, скоро исполнится восемнадцать. Я не рассчитывал встретить ее и тем не менее почувствовал досаду. В зрелые годы держишься за старых друзей даже в публичном доме.

— В буйном настроении? — спросил я мамашу Катрин.

— Да нет, по-моему. Они охраняют какого-то важного человека. Он как раз с Тин-Тин.

Я решил уехать, но недоброе чувство к Марте сидело во мне, точно зараза.

— Зайду все-таки,— сказал я.— Жажда одолела. Дайте рома и кока-колу.

— Кока-колы нет.— Я забыл, что американская помощь кончилась.

— Тогда ром и содовую.

— Несколько бутылок фруктовой воды еще осталось.

— Хорошо. Дайте с фруктовой.

У двери спал, сидя на стуле, тонтон-макут; темные очки свалились ему на колени, и без них он казался существом совершенно безобидным. Серые фланелевые штаны были у него расстегнуты, на ширинке не хватало пуговицы. В зале стояла полная тишина. Я увидел в отворенную дверь четырех девушек в белых шифоновых платьях с юбками колоколом. Они тянули оранжад через соломинки; молчали. Одна взяла свой пустой стакан и отошла от столика плавной поступью, а ее широкая юбка округлилась на ходу, как у бронзовой статуэтки Дега.

— Гостей никого нет?

— Увидели тонтон-макутов и разъехались.

Я вошел в зал, и там за столиком у стены, глядя на меня в упор, точно со вчерашнего дня мне так и не удалось скрыться от этих глаз, сидел тонтон-макут — тот самый, что был в полицейском управлении и разбивал стекла в катафалке, чтобы вытащить гроб бывшего министра. Его мягкая шляпа лежала рядом на стуле, на нем был галстук бабочкой, в полоску. Я поклонился ему и пошел к другому столику. Он наводил на меня страх, и я стал гадать, какую же персону — видимо, еще более важную — ублажает сейчас Тин-Тин? Хотелось надеяться, ради нее же самой, что он, по крайней мере, не такая дрянь, как этот наглый офицер.

Он сказал:

— Где вас только не встретишь.

— Я не стараюсь лезть на глаза.

— А что вам здесь понадобилось сегодня вечером?

— Стакан рома с фруктовой водой.

Мамаша Катрин вошла с подносом, на котором стоял мой заказ. Офицер сказал ей:

— А ты говорила, фруктовой нет.

Я заметил, что на подносе, рядом со стаканом, была пустая бутылка из-под содовой. Тонтон-макут взял мой ром и сделал глоток.

— Так и есть, фруктовая. Подашь этому человеку с содовой. Вся фруктовая, сколько у тебя есть, понадобится моему другу, когда он вернется в зал.

— В баре такая темнота. Наверно, бутылки переставили с места на место.

— Научись различать между важными клиентами и....— Он запнулся, потом решил закончить повежливее:—...и менее важными. Можете сесть,— сказал он мне.

Я сделал шаг в сторону.

— Здесь можете сесть. Садитесь.

Я повиновался. Он сказал:

— Вас задержали у перекрестка, обыскивали?

— Да.
— А здесь, в дверях? В дверях вас задержали?
— Да, мамаша Катрин задержала.
— А мой человек?
— Он спал.
— Спал?
— Да.

Мне ничего не стоило наябедничать. Пусть тонтон-макуты перегрызутся между собой. Я удивился, что офицер ничего на это не сказал, не рванулся к двери. Он по-прежнему смотрел на меня сквозь темные, непроницаемые стекла своих очков. У него созрело какое-то решение, но какое именно, мне знать не полагалось. Вошла мамаша Катрин с ромом. Я отхлебнул из стакана. Ром опять отдавал фруктовой водой. Она была храбрая женщина.

Я сказал:

— Вы сегодня чрезвычайно бдительны.

— Я охраняю очень важного иностранца. Ради его безопасности надо принять все меры. Он попросился приехать сюда.

— А у маленькой Тин-Тин ему ничего не грозит? Или в спальне тоже выставлена охрана, капитан? Впрочем, может быть, вы чином выше?

— Я капитан Конкассер. Вы не лишены чувства юмора. Я юмор ценю. И люблю, когда шутят. В шутках всегда есть политическая подоплека. Они — отдушина для импотентов и трусов.

— Вы говорите, капитан, что сюда приехал важный иностранец? А сегодня утром мне показалось, будто вы иностранцев недолюбливаете?

— Лично я белых ни во что не ставлю. Сознаюсь: мне противен этот цвет кожи, дерьмо какое-то. Но некоторых из вас мы терпим — таких, от кого есть польза государству.

— То есть Доктору?

Он процитировал чуть ироническим тоном:

— Je suis le drapeau Haïtien, Uni et Indivisible.— Потом отхлебнул рома из стакана.— Конечно, среди белых попадаются и более сносные. Французы, по крайней мере, одной культуры с нами. Я восхищаюсь генералом де Голлем. Президент обратился к нему с посланием — предлагает, чтобы мы тоже вступили в Европейское сообщество.

— И получил ответ?

— Это все не так скоро делается. Некоторые условия надо как следует обсудить. Мы понимаем толк в дипломатии. Не совершаем глупостей, как американцы — и англичане.

Мне не давала покоя фамилия Конкассер. Где-то я ее слышал. Может, он взял себе псевдоним, как это делали иные диктаторы?

— Где есть Третья сила, там должно быть место и нашему Гаити,— сказал капитан Конкассер.— Мы надежный оплот против коммунистов. Ничего бы здесь не вышло — ни у какого Кастро. Крестьянство нам предано.

— Или запугано.— Я надолго приложился к стакану, ром помогал сносить это бахвальство.— Ваш знатный иностранец не торопится.

— У него давно не было женщины, он сам мне так сказал.— Капитан рявкнул на мамашу Катрин: — Сервис! Сервиса нет! — и топнул ногой.— Почему никто не танцует?

— Оплот свободного мира,— сказал я.

Все четыре девушки поднялись из-за стола, и одна из них завела патефон. Они стали танцевать — медленно, со старомодным изяществом. Широкие юбки колыхались в такт их движениям, обнажая стройные ноги цвета шерстки молодого оленя. Девушки мягко улыбались и, танцуя,

держали друг друга чуть-чуть на расстоянии. Они были красивые, и все, как одна, точно птицы одинакового оперения. И когда вот так сидишь и смотришь на этих девушек, не веришь, что они продаются. Как и все прочие люди.

— Конечно, свободный мир платит лучше,— сказал я,— причем долларами.

Капитан Конкассер проследил, куда я смотрю. Темные очки не мешали ему видеть решительно все. Он сказал:

— Хотите, я угощу вас женщиной? Вон та, маленькая, с цветком в волосах, Луиза. Она и не глядит на нас. Не смеет, а вдруг я приревную. Ревновать putain*! Это надо выдумать. Если я скажу ей словечко, она вас хорошо обслужит.

— Мне женщина не нужна.— Я прекрасно понимал смысл столь щедрого жеста: швырнуть putain белому, точно кость собаке.

— Тогда зачем вы сюда приехали?

Он был прав, задавая такой вопрос. Я ответил как мог:

— Расхотелось.— А сам смотрел на кружившихся девушек, которые заслуживали лучших декораций, чем дощатая лачуга, стойка с бутылками рома и старые рекламы кока-колы по стенам.

Я сказал:

— Неужели вы не боитесь коммунистов?

— Ну-у! Они никакой опасности не представляют. А станут опасными, так американцы высадят здесь морскую пехоту. Правда, в Порт-о-Пренсе есть несколько коммунистов. Мы их наперечет знаем. Они не опасные. Собираются небольшими кружками, изучают Маркса. А вы коммунист?

— Как же это может быть? Я хозяин отеля «Трианон». Я завишу от американских туристов. Я капиталист.

— Тогда вы наш,— заявил он, и это была наибольшая любезность, на какую он оказался способен.— Конечно, если не считать цвета вашей кожи.

— Не слишком ли далеко вы заходите в своих оскорблениях?

— Но ведь цвет кожи от вас не зависит,— сказал он.

— Я не об этом. Не считайте меня вашим. Когда в капиталистическом государстве разводится слишком уж много мерзостей, как бы и капиталисты от него не отвернулись.

— Капиталист никогда не отвернется, если будет получать свой куш из расчета двадцать пять процентов.

— Немножко гуманности тоже не помешало бы.

— Вы говорите, точно католик.

— Да. Может быть. Но католик изверившийся. А вам не грозит, что ваши капиталисты тоже утеряют веру?

— Они теряют жизнь, а веру — нет. Их вера — деньги. Они сохраняют ее до конца дней своих и передают детям.

— А этот ваш знатный иностранец, он кто — послушный капиталист или политик правого толка?

Пока Конкассер позвякивал кусочками льда в стакане, я, кажется, вспомнил, где мне пришлось слышать это имя. О нем рассказывал Крошка Пьер — рассказывал с оттенком изумления и страха. Из рассказа следовало, что после того, как американцы отозвали своего посла, а вслед за тем американская канализационная компания эвакуировала из Порт-о- Пренса весь свой персонал, Конкассер перевез экскаваторы и водопроводные трубы с их участка к горному селению на склоне Кенскоффа и начал там работы по собственному бредовому проекту. Дело далеко не продвинулось — к концу первого месяца рабочие разбежались, так

* Проститутка *(франц.)*.

как им не платили. Поговаривали, будто у капитана возникли какие-то недоразумения с шефом тонтон-макутов, который был вправе рассчитывать на известную мзду. И на склоне Кенскоффа памятником безумной затеи Конкассера так и остались четыре цементные колонны и цементный пол, уже начинавший давать трещины под горячим солнцем и дождями. Может быть, важный иностранец, развлекающийся сейчас в стойле с Тин-Тин, финансист, который согласился выручить его? Но какому здравомыслящему дельцу придет на ум ссужать деньги в этой стране, откуда сгинули все туристы,— ссужать их на строительство искусственного катка на склоне Кенскоффа?

— Нам нужны специалисты, даже если они белые,— сказал Конкассер.

— Император Кристоф обошелся без них.

— Мы люди современные, при чем тут Кристоф?

— Искусственный каток вместо дворца?

— Ну, хватит с меня вашей болтовни,— сказал Конкассер, и я понял, что зашел слишком далеко. Я коснулся его незажившей раны, и мне стало страшновато. Если б у нас с Мартой все получилось как надо, моя ночь прошла бы совсем по-другому. Сейчас я бы спал крепким сном у себя в отеле, и мне не было бы никакого дела ни до политики, ни до того, как развращает людей власть. Капитан вынул револьвер из кобуры и положил его на стол рядом со своим пустым стаканом. Его подбородок уткнулся в грудь, в сине-белые полосы рубашки. Он сидел мрачный и молчал, точно соображая, стоит или не стоит всадить человеку пулю между глаз. И что касается его, то, по-моему, стоило.

Мамаша Катрин вошла в зал, остановилась позади меня и подала нам два стакана рома. Она сказала:

— Ваш приятель уже больше получаса у Тин-Тин. Пора бы...

— Сколько ему потребуется времени,— сказал капитан,— столько и дашь. Он важный человек. Очень важный человек.— В уголках рта у него, точно яд, пузырилась слюна. Он дотронулся кончиками пальцев до револьвера. Он сказал: — Искусственный каток — последняя мода.— Пальцы поигрывали между стаканом рома и револьвером. Я обрадовался, когда они взялись за стакан. Он сказал: — Искусственный каток — это шикарно. Это высший класс.

Мамаша Катрин сказала:

— Вы уплатили за полчаса.

— Мои часы показывают другое время,— сказал капитан.— Все равно ты ничего не теряешь. Других гостей здесь что-то не видать.

— А мистер Браун?

— Нет, не сегодня,— сказал я.— Не будешь знать, как себя вести с женщиной после такого важного гостя.

— Тогда чего же вы здесь сидите? — спросил капитан.

— Я хочу пить. И меня разбирает любопытство. На Гаити не часто встречаешь важных иностранцев. Он финансирует ваш каток? — Капитан взглянул на револьвер, но подходящая минута — минута, чреватая опасностью, была упущена. От нее остались только следы, как от недавней болезни: красные жилки на желтых белках, косина ставшего чуть ли не вертикально полосатого галстука бабочкой. Я сказал: — Вряд ли вам захочется, чтобы этот важный иностранный гость наткнулся здесь на труп белого. Как бы это не отразилось на ваших делах.

— Позднее можно устроить...— высказал он суровую истину, и вдруг странная улыбка рассекла его лицо, точно трещина в цементном полу того самого катка,— улыбка любезная, даже угодливая. Он встал, а я оглянулся на стук двери позади и увидел Тин-Тин, всю в белом и тоже улыбающуюся — скромно, как невеста у входа в церковь. Но Конкассер и

Тин-Тин улыбались не друг другу, их улыбки были предназначены важному гостю, под руку с которым она появилась в зале. Это был мистер Джонс.

4

— Джонс!— воскликнул я. Следы сражения еще не исчезли с его лица, но теперь все они были аккуратно заклеены липким пластырем.

— Неужели это вы, Браун!— сказал Джонс. Он подошел к нашему столику и горячо пожал мне руку.— Как приятно лицезреть старого друга! — сказал он, точно мы сошлись с ним на встрече ветеранов-однополчан, не видавшихся с предпоследней войны.

— Вы только вчера меня лицезрели,— сказал я и заметил, что Джонс смутился, но так, самую малость: все неприятное скатывало с Джонса, как с гуся вода. Он пояснил капитану Конкассеру:— Мы с мистером Брауном товарищи по плаванию на «Медее». А как поживает мистер Смит?

— Да в общем так же, как вчера, когда он приходил к вам. Он о вас очень беспокоится.

— Обо мне? Но почему?— Он сказал:— Простите. Я не представил вам мою юную приятельницу.

— Мы с Тин-Тин давние знакомые.

— Чудесно, чудесно! Садитесь, милочка, сейчас мы все поднимем бокалы.— Он подвинул ей стул, потом взял меня за локоть, отвел в сторону и сказал вполголоса:— Знаете, та история уже дело прошлое.

— Очень рад, что вы из нее благополучно выпутались.

Пояснение было несколько туманное:

— Письмо помогло. Я на это и рассчитывал и, собственно, не очень-то беспокоился. Недоразумение и с той, и с другой стороны, но мне бы не хотелось, чтобы здешние дамы знали про это.

— Они бы вам посочувствовали. А *он* разве не знает?

— Конечно, знает, но его обязали молчать. Завтра я бы вам все рассказал, а сегодня ужасно захотелось побаловаться немножко. Так вы знакомы с Тин-Тин?

— Да.

— Очаровательная девушка. Я рад, что остановил свой выбор на ней. Капитан подсовывал мне вон ту, с цветком.

— Вряд ли вы обнаружили бы существенную разницу между ними. Мамаша Катрин обслуживает гурманов. А что у вас общего с *ним?*

— Есть одно дельце.

— Неужели строительство катка?

— Нет. Какого катка?

— Будьте осторожны, Джонс. Он опасный.

— Не беспокойтесь обо мне,— сказал Джонс.— Я понимаю, что к чему.— Мимо нас прошла мамаша Катрин; на подносе у нее стоял ром и бутылка фруктовой, вероятно, последняя, и Джонс схватил себе стакан.— Завтра мне подыщут машину. Когда получу ее, заеду к вам.— Он помахал Тин-Тин, а капитану крикнул «салют» — Мне здесь понравилось,— сказал он.— Я, что называется, приземлился на три точки.

Я вышел из зала, чувствуя во рту приторный вкус фруктовой воды, и по дороге тряхнул часового за плечо — почему не оказать услугу человеку? Потом ощупью прошел мимо джипа к своей машине и, услышав сзади чьи-то шаги, вильнул в сторону. Уж не капитан ли решил отстоять честь своего катка? Но это была всего лишь Тин-Тин.

Она сказала:

— Я наврала им, что мне надо пи-пи.

— Как живешь, Тин-Тин?

— Очень хорошо, а ты?

— Ça marche*.

— Давай побудем немножко в твоей машине. *Они* скоро уедут. Англичанин tout-a-fait épuisé**.

— Не сомневаюсь, но я устал. Мне пора. Тин-Тин, этот англичанин хорошо с тобой обращался?

— Да, да. Он мне понравился. Он мне очень понравился.

— Что же тебе в нем так понравилось?

— Он рассмешил меня,— сказала она.

Эту фразу мне пришлось услышать потом при других обстоятельствах, прискорбных для меня. Многим хитростям я научился за свою бестолковую жизнь, а вот смешить людей не умею.

(Продолжение следует)

---

* Живу себе *(франц.)*.

** Совсем выдохся *(франц.)*.

Песни, вырвавшиеся из сада

СТИХИ ПОЭТОВ АНГОЛЫ, МОЗАМБИКА И ОСТРОВОВ ЗЕЛЕНОГО МЫСА

Мир должен знать: я и мои товарищи приняли решение использовать поэзию для ознакомления человечества с жизнью нашего народа, для скорейшего достижения взаимопонимания и для помощи нашим братьям со стороны всех боевых сил антиколониализма.

АГОСТИНЬЮ НЕТУ,
поэт, Председатель партии Народного движения за освобождение Анголы.

ЭНРИКИ ЛОПИШ ГЕРРА

Приди, касимбу *

Коснись спокойными пальцами
моих курчавых волос,
разлей непостижимый покой
над моей безбрежной печалью.

Приди, касимбу.

Я жажду увидеть, как заросли кофе
от красных ягод сгибаются.
Распрями сутулые стебли бамбука,
надень диадемы на пики Баилунды,
промой запыленные фары
поездов, спешащих в Бенгелу,
выгни радугу на горизонте —
ворота шоферов Анголы.

Приди, касимбу.

На рассвете ласково склонись над посевами,
развей безвольную скорбь сынов моей родины,
открой для них горизонты надежды.

Приди, касимбу.

* Обильная роса, выпадающая по ночам во время сухого сезона, единственная влага этого времени года.

Пролей неистощимую влагу на земли мои
в этот час пропыленный, с толкотней на улицах,
с бензиновой вонью автомобилей,
когда подросток, чей заработок —
пятнадцать жалких эскудо в день,
спит на дорожке бульвара...

О касимбу,
я хочу пройти по твоим спокойным лугам,
оркестрованным веселым напевом колибри.

АНТОНИУ ЖАСИНТУ

Поезд-каналья

Этот поезд-каналья
знай себе шпарит,
гудят под колесами рельсы и шпалы —
уэ-уэ-уэ,
тэ-кэм-тэм, тэ-кэм-тэм,
шши-шши-шши...

Поезд-каналья шпарит,
спешит.

В окнах — лица, лица.
До свидания, люди,
доброго вам пути!..
Красавицы зеленщицы
поглядывают из-под красных косынок,
везут тростник в Луанду на рынок.
...шши-шши-шши...

В вагоне с решетками быки-крепыши —
му-у, му-у, му-у...

В другом вагоне
(в таком же, как тот)
едут люди, черные люди,
едут, как скот,
глотают пыль, ко всему готовые,
печальные, как быки,—
люди законтрактованные.

Быки умирают в дороге,
но черный — он не умрет,
как дитя, одно и то же поет:
— Мулондэ иа Кессуа уадибале,
уадибале, уадибале... *

* «Едет черный парень из Кессуа» — слова из популярной народной песни на языке кимбунду.

Этот поезд по шпалам бежит,
знай себе шпарит,
спешит,
безразлично проносится мимо,
уэ-уэ-уэ,
все вокруг почернело от дыма,
шши-шши-шши,
тэ-кэм-тэм, тэ-кэм-тэм, тэ-кэм-тэм...

Поезд-каналья спешит,
изрыгает огонь на траву.
Слышишь, угомонись!
А он поджигает хижину, где живу.
Этот поезд-каналья
сжег мой маис...

Если буйволы забредут в мой маис —
яму глубокую вырою я!
Кабаны повадятся в посевы мои —
я уложу их из старого своего ружья!
Если поезд-каналья
будет сыпать огненный дождь,
ну что ж!..
Уэ-уэ-уэ,
тэ-кэм-тэм, тэ-кэм-тэм, тэ-кэм-тэм —
дыми на полном ходу,
я подожду...

Подожду,
когда этот поезд-каналья сойдет с рельс
и белые кликнут черных, живущих окрест.
Я выйду,
но работать буду лишь с виду
(не побоюсь и бича) —
лишь с виду, хоть и буду кричать:
«Взя-а-а-али!..»

Вот и придется каналье
протянуть свои ноги
посреди железной дороги!

АЛЕШАНДРИ ДАШКАЛУШ

Опустошение

Все уплывает по течению вниз:
потоки мутные смывают маис,
торговцы заперли двери лавчонок,
контракт нас гонит на Сан-Томе,
мать с малышом, повисшим на черной
длинной груди, шагает во тьме,

бредет по жизни, как по пустыне,
глядит на детей глазами пустыми,
на детей умерших, простертых, как скот
на пастбищах, зноем палящим обметанных...
Трупы, пожар эпидемий грядет,
народ вымирает,
здесь каждый умрет.
И разве при жизни мы не были мертвыми?..

Все кануло в бездну ощеренной чащи.

И сейчас,
по мертвым дорогам пыля,
девушкой, обесчещенной и не зачавшей,
кричит от отчаянья
нагая земля.

АНТОНИУ КАРДОЗУ

Фруктовое дерево

Ты пахнешь, как в детстве пахло кажý *,
тело твое красновато, как влажная глина
в ту пору.
Рот источает запах спелого манго,
гордые груди тверды, как плоды мабоке **.

Смотрю на тебя и вижу красную землю,
вижу ночи
далекого детства,
затянутые пеленой забытья.

В теле твоем — древние ритмы батуке ***,
звучавшие у дверей моей хижины.
Тело твое волнует меня,
обволакивает непонятною дрожью.

И вся ты, любовь, как сон с очертаньями
квартала старого в нашем муссеке ****.

Перевод с португальского ПАВЛА ГРУШКО

* Кажý, или акажý,— дерево с ценной древесиной.
** Плоды и дерево того же названия, род яблони.
*** Ритуальное массовое празднество, сопровождаемое пением и танцами.
**** Окраинные кварталы Луанды, населенные африканской беднотой.

АЛДА ЛАРА

Прелюдия

(Лидии, моей черной кормилице)

Черная ночь идет по дороге.
Черная Мать идет вместе с нею.
Ни красных цветов,
Ни пестреньких платьев,
Ни погремушек
В руках ее нет.

Одни только слезы, скупые слезы
На впалых щеках оставили след.

У Черной Матери голос молчанья
И голос ветра, полный тревоги.
У Черной Матери голос ночи,
Ночи, что тихо идет по дороге.

Не знает Черная Мать, где дети,
Которых она когда-то ласкала.
Не знает она, что делают дети,
Которых она растить помогала.
И кто теперь слушает сказки эти,
Которые Черная Мать им шептала?
Черная Мать ничего не знает.
Но здесь никому
Не известно то,
Что мне известно,
Черная Мать...
Выросли дети
И позабыли
Сказки,
Которые им довелось услыхать.
И кто-то уехал в далекие страны,
И неизвестно, вернется ль опять.

Одна только ты осталась и ждешь,
Руки скрестив на груди молчаливо,
Ждешь, скрывая свою тревогу.

И в голосе ветра
Слышна печаль,
Когда он выходит с тобой на дорогу.

■

Завещание

Проститутке самой веселой
из квартала самого мрачного
завещаю серьги мои
из хрусталя прозрачного.

Девственнице, которая строит
воздушные замки, где принц
ее заключает в объятья,
завещаю мое кружевное,
мое подвенечное платье.
Старые четки мои
завещаю хорошему другу,
отрицавшему существование бога.
Книги (их, словно четки,
перебирала чья-то тревога)
завещаю скромнейшим из скромных,
не прочитавшим за всю свою жизнь
ни единого слога.
А мои стихи сумасшедшие,
что сотканы все из боли,
отчаянной,
неодолимой,
и пронизаны жаркой надеждой моей,
завещаю тебе, любимый!
Чтобы в тихий задумчивый час,
когда в опустевший твой дом
душа моя вдруг прилетит
и коснется ее поцелуй твоих глаз,
ты бы вышел на улицу
и подарил бы стихи мои детям
в этот тихий задумчивый час.

Перевод с португальского МИХАИЛА КУДИНОВА

ЖОНАШ НЕГАЛЬЯ

Мяч

Окровавленный мяч
Катится по земле Анголы...
Зной полдневный горяч,
Блещет солнце
В пыли раскаленной.
Солдаты играют в футбол
Этим мячом,
Истекающим кровью
На земле Анголы.
И уже не замечают,
Что это не мяч,
А мокрая, запятнавшая
Траву и песок,
Голова африканца
Катится, кровоточа,
По земле Анголы,
Между пыльных сапог.

ЖОЗЕ КРАВЕРИНЬЯ

Моей матери

В жилах моих таится смола
Древних лесных деревьев
И горький удел моего рожденья...
Знаешь ли ты, что это навеки?
Знаешь ты или не знаешь,
Мать?

Знаешь ты или не знаешь тайну,
Которая тебя повстречала,
Когда ты шла босиком по дороге,
С глазами, полными ужаса?

Знаешь ты или не знаешь
О смоле деревьев, посаженных духами,
О соленых ветрах морских,
О безгрешных корнях,
Об огромных лунах,
Натянувших кожу разгневанных барабанов
И давших листьям зеленых пальм
Блеск сверкающих обнаженных ножей?

И среди колдовских обрядов
Почитания предков,
Заклинаний наивных твоих ожерелий
И напевов твоих
Разгадала ли тайну
Обесчещенного своего тела,
В котором возникла моя судьба?

В отвоеванном у жизни пространстве
Этой узкой могилы —
Знаешь ли ты теперь всю правду,
Знаешь ты или не знаешь,
Мать?

Перевод с португальского ЛИДИИ НЕКРАСОВОЙ

ОВИДИУ МАРТИНШ

Эмиграция

Тишина островов Зеленых...

И рыданья слышны во тьме
на угрюмых скалах Сан-Томе.

Паруса набухли, спущен трап.
Грузится невольничий корабль.

Ночь беззвездная полна угрозы,
темнотой, как скорбью, налилась.

И кровавые струятся слезы
у поэта из печальных глаз.

АНТОНИУ НУНИШ

Ритм песта

Стучи о ступу, тяжелый пест,
как в давние времена,
как в черные времена невольничьих кораблей
и больших господских домов,
где порой на ступенях в окруженье детей
старуха рабыня рассказывала чудесные сказки
про зверей, про лесные дебри, про добрых и злых
колдунов.
Стучи о ступу, тяжелый пест,
как в давние времена.
Дом господский разрушен,
невольник объявлен вольным,
но в труде непосильном, как прежде,
согбенна его спина.

Стучи о ступу, тяжелый пест,
как в давние времена,
как в черные времена невольничьих кораблей.
О звуки, летящие над землей!
О крики, исторгнутые из груди!
Вы, отдаваясь эхом от гор,
заполняете знойные дали.
Вы родились под плетьми
и слышитесь до сих пор
в наших песнях, полных печали.

Стучи о ступу, тяжелый пест,
как в давние времена.
Твой ритм в наших жилах, твой ритм в нашей жизни,
он наполняет наш гневный протест.
Стучи о ступу, тяжелый пест.

Перевод с португальского МАРКА САМАЕВА

КАБВЕРДИАНУ ДАМБАРА

Батуке

-Скажи мне, мудрая Дунда, что такое батуке?
Я еще маленький и ничего не знаю.
— Дитя мое,
Я не знаю, что такое батуке...
Мы рождаемся — и встречаем его,
Умираем — и оставляем его на земле...
Оно высоко, как небо,
Глубоко, как море,
Вечно, как скалы,
Это — наш древний обычай,
Это — счастье народа.
Девушки на поляне
Извиваются под звуки тамтамов,
И тогда тела не существует,
Остается только душа...
Она призывает
Сотни и сотни лежащих в общих могилах,
Сотни и сотни умерших на тяжелой работе,
Тысячи проданных на Сан-Томе
И сгоревших в глотке вулкана...
Ведь убиты только тела,
А души людей остались...
Эти души — сила батуке!
В голоде, в землетрясеньях,
В тоске уехавших сыновей —
Батуке, душа народа.
Дитя мое, слушай его!
Кто любит нас — тот любит батуке,
Батуке — это наша душа!

Перевод с португальского ЛИДИИ НЕКРАСОВОЙ

ФЕРЕНЦ ПАПП

Под корнями

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского
ЕЛЕНЫ ТУМАРКИНОЙ

Часть первая

I

Дует шальной весенний ветер; стремительный поток воздуха яростно рвет острые ветвистые отростки оленьих рогов, укрепленных над входом. Череп оленя пепельно-серый, потрескавшийся, швы его разошлись; и рога тоже серые, их теплый когда-то коричневый цвет развеял ветер, размыли дожди, убили снег и мороз. Плотная, гладкая поверхность рогов, казавшаяся не подвластной времени, стала корявой и зернистой, словно песчаник.

Рога, пока их не сняли, указывают на то, что дом принадлежит лесному управлению.

К двери ведут три стертые ступени; небольшие углубления в них продолблены стекающей с рогов дождевой водой. Когда их сменят, на ступенях возникнут новые углубления, потому что новые рога по-иному будут расставлены, ветви их иначе будут изогнуты, и капли они станут ронять по-своему: всегда в то самое место, куда капля упадет в первый раз.

Внутри дома, в конторе, служащие ходят в бархатных куртках, с бахромчатыми серебристыми шейными платками, а машинистка — та в черных брючках и белых ботинках на меховой подкладке. Но в помещении, окна которого выходят на улицу, с модой не считаются. Охотничий инспектор области одет в короткую кожаную куртку на молнии, клетчатая рубашка его расстегнута, из нее выглядывает красная шея с тонкой золотой цепочкой, на которой ничего не висит.

Пять егерей в форме и техник-охотовед Мюллер в черном с начесом свитере прилежно выдувают дым. Курят все, за исключением Чомы. Раньше и он курил, а почему бросил, и сам не знает. Быть может, потому, что говорили, будто бросить невозможно.

Инспектор неловко ерзает на скрипящем стуле. Он здесь уже более часа, но ничего еще не сказал такого, что не было бы всем известно. Он сидит на месте Мюллера и все время думает, что, если его служебное положение пошатнется, он обязательно пришвартуется к такому вот стулу, а может, даже именно к этому.

Мюллер мрачно разглядывает свой грязный, покрытый чернильными пятнами сосновый письменный стол. Он бы тоже не возражал, чтобы

инспектор сел за этот стол, но уж насовсем, а он бы пошел в егеря. Работа у них труднее и зарабатывают они меньше, зато не пишут докладов, отчетов, не заполняют вопросников. А доведись что-нибудь писать, чиркают на уголке кухонного стола. Звериное поголовье им приходится подсчитывать только в своей зоне, суммировать данные — это уж дело Мюллера. А его, словно проклятого, преследуют круглые цифры: начнет складывать, заранее знает, что последней цифрой будет ноль. Да разве можно поверить, что в лесу живет ровно тридцать барсуков или сто куниц? Вот ему и приходится потом либо вычитать, либо прибавлять барсуков, куниц, лис, кабанов, чтобы многозначное число заканчивалось тройкой или семеркой, и кажется ему в это время, что устремлены на него из дальних темных зарослей брезгливые взгляды никем не считанного зверья. Буквы и цифры заслонили собой его жизнь, а он хочет быть егерем, и никем иным. «Я земноводное млекопитающее,—думает он, бросая колючий взгляд на инспектора.— Не охотник, а писарь».

Чома даже не пытается делать вид, что слушает внимательно. У него все в порядке, а если вдруг зайдет речь о том, что и его касается, он сразу почувствует это по голосу инспектора.

Дует шальной весенний ветер, сквозь бревенчатые стены временами будто издалека прорывается приглушенный грохот, и облупившаяся штукатурка летит на пол. «Надо бы снова оштукатурить,— думает Чома. Потом вспоминает оленьи рога, за тонкие ветви которых цепляется ветер,— это он, Чома, застрелил старого самца тринадцать лет назад.— Печально, что над входом красуются такие жалкие рога; будто лучше не нашлось. На вывеску кондитерской и то около трех тысяч лей не пожалели». Со стен осыпается штукатурка — это в другом крыле дома с силой хлопают дверьми. В соседнем помещении отрывисто стучит пишущая машинка, кто-то глухо откашливается. И Чоме вдруг захотелось выбраться из этого помещения, пойти навстречу ветру, навстречу холодному воздуху. Пойти куда-нибудь, где он, именно он необходим. Порой ему начинало казаться, что он никому не нужен; такое ощущение всегда томило его. Но сейчас он невольно улыбнулся, лед бесстрастия будто растаял на худом лице — уж где-то он непременно понадобится и туда именно пойдет. Неважно, когда это будет.

— И, наконец, медвежата,— говорит инспектор. Он засунул тетрадку с записями в карман кожаной куртки и оглянулся.— Нас поторапливают. За границей они нужны.

— Да, медвежата,— встрепенулся Мюллер.— Что ж, поглядим.

Егеря молчат. Может, они не знают, где поймать медвежат? Ведь иногда берлоги, место которых известно, почему-то пустуют, а другие искать утомительно. Для инспектора это не новость. Но об этих двух медвежатах речь шла уже примерно в конце зимы, и тогда молодой егерь Локоди первым вызвался их поймать. Инспектор сейчас на него и не смотрит, он уставился в исписанный каракулями стол.

У остальных тоже нет желания глядеть на Локоди. Один только Чома бросил на него быстрый испытующий взгляд.

— Я еще не нашел берлоги,— говорит Локоди.

— Еще? Уже большая часть снега стаяла.

— Ничего не поделаешь, не нашел.

— Да разве берлогу искать надо?

— Ее нет там, где я думал.

Вилцсану не сумел сдержать негодование:

— Если искать вокзал у железной дороги, где не раз его видели, то не ошибешься. Но если думать, что он находится в саду родильного дома, конечно, его там не найдешь.

— Притчи я и сам знаю,— спокойно ответил Локоди.— Но сейчас речь не о вокзале. Зарубежным зоопаркам не железнодорожники нужны.

— Вот именно,— сказал инспектор, перебирая звенья золотой цепочки.— Но тогда...

Наступила тишина. Все слушали, как вокруг здания бушует ветер. И в весеннее время ветры бывают дикими. Врывавшийся из коридора сквозь дверные щели сквозняк медленно размешивал густой табачный дым. Миллер со своим длинным бледным лицом был похож на окутанного кадильным дымом святого в церкви. Никто не знал, что сказать. Ясно, что работу должен делать тот, кто за нее взялся, а времени уже прошло немало. Танко весь съежился и кротко, словно прося извинения, улыбался; с ним-то однажды медведь основательно разделался. Мюллер в замешательстве чесал затылок. Инспектор все теребил цепочку и в нерешительности чего-то ждал. Один Чома понимал суть дела, да и то не до конца. «Не найти ему берлоги,— думал он.— Кому-то другому надо поймать медвежат». Его темное лицо снова стало бесстрастным, узкие губы были неподвижны, он тоже молчал, только взгляд его черных глаз беспокойно блуждал по лицам сидящих.

Тогда — как раз год назад— Локоди был еще новичком на этой работе, и они вместе на общей территории насыпали в посудины соль для животных. Начали с участков Чомы. Шестьдесят килограммов на лошадь навьючили, по двадцать в рюкзак на каждого пришлось. Днем обошли далеко расположенные одно от другого места, а на ночь устроились в шалаше, стоявшем меж кедровых сосен.

После полуночи Чома проснулся; неподалеку на горном хребте выли волки. Локоди, лежа на животе, спал на сосновой подстилке, смешанной с сухим прошлогодним сеном. Его босые ноги почти касались подернутых пеплом углей. Чоме было любопытно, проснется Локоди от волчьего воя или нет, но ждал он напрасно и, не дождавшись, толкнул его в бок.

— Слышишь?

— А что?

— Волки.

— Весна! — Локоди повернулся на спину, зевнул.— Здорово завели. Сколько их там?

— Шесть, по крайней мере,— сказал Чома.— А может, и больше, поют-то не все. Сходи-ка, Пишта, привяжи коня к дверям. И сено поближе к нему придвинь. Сейчас, видно, аппетит у него пропал, а немного погодя захрустит.

Он подбросил в огонь ветку, почесал бок — что-то укусило его, когда он спал.

— Только бы не клоп,— бурчал он.— Скорее уж на змею соглашусь.

— Да, клоп — диковинная животина,— заметил Локоди.— Из мертвых воскреснет, коли найдется что кусать.

Когда Чома чуть позже взглянул на него, Локоди босой, в брюках стоял в дверях. Ветер шевелил соломины в его густых, светлых волосах. Сгорбившись под низкой крышей, он вглядывался в сырую, клокочущую тьму. Волки ненадолго умолкли, слышно было, как испуганно фыркает и бьет копытом конь. Казалось, темнота струится в лачужку и тает в тепле полыхающего пламени.

Локоди медленно повернулся, взглянул на Чому.

— Привяжи его прямо к дверям,— сказал Чома.— Пусть видит свет от огня, дым чует, это его успокоит.

— Ладно,— отозвался Локоди.— Иду.

Он надел сапоги, стянул ремень на брюках и снова остановился в дверном проходе. Сверху донесся одинокий вой с глубокой металлической вибрацией — голос старого самца, затерявшийся внизу, в гуще кедров. Хор ответил ему совсем с другой стороны.

— Рассыпались,— зевая, проговорил Чома.— Приведи коня и давай спать. Я, когда не сплю, есть хочу.

— Можно и поесть, коли хочешь.

— Там видно будет, сперва приведи коня.

— Ладно.

Тихонько царапала крышу раскачиваемая ветром ветка сосны. Высоко полыхал огонь, искры кружились под закопченным потолком, красные отсветы мелькали на прислоненных к стене стволах ружей. Чома потянулся и вдруг совершенно случайно увидел глаза Локоди. Увидел не совсем ясно, так как в них танцевали отраженные язычки пламени.

— Что за черт,— сказал он.— У тебя глаза белые.

— Может, и белые,— протяжно выговорил Локоди.— Может быть. Не знаю.

— А другие не замечали?

— Чего?

— Что глаза у тебя белые.

— Не знаю.

Чома поднялся, обошел Локоди, все еще зевая, спустился к роднику, отвязал коня, привел его к двери. Затем принес сена. Вьючное седло забросил в шалаш. Земля под его горячими ступнями была пронизывающе холодной, тонкий слой опавших хвойных игл местами еще был покрыт заледеневшим снегом. Конь принялся щипать сено, но Чома знал, что, если он уйдет в шалаш, животное перестанет есть, будет прислушиваться. Он постоял возле коня, потрепал его по шее, успокаивая, сказал:

— Думаешь, все время такая музыка будет? И речи быть не может. Я всю эту банду разгоню, дай только срок. Хрусти себе на здоровье, а остальное — мое дело.

Конь вздрагивал и пытался придвинуться к Чоме. От многоголосого, заунывного воя кольцом стягивалась темнота. На пороге беспомощно улыбался Локоди. Не взглянув на него, Чома вошел в лачужку, набросал в огонь веток, повалился на свое место, поправил под изголовьем заплечный мешок. Промерзшие ноги охватило тепло огня. «Не может же он волков бояться»,— раздумывал Чома.

— Что ты там стоишь? Ложись.

— Сейчас.

Локоди опустился у огня на корточки, поднял пылающую ветку, прикурил. Все лицо его было известково-белым, только на лбу ярко выделялись красные пятна. Он глубоко затягивался и смотрел, как дым взметается к черному потолку. Потом внезапно повернулся и вышел. Бормоча что-то, потрепал коня по боку, и Чома услышал, как он медленными, неровными шагами обходит шалаш.

Обратно он шел быстро, будто желая опередить кого-то, кто вместе с ним пытался протиснуться в узкую дверь. Губы его были синевато-бледными, подбородок дрожал. Он бросился ничком на свою постель.

— Давно это с тобой? — спросил Чома после долгого молчания.

— Всегда так было,— ответил Локоди, положив голову на руки. Когда он поднял ее, зрачки его были расширены, как у испуганного ребенка; Чоме снова почудилось, будто глаза у него совсем белые или, по крайней мере, неестественно светлые.— С малолетства.

— А в армии?

— Там нас много было и все вместе держались. Я всегда часовым у ворот стоял, где фонарь горел. Кто-нибудь да находился, чтоб дежурством со мной поменяться; а коли не получалось, я к врачу шел на освидетельствование. Так и выкручивался. И в школе лесоводства так было; даже в клозет один не ходил.

— Это с тобой только в темноте бывает?

— Да как сказать... нет вроде,— Локоди говорил протяжно, словно жалея о своей откровенности; на мгновение его взгляд остро, чуть ли не

с угрозой остановился на Чоме, и он прикрыл глаза.— Если будем считать, что...

— Будем считать, что нечего ходить вокруг да около. Какого черта ты боишься? Чего?

— Ничего. Сам знаю, что бояться нечего.

— Сразу я было подумал, что ты волков боишься.

— Ну да! Волки! Мне о зверях все известно, первым на курсе был. А что касается силы... В армии я был борцом, в среднем весе. И все-таки... Я стараюсь приучить себя, но все попусту. И теперь вот шалаш обошел, а еще раз не смог бы. Все силы мои на это ушли. А ведь знал, что ты тут, за стеной.

Он замолчал. Чома тихо сказал:

— Тогда наше ремесло не для тебя.

— Знаю.

— Ну?

— А что делать-то? Мне оно нужно. Каждый о чем-нибудь мечтает, и я вот об этом мечтал. Все остальное мне постыло, все ненавистно. Вот мы сейчас разговорились, и я вспомнил. Лет десять мне было, позвали меня мальчишки рыбачить, а я не посмел с ними идти. Инспектор рыбоохраны был быстроногий, грубый парень, я его хорошо знал. Посмеялись надо мной ребята и ушли—я и сейчас вижу, как они идут, пересмеиваются, то и дело оглядываются; ну, думал я, погодите, вот вырасту, будет у меня форма да ружье, тогда посмотрим, кто осмелится надо мной смеяться. Выучился я на портного, но только для того, чтобы как-то время протянуть до солдатчины. А как демобилизовали — женился и прямо в школу лесоводства! Два года изучал лесоводство и звероловство. Все как следует выучил! И вот видишь...

Лежа, он повернулся, закурил, начал стягивать сапоги.

— От тебя я не стану скрывать,— медленно продолжал он.— Возьмем хотя бы темноту. Настигнет она меня, когда рядом никого нет, и я слабее младенца становлюсь. Ты-то не знаешь, что это такое. Свет исчезнет, и словно одежда с тебя спадет, остаешься голый, наступает темнота, одиночество, и чувствуешь, как сила твоя уходит, просачивается через поры; а тогда уж все что угодно может с тобой произойти. Но я не останусь навсегда таким. Это невозможно. Человек ко всему привыкает, правда?

— Конечно.

— Вот и я стану построже к себе относиться.

— Ясно.

Но Чома видел, что Локоди измучен, что он не в силах построже к себе относиться; только благие намерения у него и остались. «Всегда он таким был,— думал Чома.— И сейчас такой. Никаких перемен. Но как же он еще верит в себя? До коих пор можно так жить, до коих пор можно себя обманывать?» И все же он подумал, что пока человек не откажется от борьбы, у него останется небольшой шанс.

Позднее, когда волки вовсе убрались и наступила тишина, когда конь тихонько захрустел сеном у двери, Локоди спросил:

— Ты спишь?

— Нет.

— Скажешь кому-нибудь?

— А зачем мне говорить?

— Если скажешь, я вылечу из лесничества.

— Меня не бойся,— сонно сказал Чома.— Только постарайся освободиться от этого. Не всегда найдется человек, который заменит тебя на дежурстве.

Уже в полусне он добавил:

— Последнее дело на это рассчитывать.

II

У него создалось определенное впечатление, что инспектор, да и все остальные в замешательстве. Обычно дела здесь обсуждают иначе, без этакой стыдливости. Быть может, он плохо поступил, не рассказав того, что знал; как ни говори, а это не частное дело Локоди — медвежатам давно следовало быть на месте, у заказчиков. И вдруг он почувствовал, что оба они тесно связаны, ибо знают нечто, о чем другие даже не догадываются.

А в январе Локоди что натворил: на лыжах, с ружьем на изготовку пробрался в середину отдыхающего, ничего не подозревающего стада диких свиней, выстрелил в ухо толстому кабану, потом стал преследовать разбежавшихся животных и пристрелил еще парочку. В сознании Чомы поблекло было воспоминание о ночи, проведенной с Локоди в лесу. Но сейчас он поразился инстинкту своих товарищей — все они считали Локоди малообещающим егерем, хотя он среди них только год, его едва знают, а всей правды и не предполагают.

В конце концов им, разумеется, придется ее узнать. Как-нибудь все случайно выяснится, смутное, неопределенное подозрение станет явным, и тогда Локоди распрощается и с лесом, и со своими мечтами — он не сможет быть ни лесником, ни егерем. Ему необходимо стать на ноги, пока не грянула беда. Человек, конечно, по-разному может хлеб зарабатывать. И Локоди найдет себе сотню других занятий, а вечерами будет читать на кухне и, когда огонь начнет затухать, пошлет в глубь двора сына за дровами. Но спокойствие не каждому дешево достается; может случиться, что высоко в верхушках деревьев взревет ветер или ружье громыхнет в долине — и сердце замрет, и вся жизнь вдруг покажется бессмысленной. Чоме было знакомо такое состояние: все бесцельно, а единственно важно лишь то, чего нет и больше не будет.

В комнате слышно, как потрескивают бревенчатые стены; ветер немного угомонился, можно его и не замечать. Чоме кажется, что он читает мысли своих товарищей. Им непонятно, почему до сих пор не пойманы медвежата, почему молчит инспектор и почему они сами молчат. Они ломают над этим голову, но ничего вразумительного придумать не могут, и постепенно их начинает обуревать враждебное чувство к Локоди, который не может этого не ощущать. «Вероятно, тишина страшит этого парня,— думает Чома,— но кому-то все же надо поймать медвежат».

Не дожидаясь дальнейшего — он предчувствовал, каков будет финал,— Чома шевельнул указательным пальцем. Мюллер в облаке дыма с облегчением наклонился вперед.

— Я позвоню, когда можно будет за ними приехать,— сказал Чома.

Все поглядели на него, кроме Локоди, пристально уставившегося на носки своих сапог; рука его слегка дрожала, когда он стряхивал пепел с сигареты.

— Вы это сделаете один? — спросил инспектор.

— Да.

— А может, всей бригаде пойти?

— Зачем? И сам справлюсь.

Чома не знал, почему настаивает на этом; может быть, хотел сохранить для себя какую-то еще не совсем продуманную возможность. Правда, он никогда не любил грубой, топорной работы. Даже группа пьяных загонщиков криками и стрельбой может отогнать насмерть перепуганную медведицу от ее малышей. Такой ценой Чома не получит радости, которую приносит хорошо проделанная работа. Вот и инспектор всегда говорит, особенно пропустив стаканчик-другой, что егерь

должен обладать превосходством над зверем; не легко этого превосходства добиться, но возможности такие есть.

— По крайней мере, хоть я пойду,— сказал Мюллер.

— Зачем?

— Помочь.

Чома промолчал. Он ведь уже сказал, что все сделает сам, не нужна ему бригада. Значит, и Мюллер не нужен.

Инспектор поднялся наконец со скрипучего стула и подошел к окну. За пыльным, радужным стеклом купалась в свете главная площадь города; густой, холодный воздух струился среди старых стен, заставляя звучать немые предметы: гудели дома, электрические провода, антенны, печные трубы; дрожали, словно натянутые струны, голые ветви акаций. Сорвавшийся со стенки газетного киоска пестрый плакат, кружась, перелетал на середину площади, где между деревьями туи, напоминающими по форме пламя свечи, стояли заброшенные сиротливые скамейки. Над конторой, на втором этаже — это уже не была работа ветра — зазвучал рояль. Чома подумал, что, когда беседа кончится, он заглянет с улицы и, может быть, увидит дочку начальника управления. Один раз он уже видел ее в окне. Как-то ему пришлось столкнуться с ней совсем близко, и она не произвела на него никакого впечатления; но сверкающие рыжие волосы в оконной раме забыть он не мог.

— Есть вопросы? — спросил инспектор, стоя спиной и потирая виски.

— Нет,— ответил Мюллер.

— Тогда закончим. Товарищ Танко, я пойду с вами посмотреть форелей.

Мюллер тотчас распахнул окно и уселся на подоконник, свесив ноги и сжав в коленях большие красные руки; вокруг него вился, вылетая наружу, дым. Инспектор вспомнил о чем-то и подошел к Мюллеру. Чома громко простился со всеми и вышел.

На улице он прежде всего взглянул вверх; сначала увидел рога — они, казалось, парили в высоко несущихся белых облаках, затем окно на втором этаже; оно было открыто, ветер колыхал желтые кружевные занавески, а внутри в полумраке все еще звучал рояль. «Хотелось бы мне постоять под таким окном,— сказал про себя Чома.— Летом, когда цветет липа. Но этого уже не будет». Ему подумалось, что старший сын, Золтан, однолеток с Локоди и что этим летом снова зацветут городские липы. Локоди молча шагал рядом, держа шляпу в руке, лицо его было усталым — очень его измучила недавняя беседа.

Ни тот, ни другой не взял с собой ружья; без оружия они чувствовали себя легче, свободней, забывали, что находятся на службе. Булыжную мостовую только три недели назад покрывал лед, делавший ее скользкой, как каток; теперь она была серая, гладкая от ветра, который начисто вымел ее, а пыль собиралась в кучки на краю тротуара, в изгибах и у основания стен. Под высоким небосводом город казался облезлым — сплошной камень, сплошная твердь, хотя ветер сдвинул все, что только мог.

— Когда на деревьях листья, весь мир кажется мягче, податливее,— сказал Чома.

— Этого уже недолго ждать,— отозвался Локоди.— Я тоже люблю листву.

Они зашли в корчму. Корчмарь, по-солдатски одернув грязный белый фартук, ждал, что они скажут.

— Две по пятьдесят,— сказал Чома.

На покрытых пластиком треногих стульчиках нельзя было развалиться, и они облокотились на холодную каменную крышку стола. От камня шел сырой, кислый запах вина. На стенах красовались пестрые

творения учителя рисования средней школы, вывешенные когда-то в честь Женского дня; каждый рисунок изображал какой-нибудь момент из жизни мужей-подкаблучников. В уголке несколько крестьян пили красное вино; больше никого здесь не было. Чома не снял шляпу, только сдвинул ее на макушку. Локоди положил свою на стул.

— Ты знаешь, где берлога? — спросил он.

— Нет,— ответил Чома.— Точно не знаю. Но найду. Несколько раз я видел старую медведицу. В прошлом году она бродила с детенышем-двухлеткой. Вероятно, теперь выкармливает медвежат.

— А если у нее только один?

— Надеюсь, что два.

— Может, ты ее и не найдешь.

— Найду.

— Мне хотелось бы помочь тебе.

Чома отпил глоток и стал разглядывать карикатуры — они все показались ему скучными и манерными.

— Это придется делать поздно вечером,— сказал он.— А ты ведь знаешь: все время мы не сможем быть вместе. И потом, я отказал Мюллеру.

— Меня это дело все-таки больше касается, чем Мюллера.

— Я сказал: вечером придется делать.

Корчмарь, вытирая соседний столик, с жадным интересом уставился на егерей. Он привык вмешиваться в разговоры посетителей, особенно если их бывало немного.

— Какие ходят слухи? —фамильярно спросил он.— Будет в этом году большое токование?

— Ходят слухи, что много глухарей заявку подало,— ответил Чома, не взглянув в его сторону.— Из-за границы тоже прилетят, большое международное токование будет.

Взгляд его темных, спокойных глаз не отрывался от бледного лица Локоди. Он хотел еще получить ответ кое на что.

— Зачем ты в прошлый раз вызвался поймать медвежат? Только всех с толку сбил. Знал ведь, что не пойдешь. Один ты не пойдешь.

— Плохи мои дела,— кратко ответил Локоди. На синеватых губах его блестела палинка, он ее не вытер.— Чувствую, что плохи,— тихо повторил он.— Кажется, будто все про меня знают. А ведь я уверен, что ты никому не сказал.

— Не говорил.

— Но что-то они подозревают.

— А ты удивлен? Кабана ты на лыжах догнал, а вот в зону свою только при свете дня выходишь. Что тебе сказать? Ты даже заморенного самца косули выследить не можешь. Разве нашим делом только днем занимаются? Разве это для боязливых работа? Когда ты взялся поймать медвежат, я было подумал, что тебе удалось себя побороть.

— Мне казалось, если я теперь словлю медвежат...

— Знал ты, что не словишь.

— Может, и знал. И все же на что-то надеялся, поверь мне. Иначе б я и рта не раскрывал.

— Ну, за этим у тебя дело не стало.

— Знай я, где их берлога, я б их один днем вытащил. Прямо из лап старой барыни вытянул бы.

— Брось сказки рассказывать, Пишта.

— В общем... мне кажется... как-нибудь я бы справился. Да вот разузнать не сумел, где берлога. Плохи мои дела.

«В конце концов и медвежата ему не помогут, не так-то все просто. Но каждому необходима маленькая надежда, и. если она появляется, человек хватается за нее». Чома понимал жалкие расчеты Локоди, кото-

рые от начала до конца были ошибочными; все это самообольщение труса, хоть он и цепляется за лес, за свою работу, за детские мечты. О страхе у Чомы мнение определенное. Бояться, уступить страху — непростительное легкомыслие. Нелепо заранее отдавать свое хладнокровие, уверенность в себе, свою силу чему-то такому, что еще не наступило, а может, и не наступит. А когда эти качества действительно понадобятся, их в тебе и не окажется.

В затянувшемся надолго молчании он раздумывал над тем, что же будет с Локоди, когда того выгонят из егерей. Быть может, он почувствует себя сломленным, подавленным, решит, что не для чего ему больше стараться,—такие чувства вербуют обычно новичков в лагерь спившихся, пропащих людей. Туда попадают те, кто не умеет проигрывать по-мужски. Правда, будущее зависит от того, что значит лес для Локоди, сумеет ли он прожить без леса. Может случиться, он поймет, что жизнь все равно прекрасна. Тогда за него можно не бояться; для него наступит время спокойной работы, а сынишка его сызмальства приучится носить в темноте дрова и воду. Да, все зависит от того, что значит для него лес. Быть может, не только заработок, а нечто большее, неизмеримо большее.

Чома упорно глядел на Локоди, но ничего не мог прочесть на его лице. А ему очень хотелось знать — почувствует ли Локоди то же, что чувствовал он, когда его лишили оружия и перевели на лесоразработки.

Три дня он таскал за собой министра по потрескивающим от раннего инея зарослям, покрытым желтеющей листвой. Стояла засуха, олени бродили внизу, в сырой чаще вдоль течения ручьев, а сами они так охрипли, что голоса их были едва различимы.

Начальник канцелярии, офицер государственной безопасности и председатель Народного Совета — свита министра — с первого момента бросали на Чому колючие, предостерегающие взгляды, не доверяли ему, им хотелось, чтобы к ним приставили инспектора или, по крайней мере, Мюллера, но те находились в других местах с иностранными охотниками, которые хорошо платили. Наконец председатель отозвал его в сторонку.

— Давайте нажимайте, папаша. У товарища министра мало времени.

— Как вас понимать? — спросил Чома.

— Прибавьте-ка старания.

— Я и так все время стараюсь.

— Хватит трепаться, старик. Во-первых, где ваш чудо-олень? Для кого вы его придерживаете? Во-вторых, вы это бросьте — таскать товарища министра через разные речки, по колено в воде.

— Так говорить можно только в музее,— возразил Чома.— А тут живой лес. Олени ходят внизу, в лесной чаще, и мы там должны ходить, если хотим их встретить. А потом мне товарищ министр вообще не жаловался.

— Жаловаться не его дело. Для того мы здесь находимся.

Чома пожал плечами:

— Тут не музей, товарищ председатель. И пока мы охотимся, прошу предоставить дело мне.

Чоме ясно было, что, пока идет охота, решающее слово остается за ним. Но все же его угнетало напряженное настроение, да и погода как назло была против него. Три дня он толком и не спал, боясь упустить даже малейший шанс. Хорошего оленя надо было захватить на открытом месте. Чома устал; он понимал, что с охотой на этот раз не повезло.

На четвертую ночь ему что-то послышалось в долине, но он находился довольно высоко, в районе горного хребта, и сам толком не знал, что происходит; скорее всего в таинственном распорядке вещей он просто почувствовал приближение удачи. «Наконец-то,— подумал он,— самое

время. Больше я ничего не смог бы сделать, пока не высплюсь». Он поспешил вернуться в охотничий домик. И в полной темноте повел министра — остальным приказал находиться на расстоянии ста шагов — по круглым, скользким камням речушки, потом по заброшенной, одному ему известной тропке. Ветра не было, кричали олени, их короткий, беспокойный рев то и дело раскатывался под деревьями. На опавшую прошлогоднюю листву опустились легкие заморозки. Чома с министром продирались вверх меж сухих пней, через покрытый росой малинник, прямо на восток. Чома не колебался, впереди было тихо, но олень должен был находиться там, на позапрошлогодней лесосеке, за горным хребтом, где уже медленно, чуть заметно рассеивалась темень. Зеленоватый рассветный полумрак, будто проливаясь на гору, струился им навстречу. Мороз крепчал.

— Нам лучше бы ползком пробираться,— заговорил Чома.

— Зачем? Я ничего не слышу.

— Я тоже. Поползем, а на вершине осмотримся.

Свита остановилась. Чома толкал перед собой старенький «маннлихер-шенауер» и полз рядом с министром, чтобы одновременно с ним достичь вершины. Оставалось уже немного. На лице и руках министра появились кровавые царапины, Чома видел, как искусно держит он ружье с заряженным стволом, и думал: «Сейчас все будет позади». Они глянули в долину. Слева шагах в ста пятидесяти стоял олень.

Толстая темная шея и черные рога ясно вырисовывались на фоне неба. Олень не ревел. Напряженно вытянув голову, он смотрел на трусивших из долины самок. От него исходила неподвижная, немая и настолько живая сила, что мертвенными обуглившимися казались высокие заросли лесосеки. «Хорошо,— подумал Чома.— Отсюда его нетрудно снять».

Он видел, что министр посмотрел на оленя в оптический прицел, несколько раз глубоко вздохнул, осторожно положил ружье на пенек и прицелился. Целился он, пожалуй, чуть дольше положенного, быть может, из-за медленно колышущихся вдали клочьев тумана. Чома отвернулся. Сейчас он следил только за оленем — хотел знать, куда попадет пуля. «Я стрелял бы в шею,— думал он.— Но это дело вкуса». И вот, наконец, прогремел выстрел. Олень посмотрел в их сторону, легко качнул тяжелыми рогами, выдохнул бледный пар и, сделав несколько быстрых прыжков, исчез в лесу. Самки, ломая и топча кусты, ринулись за ним следом.

Чоме казалось, что его бесцеремонно разыграли.

— Черт знает что! — проговорил он.

Министр глянул на него поверх ствола. Свинцовая усталость заволокла его глаза. Пошевелившись, он дулом сбросил с пня серебро росы.

— А что? — спокойно спросил он.— Я попал ему в область сердца.

— Не оттого ли он так заскакал?

— Могу спорить, он не пройдет и ста шагов.

— Когда найдете, скажите.

Министр нерешительно поднялся и снова зарядил ружье, он не знал, что делать. Чома уткнулся лицом в пламенеющие листья земляники, как удар тока, ощутил холод росы и закрыл глаза — ему не хотелось никого видеть; усталость, потеряв всякий смысл, стала едва выносимой. Краем уха он слышал, как министр и его свита пошли к месту выстрела, некоторое время искали там, потом рассыпались по лесу.

Вернулись они не скоро, молчаливой группой.

— Вы оказались правы,—сказал министр.—Оптический прицел, видимо, сдвинулся, когда мы ползли.

Чома не мог сдержаться:

— На таком расстоянии оптический прицел не нужен.

Министр не ответил: с ружьем на плече он смотрел вниз, за горный хребет, на клочья тумана, плававшие среди редких, изломанных ветром деревьев. Солнце уже поднялось, его медные лучи, капризно громоздя свет и тени, изменили мир; мороз не слабел, хотя неярко окрашенные кусты, казалось, излучали тепло. Чома представлял себе, что чувствует сейчас министр,— в такие минуты у всех охотников ощущения одинаковы. Но самого его неудача потрясла больше. Он много поработал, уловил момент, когда олень с открытым боком неподвижно стоял под дулом ружья, и этот момент улетучился, как и многие другие малозначительные мгновения жизни, из-за которых никто не бодрствует ночами. Чома глубоко вздохнул, поднял с травы ружье, пальцами стер со ствола влагу. Еще раз глянул в ту сторону, где стоял олень.

— Я вам больше не нужен? — спросил он председателя.

— Нет,— кратко ответил тот.— Вы вышли в тираж, папаша. Товарищ министр возвращается в Бухарест.

— Тогда пойду домой.

— Идите куда угодно.

Чома поднял руку к шляпе, повернулся и по кустистому склону спустился в долину. Он шел по старой, заросшей крапивой гати, кое-где под ногами звонко плескалась невидимая вода. «Высплюсь,— думал он.— Буду спать, пока сам не проснусь. А тогда станет легче. Черт бы его побрал, ведь я так здорово все устроил, и вот на тебе! Один только олень хорошо отделался, да еще как удачно отделался!» Ему хотелось как можно скорее забыть обо всем. Ноги у него подгибались, свет, пестрота кустов утомляли глаза, хотелось скорее добраться до деревьев, идти под соснами. «До дому выдержу»,— уговаривал он себя.

А пока он спал, пока Бори на цыпочках сновала по дому, с ним без его ведома — словно и не о его судьбе шла речь — кое-что произошло.

Когда он проснулся и сонно огляделся вокруг, он, собственно говоря, уже не был егерем.

Из егерского домика пришлось переселиться на окраину дачного поселка, в одинокий маленький дом, белую дранку которого во время ураганов задирал ветер. Чома часто видел этот дом, но ему и в голову не приходило, что когда-нибудь придется в нем жить. С отчетливой ясностью все запечатлелось в его памяти: глаза министра, смотрящие на него поверх ружья, раздражение начальника управления, явное замешательство Мюллера, безмятежное спокойствие председателя Народного Совета: «Ничего не поделаешь, папаша, вы себя сильно скомпрометировали. Хорошо еще, что товарища министра в ад не послали». Насколько Чома помнил, ничего даже похожего не было. Он попросил первого секретаря районного комитета партии принять его. Его тотчас же приняли. Секретарь, молодой озабоченный человек, не был охотником, но тем больше забот доставлял ему план эксплуатации леса.

— Ну-ка, поглядим,—сказал он.—Насколько снизили вам зарплату?

— Ее не снизили. Она осталась такой же.

— Значит, вы не потерпели ущерба?

— В деньгах — нет.

— Ну, а если вы не потерпели материального ущерба, не принимайте это близко к сердцу, товарищ Чома. Для эксплуатации леса тоже нужны надежные люди. Товарищи не случайно так распорядились. Желаю вам успешной работы и много счастья, товарищ Чома.

Начальник милиции отобрал у него права на ношение оружия, завернутую в полотно синюю книжицу, и с грозным доброжелательством предупредил:

— Смотрите, дядюшка Чома, чтоб не было у нас с вами неприятностей из-за браконьерства.

Чома не узнавал людей, все они как будто изменились за несколько дней. А на самом деле он просто смотрел на них с другой точки зрения. Законы оптики действительны и тут: когда наше положение меняется, мы видим людей с новой стороны — так же, как они нас. Но Чома только понял, что люди, до сих пор считавшиеся его хорошими знакомыми, собственно говоря, ему чужие.

Во время переселения и устройства на новом месте он думал лишь о том, что дом поджигать нельзя и нельзя тут ничего ломать. А самое главное — нельзя напиться, потому что тогда все покатится само собой. Природа напряжения была ему известна: сначала оно кажется невыносимым, потом спадает — многие уже поплатились из-за того, что у них не хватило терпения дождаться спада. Чома работал медленно, молча, и Бори ничего не говорила, они даже не смотрели друг на друга. Беды всегда отдаляли; они не находили нужных слов, которые помогают двум людям сделать жизнь терпимее. Бори, быть может, и не считала несчастьем то, что произошло; здесь у них было электричество, и до рынка, до лавок всего десять минут ходьбы.

В тот день, когда ему надо было выйти на работу, Чома обнаружил, что на сей раз он напрасно верил в благотворное влияние времени — напряжение все еще держалось.

Бреясь на рассвете, он вдруг почувствовал, что без ружья не может выйти из дому; и вообще ему не для чего выходить. Он боялся. Его страх, он знал, был нелепым; ведь и раньше он часто, и даже охотнее, ходил безоружным. Много всякой всячины лезло ему в голову: ружья, росистые осенние рассветы, жгучие заморозки, шорох падающей с сосен снежной пыли, горячий пар, вырывающийся из медвежьих ноздрей, мелкие двойные следы куниц, желтые горящие глаза попавшего в западню волка. Вспомнилась ему смертельная усталость, которая странным образом бывала приятна, потому что имела смысл и потому что быстро улетучивалась. Ему представлялась прекрасной прежняя жизнь, но дальнейшее существование, казалось, теряло смысл.

Он подождал немного — может, пройдет. Смотрел на намыленное, худое лицо в зеркале, смотрел себе в глаза и не видел в них жизни. Слишком все неожиданно свалилось на него в этом мире, который он считал настолько своим, что отвык от бдительности, от невольного ожидания удара. Ему казалось, что судьба его свернула в сторону, что она отошла от судьбы коллектива, общества; ибо общество, несомненно, идет по правильному пути, а он забрел в глухой тупик. Взяв бритву, он провел ею по шее до того места, где пульсировали артерии. «Теперь можно выбирать,— думал он.— Человек всегда должен выбирать сам, только тогда это настоящее». Не мигая, стыдясь и поеживаясь, он смотрел себе в глаза, смотрел на серо поблескивающее лезвие бритвы на темной дубленой шее. Некоторое время он оставался в таком положении, взвешивал возможности — смерть и жизнь, которая станет пустой ореховой скорлупой; так продолжалось, пока он не почувствовал, что боязнь его постепенно проходит. Он продолжал бриться, хотя рука его дрожала; он подержал ее перед собой, с угрозой посмотрел на нее, и дрожь прекратилась. «Это еще не раз повторится,— думал он.— В любой момент может случиться. Только палинки надо остерегаться. Пока ни глоточка». В кухне потрескивал огонь, он чувствовал аромат заваренного чая. Бори заглянула в дверь, серые глаза ее были сощурены от сна, взлохмаченные волосы падали на шею, в них уже поблескивали серебряные нити.

— Поджарить тебе хлеб?

— Поджарь,— сказал Чома.— Хорошо с электричеством, правда?

— Хорошо,— ответила Бори.— Только лампочка слабая.

— Будешь в магазине, купи свечей в шестьдесят или в сто.

— Утром куплю. Кончай, иди есть.— И она добавила:— Холодно тут. Стены промерзли.

— Какое это имеет значение?

— Я просто так сказала.

— Поджарь хлеб, я сейчас буду готов.

А про себя он подумал: «Не то мы говорим, совсем не то! Другое надо было сказать. Какое значение имеют поджаренный хлеб и промерзшие стены?»

Следующей осенью министр увидел Чому на краю канавы и не заметил в нем никаких перемен. Такой же невысокий, худой, черный, плечи прямые, как доска. Чома сидел на пыльной траве, держа в руках шляпу, и, моргая, глядел на чистый, бледный небосклон. Вместо формы на нем была поношенная суконная одежда. Министру это не бросилось в глаза. Он вылез из машины, сел рядом на траву.

— Как вы думаете, удастся нам прошлогоднего оленя подловить?

— Может быть,— рассудительно ответил Чома.— Вероятно, он еще жив.

— Хочется его подловить,— сказал министр.— Чудо, красавец! Как вспомню, аж зубами заскриплю. Даже во сне его несколько раз видел. Попадись он мне только еще раз, уж я не промахнусь! Теперь у меня и времени больше.

— Возьмите с собой Мюллера,— посоветовал Чома.— Сейчас он там хозяйничает, район знает. Скажите ему — в такую сухую погоду пусть ищет возле Сенешфа.

— Мюллера,— повторил министр.— А почему? Разве у вас нет времени?

— У меня?

— Ну да.

— А что я там потерял? Ведь я уже не егерь.

— С каких же пор?

— В прошлом году в это время вышел в тираж. Сами ведь знаете.

— Я об этом ничего не слыхал. Расскажите.

Чома коротко и довольно неловко объяснил; ему казалось, все произошло только вчера — время не принесло успокоения. Он стеснялся, что на словах это выходит таким серым, заурядным. А что, собственно, произошло? Ну послали человека на другую работу; со стороны всегда все кажется просто. «Кроме меня, никому это не важно,— думал он.— Земля вертится, социализм строится. И я его строю. А если б я рассказал, как адски трудно преодолевать критические в моей жизни точки, мне бы не поверили». Он даже жалел, что заговорил; немного сообразительности, и он мог бы избежать этого разговора.

Министр закурил сигарету, долго сплевывал попавший на губы табак, глядел на дно канавы, где тонкие травинки пробивались сквозь потрескавшийся, сухой ил.

— Не очень-то красиво все это звучит,— задумчиво заметил он.— Любопытно, что будут рассказывать другие.

— Мне и самому любопытно,— сказал Чома.

— Будьте после полудня дома. Вероятно, вам позвонят по телефону. Быть может, завтра мы все-таки вместе пойдем искать нашего оленя.

Он отряхнул брюки, сел в машину. Чома остался на месте и долго глядел вслед. За год он научился жить без надежд, с горечью в сердце; жить и работать упорно, добросовестно, словно бы ничего не случилось; и знал, что если сейчас его положение не изменится, ему станет еще тяжелее, но он и это вынесет.

В середине октября он переселился обратно в егерский домик. В его отсутствие никто в нем не жил. Брусчатку фундамента скрыла высоко разросшаяся крапива, ветер засыпал веранду сухими листьями, меж дос-

ками пустила ростки бледная трава. В щелях каменных ступенек цвел желтый мох. Внутри дома, на стенах и на полу, проступила сырость, ржавчина покрыла плиту и вбитые в стены гвозди, оконные стекла посерели от дождей.

Мебель, завернутое в одеяло постельное белье, тяжелые венки лука, связки сушеных грибов они сложили во дворе на солнце. Бори убирала, просушивала, проветривала комнаты. Чома не знал, о чем думает жена; может быть, ее заботит лишь то, что у них снова нет электричества и до лавки четыре километра пешком. Бори не знала больших радостей, ей была знакома лишь мелкая досада, и с годами ее мелочность становилась все более заметной. «А ведь если б я увидал, как она радуется, это было бы настоящим счастьем»,— подумал Чома. Ему недоставало радости Бори, как не хватало ее горя, когда им пришлось переселяться отсюда. Он прошел по гулким, пахнущим плесенью комнатам, стер промасленной тряпкой ржавчину с гвоздей и повесил два ружья на старое место. Выглянул в раскрытое окно: желтые листья березы расщепляли лучи солнца, и они бисером осыпались с тонких, белых веток. В прошлом году, когда он запер двери пустого дома и сунул ключ в карман, чтобы потом отослать его Мюллеру, листва берез была такой же желтой.

III

Крестьяне покончили с красным вином, расплатились и гуськом вышли на тротуар, где на них безжалостно набросился ветер. Корчмарь вернулся за стойку и, сдавленно покашливая, стал перемывать рюмки. Локоди долго глядел вслед ушедшим, глаза его помутнели. Затем, словно отвечая на мысли Чомы, он сказал:

— Словом, я знал, что со мной творится, и все-таки поступил в школу лесоводства. А ведь я уже был женат. Выпьем еще по одной?

— Нет. Что-то не идет.

Чома поправил шляпу, вздохнул. «Ему будет не легче, чем мне,— решил он про себя.— Только он не сумеет держаться по-мужски». Его угнетало, что тут ничем не поможешь. Он отодвинул стул и медленно встал.

— Я пошел. Дел много. Да и медвежат хочу поймать прежде, чем начнется токование.

— Куда спешишь? Все равно день полетел к черту.

— Вот этому ты быстро научился,— заметил Чома. Он снова сел, пристально посмотрел в глаза Локоди.— Удобный предлог. Вижу, тебе легко самому с собой договариваться.— И протяжным голосом добавил: — А я бы не советовал. У тебя еще будут трудные дни.

— Знаю, что будут,— ответил Локоди.— И уже есть. Так почему бы не посидеть здесь, коли мне это приятно? Да, говорю тебе, плохи мои дела. Я пока еще ни от чего не отказался, но черт его знает, что со мной будет.

— А что может быть? На хлеб ты в любом случае заработаешь.

Крестьяне оставили дверь открытой, и в нее ворвался ветер. От недавно вымытого цементного пола шел сырой, холодный запах. В корчму медленно вошел старик в сером, шею его прикрывал толстый белый шарф, глаза слезились от пронизывающего ветра, хозяйничающего на узких улицах. Он тряс, словно колокольчиком, нанизанными на проволочное кольцо лотерейными билетами.

— Попытайте счастья,— заговорил он добрым, уговаривающим голосом; наверное, и дома, с семьей он уже не мог говорить иначе.— У меня все выигрывают.

Чома мрачно покачал головой, его это не интересовало. А Локоди улыбнулся, начал ощупывать билеты, глаза его снова затуманились, он словно прислушивался к чему-то внутри себя. Сильными белыми пальцами он сдернул два маленьких конверта, раскрыл их и бросил на стол; ветер смел цветные билетики на пол. Локоди отдал старику две бумажки по три леи и даже на него не посмотрел; игра лишь на короткое время отвлекла его. Старик двинулся к выходу. Но едва он сделал несколько шагов, как Локоди крикнул:

— Стоп! Погодите!

Быстро, наугад сорвав еще два билета с колеса, он протянул их старику, а сам отвернулся.

— Пожалуйста, посмотрите вы.

— Шесть лей,— сказал старик.— И этот шесть лей. У меня рука счастливая. Все выигрывают.

Ему была знакома психология игры, он и не подумал уйти, а соблазнительно потряхивал колесом, продолжая бормотать что-то о счастье. Но у Локоди были свои методы. Если выиграешь — бросай игру. Он сунул в карман смятые бумажные деньги, выпил остатки палинки и уставился в стену. Чома молча наблюдал за ним. Он не мог бы объяснить, почему его тревожит, что Локоди играет в лотерее. Бледные, твердые губы его скривились в недовольной усмешке. Ему бы хотелось, чтобы товарищ его не верил ни в какую случайность. Старик, наконец, ушел, закрыв за собой дверь.

— Этих медвежат мне во всех отношениях хорошо бы поймать,— задумчиво проговорил Локоди.— Но время нужно, чтобы...

— Брось ты их к черту,— перебил Чома.— Послушай, надо тебе что-то предпринять. В прошлом году ты говорил, что постараешься построже к себе относиться. Я тебе поверил. Теперь я хочу узнать, что ты сделал.

— Я пытался, можешь поверить.

— Ну?

— Много раз пытался. Если б я смог сразу отправиться в чащобу, тогда, быть может... Но я обычно еще днем со всеми делами управляюсь, чтобы вечером идти не пришлось. Предусмотрительность — вот моя беда. Я с тобой откровенно говорю. И я сам этого не замечаю, но как только стемнеет, я уже в безопасности. На лесоразработках, на хуторе, среди людей.

— Да,—протянул Чома.— Вот оно как. Тебе надо на берегу стать; а тогда, если возьмешь себя хоть на минуту в руки, и прыгнуть сможешь. Но когда человек воды избегает...

— Еще вопрос, хватит ли одного прыжка.

— Одного? Нет. Ты будешь бояться всегда или, по крайней мере, очень долго. Но если один раз переборешь себя, все покажется не таким уж страшным. Стоит однажды подняться над этим, победить — такое не забудется. У тебя снова и снова появится желание все повторить. Победил хоть раз и уже не отступишь со спокойной душой. Может, все дело в привычке. Во всяком случае, прыгнуть тебе надо.

— Я тоже так думаю.

— Дело простое.

— Разве?

— А как же? Днем отправишься в горы. Ни о чем не думай, не смотри, где стоит солнце, а то непременно окажешься либо на лесоразработках, либо в шалаше у чабана. Ты должен знать, куда идешь, понял? Туда, где никого нет. Где даже шалаша нет. Надо, чтобы темнота застала тебя именно в таком месте. Заберешься под дерево и пролежишь там до утра, что бы ни происходило. Да ничего и не произойдет.

Локоди сказал тихо, чтобы не услышал корчмарь:

— Я там с ума спячу.
— Да нет, выдержишь.
— Думаешь?
— Знаю. Человек все выдержит, если знает ради чего.
— Тебе я верю,— сказал Локоди.— Ты слов на ветер не бросаешь. Если б ты мог быть со мной! Правда, тогда все это ничего не будет стоить.

Чома передумал, кивнул корчмарю:
— Еще две по пятьдесят.
— Вот это дело,— обрадовался Локоди.— В конце концов я же выиграл!

Корчмарь принес палинку, поставил ее на стол и попытался снова завести беседу:
— А как там с волками, товарищи? Что слышно?
— А что? Вам волк нужен?
— Упаси бог, просто так спрашиваю. Я даже собаку не держу.
— Тогда мы продолжим наш разговор.
— Пожалуйста. Как угодно. Я просто хотел узнать, что слышно.

Чома только пригубил палинку и следил за тем, как Локоди одним духом проглотил свою. «Поймет ли он,— думал Чома,— что человеку нельзя пить именно тогда, когда ему это кажется особенно необходимым?»

— Послушай,— сказал он,— неплохо быть кладовщиком, портным или инспектором на лесоразработках, если человек посвятил себя этому. Ведь я вижу, тебе будет адски тяжело.
— Знаю.
— И ты заранее смирился? Думаешь, если человек отказывается от борьбы, он избежит поражения?
— Кто сказал, что я смирился?
— Вижу.
— Плохо видишь.
— Хорошо вижу. Ну чего ты за год добился? А теперь уж все чувствуют, что с тобой творится неладное. И с медвежатами ты всех смутил. Только внимание к себе привлек. Никто не знает, что о тебе и думать, но когда-нибудь они все поймут. В нашей бригаде обычно берутся лишь за то, что могут сделать. А раз уж взялись, выполняют. Мы все тут коммунисты, неважно, что работаем далеко друг от друга, но один за другого в ответе. Разумеется, я тебя понимаю: ты хотел снова получить отсрочку, потому что только и живешь отсрочками, вместо того чтобы установить себе твердую границу, которую нужно переступить. А ведь ты знал, что отсрочки не будет. Торгуешься сам с собой, себя прежде всего и обманываешь, а заодно и нас. Цепляешься за работу, к которой не способен.
— Господи, как я борюсь с собой! — вырвалось у Локоди; лицо его снова стало белым, как стена, губы дрожали, слова тесно лепились одно к другому.— Эх, сколько бы я мог порассказать... Еще хорошо, что с тобой хоть можно поговорить. Все-таки я не совсем одинок.
— Ты не одинок. Но только за тебя никто не выздоровеет, когда ты болен.
— А ведь если б мы тогда не носили соль, и ты бы ничего не знал.
— Но мы ее носили.
— Да. Но теперь я прыгну, как ты говоришь. Ведь это любому пастушонку под силу.

Чома сразу насторожился.
— При чем здесь пастушонок? Это ведь не вопрос самолюбия. Оно у тебя и до сих пор было, а чего ты добился? Речь идет о том, что ты можешь многое потерять. И мне кажется, ты будешь терять всегда, до

самой смерти. Терять тяжело. Я несколько раз терял, знаю. От напавшего зверя бежать нельзя. Танко вот попробовал и дорого поплатился.

— Да, я уж достаточно побегал.

— А догадываешься, чем это кончается?

— Примерно.

— Ну? Будешь дожидаться?

Чома снова пригубил палинку и наклонился вперед, из-под зеленой шляпы живо блестели его глаза. Он верил в людей. Верил, что и Локоди сможет переступить через собственную тень.

— Мне не нужны эти медвежата,— раздумчиво проговорил он.— Мои дела во всех отношениях в порядке. Я поймаю медвежат, а ты потом за ними придешь. Пусть их на тебя и запишут. Мюллер доложит инспектору, что вот, мол. Пишта Локоди все-таки принес медвежат. Неплохо звучит, клянусь! Мне кажется, я еще там об этом подумал, когда отказался от помощи бригады. Я отдам их тебе. Но в тот день, когда я отправлюсь хватать их за шиворот, я тебе позвоню, и ты прыгнешь. Я хочу знать, пока хожу за медвежатами, что ты в лесу один. Хочу знать, что ты, наконец, на это отважился.

Быть может, Локоди ждал от Чомы именно этого — этого или чего-то похожего. Он закурил сигарету, медленно, натужно выпустил дым и прежде, чем заговорить, искоса глянул на корчмаря.

— Костер можно разложить?

— Зачем? Оставь спички дома.

— Понятно. Ты прав.

— Лучше оденься потеплее.

— Ты прав. Так, значит, я буду ждать. Ты позвони в Народный Совет. Передай только: сегодня вечером.

— Долго ждать тебе не придется. А на следующий день после обеда можешь получить медвежат у ловашского наблюдательного пункта.

— Если опоздаешь, я тебя подожду.

— Надеюсь, не опоздаю. Пошли?

Они бросили корчмарю деньги и вышли на улицу. Перевалило за полдень, дул сильный, сырой ветер, наполняя город запахом гниющей прошлогодней листвы. Несколько мгновений они следили за ветром: хорош, долго продержится, унесет остатки снега. Но мог бы быть, пожалуй, послабее. Локоди надо было идти на станцию, а Чоме, чтобы попасть домой,— поймать перевозящий бревна грузовик с прицепом, так как автобус отправлялся только к вечеру.

На углу площади Чома оглянулся. Локоди ровными, размеренными шагами двигался по тротуару, размахивая зажатой в руке шляпой; форма на нем была аккуратная, ладно пригнанная, и женщины с заметным интересом поглядывали на него. «Забыл ему сказать,— думал Чома,— когда будет трудно, пусть думает о жене или сынишке либо о чем-нибудь хорошем, что случилось давно. В лесу мы никогда не бываем одиноки, с нами вся наша жизнь и все, с кем мы когда-нибудь встречались. А иначе бы и думать было не о чем, были бы мы как дикие звери». Площадь становилась все оживленнее, люди выходили из учреждений, развевались полы пальто, шарфы, юбки; чья-то серая шляпа катилась по мостовой к туевым деревьям. Локоди уже не было видно.

Чома, нахмурившись, свернул на узкую, открытую ветрам улицу; там, за церковью, шла дорога, по которой грузовики возили бревна. Ему вспомнилось, что, когда Бори носила второго ребенка, он очень поздно заметил это. Странно, что сама она ничего не сказала. А потом в конце лета полупьяные друзья возле кегельной на улице Вашут все ему выболтали. Чома не сразу ушел от них, он выкурил еще пару сигарет, хотя знал, что лицо его очень бледно и неподвижно. Он отправился домой лишь тогда, когда счел, что уже в состоянии размышлять.

Золи играл под верандой в тени от пыльных листьев дикого винограда; ему было два года, и он при желании говорил уже хорошо и чисто. Бори сидела на ступеньке, пришивала заплатку на ветхий передник, к влажным ее губам прилипли нитки. Чома остановился перед ними, закурил сигарету, смотрел на начинающее полнеть тело жены, на ее одутловатое, белое лицо, в ее холодные глаза; женщина тоже взглянула на него, но промолчала. Она всегда умела молчать. Беременность безобразила ее — так было и с первым ребенком, но после родов она вновь похорошела. «Уродина,— думал Чома.— Как это я вчера не заметил, что она уродина? Вероятно, постеснялся заметить».

Девушкой Бори была очень красива. Чома часто следил у колодца, как она медленно, сонно возится на соседнем дворе. Больше всего ему нравился открытый взгляд ее серых глаз, затененных ресницами. Он позвал ее в горы покататься на машине; была поздняя осень, в пути им перебежала дорогу группка маленьких поросят. Бори, смеясь, воскликнула: «Господи Иисусе, им надо сшить кафтанчики, а не то замерзнут!» У нее был очень приятный голос. После солдатчины в Брашове Чома долго жил в каком-то оцепенении; он страдал из-за Юци, и ни одна девушка не могла заставить его забыть тоненькую фигурку, танцующую на берегу речушки, но теперь милый голосок Бори все словно стер. Сам не зная, что с ним случилось, он остановил машину, повернулся к девушке: «Раз ты такая славная, давай поженимся, Бори».

Теперь ее взгляд тоже был открытым, но это ничего не означало. Чома знал, друзья ему не солгали; Бори и впоследствии будет открыто смотреть ему в глаза, потому что для себя самой всегда и на все найдет оправдание. «Но ребенок может быть и моим,— думал Чома. Он видел, что сидящая на ступеньках Бори некрасива, одинока и встревожена.— Боится. Не потому, что чувствует себя виноватой. Скорее всего, думает, что я озверею».

— Не бойся,— тихо сказал он.

— Разве не все равно? — заговорила, наконец, женщина.

— Для меня нет.

Бори продолжала шить, склонив голову, пальцы ее уверенно держаги иглу, потом она сказала:

— Я действительно боюсь.

«Знает, что я не терплю, когда боятся»,— думал Чома. В критических положениях в голове у него всегда прояснялось. Но сейчас он остался один. До этой минуты он полагал: то, что произошло, касается их обоих и они как-нибудь приведут все в порядок. А Бори оставила его одного, она не помогла ему ни раскаянием, ни отрицанием вины, не освободила ни от душевного напряжения, ни от болезненного, нежного чувства, которое и теперь дрожало где-то в глубине его сердца. Она сидела на ступеньках, латала ветхий передник, молчала и хранила свои мысли при себе. Чома беспомощно стоял перед ней, ему казалось, он забрел в чужие владения, где ему нечего делать, и принадлежит ему здесь лишь мальчонка в синей рубашке, сидящий голым задиком в пыли и обрывающий листья дикого винограда. Он ясно ощущал, как сгущается вокруг него молчание Бори, как оно прерывает его дыхание; и знал, что это только начало. Что бы ни произошло, как бы ни произошло, Бори попала в беду, и Чома не имел ни сил, ни желания предоставить ее своей судьбе. Даже чужих не легко бросать на произвол судьбы, а они не были друг другу чужими.

Он медленно поднялся на четыре ступени, коленом коснулся плеча жены, прошел в прохладную комнату, не раздеваясь, повалился на постель. «Я мог бы ее понять,— думал он.— И непременно понял бы, если б она позволила». Еще в начале их семейной жизни ему казалось странным, что жена, словно одержимая срывавшая с себя одежду перед

тем, как лечь в постель, по утрам молчалива, нервна, мелочна и крайне неряшлива — совсем не та женщина, что одной только произнесенной в машине фразой заставила себя полюбить. Но в этом, пожалуй, было заключено много всего, что по-человечески можно понять. В прохладном полумраке Чома спрашивал себя: «Почему же она не нуждается в том, чтобы я ее понял? Неужели ей так безразлично, что я о ней думаю?»

Именно по этой узкой, открытой ветрам улице, которая за церковью пересекает дорогу грузовикам, перевозящим бревна, ему приходилось тогда ходить по утрам в гараж за машиной. Учитель Холбан тоже ходил по этой улице в школу, но всегда по противоположной стороне. Они часто встречались, их разделяла только мостовая — расстояние в три метра. «Скоро у нас родится ребенок этого человека»,— содрогаясь, думал при встречах Чома. Он был уверен, что ожидаемый ребенок не от него, хотя могло быть и не так. Холбан шел обычно медленно, держась поближе к стене, он был бледным, с синими губами, его бритое лицо казалось неживым, словно вырезанным из бумаги. Он смотрел вперед неподвижно, как слепой, большие сплющенные его уши горели от страха. Чома испытывал непреодолимое желание перейти мостовую — показать, как ударом кулака можно оглушить человека. Хорошо бы сбить учителя с ног. Но Холбан не был перед ним в ответе, он не давал ему обещаний, которые можно нарушить. Такие обещания давала лишь Бори, а с нее спроса теперь не было — она ожидала ребенка. Да, впрочем, Холбан так трусил, что и смотреть на него было противно. Они быстро исчезали из поля зрения друг друга. Чома, больной от ненависти и бессилия, шел дальше и все-таки не мог по-настоящему ненавидеть этого перепуганного человечка.

Встречи на улицах, серое, пустое молчание дома — так наступила осень с обычными деловыми разъездами, которые совершал торговец кожей Тордаи. Чома вел желтый открытый «оппель» по грязным улицам и размышлял, каким бессмысленным стало все вокруг. Неужели Бори и этот красноухий учитель навсегда его искалечили? Жидкая грязь брызгала на ветровое стекло и стекала с него полосками; Чома, с напряженным вниманием склонившись на руль, объезжал груженные стеблями кукурузы и тыквой телеги. Он быстро гнал машину, это поглощало его внимание, не давало задумываться. В начале пути он обтирал машину, пока Тордаи заходил в трактиры, конторы, к мясникам, агентам, цыганам-купцам, но грязи повсюду было столько, что потом, часами ожидая хозяина, он уже не вылезал из машины — читал, раздумывал. Холодный осенний ветер ерошил перья ворон, примостившихся на деревьях, врывался сквозь щели окон, вихрился под натянутой матерчатой крышей, переворачивал страницы брошенной на сиденье книги.

В Констанце Чома долго ждал возле одного трактира. Он мог бы зайти туда, но не зашел, да и пить ведь все равно запрещено. А выпить хотелось. Читать уже нельзя было, наступила ночь; он смотрел на кошек, деликатно рывшихся в кучах мусора на краю тротуара,— они двигались неслышно, словно собственные тени. В трактире звучал граммофон. Из двери вышел Тордаи, наклонился к окну машины.

— Сейчас я приведу одну девицу,— сказал он.— Держите себя так, будто я офицер полиции и машина тоже полицейская. Обращайтесь ко мне только по-румынски. Я прикажу вам ехать в полицию, а вы гоните машину из города в какое-нибудь безлюдное место, только не к морю.

Чома облокотился на руль. После первых же слов он потерял интерес к тому, что говорил Тордаи.

— За такие дела я не берусь.

— Почему?

— Были бы вы трезвы, поняли бы.

Тордаи склонился еще ближе, засмеялся.

— Значит, вы выйдете из машины и пойдете пешком домой, в Трансильванию? Обо мне не беспокойтесь, за десять минут я найду себе хоть трех шоферов.

— Вы так думаете?

— Даже четырех. Но мне нужен только один.

Торговец кожей был жирным, хохочущим, небритым малым, от него несло пóтом. Чома задумчиво смотрел в полумрак; этот человек годами отдавал ему приказания, и когда бывал трезв, его еще можно было выносить. Но у Чомы много против него накопилось, только теперь он понял, как много. Больше он не желал видеть эту ухмыляющуюся, небритую физиономию. Чома вылез из машины, оглянулся, не оставил ли там чего-нибудь. На сиденье ничего не было, кроме книг, наполовину сгрызенной сушки и пустой бутылки из-под борсекской, так называемой винной воды — ее они прихватили с собой из дому. Он забрал книги и уже зашагал было по ухабистой дороге, как вдруг почувствовал, что так уйти нельзя.

Он вернулся к машине.

Тордаи все еще смеялся, он не верил, что Чома действительно уйдет.

— Вас тревожит увольнение? — спросил он.— Дома я с вами расплачусь.

— Нет, сейчас меня тревожит совсем другое,— ответил Чома.

Он видел, что Тордаи его не боится. Слегка расставив ноги, чтобы прочнее стоять на земле, Чома чуть согнул пальцы и ударил. При звуке удара кошки исчезли, их поглотила глубокая тень от стен и заборов. Тордаи мягко рухнул на тротуар. Там его и оставил Чома. Он подвигал онемевшими пальцами, сунул книги под мышку; позади вскоре утих визг граммофона. На более освещенной улице он подсчитал деньги. «На дорогу не хватит. Как видно, и правда придется идти домой пешком. Зато выпить можно».

Он завернул в первую же корчму, заказал жареную баранину и пол-литра светло-зеленого муската. Официант, тяжело дыша, еле двигался в переполненном зале, сквозь его белую куртку проступил пот, большим пальцем он прижимал баранину к краю тарелки, под мышкой тащил бутылку вина. Чома покончил с бараниной, медленно допил вино, и тогда к его столику подсел турецкий матрос. Он приказал принести ржаную палинку, угостил Чому. Они вместе пили, турок хоть и понимал по-румынски, но слабо; он решил, будто Чома убил и ограбил своего хозяина, и это привело его в исступление. Он завопил, подозвал официанта и приказал принести целую бутылку палинки. Чома с горечью объяснял:

— Только для душевного равновесия! Ради собственной души, понял?

— Равновесие! — дико орал турок.— Кракк!

Он схватил со стола булочку, сделал вращательное движение и торжествующе переломил ее пополам. Вероятно, он сильно ненавидел кого-то и был большим трусом. Чома опустил голову, пылающие глаза турка, его мятые усы будто подернулись пеленой. Жареная баранина бунтовала в желудке, и Чома быстро осушил стакан, чтобы не чувствовать тошноты.

Проснулся он на покрытом дерном участке, в выжженном ржавом котле; снизу, где когда-то были заклепки, тянулись листья крапивы и болиголова, а сверху на многослойную ржавчину просачивались узкие лучи мутного серого света. Куча тряпья, с которой поднялся Чома, издавала едкую вонь. Он вылез из котла, вышел на дорогу. Вечерело, тускло тлеющее за слоистыми облаками солнце готовилось зайти, в воздухе стоял запах угольного дыма и гниющих баклажан. Болела голова, все тело дрожало от слабости. По руке ползла здоровенная вошь. Чома не потянулся к карману, знал, что у него нет ни гроша. Оглянулся на

котел, к нему вела хорошо приметная тропка — следы ног бездомных бродяг. «Что ж, надо идти,— подумал он.— Я ведь не на краю света».

Десять дней длился его путь, только последние восемь-десять километров ему удалось проехать поездом. Со станции его сразу препроводили в полицейский участок, где уже неделю его поджидали. Держали Чому там два дня, нещадно избили и отняли водительские права.

Ночью он прошел по спящему городу, никто не увидел его оборванной, грязной одежды, распухшего, израненного лица. Мрачно шептались голые деревья в садах, примчавшийся с гор ветер гнал по мостовой сухие листья. Чома озяб, но не спрятал руки в карманы, не втянул шею, а позволил знакомому, пахнущему снегом ветру пронизать все его лохмотья, пробрать все клеточки тела. Спокойствие и торжественная тишина воцарились в его душе, словно во время трудной дороги с него слетело все, что мучило раньше. Из сырой темноты двора струился аромат увядших астр, внутри горела лампа, свет просачивался сквозь красные листья дикого винограда — и запах, и свет были ему знакомы, именно так он представлял себе возвращение домой. Но, почувствовав под ногами землю своего двора, вдруг ощутил, что не хочет входить в дом. Ему хотелось чего-то иного, он и сам не знал чего, может быть, снова пережить тот осенний день, когда поросята перебежали им дорогу и Бори, смеясь, воскликнула: «Господи Иисусе, им надо сшить кафтанчики, а не то замерзнут!»

IV

Грузовик с прицепом со свистом затормозил перед ним. Вел машину бледный молодой парень: кожаная куртка, солнечные очки, взлохмаченные, светлые волосы. Человек здесь новый, он, однако, уже усвоил, что лесников и егерей не полагается оставлять на краю дороги. Чома молча откинулся рядом с ним на сиденье, у него не было охоты разговаривать. На крутых поворотах, словно стражи, стояли красностволые сосны, снег под ними уже стаял; мохнатый зеленый мох покрывал почву; между мхами блестела сеть тонких черных ручейков. Чома высунулся из окна. Он чувствовал себя усталым, был голоден, ему нестерпимо хотелось пить.

— Осторожнее, дверца может открыться,— предупредил шофер.

Чома не ответил, он прекрасно знал, что дверца может открыться, но ему хотелось вдохнуть влажного, терпкого, ароматного воздуха. В кабине клубились сырые пары бензина, к ним примешивался какой-то затхлый запах фиксатуара. Мотор усердно работал на крутизне, горячее дыхание стали проникало сквозь резиновые сапоги Чомы. Он смотрел на мелькающие по сторонам сосны, удивлялся, что с тех пор, как вылез в Констанце из желтого «оппеля», взяв под мышку две книги, никогда больше не испытывал желания водить машину. А ведь ему частенько приходилось ездить и на грузовиках, и на вездеходах.

На краю дачного поселка, где дорога разветвлялась в разные стороны, машина снова затормозила. Чома вылез из кабины и, стоя на земле, пожал холодную руку шофера.

— Спасибо. Будете ездить по этой линии, еще встретимся.

— Не думаю,— сказал шофер, скучающе посмотрев вперед.— Я отсюда скоро уйду. Эти чертовы длинные бревна, узкие повороты... Маешься, как копьеносец на винтовой лестнице.

— Дело привычки.

— Возможно. Что касается меня, я тут не останусь. Меня на легковую зовут.— И медленно добавил: — Я не псих.

— Кому-то надо возить кругляк,— сухо сказал Чома.— К дороге можно приноровиться.

Шофер, наконец, взглянул на него. Сдвинул на лоб очки, смерил сонными, в кровавых жилках глазами.

— А вы бы на моем месте остались?

— Не знаю. Вероятно, остался бы. Может, и вы еще передумаете.

Он ступил ногой в канаву, подождал, пока мимо протарахтит прицеп, и перешел на другую сторону дороги. Солнце стояло низко, дул резкий ветер. Чуть дальше, в маленьком искромсанном тенью парке разгуливали среди разноцветных дач женщины в брючках и плащах. Чома прошел мимо одинокого дома, в котором прожил год; и теперь в нем кто-то жил, во дворе величиной с ладонь рылась черная свинья, а сзади, ближе к изгороди, дымилась здоровенная куча мусора. Он бросил туда лишь один взгляд — хватит с него этого дома, повернул к деревьям на дорогу, которую основательно попортил льющийся сверху холодный дождь, размыв втрамбованные в прошлом году в землю глыбы желтого песчаника. По краям звонко шумели ручьи. Чома обеими горстями зачерпнул воды, напился; вода свежая, но невкусная, к ней все еще примешан растаявший снег. Синеватая холодная тень опустилась на ручьи, на дорогу, ветер и солнечные лучи бродили в высоте по верхушкам сосен. Чома бесшумно ступал по большим камням, среди которых холмиками громоздились весенние наносы; он внимательно ко всему присматривался, хотя и без определенной цели: а вдруг ему повезет и он увидит что-нибудь интересное. Вечерами этот район был довольно пустынным.

Но увидел Чома только серую белку, прыгавшую во мху; когда он приблизился, зверек сердито защелкал и исчез в ветвях.

На вершине еще светило солнце. Там стоял дом; фундамент из серого бутового камня, пропитанные смолой коричневые бревенчатые стены, зеленая ограда, широкие окна. Тень от дома далеко протянулась по сухой траве, теряясь в полумраке леса. За домом — недостроенный хлев, свинарник, загончик для кур, большая груда досок и несколько нераспиленных бревен. Заходящее солнце окаймляло все золотистым ореолом. На перилах веранды висит связка ржавых капканов; над дверью широко раскинулись тянущиеся к небу оленьи рога. Перед домом на натянутой между кольями веревке ветер колышет красную и желтую ситцевые рубахи. В доме звучит радио. Положение ясно. «Яни приехал»,— подумал Чома радостно и тревожно. Вдруг ему пришло в голову, что, не считая городского, обвитого диким виноградом дома, это третий дом, в котором он живет, да еще год прожит в маленьком домишке на краю дачного поселка, а жизнь в общем-то во всех была одинаковой; переселяясь, человек везет с собой не только вещи, мебель, но и что-то другое, для чего не нужна телега.

На веранде появился Яни; наверно, он уже не раз выходил поглядеть, не идет ли отец. Долговязый, большеухий молодой человек в розовой рубахе, черных штанах. Его приятное лицо с мягкими чертами вдруг, дрогнув, расплылось в улыбке.

— Идет! — заорал он на весь дом. И еще издали, смеясь, протянул руку:— Батя! Кончилась великая говорильня?

Они расцеловались. Чома сел на верхнюю ступеньку и сдвинул шляпу на лоб.

— Снова прогнали? — спросил он.

Сын уселся рядом, закурил, сжимая в гибких пальцах спичечную коробку.

— Суть именно в этом,— кратко сказал он.

— Хорош! С тех пор как демобилизовался, тебя уже с четвертого места выгоняют.

— Пардон! С мельницы я сам ушел.

— Верно. Огромная разница.

— Не ссорься с ним, Золтан,— проговорила Бори за их спиной.— У мальчика и так хватает неприятностей.

— Я не ссорюсь.

Чома обернулся, посмотрел на засунутые в резиновые сапоги с отвернутыми голенищами стройные ноги жены, на ее полное, белое лицо. Когда Яни дома, Бори обычно выглядит на несколько лет моложе. Чома все еще не отказался от надежды, что Бори взглянет на него однажды, как в машине, когда поросята перебежали им дорогу; и он знал, что тогда, быть может, вернется и другое, давно минувшее. Но сейчас, пока Яни дома, она ни за что не поглядит на него так.

— Обедать будем?

Бори засмеялась, зубы у нее были белые, блестящие.

— Если думаешь, что не слишком рано.

Из теплого полумрака кухни доносились смешанные запахи яблочного супа, сушеных грибов, лука, тускло поблескивали медные кнопки ящиков. «Теперь труднее будет уйти,— думал Чома.— Они не должны знать о медвежатах, не то просочится и дальше. А Локоди только этого не хватает. Неужели бывают семьи, где ничего не нужно скрывать друг от друга?» Затем ему пришло в голову, что если бы Золи, старший сын, был дома, тот сразу бы понял, о чем идет речь.

Ел Чома медленно, давно научившись ценить горячую пищу. Ему хотелось, чтобы зажгли лампу.

— Нынешнюю охоту я уж не пропущу,— раздался в тишине голос Яни.— Теперь и я подстрелю глухаря.

— Вот как! — Чома ниже склонился над тарелкой, его очень удручало, что он видит сына насквозь.— Хочешь удивить приятелей?

— Причем тут приятели? Просто я подумал, что еще ни разу не подстрелил петушка.

— Почему именно петушка? Ты и другого ничего не подстрелил.

— С чего-то надо начать.

— Понятно. Значит, ты и продолжать хочешь?

Бори стояла у печки, глаз ее не было видно, только что-то холодно блеснуло под выпуклым лбом.

— Не беда,— сказала она.— Твоему-то сыну это можно. И он поможет тебе, наконец, достроить хлев. Бутеа не станет больше держать у себя нашу корову. Не заберем, он откажется от сделки.

— Заберем! На будущей неделе заберем.

— На будущей неделе? Да если вы завтра начнете, за два дня хлев будет готов.

— Завтра я ухожу. Несколько дней меня не будет.

— Все время ты только и знаешь, что ходить.

— Главным образом. С того и живу, что работаю

— Хлев — тоже работа.

— Знаю. Но у меня есть другие дела.

— А ведь вы с Яни теперь легко могли бы все докончить.

— Яни останется здесь и на следующую неделю, разве не так?

— А он тебе, может, в тягость?

«Нет,— думал Чома,— он мне не в тягость. Ничуть не в тягость. Напротив. Но почему же Бори хочет, чтобы он был мне в тягость?»

Вслух он сказал:

— Я хочу спокойно поесть.

В напряженной тишине он обдумывал положение. Хлев его не занимал. Локоди все-таки важнее. Но вот о Яни надо подумать. Он, Чома, в невыгодном положении: мать и сын не откровенны с ним, придется самому догадываться об истинном положении вещей. Он подозревал, что Яни не выгнали; вероятно, он сам бросил работу, захотелось полентяйничать, пожаловаться на жизнь, пока не наступит его время — лето.

А тогда все пойдет как по маслу. Дачный поселок заполнится отдыхающими, среди них всегда найдутся женщины, которым нужен именно такой Яни. Наручные часы он тоже получил на память от женщины, пожилой женщины. Теперь это ни в коем случае не повторится. Чома поймает медвежат, а потом сразу возьмется за устройство дел сына. Яни в конце концов станет человеком, нельзя только во всем полагаться на него самого. А Бори во всем на него полагается, наверно, это приятнее, чем задумываться о последствиях.

— Неделю пробудешь дома,— тихо, не поднимая глаз от тарелки, сказал Чома.— Я достану тебе работу.

— Одну неделю? — Яни бросил на мать быстрый взгляд.— А как же с охотой?

Неприятно сознавать, что эти двое снова что-то замыслили, снова хотят обвести его вокруг пальца. Чому всегда огорчало, что Яни не интересуется ни природой, ни охотой, но в данном случае его волновало уже другое.

— Оставь, Яни,— сказал он.— Вовсе ты не хочешь охотиться.

— Это почему же?

— А вот не знаю.

— Извини, пожалуйста, но если я говорю...

Чома положил ложку, жажда его еще не прошла, он выпил глоток воды. Вода из родника, в ней не ощущается растаявший снег, но такая холодная, что губы коченеют.

— Собственно говоря, почему ты никогда не ходил со мной в лес?

— Тогда я боялся,— улыбнулся Яни.— Терпеть не мог огромных коричневых лягушек под папоротниками. И потом...

Чома, тоже улыбаясь, помог ему:

— И потом ты вообще был труслив и ленив.

— Не исключено.

— А теперь?

— Теперь... я бы не сказал.

— Вероятно, не всегда? С женщинами ты не трус.

— А разве это плохо?

— Нет, почему же плохо, если ты и среди мужчин можешь за себя постоять? Ехал я домой с одним молодым шофером. Он хочет уехать отсюда, бревна, видишь ли, для него чересчур длинные, а повороты слишком крутые. Но для тебя повороты всюду как будто слишком круты.

Яни вынул новую сигарету. «Не очень-то он самолюбив,— раздумывал Чома,— мало дорожит словами. Больше ценит спокойствие, чем чувство собственного достоинства».

— Вот и будет крутой поворот,— откровенно говорит Яни,— если я через неделю уеду.

— Еще посмотрим,— прерывает Бори. Она зажигает спичку, протягивает ее сыну.— Скорее, а то у меня ногти обгорят... Посмотрим еще насчет одной недели.

Чома молчал. Он знал, что эта неделя будет только неделей. Не больше. Бори и на этот раз переложила на его плечи груз, который они должны были нести с ней вдвоем. Такое часто случалось.

Кончив обедать, он допил воду из кружки и прошел в комнату. Здесь было уже почти темно, окно выходило на восток. На столе громко тикал будильник, звук его, как мелкая дробь, раскатывался в сумраке. На широкой постели лежало зеленое покрывало, гладкое, словно из жести, но из-под кровати выглядывали голенища изношенных сапог. Белела на ночном столике груда брошенных книг и газет. Воздух был холодным, промозглым. Чома снял с оконной ручки тяжелый патронташ, положил его в нижний ящик шкафа, к которому сам приделывал замок покрепче. Теперь, когда Яни дома, надо спрятать все боеприпасы. На

гвоздях висели незаряженные ружья, но все же он еще раз их проверил. Припомнил, что прошлый раз положил куда-то подсушить несколько отсыревших патронов с дробью; да вот они, на верхушке шкафа. Их он тоже положил в ящик. Яни вообще-то этим не интересуется, но в любой момент ему может прийти блажь в голову.

Сунув ключи в карман, Чома вышел из дому. Собственно говоря, следовало спросить Яни, что же произошло, почему ему снова приходится менять место работы. Однако объяснения Яни всегда весьма романтичны. Чома отыскал топор; полчаса еще можно поработать в закатных сумерках. «Не так уж много работы с этим хлевом»,— думал он. Связки белых дранок валялись под еще не покрытым навесом. В доме наконец зажегся свет, включили радио, и ритмичная музыка зазвучала среди черных сосен. Послышался отрывистый, нервный смех Бори. Вероятно, Яни пригласил ее потанцевать. Недолго держится у него плохое настроение. Чома рад, что они смеются, он тоже улыбнулся, но с некоторой горечью: ему удается угодить им, только избавив от своего присутствия.

У Бори были тяжелые роды, Яни чуть не свел мать в могилу. Он был необычайно красивым младенцем. Расплатиться с акушеркой и врачом сразу Чома не мог: в последний раз он получил жалованье в начале осени, когда отправился с Тордаи в дорогу; с тех пор Бори залезла в большие долги.

На крыльце доктор сказал:

— Мне все равно, мне не к спеху. Но вашей жене нужно еще долго лежать и очень хорошо питаться. Надеюсь, на это у вас найдутся деньги. Что с вашим лицом?

— В полиции отделали,— ответил Чома.— Теперь уже лучше. Так, значит, на рождество я рассчитаюсь с вами, господин доктор.

Права были потеряны, а плотницкую работу в столь позднее осеннее время искать было бессмысленно. Несколько дней он еще кое-как крутился, а потом выбрал единственную представившуюся возможность: оставил Бори на соседок, а сам отправился в лес, рубить деревья.

По субботам он с тяжелым сердцем возвращался домой. И как только входил в квартиру с ее затхлым, спертым воздухом, у него перехватывало дыхание: никогда еще его семья не жила в такой нищете. Бори лежала, быть может, просто по привычке. В углу кучей валялись пеленки; на столе, на подоконниках—повсюду стояли немытые тарелки, судки, пол был сплошь покрыт грязью, пеплом, мусором. Из напиханных в люльку лохмотьев выглядывал сопливый нос Золи. Яни еще не умел смеяться, но смотрел очень смышлеными глазенками; Чома дивился, что ему приятно было держать в огрубевших руках его горячее детское тельце. В голову даже не приходило раздумывать над тем, чей это ребенок,— он принадлежал ему, ему и Бори. «Я буду стараться,— думал он,— чтобы он никогда не чувствовал себя обделенным». Чома убирал, наводил порядок в доме, варил, стирал, заботился о дровах — ни на что больше у него времени не оставалось; сунув в сумку немного кукурузной муки и творога, он возвращался на лесоразработки.

Он скверно чувствовал себя дома и невольно думал о том, как хорошо в лесу сейчас, когда там никого нет и на заснеженную хвою опускается мертвая тишина. А во время работы на лесозаготовках ему приходило в голову, что где-то там, далеко, куда не доносятся крики, ругань, стук топоров и визг пил, где не слышно треска пошатнувшихся деревьев,—тишина, наверно, очень тяжела для человека. Он знал, что там и деньги водятся, надо только уметь их добыть. И он смастерил несколько капканов, поставил их на деревьях в зоне тишины, где заметил в глубоком рыхлом снегу следы куницы. Чома много бродил, обычно ночью, когда полагалось спать. Звери сторонились лесоразработок. А он упорно ходил за ними, хотя все пока было только обещанием. Обещание претво-

рилось в жизнь, когда он в каком-то яростном азарте прижал к лицу первую куницу и грубым, небритым лицом ощутил мягкость меха. Он знал, что этот азарт легко может привести его в тюрьму, и после второй куницы хотел бросить браконьерство. Он сильно сдал, зато долги его были выплачены и не было никакого смысла рисковать и в дальнейшем.

Но в одну из лунных ночей, когда холод и дым все равно не давали ему заснуть в продуваемой ветром лачуге, он снова пошел искать следы на волнистом снегу, местами поднимавшемся до верхушек деревьев, словно неплотно натянутый мягкий брезент палатки. А быть может, ему просто захотелось увидеть лес. На вырубке оседал дым из лачуг, иногда дребезжали цепи на длинношерстых волах; на черном небосклоне висела заиндевелая тарелка луны. Чома подошел к плотной, темной хвойной стене — подошел и растворился в ней; страх и одиночество всей тяжестью давили ему грудь, но было хорошо, что он все-таки шел, забираясь глубже и глубже; он не замечал холода, не ощущал, как саднят пораненные, схваченные морозом руки, только чувствовал, что должен идти, потому что в этом лунном, синем лесу все ждет его.

Он опять начал регулярно ставить ловушки; поймал третью куницу и, прежде чем наступила весна,— это уже было больше, нежели просто удача,— четвертую. Некоторое время он держал шкурку дома, потому что Яни с восторгом возился с ней, а потом все-таки продал.

Ранней весной в воскресенье его остановил на улице главный лесничий.

— Я слышал, вы продали скорняку Гольдштейну две куньи шкурки.

Чома знал главного лесничего — придирчивого, мрачного человека с длинной шеей. Несколько раз он возил его на машине Тордаи и не ждал от него ничего хорошего. Он только досадовал, что оставил следы, по которым играючи можно было его найти.

— Верно,— сказал он.— Я нашел зверей издохшими в лесу.

— Не удивительно,— заметил главный лесничий.— Куница обычно дохнет, когда попадает в капкан. Она редко гибнет от чего-нибудь другого. Вы только этих двух поймали?

— Нет,— ответил Чома,— четырех. Но доказать можно только про тех двух, что я отнес Гольдштейну.

— Глупо было туда нести.

— Это я теперь и сам вижу.

— Четыре куницы за зиму — хороший результат. А ведь у вас, вероятно, и другие дела были.

— Да, не без этого.

— У нас освободилось в районе одно место,— задумчиво произнес главный лесничий.— Мне хотелось бы найти хорошего егеря.

Чома поглядел в серые, усталые глаза главного лесничего, пытаясь догадаться, о чем думает этот вечно недовольный человек. Он счел все скверной шуткой, но невольно подтянулся.

— Коли ищете хорошего,— сказал он,— можно потолковать.

— Вот и потолкуем.

— А разрешение на оружие? У меня даже водительские права отобрали.

Главный лесничий улыбнулся.

— Знаю. Только ведь в полиции люди покладистые. В армии служили?

— В Брашове, горным стрелком.

— Стреляли хорошо?

— Кажется, да.

— Ну-с, попробуем.

Территория Чомы начиналась на краю города. Впоследствии, сколько бы раз ему ни приходилось принимать новый район, он легко запоминал каждую тропинку, речушку, овраг, горные хребты, седловины, вершины, но с этим первым было мучительно тяжело. Чома начал с деталей, он замечал слишком много мелочей, с которыми потом не знал, что делать, так как общий план местности из них не складывался. Прошло много времени, прежде чем он стал ориентироваться увереннее.

В сумке он носил книги по охотничьему и лесному делу и читал их во время отдыха — ему не хотелось, чтоб его окружали тайны. Теперь все было совсем иначе, чем прежде, когда он в поисках тишины и спокойствия бродил ночами в лесной чащобе. Он немного повеселел, но стал озабоченнее — приходилось пасти такое стадо, которое видеть не желало своего пастуха. Зверски уставая, Чома старался приспособиться к егерской работе и чувствовал, что это ему удается.

Дома же, хотя и исчезла неустанная забота о хлебе насущном, ничего не налаживалось. Бори выздоровела, поднялась с постели; она была молчаливой, невеселой, будто муж смертельно обидел ее. Затхлую тишину обвитого виноградными листьями дома никак нельзя было сравнить с полной жизни тишиной леса. Зимой под закопченным потолком — Бори ленилась побелить его — невысказанные мысли заражали воздух. Только дети жили полной жизнью. Ради них Чома приходил домой, о них постоянно думал в лесу. Всю жизнь он бессознательно жаждал ласки, а дети еще не знали, что и на ласку можно скупиться.

Яни он уделял больше внимания. «Надо быть осторожным,— твердил он себе.— Дети быстро замечают разницу. Нельзя, чтобы младший почувствовал, что старшего я люблю больше». Он не предвидел, что в конце концов именно Золи заметит эту разницу. Слишком мало времени оставалось у него на семейную жизнь, быть может, он и не старался уделять ей больше внимания. Он играл с детьми, и этого было достаточно; другие желания постепенно были поглощены молчанием Бори, усталостью, бесплодностью надежд.

В середине лета после двухдневного обхода леса он вернулся домой поздней ночью. Сыновья спали. Бори встала, развела огонь. Пока она разогревала еду и воду для мытья, Чома разделся, вытащил впившихся в кожу клещей, смыл с себя дым лесных сторожек. После ужина они легли, каждый в свою кровать. Чома уже почти засыпал, когда Бори залезла к нему под одеяло. Он очнулся, сердце его горячо забилось, он не знал, как себя вести. Долгое время он каждую ночь ожидал ее, но давно уже бросил ждать.

— У тебя кто-нибудь есть? — шепотом спросила Бори.

— У меня? Нет.

— Надо, чтобы был.

— Зачем?

— Так. Иначе не выдержишь.

— А как же ты выдерживаешь?

Унылым, детским голосом Бори протянула:

— Видишь, я ведь не выдержала.

Чому потряс голос жены. Он ощутил то счастье, что когда-то очень недолго витало над ним, как обещание — обещание, так никогда и не осуществившееся. Разве изредка, ночами, в темноте. Утром он даже не знал, сном это было или явью. Может быть, он уже не любил Бори, быть может, и раньше не любил, но всегда был готов полюбить всем сердцем.

— Бори! — хрипло произнес он.— Разве ты не чувствуешь, что все зависит от тебя?

Он взял женщину на руки, целовал ее губы, шею, рубашку, пахнущую на груди молоком, целовал впервые после почти годичного перерыва. Их жизнь раскалилась в ту ночь, как раздуваемые в очаге угли.

Уже светало, когда в люльке заплакал Яни. Бори с трудом пришла в себя. Пошатываясь в мутном, сером свете, струившемся из окна, она подошла к люльке и взяла малыша на руки, чтобы дать ему грудь. Она легла с ним на свою постель. Чома присел рядом.

— Накорми моего сынка,— сказал он,— дай ему молока сколько влезет.

Рассвет разгорался все ярче. Бори лежала, закрыв глаза. Влажные губы ее дрожали, выгоревшие волосы разметались по подушке, грудь тяжело вздымалась; она покачивала малыша, цеплявшегося за нее обеими ручонками. Чома закурил сигарету. Голова его гудела, он смертельно устал; с трепетом наблюдал, как бесследно исчезает ночь, как вновь окутывается пеплом уголь. Днем, он знал, все опять изменится. Все будет, вероятно, не так, как в последний год, но и не так, как было этой ночью.

«Мы оба пошли на это,— думал он,— обоим и придется все вынести».

Чоме пришло в голову, что, если бы жене было что ему прощать, они, возможно, стали бы ближе друг другу, но прощать ей нечего, и потому она постоянно чувствует себя ущемленной. «А ведь я не даю ей это почувствовать. Или именно в этом вся беда? Живем с затаенными чувствами, с невысказанными мыслями». Золи проснулся в маленькой кроватке, смотрел на отца веселыми, черными глазами — он всегда просыпался веселым. Чома улыбнулся ему, и ребенок, смеясь, зарылся головой в подушку. Позднее Чоме казалось, будто тогда он видел его смеющимся в последний раз.

Вскоре выяснилось, что старший сын покрепче младшего. Выяснилось также, что Бори не способна делить материнские чувства: она любила только Яни. И Чома не мог поступить иначе — он избег обвинения в пристрастии, забросив старшего сына. Казалось, что Золи чересчур быстро растет, что его слишком захватывает жизнь — у него нет времени смеяться, нет необходимости в особом внимании. А на самом деле он просто понял, что не каждому выпадает на долю все, и если бы любовь отдали ему, ее отняли бы у младшего братца. Золи всегда достигал своей цели, потому что у него хватало сил для борьбы. В десять лет он уже многое знал о лесе и о зверье. На его наблюдения можно было спокойно положиться. Это он, Золтан, выследил тогда самого красивого самца косули, которого потом застрелил директор банка. Он охотно ходил на поденщину сажать деревья; вероятно, он полюбил лес, но заглушил в себе это чувство. В Союзе молодых рабочих сказали, что стране теперь нужны шахтеры. Он уехал в шахтерский район, женился, иногда привозил в гости двух своих ребятишек на тяжелом мотоцикле с коляской. Все это как-то само собой разумелось, ибо люди прежде всего обращают внимание на то, что не в порядке.

Яни рос по-другому. Он был милым, покладистым ребенком, не искал неприятностей, хотя все же регулярно их находил. В школе он начал с ябедничества, но на собственном опыте убедился, что это чревато трепкой. Учился он хорошо, пока не почувствовал себя взрослым; революционная романтика оставила его холодным, он стремился к легкой жизни. До шестнадцати лет мечтал стать адвокатом, а потом уже сам не знал, чего хочет. С грехом пополам сдал экзамены на аттестат зрелости, однако в университете на приемных экзаменах занял последнее место даже среди провалившихся. Его призвали в армию, а демобилизовавшись, он летал с одного места работы на другое; Чома тогда судил уже более трезво, но — увы! — стало привычным, что Яни постоянно болтается дома и развлекает мать. И все чаще отец думал о другом сыне, в котором видел самого себя, но более сильного, ибо Золи смог отказаться от леса, когда стране понадобились шахтеры. Для Яни отказ был немыслим, ведь он по-настоящему ни к чему не был привязан.

Коричневые бревенчатые стены дома погружались в густеющую темноту; из открытой на террасу двери кухни и маленького окошка рядом с дверью падал на траву желтый свет. Чома охотно поработал бы дольше, но звезды уже едва светили, а луна всходила поздно. В доме выключили радио, только ветер гудел меж соснами, временами гоня прямо в лицо дым из трубы. Треск вывешенных для просушки рубашек напоминал дальние выстрелы. «Господи, если б я мог повозиться с ними в доме! — подумал вдруг Чома.— А ведь они должны были бы знать, что я их люблю». Затем он подумал, что ему и надо их любить, потому что ничего уже нельзя начать сначала; те двое — там, в доме — счастливы, и это самое главное. Ветер проникал под расстегнутую рубашку, гладил его грудь, это было похоже на мягкое, но холодное объятие. «Вот и день кончился,— подумал Чома.— Лягу спать. А завтра или послезавтра разыщу берлогу старой медведицы».

Часть вторая

I

В полдень солнце обычно светит через окно кухни прямо на узкую кушетку. Золотистый сноп света медленно ползет по шерстяному покрывалу в черную и красную полоску; каждые десять минут он поглощает одну полоску, а другую — словно та ему наскучила — опускает в тень. Но лежащий на кушетке Яни смял покрывало, и полосы не показывают больше точное время.

Чома иногда взглядывает на часы —у него уже не хватит времени пообедать. Три утра подряд, включая сегодняшнее, он провел в лесу, домой вернулся недавно. Все, наконец, в порядке, только надо уже двигаться в путь, потому что из-за телефона придется пойти в обход. Он охотно поспал бы часок, вероятно, и обед к тому времени был бы готов, но ничего не поделаешь.

Яни одетый лежит на боку, кушетка для него коротка, ему приходится подгибать длинные ноги.

— Даже не это самое скверное,— рассказывает он,— а вот когда на маневрах рядом танки ползли для поддержки. Вонючая, горячая коробка, только нервы человеку треплет. Кругом сплошной лязг, водитель даже не заметил, что я рядом пыхчу. Решил он малость свернуть — это ему легко — и навалился на мою мозоль всеми тридцатью четырьмя тоннами.

— Как же он мог свернуть,— говорит Бори.— Когда рядом люди бегут, нельзя сворачивать.

— А может, местность того требовала, ты об этом не подумала?

— Почему не подумала,— Бори, упрямо сжав губы, медленно расхаживала между столом и печью; иногда она забывала, чего, собственно, хочет, и беспомощно потирала подбородок. — Спорю, что этого и не было,— вдруг сказала она.

— Верно,— признает Яни.— А вот попадались среди нас ребята, которые во время марша вспрыгивали на танк.

— Ты-то не прыгал,— говорит Чома.

— А разве я это сказал? Сделай-ка звук погромче, мне нравится песня.

Чома потянулся к шкафу, на котором тихо гудел батарейный приемник. Повернул усилитель звука, и кухня вдруг наполнилась хрипловатым голосом французской певицы. Яни лежал неподвижно, лицо у него было мягким и добрым; Чома посмотрел на него, и ему пришло в голову, что

он совсем не знает своего сына. Локоди, Мюллера знает, знает инспектора и еще многих-многих людей внизу, в городе, и здесь, в горах, на лесоразработках, а вот собственного сына не знает, хотя всегда отгадывает его минутные намерения, мысли. «Что-то этому парню неизвестно,— думает он.— Чему-то мы его не научили».

— И хорошо сделал, что не вспрыгнул,— говорит Бори.— Не для него это. Человек не кузнечик. Вот ты, уверена я, прыгнул бы. И ворону бы застрелил из своей длинной пушки, да, по возможности, с лету.

— Почему ты так думаешь?

— Знаю я тебя.

— Что ж, верно,— говорит Чома.— В этом что-то есть.

— Конечно. Ты-то из всего выпутаешься.

— Глупости. Человек любит убедить самого себя, любит испытать себя. К счастью! Нельзя бросать дело из-за того, что первая попытка не удалась.

— А вообще-то не нужна эта наука. Войны не будет. А коли будет, и без вас все решат, ракетами.

— Я хочу слушать музыку,— нетерпеливо вырывается у Яни.

Чома встал, поглядел на часы, часть времени прошла в разговорах. Он пошел в комнату собрать вещи. Рюкзак перенес в кладовку, сунул в него пеньковый мешок редкого тканья. Бори не должна это видеть. Потом отрезал кусок хлеба, солонины. Прикрепил к рюкзаку бекешу-безрукавку, в дороге она не понадобится.

— Ты что, снова уходишь? — сердито спросила Бори.— Куда?

— Дело есть.

— А я думала, что хлев...

— Завтра всерьез за него примемся.

— Ты только вернулся домой. Получаса не прошло.

— Только вернулся. Правда. И снова иду.

— А куда?

— Тебе не все ли равно? Мы ведь никогда это не обсуждаем.

— Я хочу знать. С солью ты закончил. Насколько мне известно, капканы сейчас не ставишь. А глухари еще и не собирались. Браконьера выслеживать идешь?

— Дело есть.

— Ты ведь даже не обедал. Куда это годится?

Чома уже спускался по ступеням террасы.

— Завтра докончим хлев. Сегодня не могу.

Бори вышла за ним на террасу, ветер вцепился ей в волосы, в юбку.

— А если Яни с тобой немного прогуляется?

— Соскучится. Домой вернусь поздно, может, только утром.

— Из-за Яни тебе дома не сидится?

Чома, пораженный, остановился. Раньше он этого не слышал, а теперь Бори уж второй раз обвиняет его в том, что сын ему в тягость. Хотя именно из-за Яни ему тяжело сейчас уходить в лес.

Он поглядел жене в глаза и обо всем догадался. Бори просто хочет, чтобы они хлев доделали; остальное ей неважно, поэтому она все средства пускает в ход. У Чомы не оставалось иной возможности, как молчаливо согласиться, что его стесняет присутствие сына.

— У меня есть дело,— медленно сказал он.— А вы тут и вдвоем время скоротаете.

Выбираясь на дорогу между деревьями, он понимал, что лучше бы остаться сейчас дома, спокойно поработать вместе с Яни до темноты; но он понимал также, что идет сейчас туда, где необходим именно он. Над желтыми камнями стоял спиртовый запах киснущей прошлогодней листвы, у толстых, вползших на дорогу корней повсюду выступала из земли вода, а вверху над деревьями светило синее небо. Чома глубоко вдох-

нул — любил он этот вкусный, густой воздух; потом быстро стал спускаться: на отлогом участке пути можно выиграть время.

В дачном поселке он зашел в темную, пропахшую айвой прихожую старой виллы «Пипач» и позвонил в сельский Народный Совет, находившийся в двадцати километрах. Ему ответил приятный женский голос:

— Да, товарищ Локоди говорил, что ждет известия. Пожалуйста, продиктуйте, я запишу.

— Записывать нечего, всего два слова: сегодня вечером. Передайте ему: сегодня вечером.

— Сегодня вечером,— повторила девушка.— Если этого достаточно, все в порядке. Сейчас отправлю посыльного.

— Благодарю.

«Красивый у нее голос,— подумал Чома.— Вероятно, она очень молода». Пока он расплачивался с комендантом виллы за разговор, мимо пронеслась серебристая машина-рефрижератор, везущая молоко, затем прошел трубочист и, наконец, три смеющиеся девушки в свитерах; когда глядишь из темноты прихожей, кажется, будто все видишь в кино. Комендант чернильным карандашом вписал сумму в синюю тетрадь, валявшуюся на круглом столике возле телефонного аппарата.

— Что будет сегодня вечером? — спросил он.— Охота?

— Поохотимся,— ответил Чома.— Дел всегда хватает.

— Но вы ведь далеко друг от друга.

— Как-нибудь это уладим.

— Верно, на то вы и мастера.

Чома уже не мог идти по дороге; придется сократить путь к старому лесу через горы. Дорогой было бы легче, удобнее. Человек, если только может, не думает о войне; а там, в лесу, в трещинах древесной коры, в прошлогодней листве, повсюду, словно комары, гнездятся воспоминания и, коли забредешь туда, роем на тебя набрасываются. И все же сейчас Чома должен идти там, потому что времени у него в обрез.

От крайних домов среди высоких гладкоствольных буков вьется вверх то и дело теряющаяся тропинка; она так крута, что отдыхающим редко приходит в голову идти по ней. Чома поправил ружье, рюкзак и легким, спорым шагом двинулся вверх. Трещали на ветру голые ветки, серая опавшая листва была гладкой, словно ее утрамбовали, и сырой; еще недавно на ней лежало снеговое одеяло высотой в человеческий рост. Чома чувствовал, как ветер, сильно задувавший справа, проникает под выцветшую полотняную куртку. «Такой ветер всегда что-нибудь приносит»,— думает он и смотрит вверх; по чистому небу низко летят дымные коричневые облака с желтыми краями. Тяжелыми редкими каплями начинает накрапывать дождь, падают и хлопья снега, а потом между деревьями бешено закрутилась снежная крупа, такая густая, что в пяти шагах ничего не видно. Но, когда Чома взобрался на вершину, небо снова очистилось, облака скопились на краю горизонта и голые ветки мрачно заблестели на солнце. Ветер собирал в канавах, углублениях, у подножия деревьев медленно таявшую снежную крупу.

Некоторое время Чома шел по линии окопов, вырытых еще во времена первой мировой войны. Добротная работа! На выложенных камнями стенках висят пуки сухих растений, дно густо устлано трухою листьев, опавших за много десятилетий, и лишь кое-где видны обвалы — там, где протянувшиеся под землей во все стороны корни деревьев сдвинули камни. Рослые пихты склоняются над ними. Некоторые деревья втянули в себя скрученную колючую проволоку, и теперь крошечные ржавые обрывки ее выглядывают из их смолистой коры. Среди темных переплетающихся ветвей пихт, на гребешках из хвойных игл застряла снежная крупа, похожая на муравьиные яйца.

Без особых раздумий Чома перепрыгнул окоп, принадлежавший далекому прошлому; окоп этот, правда, еще не забыт людьми, но пройдет какое-то время, и его начнут считать естественным географическим рельефом.

На следующем горном хребте уже более упрямо обосновалась вторая мировая война. Ее укрепления, доты пришлось обрушивать или выворачивать из земли, затратив большие деньги и много тонн тротила; это место, если б его не скрывали деревья, с высоты производило впечатление запущенного кладбища. Разбросанные в секторах бетонные могилы покрыты ржавчиной вмурованного в них полосового железа и ползучим мхом, под закопченными потолками в неподвижных черных лужах собралась вода. В щелях разломанного бетона и железа, кажется, все еще колышется стылый дым последнего взрыва. Снаружи на них кучами лежат сухие хвойные иглы и мертвая прошлогодняя листва, в расселинах пустили корни березы, красные рябины, ракиты. Чома знал это место, когда тут еще не было укреплений. И дот, который забыли взорвать, ему знаком, на нем он обычно отдыхает, когда забредет сюда. Собственно говоря, это всего-навсего пулеметное гнездо, опущенная в землю бетонная бочка. К нему ведут узкие траншеи, в нем можно спрятаться, а спереди, на расстоянии едва одной пяди от земли, виднеется амбразура, которая летом скрыта бурьяном. Одним крупнокалиберным пулеметом отсюда можно было держать под огнем шоссе и голый склон горы. Но где же старый голый склон? Странно даже подумать, что тот, кто стоял здесь на коленях у пулемета, видел все до самого шоссе. Теперь дот скрыт в гуще разросшегося ельника.

Опустившись на колени, Чома заглянул в амбразуру. В полумраке он увидел клочья меха, кости — вероятно, зимой тут устроила себе нору лисица. Он сел на крышу дота, положив рядом ружье, и стал прислушиваться к разговору тяжелых бетонных глыб и упрямо прорывавшихся сквозь них растений, к тишине, более печальной здесь, чем в других местах. Исчезли окаменевшие от страха мужские лица — большая часть их в земле, исчезли сверкавшие в воздухе огненные змеи, дым, грохот, попала в свою стихию прыткая, суетливая смерть; только укрепления остались да то, что таит в себе тишина. Кругом отдается невероятно быстрый, сливающийся стук горного дятла. На мгновение Чома понял страх Локоди перед тем, чего тот не видит. И подумал, что мог бы выбрать для отдыха более удачное место. Он вскинул ружье, с шумом выбрался обратно на дорогу и пошел дальше; все равно воспоминания будут сопровождать его еще некоторое время, этого здесь не избежать, разве только если человек очень молод.

Чома вспоминает, как сильно лил дождь, когда около полуночи он добрался до города, и как он все-таки радовался этому дождю. Несколько дней он не мог обсушиться, чувствовал, что кожа на теле у него холодная, сморщенная, но теперь хороши были и кромешная темень и дождь. Ему удалось добраться вдоль заборов почти до калитки, оставалось всего тридцать шагов, когда кто-то осветил его фонариком. Лампочка карманного фонаря была обернута синей бумагой, и только в середине оставлено маленькое квадратное отверстие для слабого луча.

— Это ты?

Чома узнал голос и тоже спросил:

— Это ты, Лештян?

Полоса света описала круг и на мгновение выхватила из темноты небритое лицо парикмахера Лештяна, его резиновый плащ, спортивное с толстым стволом ружье на плече. За это время Чома успел определить, что Лештян, городской чемпион по кеглям, собственно говоря, штатский и, очевидно, несет на улице какую-то гражданскую службу.

— Я представить себе не мог, кто тут крадется,— с облегчением произнес Лештян.— Моя очередь пришла, вот и обхожу улицы, когда все в тепле спят.

— Как видишь, я тоже не сплю,— отозвался Чома.— И, кроме нас, немало народу бодрствует. Ну, я спешу, меня ждут у мельницы Грюбера.

— Отступаете?

— Еще не точно.

— Может, здесь фронт остановится?

— А почему бы нет? Фронт всюду может остановиться. Но это только командованию известно.

— Надеюсь, у нас не остановится. По-моему, место неподходящее.

— Возможно. Какие новости дома?

— Никаких. Ждем, что будет.

— Ну, я пошел.

Они вместе сделали шагов тридцать посередине улицы. Чома, подождав, пока Лештян, меся грязь, удалится, открыл калитку, но без того приятного чувства, какое было бы у него, не встреть он парикмахера. Под навесом журчала свежая дождевая вода. «Не зайду,— подумал Чома.— Теперь лучше не заходить». У колодца он сломал высокий георгин, сорвал с него цветок, перегнулся через перила крыльца и жестким стеблем постучал в дверь.

Бори открыла не сразу. В белой ночной рубашке она остановилась на пороге, прислушалась. С виноградных листьев на лицо Чомы лила вода.

— Это я, Бори,— тихо заговорил он.— Я вернулся.

Женщина шагнула вперед, перегнулась через перила, просунулась сквозь мокрую листву. Чома лишь на мгновение прижал ее лицо к своей груди.

— Я буду за дровяным сараем,— сказал он.— Накинь на себя что-нибудь и вынеси мне горячего чаю.

— Почему ты не заходишь? — спросила Бори.

— Пока не пойду. Может, к утру. Иди, замерзнешь.

— Хоть на минутку.

— У меня башмаки грязные. Следы оставят на лестнице.

— Ты думаешь...

— Не уверен. Разожги небольшой огонь и не одевайся. Если они все же придут, сделай вид, будто только встала с постели. И мальчики пусть ничего не знают.

Он прошел вглубь, за дровяной сарай, забрался под широкий навес, прислонил к стене карабин и стал растирать закоченевшие руки. Он очень озяб. Минуты, на которые он до сих пор не обращал внимания, вдруг потянулись невыносимо долго. Вышла Бори, поверх ночной рубашки на ней было наброшено его драное зимнее пальто; Чома притянул ее к себе, пальцы его застряли в прорехах. В темноте он ничего не видел, только ощутил на мгновение идущий от волос жены хорошо знакомый запах дома. Сердце у него сжалось, невольная дрожь пробежала по всему телу.

— Оставь тут кружку, скорее возвращайся в дом,— сказал он.— По ступенькам иди босиком! И меня ты не видела!

— Давай я тебя немножко согрею! Хоть лицо прижми ко мне на минутку.

— Скорее в дом!

Бори повернулась, у лестницы чуть повозилась с ботинками, потом босиком неслышно взошла на крыльцо.

Чома осторожно глотал горячий чай, согревая ладони кружкой, и думал, что хорошо сделал, оставив в полевой сумке промокший черный солдатский хлеб.

Он допивал последний глоток чаю, когда услышал скрип дверной ручки. Поставив кружку на землю, взялся за карабин. Он ощущал войну вокруг себя и в себе, в своих нервах и мышцах. Собственно говоря, он почувствовал ее только сейчас, дома, на собственном дворе. У крыльца блеснул карманный фонарь с обычной, сильной лампой, он осветил лестницу, перпендикулярно льющий дождь, колодец, георгины в каплях дождя, обежал вокруг двора и потух. По лестнице застучали сапоги. Бори открыла дверь, быть может, слишком поспешно.

— Кто там?

Снова блеснул свет; Чоме удалось увидеть бледное, спокойное лицо жены и половину личика Золи, прижавшегося к материнскому боку. «Я был уверен, что никогда больше мне не придется никого бить,— думал он.— Я ошибался». Он медленно отошел к садовому забору, перелез на соседний двор. Ничего не было видно; только казалось, что он слышит скрип дверей дровяного сарая. Тяжело хлестал дождь, мир погрузился в черную мглу. Где-то вблизи по жестяному желобу стеклянно журчала вода. Здесь ему пока нечего было делать. Через чужой двор Чома вышел на улицу и отправился обратно в лес.

Второй раз он вернулся домой уже открыто, не таясь. Сбросил завшивевшую солдатскую форму, сел в лохань с теплой водой — только на это и хватило сил. Когда Бори уложила его, он был в полубессознательном состоянии. Десять часов подряд, кашляя и стеная, спал он без просыпу, постельное белье от пота стало совсем мокрым. Проснулся внезапно, некоторое время глядел в потолок, ему казалось, будто много недель он что-то сжимал в руке, а теперь вдруг потерял. Потом он все вспомнил. Взглянул на жену.

— Лештян здесь остался?

— Парикмахер? А на что он тебе?

— Просто интересно.

— Кажется, остался. Не знаю. Тебе так срочно нужно постричься?

— Нет, но все же пойду посмотрю.

— Золи сбегает и посмотрит.

— С тех пор, как я первый раз приходил домой,— сказал Чома,— я все время готовлюсь с ним потолковать. И есть не хочу, пока не разделаюсь с этим. Очень жаль, если он удрал. Я видел тогда волосы Золи, и половину его лица, и твои глаза, видел, как ты глядела на жандармов. Мне было приятно, что ты так спокойна. Вот побеседую с ним, а потом почувствую себя по-настоящему дома.

— Это был он?

— Конечно.

— Тогда я не против, сходи к нему, Золтан. Только не бери с собой нож.

— И в мыслях того нет. Нож! Я хочу остаться с вами.

Он надел егерскую форму с дубовыми листьями, натянул сапоги. Сапоги рассохлись, стелька покорежилась и терла ногу. «Эти две недели я мог пробыть дома,— думал он, одеваясь.— И если б небритая морда Лештяна не показалась мне подозрительной, Бори и дети увидали бы, как я болтаюсь на суку». Так он думал уже тысячу раз, но теперь снова повторил это про себя как зарок или заклинание.

Идти было недалеко, но путь его все же длился долго; через город проходила советская тяжелая артиллерия, потом длинная колонна машин, никого не пускали через дорогу. Минуты ожидания Чома терпеливо провел на краю тротуара, ни о чем не думая. Когда же дорога освободилась и он повернул за угол, ему пришло в голову, что он может не застать Лештяна дома. Охотнее всего он пустился бы бегом.

Но Лештян был дома. Он весело принял Чому, поздравил с возвра-

щением, потом из неприбранной кухни пригласил в зашторенную, сумрачную комнату, пропахшую нафталином.

— Садись. Я дома один, жена ушла за молоком.

Он пододвинул мягкий стул с высокой спинкой. Чома сел, сложил руки на коленях и ждал, пока усядется хозяин дома. Теперь можно было не спешить.

— Хорошо, что твоей жены нет дома,— сказал он.— Тише будет. Значит, ты не сбежал?

— Откровенно говоря, подумывал. Знаешь ведь, сколько люди наговаривают. Но русских я не боялся, всегда подозревал, что разговоры об их свирепости — сказки.

— Да, сказки. Но ведь бежали не только от русских.

— Ты о наших местных думаешь? Я ни перед кем не грешен.

— Этого я не знаю. На меня, например, ты натравил полевых жандармов.

Лештян ничуть не смутился.

— Я был уверен, что у тебя в кармане приказ или увольнительная. Неужто не было?

— А раз был уверен, зачем сказал жандармам?

— Хотелось показать, как серьезно отношусь к службе. Думал, тебе все равно это не повредит.

Наступила мучительная тишина. Чоме казалось, будто неподвижное лицо Лештяна отдаляется от него в полумраке.

— Значит, только и всего,— сказал он после долгой паузы.— Заслуги тебе понадобились. Пусть, мол, видят, какой хороший патриот Лештян. Но из-за этих твоих заслуг моя жена могла остаться вдовой, а сыновья — сиротами. Тебе было неприятно, когда меня не нашли, а?

— Почему ты так думаешь? Наоборот, я обрадовался.

— А почему обрадовался? Ведь ты был уверен, что я не дезертир.

Чома вдруг почувствовал отвращение к пустому разговору и, не ожидая ответа, встал.

— В этой войне я никого не тронул,— сказал он.— Решил так заранее, с тем и распрощался с семьей, того все время и держался. Мне кажется, люди способны не только мучить друг друга. Но прощать все тоже нельзя. Если я сейчас просто так уйду, ты всегда будешь меня бояться. Сколько бы раз ни встретил, всегда подумаешь: «Я за два гроша хотел продать жизнь этого человека». А я буду чувствовать, что ты боишься меня и что я твой должник. Так вот, Лештян, сейчас ты получишь мой должок, и больше между нами зла не будет.

Он обошел стол и ладонью ударил парикмахера в лицо. Лештян тотчас же ответил на удар, словно в руке у него была скрыта пружина. В глубине души Чома именно на это рассчитывал и все-таки боялся тех чувств, которыми уже едва мог владеть.

— Не защищайся, хуже будет,— произнес он уговаривающим тоном.— В лесу я чуть не помер с голоду. Но шею тебе свернуть все же могу.

Лештян уже не притворялся, он следил в полумраке за Чомой и, едва шевеля губами, ответил:

— Посмотрим.

Неожиданно он ударил Чому «под вздох», как бьют опытные кабацкие драчуны. Чома попятился к двери, прислонился к ней, подождал, пока в желудке утихнет судорожная боль. «Хорошо, что я не поел,— подумал он.— Сейчас бы вырвало. И хорошо, что оставил дома нож». Лештян подошел ближе, Чома изо всей силы ударил его по носу. Он почувствовал, как в глаза ему брызнула горячая кровь, раньше он бы не поверил, что из человеческого носа может так брызгать кровь. Лештян слепо закружился по комнате, ладонью защищая лицо, но Чома шел

за ним следом, вновь и вновь ударяя по носу; когда парикмахер падал, Чома рывком подымал его и продолжал бить, потому что теперь был способен лишь на удары, словно именно для них был рожден. Он разбил Лештяну нос, губы, разорвал веки. С отвращением ощутил в себе то, что зовется жестокостью, но это была его война. Кулаки Чомы были в крови, в крови была кружевная скатерть на столе и даже ковер. Полумрак в комнате раскалился докрасна.

В кухне Чома увидел таз для мытья, рядом ведро. Он наполнил таз водой, вымыл руки, вытер их сырым, грязным полотенцем, висевшим сбоку на буфете. Споткнулся о стоптанные полуботинки, отшвырнул их ногой в сторону. Еще раз заглянул в разгромленную комнату: Лештян лежал на скамье, опустив на нее лицо, и громко рыдал; так окончилась война.

II

Иногда он видел Лештяна в дверях кооперативной парикмахерской на главной площади, но ни о чем не вспоминал. Словно не с ним это случилось и не в городе, а с кем-то другим, под деревьями среди молчаливо дремлющих укреплений. ...Здесь, на этом кладбище воспоминаний, часто воскрешается прошлое; каждый, кто тут проходит, вновь и вновь переживает тяжелые минуты; с омраченным лицом Чома спешил дальше — туда, где есть люди или где природа проста и бесхитростна. «Это место — для молодых,— думал он.— Им тишина ничего не говорит, ни о чем не напоминает».

Отойдя на достаточное расстояние от развалин, он испытал невольное облегчение. На солнечной стороне зимой рубили лес; далекое стрекотанье механической пилы прорезало тишину — сейчас там распиливали кругляк; подвесная канатная дорога отсюда не видна, огромные бревна, словно плывя над землей, опускались по крутизне. «Зря там в позапрошлом году охотничий домик поставили,— думал Чома.— Осенью надо бы перенести его в Ниреш. И километра в два охотничью тропку проложить. Мюллер позабыл об этом». Чома неслышно ступал по сырой листве, обходя кашеобразные, грязные пятна снега, на которых неузнаваемо расплывались звериные следы. Где-то впереди стеклянным голоском подул в тонкую свистульку рябчик, потом взмахнул крыльями и исчез в чаще леса. Чома сунул руку в карман куртки, хотел вытащить манок, позвать птичку обратно, побеседовать с ней, но сейчас у него не было времени.

Скоро он увидит старый клен. Даже по прямой до него еще далеко. «Теперь нужно идти левее»,— думает Чома. Он спустился к речке с мутной, серой водой, некоторое время шел берегом среди мертвой, спутанной растительности. Ветер мел вдоль долины, колыхал склонившиеся над водой плети ежевичных кустов и вдруг размазывал над чащей хвойного леса рваные, дымообразные клочья облаков. Лесистые хребты зажали небо в узкой, неряшливо вырезанной раме. «Теперь пора сворачивать»,— вспомнил Чома и тут же повернул влево, направившись вверх по круче, ничего больше не видя из-за деревьев — даже небо только проблескивало то тут, то там сквозь щели черного шатра из игольчатых веток. Инстинктивно он определил, что находится довольно высоко. А когда снова свернул вправо и сделал несколько сот шагов до опушки хвойного леса, старый клен оказался совсем рядом.

Чома медленно шел к дереву, поправляя на плече ружье. Двигаться надо тихо. Медведица где-то здесь, поблизости, возможно, в самой берлоге. Резиновые сапоги выжимали из листвы мутную черную воду, а она снова просачивалась обратно; Чома оглянулся и не увидел собствен-

ных следов. Он знал, что запаха тоже не останется, его смоет выступившая вода — сейчас это весьма кстати. У него не было ни малейшего желания столкнуться с подозрительной медведицей-матерью, которая учуяв запах, по всем правилам выследила бы его.

Он накрест повесил ружье за спину и повернул патронташ, чтобы пряжка пришлась спереди. Обхватил руками глубоко вросший в землю ствол дерева, прижался к нему и полез вверх. Лез он как-то странно, по-своему, обеими руками, грудью и ступнями держась за дерево, несколько толстоватое для подобной гимнастики.

Чома расположился вверху, где крепкие ветви тянулись во все стороны, повесил рюкзак, надел на себя бекешу, перехватив ее ремнем у пояса. Он устал, ему было жарко. На рассвете он уже побывал здесь, правда, дошел не до самого дерева, только выбрал его издали, когда сумел с небольшим отклонением определить место берлоги.

Хорошее дерево и на хорошем месте выросло, один недостаток: стоит на пути ветра, почти непрерывно колышущего его безлистые ветви. Не прошло и получаса, как у Чомы начала кружиться голова. Он не понимал почему, такого с ним еще не случалось. Медленно садилось солнце, небосвод становился зеленоватым, на землю опустился мутный, холодный мрак. Внизу, на дне оврага, остатки растаявшего снега мыли камни; тишина, казалось, все глубже, журчанье воды — все громче. Чома неподвижно сидел на дереве, следил, как меняется пейзаж с исчезновением света. Он примечал каждое дерево, каждый куст, каждый камень и пенек на местности; когда стемнеет, у него в голове все это должно запечатлеться, как на карте. Он сидел в развилке двух толстых веток, мучительно щурясь на сильном, непрекращающемся ветру. Под ним колыхалась теряющаяся во мраке земля, каждую складку которой он уже закрепил в памяти. Потом стал разглядывать дальний пейзаж, голые горные склоны, расплывчатую линию хвойного леса, вечерний туман, сочащийся вверх из защищенных от ветра котловин, прозрачное, зеленоватое небо с незаметно загорающимися на нем звездами. Иногда лоб его покрывался легкой испариной. «Может, я голоден,— думал он.— Ну ничего, потерплю».

Неожиданно ему пришло в голову, что, вероятно, это старость, а коли так, то подобралась она очень незаметно. Чома не мог бы сказать, сколько дней, сколько недель своей жизни он провел на воле, на едва проходимых тропках, в шалашах, у подножия деревьев; не мог бы сказать, каких размеров должна быть бочка, которая вместила бы всю воду, что обрушивалась из яростных туч на его вылинявшую форму, сколько раз все вокруг покрывалось снегом, сколько вагонов можно нагрузить дровами, обильный дым и скудное тепло которых согревали его в одинокие ночи. Об этом он никогда не думал. Он не отдавал себе отчета в том, что жизнь, пожалуй, громоздится уже у него за плечами, не смотрел ни на что прощальным взглядом. Но теперь ему смутно представилось, что много, очень много всего случалось с ним в жизни, что очень давно ходит он по горам, большей частью в одиночку, и что, непонятно почему, тягостно ему часами сидеть на ветру, скорчившись среди ветвей. Раньше он этого за собой не наблюдал, да и теперь не хочет, только вот дерево все колышется, и приходится замечать, как утомительно для него такое качание. «Черт побери,— думает он.— Нужно же, чтобы именно сегодня кружилась голова. Сидел же я на деревьях и раньше. Или теперь всегда так будет?»

Он снова почувствовал, что лоб стал влажным. Под ним с тихим треском склонялось дерево, дрожащие ветви нерешительно цеплялись за волны ветра. Вскоре рассеется ледяная зелень сумерек, ветер переменит направление и наступит ночь. А пока надо ждать, ждать и следить. Он не хочет пережевывать прежние мысли, лучше думать о чем-нибудь хоро-

шем, случившемся давно — так давно, что он даже изумился, пересчитав годы; но в них он не искал объяснения своей усталости.

Казарма горных стрелков в Брашове была расположена в довольно скверном месте. Окна ее выходили на пыльную улицу, которую иногда поливали смолой; пока смола не смешается с пылью, пересечь дорогу можно было только очень осторожно, большими прыжками. Ветер приносил зловонный запах гари с расположенного поблизости резинового завода. За казармой лязгали и свистели поезда, а рано на рассвете с горестным скрипом над ней разворачивались учебные машины «флит» с желтыми крыльями и синим фюзеляжем.

По воскресеньям и в будни, когда он бывал свободен, Чома торопился уйти из казармы. Ему казалось, что его форма горного стрелка — лыжные брюки из тяжелого сукна, тесный китель, ботинки на шипах, белая мягкая бескозырка пирожком — отделяет его от большинства людей. Он одиноко прогуливался в Рагадо, по Чигахеди, иногда под каштанами речки Графа, где к горьковатому запаху леса и воды примешивалось влажное дыхание старых крепостных стен и аромат цветов Поштарета.

Однажды возле бесформенной арки, о былом предназначении которой невозможно было догадаться, он увидел тоненькую девушку. Быть может, в глубине души он надеялся на нечто подобное во время своих одиноких прогулок. Девушка не знала, что на нее смотрят; расставив руки, она пыталась делать танцевальные па на еще сырой от ночного ливня дороге. С серьезным, задумчивым лицом она кружилась, прикусив губу, короткая юбка ее приподнималась, из-под нее выглядывали круглые колени и удивительно полные икры. Она притоптывала маленькими ножками, кружилась, делала шаг вперед-назад неловко, но все же грациозно. Некоторое время Чома, застыв на месте, глядел на нее; ему казалось, что он давно мечтал о таком мгновении. Он вытащил из кармана губную гармонику, ладонью стер с нее крошки хлеба и табака и стал наигрывать: «Вечерком, когда в парке сто шарманок зазвучит...» Девушка посмотрела на него и как будто улыбнулась, во всяком случае, она продолжала танцевать; Чома наигрывал и грубым башмаком отбивал такт по желтому камню. Продолжалось это лишь одну минуту или даже того меньше; девушка резко остановилась и, перекинув назад темные косы, взглянула Чоме прямо в лицо. У нее были испуганные карие глаза, остренький веснушчатый носик, необычайно сочные губы.

— Я еще не умею хорошо танцевать,— проговорила она смущенным дрожащим голосом.— А теперь я пойду домой.

Она быстро повернулась и пошла вверх по течению речки. Чома сунул губную гармонику в карман, поправил шапку и бросился вслед за ней.

— Почему вы идете домой?

— Так.

— Но вы ведь еще не хотели идти домой.

— А теперь хочу.

— Из-за меня?

— А если из-за вас?

— Не стоит. Я могу пойти в другую сторону.

— Я не хочу, чтобы из-за меня вы шли в другую сторону.

— А я не хочу, чтобы вы из-за меня шли домой.

Девушка в нерешительности остановилась. «Бывают же такие красивые,— подумал Чома.— Красивая, милая, даже сам не знаю какая. Лучше бы мне с ней не встречаться». Они грустно глядели друг на друга, не зная, что делать. Девушка опустила голову.

— Так все же нельзя,— с упреком сказал Чома.

— Как?
— Раз уж мы встретились.
— Многие встречаются. Все встречаются.
— Но не так.
— Это верно.

Они помолчали. Чоме хотелось увидеть глаза девушки, но она, опустив голову, перебирала пуговицы на синей кофточке и носком ботинка рисовала на земле маленькие круги. Затем появилась пожилая супружеская пара; женщина держала в руке три белых груздя, а мужчина — какой-то синий цветок. Чоме показалось, что они сердятся друг на друга, или, быть может, они от усталости шагали так размеренно. Они прошли, и девушка вдруг спросила:

— Вы умеете танцевать вальс?
— Умею.
— А наигрывать во время танца?
— Во время танца? Не пробовал.

Девушка, наконец, взглянула на него, в глазах у нее горело напряженное любопытство, полные губы дрогнули:

— Мы можем немного потанцевать, прежде чем я уйду,— сказала она.— Мне надо вернуться к шести. Вообще-то меня отпускают до девяти, но сегодня господин Ченгери приказал вернуться в шесть. Гости придут.

Супружеская пара была уже далеко. Чома вынул гармонику, снова стер с нее приставший в кармане мусор, левой рукой поднес к губам, а правой обнял девушку. Он сразу почувствовал теплый запах акации, шедший от ее волос, и глубоко его вдохнул. Вблизи глаза девушки казались совсем черными и такими ясными, словно она только что проснулась после спокойного, долгого сна. «Никогда такой не встречал,— думал Чома.— Если б хоть разок увидал, запомнил бы». Он взял себя в руки, заиграл: «Вечерком. когда в парке сто шарманок зазвучит...» Справлялся он с трудом. Башмаки его были ужасно тяжелыми, а девушку он вел только одной рукой. Все же движения, которые они делали, можно было назвать вальсом.

— Получилось? — спросила девушка, когда Чома, задыхаясь, остановился.— Можно со мной танцевать?

— Да еще как!

— А ведь я никогда ни с кем не танцевала.

От радости и волнения лицо ее раскраснелось, на коричневых бровках блестели маленькие капельки пота. Дыхание ее тоже было ароматно, как запах акации.

— Большое спасибо, а теперь я пойду,— сказала она.— Не провожайте, я не хочу, чтобы меня видели с солдатом.

— С солдатом?

— Да, а у вас еще какое-то звание есть?

— Я ефрейтор,— беспомощно произнес Чома.— Но это ничего не значит. Я только сейчас солдат, вообще же по специальности плотник. А когда демобилизуюсь, окончу школу шоферов. Так я думаю.

— Вы из казармы выходите, когда захотите?

— Только когда отпустят.

— Может быть, в воскресенье после обеда я опять буду здесь гулять.

Она выскользнула из рук Чомы, снова направилась вверх, по течению речки, но теперь Чома уже не бросился за ней, даже вслед смотреть не осмелился, словно девушка и это ему запретила. Некоторое время он слонялся между речкой и старой крепостной стеной, не зная, за что взяться, пытался играть на губной гармонике и искал на сырой земле следы маленьких туфелек.

В воскресенье после обеда они несколько раз начинали танцевать, но все время кто-нибудь появлялся, и они смущались, будто застигнутые на месте преступления. В конце концов Чома с девушкой поднялись к саду санатория «Риемер», а оттуда к ресторанчику на опушке леса. Денег у него не было, и они быстро прошли к саду «Лупан» по нижнему участку заброшенной трассы для бобслея.

В сумерках молодые люди остановились на улице Хоссу возле бензоколонки. Ветер был наполнен запахами раскаленных солнцем камней и болотных испарений. Служащий бензоколонки нагнетал прерывисто квакающим компрессором воздух в шины запыленного черного «мерседеса». Двое пьяных, горланя, брели по тротуару. Над берталанским шлагбаумом колыхалось пыльное облако — это гнали на бойню скот, в пыли просвечивали короткие кривые воловьи рога. Пораженный Чома смотрел на все это, словно очнулся ото сна.

— Хорошенький марш мы проделали,— сказал он.— Вы устали, Юци?

— Немножко.

— Следующий раз где-нибудь посидим.

— Хорошо.

— Я придумаю где.

— Хорошо. А теперь простимся.

— Я пойду с вами. Если потороплюсь, то вовремя вернусь в казарму.

— Нет, по улице нельзя.

— Но почему?

— Господин Ченгери рассердится, если увидит меня с солдатом.

Чома взял руку девушки, сжал ее обеими ладонями.

— Вы очень боитесь вашего хозяина, да?

— Почему? Я не боюсь. Но это очень умный человек, он адвокат и никогда не научит плохому.

— Плохому и я не научу.

— Вы ведь только солдат и плотник. Плотники умнее, чем такие девушки, как я, но с адвокатами им не сравниться. Они даже четверти того не зарабатывают, что адвокаты.

На это Чоме ответить было нечего, он только пробормотал:

— Здорово у вас там все распределено.

Запыленный «мерседес» неслышно отъехал от бензоколонки. Служащий повесил над компрессором свернутый в кольцо тонкий синий шланг. Юци мечтательно уставилась вслед машине, сделав такой жест, словно хотела махнуть ей рукой на прощание.

— Вы такую будете водить, когда демобилизуетесь?

— Такую или другую. В нашем городе таких я еще не видел. Наверно, это очень дорогая машина. Но сначала мне надо окончить шоферскую школу. И работу получить нелегко.

— Вот сядете в такую машину,— сказала Юци, — и даже не заметите меня.

— Вас я всегда замечу. Даже среди тысячи людей.

— Да? А что вы тогда подумаете?

— То же, что и сейчас, когда я без машины.

— Нет. Вы подумаете так: вон идет обыкновенная служанка. В такой машине вы по-другому и думать не сможете.

— Но ведь машина-то будет не моя. Я ее только водить буду.

— Все равно. Не сможете вы по-другому думать. И вообще солдатам все равно, была бы только юбка.

Чоме казалось, будто адвокат Ченгери, которого он представлял себе высоким, седым мужчиной в черном костюме, стоит сейчас между

ними, больше того — что он весь день гулял с ними и иногда, возможно, с Чомой говорила не Юци, а сам адвокат.

— У меня в голове не умещается,— сказал Чома.— Что этому человеку солдаты плохого сделали?

— Какому человеку?

— Да вашему адвокату.

— Ничего. Он просто хочет, чтоб я не была глупой.

— Я тоже этого хочу.

— А я откуда знаю? — Юци улыбнулась, поглядела Чоме в глаза, пальцами дотронулась до пуговиц на его кителе.— У меня еще нет жизненного опыта.

— Это, конечно, тоже он вам сказал?

— А разве он не прав? Когда тебе восемнадцать и ты окончила всего пять классов, лучше послушать, что умные люди скажут. А не то раз-два — и беда тут как тут. Ох, и достанется мне дома, если узнают, что я гуляла с вами!

— Никого это не касается. Для такого адвоката все подлецы.

— Кончим это, ладно? Не будем о нем говорить.

— Согласен.

— Забудем, ладно?

— Хорошо, только бы не казалось все время, что он тут с нами.

— И мне так кажется. Но не беда, ничего худого от этого не случится. Я теперь пойду, а в другой раз не будем о нем говорить.

После этого они не заговаривали об адвокате, но, конечно, думали о нем, когда бродили вдвоем по лесным тропинкам, обняв друг друга за плечи и непрестанно удивляясь всякой малости. Юци на самом деле иногда обо всем забывала, не чувствовала гнета чужой воли, все ее существо излучало чистую радость бытия; она без устали кружилась одна под звуки губной гармоники, громко смеялась, и казалось, танец и музыка опьяняют ее, наполняют никогда не испытанным счастьем.

В казарме, на полигоне, на изнурительных учениях Чома думал о Юци, как о цели и смысле преходящих дней. Его и раньше не сломила безрадостная солдатская жизнь; временами, когда бывало очень тяжко, он даже находил в ней какую-то суровую радость. Но теперь Юци дважды в неделю появлялась у речки за аркой, и остальные пять дней уже не шли в счет. На рассвете перед побудкой над высокими березами во дворе казармы начинали тарахтеть «флиты». Чома уже не спал и в душной, пахнущей башмаками казарме думал о том, как, демобилизовавшись, сразу женится на Юци, прежде чем хоть чуть-чуть поблекнет ее улыбка. Он подозревал, что такая улыбка может жить долго, лишь когда ее очень берегут.

Об этом он думал и в Варте, в лесу; он смотрел на губы Юци, целовал их, желая, чтобы они улыбались, потому что улыбку ее можно было не только видеть, но и ощущать на вкус. Они сидели на расстеленном на земле кителе. Чома чувствовал, что дыхание Юци стало тяжелым, иногда она вздрагивала у него в руках. Было жарко, даже ветерок не бродил под ветвями; у Чомы закружилась голова, и он сделал то, чего никогда до сих пор не делал: нежно просунул руку под юбку Юци. Потом расстегнул ей блузку, стал целовать грудь, а сердце мучительно колотилось, он с ужасом ждал хоть одного защитного жеста, единственного — каким бы нерешительным оно ни было — протестующего слова; он знал, что этого будет достаточно. Но Юци молчала, волнение и напряженное любопытство горели в ее глазах, горячей рукой она сжала затылок Чомы и покорно опрокинулась навзничь. Тело ее было чистым и прекрасным.

По дороге домой Юци, хотя все время смотрела в землю, спотыкалась на гладко вытоптанной лесной дорожке, будто шла в кромешной тьме по распаханному полю. Обеими руками она сжимала ладонь Чомы,

губы ее побелели и застыли от потрясения. Чома страдал; он не хотел возвращаться в казарму, не хотел отпускать Юци обратно в чужой дом. Ему казалось бесчеловечным, что им приходится расставаться. Но об этом он молчал; пусть только настанет день демобилизации, а пока надо терпеть.

Они уже были почти внизу на Поштарете, когда Юци заговорила:

— Ну, теперь конец.

— Чему конец?

— Ты меня бросишь.

— Никогда я тебя не брошу,— сказал Чома.— Никогда. Что это за разговоры?

— Нет, я знаю. Девушек потом всегда бросают.

— Юци, опять твой адвокат? Значит, он считает, что такой человек, как я, даже любить не может?

— Мы же решили о нем не говорить!

— Ты повторяешь его слова!

— А разве он не прав? Если б ты меня любил, этого бы не случилось.

— Я хотел, чтобы ты улыбалась. Видно, того, что случилось, нельзя было избежать, раз мы любим друг друга. Мы должны чувствовать себя счастливыми, и ничего больше.

— Да. Но я чувствую только, что у меня болят ноги и что мне страшно. Когда дома я убирала или стирала, так приятно было думать, что мы с тобой встретимся и будем гулять в лесу. А теперь я все испортила. Я виновата, знаю. Господин Ченгери говорил, что так обычно и бывает, но я его не послушала.

— А я говорю, что люблю тебя и никогда не брошу.

Юци молча потрясла головой. Было воскресенье, на Поштарете гуляло много народу. Чома не осмелился тут даже погладить Юци по волосам.

В ночь со вторника на среду в казарме протрубили тревогу. Батальон спешно встал под ружье и в боевой готовности выступил в Фогарашские горы. Три недели они ползали по голым скалам, ходили в атаку по долинам с разбросанными повсюду валунами, одежда их пропиталась потом и горьким дымом холостых патронов; голубое летнее небо над ними постепенно серело, а когда они спустились в Барцашаг, начала желтеть рано вянущая листва деревьев. Два дня спустя Чому демобилизовали. Худой, с дочерна сожженным лицом, в мятом штатском костюме он вышел из ворот казармы, таща на плече солдатский сундучок.

Он направился прямо к речке Графу. А под каштанами понял, что здесь ему нечего делать; служанок в этот день не отпускают. Он знал, что адвокат Ченгери живет где-то на улице Фекете. Он долго искал, пока не обнаружил жестяную табличку: «Казмер Ченгери, юрист, адвокат».

Некоторое время Чома печатал шаг взад и вперед в гулкой подворотне, затем вышел на улицу, поставил на противоположный тротуар сундучок, сел на него. Поздно вечером, когда ждать было уже нечего, он поплелся на станцию, там уснул в зале ожидания. Утром снова занял свое место на тротуаре. Он стоял на страже, чтобы счастье не сбежало от него. С тяжелых коричневых ворот, в которые входили и выходили незнакомые люди, он глаз не спускал. В полдень, когда зазвонили колокола, Юци вышла из ворот и чуть ли не бегом направилась к рынку. Чома бросился за ней.

Прежде, чем он ее окликнул, Юци инстинктивно обернулась. Ноги ее вдруг приросли к земле, лицо побелело, глаза казались совсем темными.

— Снова на тебя нашло? — тихо начала она.— Снова обо мне вспомнил? Но теперь-то уж нет... Пусти, я спешу. Меня ждут.

— Мы были на учениях,— сказал Чома.— В Фогарашских горах...

— В Фогарашских горах! — Юци расплакалась, пальцами размазывая слезы по лицу.— Все равно, где вы там были. Я в первый же день пошла к речке, уверена была: вот теперь он не придет... И ты не пришел. Тогда я думала, если б только...

Она не докончила фразу, быть может, пожалела, что даже это сказала, и торопливо двинулась дальше. Чома пошел следом, но Юци дрожащим от гнева голосом крикнула:

— Не смей за мной ходить!

— Я не пойду, если ты этого не хочешь,— медленно произнес Чома.— И зачем ходить? Но ты видишь, меня демобилизовали, и, если хочешь, я всегда буду с тобой.

Юци успокоилась и грустно сказала:

— Все равно я никогда не поверю, что ты меня любишь.

Они стояли, беспомощно глядя друг на друга горящими глазами. Чома знал, что Юци говорит правду. Господин Ченгери воспитал служанку для себя. Он был ее хозяином; он мог целыми днями объяснять ей все, что хотел. «А я,—думал Чома,— я не могу поговорить с ней даже десяти минут». Прохожие обходили их, а они стояли у толстых, старых стен в вихре колокольного звона, который казался видимым из-за чистого осеннего света. Юци ушла, на ней и сейчас была коричневая юбка и синий свитер, в толпе она казалась очень маленькой со своей дешевенькой базарной кошелкой; она уступала дорогу каждому идущему ей навстречу. Чома машинально нащупал в кармане губную гармонику. «Пойду брошу в речку»,— подумал он. В Брашове ему оставалось разделаться только с этим.

III

Земля исчезла, погрузилась во мрак, голова у Чомы больше не кружилась, только ноги дрожали от неудобного положения. Свежий мороз покусывал лицо, проникал под одежду. В теплые сумерки, когда солнечный диск заходил за пестрый шатер облаков и тишина мягко, почти ощутимо стлалась по земле, ему часто вспоминалось лето, когда он так близко подошел к счастью, но в такой холод, насколько помнится, он никогда еще об этом не думал. Много времени прошло с тех пор, много всего произошло, все почти изменилось, только Юци навсегда осталась для него молодой девушкой, и, если б он поехал в Брашов, то, казалось, нашел бы ее там, на берегу речки, под каштанами, танцующую на сырой от ночного ливня дороге. «Я бы еще сумел ей сыграть,— думал он.— И вальс станцевать с нею. Я не забыл старые песни. Ничего я не забыл. А если в начале лета у меня нет в городе дел, то весь год я не ощущаю запаха акаций».

В это время вблизи — ближе, чем в двухстах шагах,— покой задремавших гор был нарушен. Не слышалось ничего, что отличалось бы от шума ветра и речки, от треска бьющихся друг о друга веток. Ничего не было видно. Но что-то все же произошло. Чома сразу отбросил все свои мысли, он почувствовал знакомое напряжение — вот это его жизнь, в этом он разбирается. Его сжатые губы раздвинула улыбка, он часто улыбался так в лесу, никогда об этом не подозревая.

Медленно поднял он к глазам бинокль, наставив его так, как подсказывал инстинкт. Он и сам не знал, что им руководит. На линзе вырисовывались мутные серые и черные пятна, неясные, едва различимые тени деревьев, кустов, пней, камней — жалкое подобие дневного мира. И все пятна, казалось, шевелились. Если бы днем в памяти Чомы не запечатлелось все, что было видно со старого клена, он напрасно напрягал бы зрение. Однако вскоре среди темно затушеванных пятен ему удалось разобрать то единственное, что он ждал, что действительно двига-

лось: неслышно покачиваясь меж деревьев, оно останавливалось, сливалось с темнотой, исчезало, а вслед за тем снова становилось видимым и неясно колыхалось над землей, словно гигантская ленивая летучая мышь. Движения медведицы были бесшумны. Пористая, пропитанная растаявшим снегом листва мягко оседала под огромными лапами, не сохраняя следов.

Видение вскоре поглотила ночь. Чома просидел еще полчаса—столько-то нужно было выждать,— возбужденный, ни о чем не думая, потом спустился с дерева. Теперь все может случиться, надо быть ко всему готовым. Он постоял под деревом, затем подошел к краю зарослей, скрывающих берлогу, снова подождал некоторое время. Если не считать говора ручья и шороха постепенно ослабевавшего ветра, стояла полная тишина. Здесь внизу, под вольным небом, тишина означает безопасность, нечто такое, от чего никто по своей воле не отказывается. Чома снял рюкзак, патронташ, бинокль, бекешу-безрукавку, потом ветхую охотничью шапку. Вынул реденький пеньковый мешок, заботливо сложил его, сунул под китель. Взял два запасных патрона. Нащупал в кармане и вытащил оттуда короткую свечку, зажег ее.

С того момента, как загорелся желтый огонек, осветив смуглое бесстрастное лицо и тянувшиеся вверх сухие ветки, он делал все очень быстро, даже чуть суетливо. Накапал немного парафина на ствол ружья за мушкой, прилепил туда свечку, затем, держа ружье наизготовку, полез в сырые кусты.

Мигал язычок пламени — вот-вот погаснет,— свет его слабо шарил среди разбегающихся, тревожных теней. В глубине зарослей Чома согнулся, опустился на колени, оперся ладонью о землю — ружье он держал теперь в одной руке — и, следуя за бледным светом, просунулся в низкое отверстие, зиявшее под сгнившим пнем на обрывистом береговом склоне. Легкие его сразу наполнились теплым воздухом, насыщенным звериным зловонием. Теперь, когда он наполовину забрался внутрь и затылок его щекотали сухие корни, он на мгновение неподвижно застыл. Этот момент — самый тяжелый. На лице выступил пот от удушливого тепла и еще от чего-то, что было ему уже знакомо.

Лаз в берлогу оказался у́же, чем он предполагал, у́же и длиннее — настоящий маленький коридор. На это он не рассчитывал.

«Что-нибудь придумаем»,— подбодрил он себя.

Корни, словно воровато шарящие пальцы, залезали ему под воротник. Если б когда-нибудь он испытал, что значит поддаться страху, вряд ли бы полез сюда. Но мгновение спустя он уже полз вперед на коленях и левом локте, сжимая в правой руке ружье.

Влажная, с едким запахом темнота расплывалась вокруг свечи, позволяя видеть шероховатые стены и исцарапанную землю. Он дополз до конца коридора, и свеча осветила всю берлогу: узкую и низкую нору, в которой нельзя встать во весь рост. С потрескавшегося каменного свода опускался спутанный красный занавес из сухих корней, дно берлоги покрывали ветви, грязная листва, клочья шерсти и мха. Зловоние было удушливым. Медвежата сидели рядышком в глубине берлоги. Прижав задики к стене, маленькими, подслеповатыми, блестящими глазками они с ужасом уставились на пламя свечи.

Чома улыбнулся. Ему нужны два медвежонка, столько их тут и было.

— Эй, это я,— сказал он.— А вы как думали, кто еще может сюда прийти?

Он снял свечу с ружейного ствола и прилепил ее на камень у входа. Пламя больше не плясало у него перед глазами, он стал видеть лучше. Повесив ружье на сгиб локтя, он вытащил из-под кителя мешок, на коленях пополз вперед. Насколько позволяла площадь, свернул влево, чтобы

своей тенью не нарушать колдовства света. Туго придется, если один из медвежат выскочит из берлоги.

— Хорошо,— сдавленным голосом произнес он.— Наконец-то я вижу ваши мохнатые мордашки. Вы очень нужны, а сидите тут, словно понятия ни о чем не имеете. А кого ждут в зарубежном зоопарке? Может, меня? О чьем будущем идет речь — о вашем или моем?

Медленно все ближе подползал он к медвежатам. И, не переставая, говорил, вернее, урчал в странной уверенности, что они ловят каждое его слово и полностью с ним соглашаются. А медвежата и внимания на него не обращали, завороженно глядя на свечу. Под их влажными, черными носами поблескивали белые зубы.

— Вижу, улыбаетесь,— удовлетворенно произнес Чома.— И правильно делаете, надо быть оптимистами. Все равно ведь придется лезть в мешок,— добавил он более строго. И остолбенел.

С тех пор как он находился в берлоге, он все время ощущал давление лежащей над ним земли. Сейчас давление исчезло — внезапно, будто лопнувший на воде пузырь. Под каменным сводом воцарилась тишина и какая-то удушливая пустота; из лаза, казалось, просачивался воздух. Затем что-то глухо стукнуло. Со стены начал осыпаться песок, красный занавес из корней заколыхался. Чома бросил мешок, схватился за ружье, опустил ствол вниз, снял ремень со сгиба локтя, неловко пошатываясь, повернулся на занемевших коленях; он не понял, почему ему вспомнился молодой шофер, который скверно чувствует себя на узких поворотах, ведя машину, груженную длинными бревнами. Из коридора, словно из отверстия трубы, лился прерывистый рев — хорошо знакомые, но во сто раз усиленные звуки; во мраке маячили желтые, толстые медвежьи клыки, взлохмаченный мех и вонзившиеся в землю когти. Чома, сам того не желая, спустил сразу оба курка.

Вспыхнула молния, рассыпались сверкающие пороховые искры. Чома в полуобморочном состоянии открыл рот, легкие его будто накачивали насосом. В ушах раздавался мучительно резкий, свистящий звук, голову словно сжало обручами. Наступила непроглядная тьма, горячий черный водоворот, своды пещеры, казалось, взлетевшие в высоту, должны были вот-вот рухнуть наземь. Но ничего не произошло. Только клубилась темнота и продолжали раздаваться странные, сильные свистки.

Чома застонал, грудная клетка у него, наконец, сжалась, а когда он снова мог вздохнуть, наполнилась щиплющим пороховым дымом. Ему показалось, что его гладят по лицу мягкие, легкие пальцы. Он схватил их — в руке были теплые на ощупь корни; он дернул весь пучок, и корни легко оторвались, а на шею ему посыпалась земля. Чома снял ружье, правую руку сунул в карман и с трудом вынул коробок спичек: большой палец был покалечен. Он вспомнил, что в момент выстрела держал палец на предохранителе, а снять его не успел — ружье при отдаче врезало затвор прямо в палец.

Он помнил и о том, что оттянул курок, когда медведица была еще в коридоре. При вспышке света сквозь густой серый дым он сразу увидел перед собой: морда, шея, обе лапы просунулись в берлогу; из ушей и одного глаза сочилась кровь; серую с сединой морду покрывали широкие красные, будто эмалевые полосы; когти левой лапы глубоко вонзились в землю.

Свеча валялась возле камня. Чома поднял ее и, прежде чем спичка погасла, зажег дымящийся еще фитилек.

Пока было темно, возбужденные до крайности медвежата метались взад и вперед. Теперь они вернулись на прежнее место, прижались к стене, пристально глядя на пламя. Мордочки их были перемазаны материнской кровью. Чоме показалось, что в маленьких глазках отражается совсем человеческий ужас.

Он отвернулся, прижал ко лбу ладонь, посмотрел на убитую медведицу. Под головой зверя, скалящегося даже после смерти, расплывалась лужа крови, пропитывая взлохмаченный мох. Уже много лет Чома раза два в год встречал старую серую медведицу. Он видел ее полную сил осенью, во время опадания плодов в лиственном лесу, видел иногда весной, ослабевшую, когда она грызла траву на солнечных, освободившихся от снега полянках. И подумал, что лучше было бы выбрать молодую, боязливую медведицу-мать.

Чома раскачивался взад и вперед, стоя на коленях. Дым лениво клубился вокруг него и в зарослях корней под сводом берлоги. Надо побыстрее выбираться отсюда, как можно быстрее. Он не понимал, почему медлит; прошло некоторое время, пока он сообразил, что труп медведицы загородил выход. Позднее, когда труп раздуют газы, ему вряд ли придется рассчитывать на приток воздуха.

Значит, надо отдохнуть. Чома погасил свечу и свалился на грязную подстилку. Он знал: как бы там ни было, а он выберется отсюда, любой ценой. Ни о чем ином он и думать не желал. Не желал строить догадки, пока окончательно не придет в себя, не желал осторожненько применяться к таким возможностям, перспектива которых заранее обезоруживает человека. Медведи часто преподносят неприятные сюрпризы, только и всего. От них другого и ждать нечего.

Он лежал и думал о том дне, когда Танко ожидал от медведя другого. Около полудня за Чомой прибыл вездеход деревообрабатывающего предприятия, отвез его на территорию Танко. На назначенном месте его поджидал инспектор, сам Танко, Вилцеану и незнакомый лысый мужчина в очках и охотничьем костюме. Танко, державший на коротком поводке террьера-полукровку, казался озабоченным, торопливо курил пахучую заграничную сигарету. Землю на два пальца покрывал свежий снег.

Инспектор рассказал Чоме, что произошло.

Танко привадил огромного старого медведя поблизости от охотничьей вышки; тот выходил на падаль иногда даже при свете дня, словно у него были талончики на питание. Инспектор привез бельгийского охотника, пожелавшего застрелить медведя. Вдвоем они засели еще днем на вышке, взяв ружье, киноаппарат и бутылку коньяку. Танко и Вилцеану остались на полкилометра ниже в шалаше — пока в них не было необходимости. Медведь на сей раз появился только около одиннадцати, он был довольно хорошо виден на снегу, и бельгиец выстрелил в него. После выстрела медведь некоторое время орал, раздирая подложенную падаль, топтал и ломал ближние кусты, потом, заметно ослабев, спустился за хребет на пастбище.

На рассвете они последовали за ним. Кровавые следы указывали, что пуля, скользнув по спине, по всей вероятности, попала в брюшную полость. Внизу пастбища в середине перелеска размером хольда в два зверь залез в густой кустарник между дубовой порослью и колючей синей сливой и там залег. Танко шел за ним по следу до самого края зарослей, но, услышав нервное всхрапывание медведя, повернул обратно. Затем он привел собаку, позвонив по дороге, как велел инспектор, чтобы послали машину за Чомой.

— Вот и все,— сказал инспектор.— Теперь поглядим, как его оттуда выжить. Думаю, людей у нас достаточно.

— Он шевелился, когда Танко побеспокоил его?— спросил Чома.

— Нет.

— Тогда надо пойти на него вдвоем, рядом.

— Нет смысла. Его выгонит собака.

Они перелезли через хребет. Дело казалось совсем простым. Перелесок был небольшим, среди стволов деревьев в руку толщиной хорошо

проглядывалась покрытая снегом земля; ясно видны были и кустарник, и ведущий к нему кровавый след, и следы Танко в ту и другую сторону.

Инспектор с бельгийцем расположились внизу; если у медведя еще остались силы, он, вероятно, будет выбираться именно в этом направлении. Чома стоял слева от них, метрах в пятидесяти, Вилцеану на опушке леса, а Танко остановился возле ведущего вглубь следа и тотчас же спустил собаку. Все они хорошо видели друг друга. Собака с бешеной скоростью ринулась в заросли, потом вдруг вынырнула из них и помчалась вниз. Медведь бежал за ней медленно, неохотно, часто падал, судорожно рыл лапами снег перед собой. Казалось, охоте конец. Бельгиец передал ружье инспектору, с киноаппаратом в руках сделал несколько шагов вперед. Медведь остался лежать, только временами подымал голову, морда его была в снегу. Танко хрипло горланил:

— Ату его, Боби, ату!

Неожиданно медведь вскочил и кинулся за собакой, которая теперь бежала наискосок, к хозяину. Чома видел, как Танко, подняв ружье, ждал за редкой гребенкой леса. Боби обогнул хозяина и остановился за его спиной. Чома двинулся вперед, слыша за спиной топот инспектора с бельгийцем и тихое жужжание кинокамеры. Вилцеану шел напролом через лес. То, что произошло потом, поразило их всех. Танко побежал сначала вверх, потом вниз, вдоль леса, по пастбищу; медведь вплотную держался за ним. Все их движения были хорошо видны на снегу; собака прыгала между ними, но не приближалась к медведю. Инспектор, несмотря на неудобное положение, решил стрелять; он опустился на колено, нажал на курок, но ружье бельгийца не было заряжено. Медведь настиг Танко, высоко вперед выбросил лапу и обрушил ее ему на шею.

Когда они подоспели, Танко лежал на животе в снегу, медведь грыз его ногу; они подбежали, зверь поднял голову — лапа его упиралась в бедро Танко,— повел измученными, налитыми кровью глазами. Танко из-за плеча следил за ним и, как только медведь взглядывал на него, рукой отталкивал морду зверя. Он и сейчас не забывал, что обычно медведь охотнее всего хватает человека за голову.

— Не суетись! — заорал инспектор.— Опусти руки вниз!

Танко послушался. Монотонное жужжание кинокамеры прервал грохот выстрелов; стреляли сразу трое. Никто из них не заметил, когда в ногу Танко снова впился медведь; недвижимый, он лежал рядом с егерем, так судорожно вцепившись в него, что челюсти зверю пришлось разжимать дулом винтовки.

IV

С Чомы ручьями льет пот, в голове мучительная пульсирующая боль, от боли, раздирающей большой палец, горит вся правая рука. Но даже сейчас он жалеет, что в тот раз взял с собой дробовик, заряженный мелкой дробью; из винтовки он еще с опушки положил бы конец этой игре в салочки. «Слишком много мы болтаем о случайности,— думал он.— А она вовсе не так уж много значит. Бельгиец начал крутить аппарат вместо того, чтобы стрелять, только потому, что ему казалось: медведь долго не протянет. И вряд ли правый ствол ружья Танко дал случайную осечку. Сколько раз ему говорили: не употребляй старые отсыревшие патроны! А главное же — он испугался, вот в чем все дело. Даже не попытался воспользоваться левым стволом, а пустился наутек. Может быть, только на мгновение его охватил страх, но этого оказалось достаточно. И то, что вот эта старая падаль явилась домой, тоже не случайно. Вероятно, она возвращалась каждые полтора-два часа: зверь

был опытным, подозрительным. Но не беда, сейчас выберусь. Танко, став егерем, пошел на риск, зная, что когда-нибудь его может покалечить медведь. И я, разговаривая с главным лесничим на улице, допускал, что в будущем, много лет спустя, могу очутиться здесь, под корнями. А что можно сделать? Риск заставляет человека задумываться, но ни от чего его не удерживает».

Как только наступила темнота, медвежата очень оживились. Они не давали подумать, ходили вокруг него, иногда их дыхание щекотало его кожу. В конце концов они так осмелели, что начали рвать его штаны. Он протянул руку, сграбастал одного и отбросил в сторону.

— А ну, хватит, не то наподдам как следует,— громко сказал он.

Но собственного голоса не услышал. Закричал и снова не услышал; в ушах звучали какие-то проклятые свистки. «Уж не оглох ли я совсем»,— подумал он.

Он зажег свечу, огляделся. Делать нечего, придется себя отсюда выкапывать. Чома разобрал ружье и стволом начал расширять вход. Дело пошло, на медвежью шкуру падали сухие желтые комья земли. Но вскоре ствол наткнулся на гладкую цельную поверхность камня. Напрасно Чома пытался пробиться с другой стороны или сверху. Резкие движения разбередили боль в правой руке; сжав зубы, он снова и снова брался за работу, но его удары только высекали из камня искры.

И тогда постепенно, как охватывает человека холод, он начал ощущать опасность. Он знал, что надо набраться терпения — дело будет длительным, а точнее, продолжится до того момента, пока ему удастся отсюда выбраться.

Он оглянулся. Медвежата сидели, прижавшись к стене, испуганные глазки их поблескивали сквозь дым.

— Да,— сказал им Чома,— попали мы с вами в беду.

От свечи оставалось всего два вершка. Он задул ее, снял с камня, чтобы оживившиеся медвежата не сгрызли ненароком. Темнота обрушилась на него, охватила кругом, стеснила дыхание. Света больше не было, зато осталось сознание, что в любой момент он может зажечь свечу. А это было почти равносильно свету.

Уже несколько минут он неподвижно сидел во тьме, временами облизывая сухие губы, когда вдруг ему пришло в голову, что, если с камнем не справиться, надо вырезать один из грудных окороков медведицы. Тогда он сможет протиснуться через самую узкую часть выхода. Только окорок надо вырезать как можно шире. И тут же он вспомнил, что нож, который носил подвешенным к патронташу, остался наверху.

Он обыскал все карманы. Носовой платок. Блокнот. Огрызок карандаша. Документы. В водонепроницаемом полиэтиленовом чехольчике партийный билет и права на ношение оружия. Фотография старшего сына с семьей. Два патрона.

Все другое осталось снаружи.

Носовым платком он перевязал покалеченный большой палец, зубами туго стянул повязку. Нащупывая, отыскал цевье, отбросил в сторону — с ним ничего не сделаешь. Поднял ложе; в спусковом механизме есть острые детали, ну, хотя бы пружины. Он обломал все ногти, однако крепко завинченные винты с плоскими головками даже не шелохнулись. Во второй и в третий раз ощупал он все части ружья, а медвежата между тем, стремясь пробраться к матери, перелезли через его ноги. Крючок под спусковым механизмом показался ему наиболее подходящим.

Он подполз к медведице, отогнал медвежат. Один из них куснул его за руку; Чома ударил его без всякой злобы, просто порядка ради; он знал, что несчастные малыши сейчас ворчат и скулят, и радовался, что не слышит этого. Медведица околела, опрокинувшись на левый бок; значит ему придется заняться правой лопаткой. Он нащупал соответствую-

щее место на еще не остывшем теле, быстрыми, сильными рывками начал сдирать мех. Работал он долго и лишь тогда решил отдохнуть, когда онемевшие пальцы уже ничего не осязали. Медвежата донимали его, тормошили, налетали на него, натыкались, лазали по ногам. Он догадывался, что они плачут, и снова порадовался, что совершенно ничего не слышит.

Наконец он ощутил под ладонью голую разорванную кожу.

Как ни болел поврежденный палец, а ствол надо было держать обеими руками: у взрывного механизма под крючком и у дула. «На боль сейчас нельзя обращать внимания,— думал он.— Надо делать все так, будто у меня ничего и не болит». Он нажал крючком на ободранную кожу, навалился и рванул к себе. Крючок соскользнул. Он подполз ближе, сел медведице на голову, просунул руки в лаз по самые локти и сделал еще одну попытку, вложив в это последние свои силы: самое трудное — взрезать кожу. Крючок не очень-то подходящий инструмент — ни лезвия, ни острия, зато есть закорючка и в конце концов он же сделан из стали.

Чома трудился, время от времени проверяя результаты своей работы. Внезапно его дрожащие пальцы погрузились в узкую рваную рану.

С этого момента много часов подряд тело его находилось в ритмичном движении. Медвежата от него отодвинулись. Он вырыл две ямки для каблуков, чтобы иметь прочную опору для ног. Иногда очищал крючок от шерсти и ошметков мяса, глубоко вдыхал дымный, тяжелый воздух берлоги, к которому теперь примешивался тошнотворный запах крови, и рукавом кителя вытирал пот с лица. Никогда в жизни он так не потел, из его пор просто лила вода. Он работал в темноте, наугад рвал, выковыривал мясо, стальные мускулы, делая много лишних движений. Палец болел, боль ощущалась уже во всей руке, и ему показалось, что она распухла. Он осторожно ощупал ее.

«Рано вроде бы,— успокоенно подумал он.— Успеет еще распухнуть. А впрочем, черт его знает, сколько прошло времени, может быть, и очень много».

Несколько позже он позволил себе полминутки света. Поглядел на испуганных, щелкающих зубами медвежат, сказал им несколько утешительных слов и погасил свечу. Ему хотелось бы больше воздуха. И воды, много, много воды. Он опрокинулся на землю, вытянул обе руки, голову удобно положил на пеньковый мешок.

Проснулся он оттого, что медвежата сосали его ухо и трепали волосы. Видно, он спал довольно долго, труп за это время остыл, и малыши подобрались к живому, теплому телу Чомы. Он схватил одного медвежонка, притиснул к себе, зажав царапающиеся лапы, и подержал немного, как барахтающегося ребенка.

— Проголодался, да? — спросил он.— Потерпите, раз уж так все сложилось.

Чома погладил густую шубку, не обращая внимания на острые, вонзившиеся ему в руку когти. Услышал скуленье медвежат, их нервное урчание, услышал собственный голос, хотя свистки все еще звучали в его ушах. Он чувствовал ужасную слабость. Правая рука одеревенела, в ней билась пульсирующая боль.

Он откатил медвежонка, нашел ствол ружья, расположился на медвежьей голове и врылся в окоченелое, холодное мясо. Когда он протягивал вперед, нажимал и тянул к себе ствол, перед глазами его загоралась огненная завеса; крючок, хлюпая, прорывал себе путь. Вскоре все тело Чомы снова купалось в поту, грудная клетка, казалось, сплющилась, он был не в состоянии глубоко вздохнуть. Каждое биение сердца

отдавалось в голове. Ему было ясно, что теперь так пойдет до конца — без еды, без питья, без свежего воздуха, и отдыха больше не будет; так пойдет до конца, а в конце его ожидает либо жизнь, либо смерть. Он представлял смерть в виде холодной дымной материи, которая колышется над его головой между корней и трещин в камнях и не может опуститься на него до тех пор, пока он движется. Он представлял, что каждого ждет своя, непохожая смерть; одних — непостижимый, невидимый туман, который медленно душит человека, других — нечто напоминающее молнию; и много всяких бесчисленных форм есть у смерти. О ней могут говорить лишь те, кто уже пережил нечто подобное. Однажды и его коснулась пуля, ему показалось, будто его лягнули под мышку; но обстоятельства сложились так, что он даже внимания особого не обратил на это, а потом напрасно пытался воскресить в себе тот момент: смерть другого человека произвела на него большее впечатление, нежели то, что он сам едва не погиб.

Случилось это после войны, тогда шли иные сражения — без танков, без военных самолетов: люди хотели жить, и это им почему-то удавалось с трудом. Радость мира и освобождения звенела среди лохмотьев и пустых кладовок, отдавалась над тенями непоправимого траура, над могилами, неизвестно кого скрывавшими. Все хотели жить. Даже те, кто потерял на это право и, скрываясь в лесах с изъеденными ржавчиной ружьями, пытался вернуть его себе.

Чому тогда никто не просил, чтобы он вновь занял свой пост. Но он видел, что люди начали разбирать развалины, восстанавливать свои рабочие места,— вот и он взялся осматривать, охранять свою территорию. С коротким карабином «манн-лихер», принесенным из армии — позднее лесников вооружили такими ружьями,— он появился на старых, заброшенных охотничьих тропах и новых, военных дорогах, которые еще недавно топтали копыта навьюченных пулеметами мулов. Он был поражен, хотя другого не ждал, как мало осталось оленей и вообще благородных животных и как много развелось хищников. И человечьи следы он находил там, где некому и нечего было искать. Внешне природа, казалось, сохранилась нетронутой, но Чома знал, что это лишь руины, которые нужно восстанавливать тяжким трудом.

Вскоре он раздобыл и дробовик. Настало время, когда он снова начал получать зарплату в быстро обесценивающихся деньгах, муке, масле. Иногда он думал, что не заслуживает жалованья. Работа была непомерно тяжела, тяжела и безрезультатна. Браконьеры, волчьи стаи, непонятные болезни совершали опустошительные набеги на еще уцелевшее лесное зверье. Чома кипел от гнева: война прошла, а он вынужден охотиться на людей, и на него самого охотятся. В горах гремели ружья. Из кормушек Чомы уносили сено, опустошали его посудины с солью, крали поставленные капканы.

В тот период, осенью сорок шестого, он однажды сидел на земле и, шипя от боли, срывал с ноги железный капкан — собственный капкан, который первоначально поставил в речушке, километрах в двух отсюда,— когда вновь услышал далекий выстрел. Он быстро сдернул капкан, повесил его на ветку, чтобы потом найти — в то время трудно было раздобыть новый,— и, хромая, двинулся в направлении выстрела.

Дело шло к вечеру, солнце стояло низко. С деревьев опала большая часть листьев, и Чома, из-за того, что кто-то за хребтом разрядил ружье, чувствовал себя очень одиноким на хрустящей листве, среди голых буков. Без всяких предосторожностей он с шумом продрался на хребет, скалясь от боли: ему казалось, будто его лодыжку размозжили молотком. Наверху он долго осматривался. Память его точно сохранила грохот выстрела, в мозгу теперь шла работа, чем-то похожая на ту, что ведут над приборами наблюдения за артиллерийским огнем — надо бы-

ло учесть расстояние, направление выстрела, ветра, встречающиеся на пути изгибы местности, эхо, разницу уровней, словом, очень многое, чего он в отдельности не мог припомнить. Он обладал, правда, некоторым опытом, ему было известно, как меняется звук пехотного ружья в связи с определенными условиями,— вот и все, что он знал, а мозг и инстинкт вместе довершали остальное. Обшарив взглядом пейзаж, он не мог бы сказать, откуда взялась уверенность, что выстрел был произведен снизу слева. Но в том, что стреляли именно оттуда, он не сомневался.

Начав тихо, осторожно спускаться по покрытому мхом стоку родника, Чома вскоре оказался совсем на дне, где из-за влажности только сейчас начался листопад, а потом через глубокий овраг вскарабкался туда, откуда можно было осмотреться. Там, в нескольких шагах от обсаженной буковыми деревьями канавы, начинался редкий, молодой сосняк. Спустив предохранитель ружья, он двигался медленно, но не бесшумно, потому что идти пришлось по собравшейся на дне балки опавшей листве.

Чома взобрался по крутому склону навстречу едва достигавшим его груди молодым сосенкам и тотчас заметил труп оленьей матки. Живот ее был взрезан, часть потрохов — теплых и дымящихся — валялась на земле. На секунду это зрелище привлекло его внимание; лишь потом в бурой ровной тени он увидел верх вытертой меховой шапки, морщинистый, потный лоб, прищуренные глаза под лохматыми бровями и дуло с заржавленными краями.

Браконьер стоял шагах в восьми от него возле сосны. Разросшаяся поросль сосняка прикрывала его до подбородка, ствол ружья был выдвинут вперед между сосновыми ветками. Чома оперся на здоровую ногу, ружье он держал обеими руками, но как-то накрест и теперь уже не мог его подвинуть. Он в упор глядел поверх мушки в блестящие, желтоватые глаза; все зависело от того, успеет ли он вовремя прочесть, что в них написано. По потному носу браконьера катились капли пота. «В сердце целится»,— подумал Чома. Такая обстоятельность ужаснула его. Было ясно, что браконьер уже преодолел раздумья и бессмысленные надежды. Желтоватые глаза сузились в щелочку, пропали среди морщин; сжимавшая приклад рука, коричневая, словно ее окунули в раствор дубильных листьев, не двигалась, но жилы на ней напряглись. Чома внезапно отклонился в сторону, переместив вес всего тела на поврежденную ногу, и тут почувствовал пронзившую его до бедра боль, ощутил жар огня из дула, и ему показалось, будто его пнули под мышку; затем он разрядил свое поднятое на высоту груди ружье, и это все решило.

Густые хвойные заросли поддержали тело браконьера. Он остался стоять, наклонившись вперед; шапка его скатилась, голова повисла, руки коснулись земли, словно он хотел поднять что-то, им оброненное. Сосенки медленно согнулись, сбросили с себя груз и снова выпрямились. Чома, топча оленьи внутренности, подошел ближе. Браконьер лежал на боку, волосы его слиплись от пота, у него не было ни носа, ни глаз.

На рассвете Бори встала посмотреть, не проступила ли сквозь повязку кровь. Чома лежал с открытыми глазами, рот его был белым и сухим, под скулами ходили желваки, как будто он жевал что-то жесткое.

— Лучше б я туда не ходил,— сказал он.

— Да забудь ты!

— Не могу.

— Заслужил этот подлец. Коли б от него зависело, сейчас ты бы лежал в лесу, и никто бы об этом не знал, и тебя бы разорвали лисицы.

— Вероятно, разорвали бы,— сказал Чома.— В этом ты права. Я знаю, так уж устроен мир: оба мы не могли выпутаться. Но потом бывает очень скверно.

— У тебя, наверно, лихорадка. Хочешь воды?

— Хотел бы — вышел бы на кухню да напился,— сказал Чома.— Все у тебя слишком просто.

V

Несколько часов он мучился с костями и все это время не мог избавиться от мысли, что лучше бы ему тогда не находить наполовину выпотрошенную тушу. Но, как видно, ее суждено было найти, коль скоро он искал, а потом оставалась только одна возможность. Бори была единственной, с кем он хотел поделиться, какие горькие чувства его терзают; она не поняла, а другим он потом так ничего и не сказал. Он редко об этом думал и совсем никогда не говорил; но что-то, от чего он едва ли сможет освободиться, легло ему в тот день на душу. А ведь он сделал то, что был обязан сделать. Он всегда так поступал, за исключением случая в Констанце, когда пропил деньги, которых все-таки хватило бы на половину дороги; что ж, однажды и с ним такое случилось — однажды и ему не удалось сохранить верность самому себе.

Хорошо бы лечь и предоставить сну все разрешить. Адски хочется спать, заснул бы в одно мгновение. Но нельзя. Он знает, что нельзя. Никакой отдых не вернет ему силы в этой берлоге; силы все убывают, даже когда он ничего не делает.

Кости, наконец, разнялись. Теперь надо сделать несколько спокойных вдохов. Воздух, даже по прошествии долгого времени, все еще горек от порохового дыма, пропитавшего все клеточки его легких. Прекратив работу, Чома сразу стал беззащитным; он мешком рухнул на землю и заснул или, быть может, потерял сознание. К счастью, медвежата кусали, царапали его, где только могли ухватить. От боли он пришел в себя; ему казалось, что правой руки у него уже нет, на ее месте осталась лишь тупая ноющая боль. Но мысли были ясны. Он ощущал вокруг себя всю свою жизнь, все то, что произошло, и то, чего не случилось; все здесь с ним в этой темной пустоте, под занавесом из корней, в душной тьме, куда его, наконец, привели воспоминания. Путь его вел прямо сюда; и теперь он думает, что если б когда-нибудь признавал смирение, возможно, здесь бы истлели его кости. Когда человек разочаруется в себе, окажется мельче, чем он себя считал, в нем непременно что-то надломится и, быть может, никогда больше не срастется.

Несколько раз сознание покидало его, он падал лицом вниз, лбом касаясь слипшейся от крови медвежьей шкуры, а когда приходил в себя, продолжал работать.

Так наступила минута, когда он ухватил тяжелый окорок, рванул на себя и вместе с ним упал навзничь, головой пропахав сплетения корней.

И на этот раз привели его в сознание медвежата. Он лежал неудобно, с подвернутой под себя ногой, на грудь ему давила медвежья ляжка. Еще лежа, он заметил расплывающееся бледно-серое пятно: свет. Он пробил чуть было не ставшую вечной темноту. И свет он увидел бы раньше, если б не упал так неудачно.

В одно мгновение Чома всем своим существом ощутил этот просачивающийся снаружи дневной свет. Потом схватил медвежат, засунул их в мешок. Они уже ослабели, едва возились, пора их было поить молоком. Он выбросил ложе ружья, отодвинул ствол, но лишь настолько, чтобы в случае надобности достать его. Завязал мешок ремнем от брюк, туго прикрепив его к левой лодыжке. А сам улегся на медведицу животом, протиснулся в лаз и, вытянув вперед руки, цепляясь за длинный,

мягкий мех, начал проталкиваться наружу. Скулящих в мешке медвежат он тащил за собой.

Не вставая, на четвереньках он продрался сквозь заросли, прополз между редких деревьев — в кустах он словно бы и не дышал — и вдруг ощутил влажную весеннюю землю и сильный запах сосновой смолы, услышал, как внизу, обмывая камни, журчит вода. Был полдень; вчера в это время он проходил мимо укреплений. Сейчас тоже дул ветер, безлистый старый клен едва заметно колыхался под сверкающим небосводом; рюкзак, бекеша, патронташ невредимо валялись на земле, тень спутанных ветвей неслышно разгуливала по ним. Вот этот мир, приносящий человеку столько забот; пока он состоит из гор, деревьев, ветра и холодных солнечных лучей — остальное лишь обещание. Искусанные, окровавленные губы Чомы раздвинула улыбка, как уже не раз бывало с ним в лесу; мир обещает, обещает другое — то, чего здесь нет, что и не вместилось бы в этой узкой долине. Чома даже не чувствовал, что закончил дело, ведь теперь ему еще надо было идти к ловашскому наблюдательному посту. «Странно,— думал он,— все наши дела получают смысл только при участии других людей. Мне в этот прекрасный день нужен еще Пишта Локоди».

Днем, когда Чома уже устроился среди ветвей, Локоди вышел из дома и остановился на проезжей дороге. Посыльный Народного Совета давно ушел; в огороженных жердями, похожих на загоны дворах никого не было, только ветер трепал нежную весеннюю траву. Построенные вразброс дома — их, казалось, было меньше, чем дворов,— немы и безжизненны в солнечном свете. Локоди задумался над тем, куда идти; даже мысленно он старался избегать тех мест, где окажется в одиночестве.

Получив весточку от Чомы, он почувствовал, наконец, настоятельное внутреннее понуждение: пора настала, надо действовать не завтра или когда-нибудь еще, а именно сегодня.

Локоди сунул в рюкзак еду и два одеяла — ничего больше. Но сколько бы раз он ни пытался решить, где проведет ночь, ему приходили в голову только дома лесничих, железнодорожные сторожки, хутора, населенные районы лесоразработок.

«Там видно будет,— решил Локоди.— Не горит. У меня еще есть время».

Он медленно расхаживал среди домов и дворов, поднялся на крутой, размытый склон холма и уселся на его вершине вблизи хвойного леса. Посмотрел на село. Сейчас, ясным днем, у него была возможность подумать о предстоящих трудностях; когда он пойдет в лес, свет будет с ним рядом, а когда померкнет, Локоди окажется в темном одиночестве. Надо только выдержать. «А почему бы мне не выдержать,— думал он.— Чома знает, что я выдержу. Он слов на ветер не бросает». Локоди понимал, что решают все именно эти часы, а не ночные; сейчас он должен сделать то, чего до сих пор трусливо избегал.

С тех пор как он заговорил с Чомой, многое представилось ему в ином свете. Теперь он признавал, что его смелость при свете дня вовсе не смелость, а нечто другое — ведь еще никогда ему не удавалось побороть в себе даже малейшее чувство страха. Вынужденное признание было неприятно — хотелось жить в убеждении, что он не хуже любого другого. Еще с детских лет мужественная, суровая работа егерей казалась ему убежищем, особым миром, в котором трусость — бездомная гостья. В этот мир он страстно жаждал попасть. И он в него попал, полюбил его, ни за что на свете не хотел от него отказаться. Но сам Ло-

коди не изменился. Не удалось. И теперь, на вершине холма, он с ненавистью думал о своих товарищах по солдатской службе, по курсам, которые охотно, ничего не подозревая, менялись с ним дежурствами и в конечном итоге всегда избавляли от необходимости выстоять, выдержать характер. Они позволяли себя использовать, и он использовал всех, кого только мог. Чому он не пытался использовать, скорее, ему хотелось быть на него похожим. С ненавистью он думал и о себе — о том, что не вскакивает, не спешит в лес, как можно дальше от людского жилья,— ведь Чома-то наверняка уже отправился в путь.

Однако с места Локоди не двигался. Где-то там, куда падали тени, находился Чома — крошечный человек среди высоких деревьев и еще более высоких гор. Он шел, черные глаза его пытливо вглядывались в лес; а может, он уже добрался до места и сидит в засаде. «Что ж это за место? — спрашивал себя Локоди.— И какая там берлога? Во всяком случае, медвежат он поймает, ему все удается. Но почему не удается мне? Если я возьмусь — и мне удастся. И меня ведь не аист высидел». Внутреннее побуждение, вначале так взбодрившее Локоди, теперь стало явно его тяготить. В отчаянии он курил сигареты и наблюдал, как склоняется к горизонту солнце.

Он вернулся домой в сумерках, сбросил в углу кухни рюкзак. Тихий стук привел его в себя. «Ничтожество я,— подумал он.— Жалкий трус». Горел огонь, ребенок спал. Локоди не любил, когда сын засыпал так рано. Явилась от соседей Эржи, маленькие сапожки ее застучали по доскам крыльца. Увидев рюкзак, она радостно воскликнула:

— Ты не ушел!

Она гордилась профессией мужа, но одинокие ночи расхолаживали ее; Эржи вышла замуж очень молоденькой, она только сейчас стала зрелой женщиной. Локоди одной рукой притянул к себе жену, носом пощекотал ей висок и недовольно пробурчал:

— Еще неизвестно, возможно, я уйду. Почему ты разрешаешь малышу спать в такое время?

— Потому что он малыш,— решительно отрезала Эржи.— И не все ли мне равно, проснется он ночью или нет,— он ведь ничего не понимает. Лишь бы молчал! К счастью, он не плакса.

Локоди отпустил жену и оглянулся, словно ища чего-то. Он чувствовал усталость, его изнурили дневные раздумья, новое разочарование в самом себе; ему так и не удалось ни примириться с собой, ни решиться, наконец, действовать. Как приятно было бы нырнуть к Эржи в постель и как неприятно думать о Чоме, о завтрашнем и многих других днях! Ведь все осталось по-прежнему. Слушая, как Эржи напевает и смеется, готовя ужин, он раза два даже порывался отправиться в путь, в лес.

Эржи уже спала, когда муж ее, наконец, отважился. Локоди оделся в темноте — к счастью, рюкзак не был развязан и найти его оказалось легко. Он был трезв, решителен и охвачен каким-то странным жаром. Если и эта ночь пройдет без пользы, на что ему еще надеяться? Натягивая сапоги, он на мгновение застыл неподвижно, прислушиваясь к едва слышному дыханию ребенка и спокойному, удовлетворенному посапыванию Эржи. «Довольно,— подумал он.—Больше я не поддамся». И снял с вешалки ружье.

На крыльце его сразу пробрал ночной холод. И вместе с ним шевельнулся страх. Спускаясь во двор, он с каждой ступенькой глубже погружался в холодную, отвратительную темноту, в одиночество — в то, чего на сей раз сознательно искал. Вдруг он отступил обратно, прижался к стене, зарядил ружье. Он чуть было не расплакался от стыда, но тут же утешил себя: «На моем месте и Чома не был бы таким храбрецом. Но ему-то легко. Ему все удается». Раньше в беспокойные ночи ему часто приходило на ум, что он самый разнесчастный

человек на свете и что нет смысла продолжать мучения; его манила вялость капитуляции, словно дальний, теплый свет — он направился было к нему, но там вдруг тоже натолкнулся на шлагбаум страха. Если уж надо перепрыгнуть шлагбаум, зачем же прыгать на дорогу, ведущую к смерти? Но сейчас он все-таки взял ружье, положил приклад на доски крыльца и, хотя в темноте ничего не видел, заглянул в дуло: в нос ударил острый запах ружейного масла. Он и в школе долгое время держал у себя кусок веревки со свежим смолистым запахом. Пальцы его нащупали курок, но он с ужасом следил, как бы нечаянно не дотронуться до него, ясно отдавая себе отчет в том, что заряженное ружье — штука опасная, и резко отдернул голову. До тех пор, пока есть другая возможность, нет. Когда-нибудь, быть может, другого выбора не останется.

Он пошел в кухню за спичками.

В этот час Чома, уже долгое время пробыв под корнями, из последних сил боролся за свою жизнь. Локоди выкурил на крыльце сигарету, несколько минут тихой дрожи успокоили его душу: в конце концов будут еще ночи, когда он сможет проявить себя. Он зашел в дом, разделся, нырнул в постель рядом с Эржи; для сна оставалось всего несколько часов.

●

Ловашский наблюдательный пост стоит под огромными соснами. С него видны заросли многолетних лесосек, свежая вырубка напротив и вся вширь и вглубь раскинувшаяся долина, облюбованная оленями. Здесь проходит граница двух соседних егерских участков. В ненастье наблюдательный пункт большей частью непригоден, его окутывают облака. Но теперь погода ясная. Чома добрался сюда в сумерки и среди сосен заметил Локоди. Тот сидел на нижней ступеньке лестницы, оперев локоть на ладонь, и курил, целиком чем-то поглощенный. Его поза свидетельствовала о том, что он давно сидит неподвижно. В свете заходящего солнца между толстыми, скрепленными друг с другом бревнами он казался слабым и худым.

Чома осторожно шагал по твердому, плотному снегу, он умел ходить бесшумно. Все же Локоди услышал шаги, резко обернулся и спокойно заулыбался, словно ему и в голову не приходило, что он может прождать напрасно. Он лениво поднялся, вскинув на плечо ружье, пошел навстречу. Здесь, возле наблюдательного пункта, не осталось и следа снега, даже почва была сухой, Чома ступил на сухую землю, медленно волоча ноги. Путь его был долог и труден, но он как будто набрался сил, когда немного подкрепился, и ощущал только тяжелый угар во всем теле.

— Ты ранен?

— Нет,— ответил Чома.— Это не моя кровь. Надо выстирать одежду, только и всего. Тут два медвежонка, Пишта. Очень славные. Неси их домой, они сильно проголодались. Я подремлю немного, потом тоже пойду.

Он поднял лихорадочный взгляд на Локоди; последние двести метров, не ранее, он начал бояться этой встречи. Боялся, что Локоди будет слишком измучен; для него, быть может, эта ночь была более тяжким испытанием. Прошло несколько часов, пока он поел, напился и побрел сюда; теперь его огорчало лишь то, что пришлось застрелить медведицу.

Чома не знал, что он бледен, знал только, что страшно грязен, на груди и руках кровь пропитала не только китель, но и рубашку, а в волосах засохли клочья мяса. Чома не мог видеть своего лица, но, взглянув в лицо Локоди, догадался: этой ночью тот снова дал себе отсрочку.

Локоди между тем развязал мешок, заглянул в него, сунул в него руку. Чома подошел к наблюдательной вышке, сел на нижнюю ступеньку

лестницы, уставился на носки своих сапог; они тоже были в крови, а ведь он мог вымыть их в речке. Но он торопился, чтобы поспеть вовремя.

— Тебе пришлось убить старуху?

Чома кивнул. Не поднимая глаз, он сказал:

— Ну, отправляйся.

Солнечный диск быстро скрывался за горами. Свет его с минуты на минуту становился все бессильнее. Локоди бросил кругом быстрый взгляд, торопливо завязал мешок и поднял его, стараясь определить вес.

— Хороши,— сказал он.— Отдышись-ка и расскажи. Я очень испугался, когда увидел тебя в крови. Ты это днем сделал?

— Нет охоты рассказывать. В другой раз. Иди.

— Да, но...

— Медвежатам нужно молоко, понимаешь?

— Знаю,— Локоди снова взглянул на запад.— Но десять минут они еще потерпят. На десять минут позже. Большого значения это не имеет.

— Десять минут тоже могут иметь значение.

— И вообще я лучше пойду с тобой. Тебе плохо, я вижу. Я пересплю у вас в комнате для гостей, а утром...

— Никто не должен знать о медвежатах,— перебил Чома.— Даже моя жена. В конце концов... ты их поймал. Ты должен побыстрее отнести их домой.

Локоди смотрел, как садится солнце. Челюсти его сжались, он изменил тон:

— И речи быть не может! Правая рука у тебя висит, как колода, я прекрасно вижу, и черт знает что там еще с тобой случилось. Право, не стоит тебе из-за меня отправляться одному в путь в таком состоянии. Я скорее от медвежат откажусь, чем тебя одного оставлю.

Чома чувствовал, что лучше ему не смотреть на Локоди; опустив голову, он сказал угрюмо и очень спокойно:

— Слишком поздно ты от них отказываешься. Я их уже поймал. И сделал это для тебя.

— Знаю. Но я...

— Я тоже знаю. Но ты... не перепрыгнул. Не беда, прыгнешь сейчас, Пишта. Ночь, я вижу, будет хорошая. Пойдешь в темноте домой, а завтра отнесешь медвежат Мюллеру.— Он глянул на Локоди и добавил: — Или вылетишь из лесничества.

Он видел, что Локоди бледен, как год тому назад в шалаше, когда выли волки. Лицо его бело, а лоб покрыт красными пятнами, и глаза так светлы, что неприятно смотреть.

— Значит, вот ты на чем спекулируешь! — закричал Локоди.— Поэтому и время тянешь!

— Тяну? Я все время тороплю тебя.

— Хорош друг, нечего сказать.

Чома невольно улыбнулся — смешно, что Локоди говорит это именно сейчас. Ему хотелось взять мешок на спину и отнести его домой, не обращая внимания на плетущегося сзади Локоди. Но это было уже невозможно. Не для того он ловил, не для того тащил сюда медвежат, чтобы нести их к себе домой.

— Я делаю это ради тебя,— сказал он.— Оставлю тебя одного. Тебе это необходимо. Только так я могу тебе помочь.

Он встал, посмотрел в долину, где над речкой, в защищенной от ветра глубине, стлался белый пар. Теперь недолго ждать полной темноты, а темнота, думал он, научит Локоди, какое замечательное чувство — побороть страх.

— Иди,— сказал он.— Неси медвежат, им нужно молоко.

Он шагнул между сосен на твердый, скользкий снег, сгорбившись, продрался сквозь спутанные ветви, покрытые серым лишайником. Ему

придется идти теперь часа три, быть может и дольше, но без мешка будет не так тяжело. Выдержать можно. Все можно выдержать, если есть в этом смысл.

Локоди плелся в нескольких шагах позади с мешком и ружьем за плечами. Темнота часто приближалась к нему, но никогда он не мог глянуть ей в лицо — всегда находилась другая возможность, и теперь она есть: он привык ничего не оставлять неиспользованным.

Чома чувствовал, как постепенно возвращаются к нему силы. Он мог бы до дому слушать шарканье Локоди, собственно говоря, это было единственное, что он теперь мог, но он привык не использовать, а создавать возможности. И он не желал, чтобы все, что с ним произошло, потеряло смысл. Не желал, чтобы Локоди дал себе новую отсрочку. «Прежде чем ударить,— подумал он,— я еще раз предупрежу его». Он замедлил шаги — пусть меж ними уменьшится расстояние.

— Останься, Пишта, очень тебя прошу. Я пойду домой один.

— Я тебя провожу,— с жалким смирением произнес Локоди.

— Нет, я пойду домой один.

— Но ведь мне не нужны медвежата, я тащу их для тебя, мне ничего не надо, всего только...

Челюсти его глухо хрустнули, может быть, удар был очень сильным, но Чома хотел действовать наверняка, потому что мог пользоваться только левой рукой. Локоди рухнул на землю, мешок со скулящими медвежатами далеко откатился в сторону и застрял у толстого корневища. Чома поспешил дальше, вздрагивая, будто в лихорадке, а возможно, она у него и была. Он хотел добраться до седловины, с которой сошел снег, там не останется следов, там он даже спрятаться может.

— Стой!

Чома резко остановился, медленно обернулся, сдерживая бешеный гнев и думая о том, что следовало ударить сильнее. Как видно, он недооценил выносливость Локоди — он едва прошел шагов сорок, а тот уже на ногах и, озверев от боли, густеющего мрака и поражения, целится прямо в него. Над дулом бело светятся его глаза.

— Не двигайся, пока я подниму мешок и подойду!

— Если ты приблизишься,— от гнева Чома говорил так тихо, что не был уверен, слышит ли его Локоди,— я снова ударю тебя. А за то, что осмелился поднять на меня ружье, получишь особо. Мы люди, Пишта. И друг за друга в ответе. Но для тебя весь мир — как овца для клеща. Торопись домой, медвежатам нужно молоко.

Не колеблясь, он снова двинулся в путь, ибо это был его путь, единственный. И тогда прямо по середине спины он почувствовал удар, который отдался в груди. Из разорванного кармана кителя широкой лентой на снег посыпались красные бусы. Он лег, зарыв в бусы лицо. Снег уже не был ни холодным, ни белым.

Локоди стоял неподвижно, теперь у него не оставалось иной возможности, надо было перепрыгнуть шлагбаум, но он хотел подождать еще немного, словно давая Чоме время проторить ему дорогу.

Американские поэты последнего десятилетия

Вступление и перевод
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Основное содержание каждой поэтически плодотворной эпохи в Америке — борьба (а вернее — взаимное обогащение) двух постоянно действующих сил американской культуры. Первая, условно говоря, традиционализм. Условно, ибо уже в первый период расцвета американской поэзии Эдгар По, сознавая себя носителем европейской культуры, создавал произведения небывалые и вне Америки не мыслимые. Его антагонист Уитмен — городская фольклорная стихия, он вывел поэзию на улицу и придал ей звучание высокой народной речи. В эпоху Поэтического Ренессанса 10—20-х годов интеллектуалы Фрост и Робинсон противостояли уитменовцам Сэндбергу и Уильямсу. Как справедливо говорит И. Левидова в своей статье «Об американской поэзии наших дней», публикуемой в этом номере журнала, сейчас два главных направления в поэзии США — университетские и разговорные поэты.

К лучшим и самым характерным университетским поэтам принадлежат Ричард Уилбер и Уильям Снодграсс. Это они в значительной степени определяют ее духовный облик. Сознавая свое влияние и ответственность, они недвусмысленно и безоговорочно выступают за мир. Устами американского летчика («Воспоминания о единственном стуле») Джон Чиарди заявляет, что война бессмысленна и аморальна.

К поэтам разговорного направления принадлежат в первую очередь битники.

Оставим в стороне газетную шумиху и литературные скандалы. Поэзия битников, на мой взгляд, поразительно жизнеспособна. Талантливейший из них Аллен Гинзберг расширяет границы эстетически прекрасного, вводя в поэзию новые образы и темы. Подробное описание свалки в «Сутре подсолнуха» — не эпатаж и не демонстрация мастерства, это приговор бесчеловечной машинной цивилизации от имени человека.

Дениза Левертов тоже пишет свободным разговорным стихом, однако к битникам ее никак не отнесешь. Если Гинзберг трагедиен, то Левертов гармонична. Мир для нее — бесконечное чередование событий. Перечное дерево — не только часть пейзажа, старик негр с собаками — не только жанровая сценка. Это — события, как в свое время под кистью Ван-Гога событием стал стул, а у американского художника Эндрью Уайеса стала событием старая деревенская спальня. В век наступления машин Левертов пишет о значительности человека и одухотворенной человеком природы.

РИЧАРД УИЛБЕР

Событие

Как горсть семян, влетающих обратно
В ладонь, вся местность мелких черных птиц
Взмывает в центр небес, и непонятно,
Что заставляет их лететь на юг,
Не зная ни сомнений, ни границ,
С родных полей и далей снявшись вдруг.

Где индивидуальность? Туча стаи —
Как отпечаток пальца в небесах!
Мгновенным образом я заставляю
Их, опрометчивых, застыть на миг
В моих не столь стремительных зрачках,
В не столь летучих помыслах моих.

Они роятся, небеса безумя.
Распалась стая, птицы по одной
Из глаз исчезли, и силком раздумий
Остановить их вновь — напрасный труд.
Меж тем, образовавши в небе строй,
Они летят и мысли вдаль влекут.

Меня возносят к небу птичьи крылья,
Я их стараюсь прикрепить к земле.
Вся сила слов и все словес бессилье
Так явственны, и видно в этот миг,
За птицами скользящий на крыле,
Каким извечным спором создан мир.

■

Развивая Ламарка

«Окружающая среда создает орган».
ЛАМАРК

Не правы древние — в глазницах нет
Сиянья, что из них спешит пролиться:
Не наше зренье осветило свет,
Но солнце отворило нам зеницы.

Не в нашем ухе зародился звук,
Но слух наш породило птичье пенье:
Дрожащий воздух, полня все вокруг,
Смог даже Трою вызволить от тленья.

Податливость ручьев, упорство гор,
Отрава ягод, лилий волхованье
Ввели в неведомое до сих пор,
Дав осязанье, вкус и обоняние.

Там все извне, но тут наоборот,
Тут чувство равновесья ищет заводь
Средь темных мыслей, как средь бурных вод.
Но только разум обучает плавать.

Ньютонов счет на лирах наших дней
Ведет нас к небывалым ощущеньям,
А у потоков мыслей и страстей
Сирены, как всегда, смущают пеньем.

■

Мальчишка у окна

Смотреть на бабу снежную в снегу,
На холоду — ему невыносимо.
Он плачет, видя мчащуюся мимо
Его окна вечернюю пургу.
Слезливый взгляд его не достает
До бабьих глаз, глядящих не моргая.
Покинутая баба у ворот —
Как Ева, отлученная от рая.

Но бабу только радует мороз —
В тепле домашнем можно лишь растаять.
Мальчишка в доме плачет неспроста ведь.
Печальной бабе жаль его всерьез.
И на чернильном яблоке глазном
Мелькает вдруг слезинка состраданья
К мальчишке за светящимся окном
В тепле, в любви, в тоске непониманья.

УИЛЬЯМ СНОДГРАСС

Апрельская инвентаризация

Зеленое покрылось белым,
Цветут вишневые сады.
Я год не занимался делом,
А получал, как за труды.
Весна вошла в свои права.
По осени сойдет листва.

Мне облысеть придется тоже.
Студентки же из года в год
Все отчужденней и моложе —
Их невозможно брать в расчет.
Я весь в опавших лепестках,
Они, как перхоть, на плечах.

Мои студентки, ухмыляясь,
Меня лишают нужных слов:
Я вспоминаю, что лишаюсь
В придачу к волосам зубов.
Не стать мне до скончанья дней
Ни деловитей, ни юней.

Я как-то разродился списком
Всего, что мне пора бы знать,

И сообщил родным и близким,
Что думаю практичным стать.
Мой психоаналитик рад
Был списку — год тому назад.

Я, в сущности, не враг теорий,
Но книг про книги не зубрил.
Чего-то дату знал, но вскоре
И ту, конечно, позабыл.
А мой сосед в лесу цитат
Напыщен, славен и богат.

Всем девам в классе пел я: Дьюи,
Воззренья, Уайтхед, форма, миф.
Одной же промычал, ликуя,
Прелестный Малера мотив.
И чем я приглянулся ей:
Ни долларов, ни степеней.

Я научился огрызаться,
Ценить себя, любви не ждать,
Простым и ласковым казаться
И всех несчастных утешать.
Но я не знаю, где, когда
Придет победа иль беда.

Я не уверился в обмане,
Что за мечтой идти назад,
Что лишь телесное желанье
Воспламеняет шалый взгляд,
Что я люблю, что мир мне мил
И что реален милый мир.

Пока ученый держит речи
И язву развивает впрок,
Я сквозь очки мои замечу
Спорхнувший с груши лепесток.
Есть ценность — присягнуть готов —
Не только в золоте зубов.

Листва спечется в перегное,
Девчонки превратятся в жен,
Но все же есть у нас такое,
Что придает всему резон,
Что охраняет в нас людей
Для нас самих, не для врачей.

Отпуск на десять дней

Из тьмы вагона он на свет ступает,
Глядит на вязы, как на чудеса.
Теперь возможно все: он проболтает
Всю ночь с друзьями. Вот их голоса.

Сквозь веки светит полдень, но в постели
Он нежится, не открывая глаз,
И думает: «Неужто, в самом деле?
Мерещится уже который раз?»

Но нет. Отец рассказывает сыну
Домашние известия, а тот
Как будто смотрит старую картину
И все, что будет, знает наперед.

Или как будто вдалеке от дома,
В краю, где ты наверняка впервой,
Все в незнакомом кажется знакомо,
И мучит мысль: «Что это вдруг со мной?»

Но нет, тут старые приметы быта.
Во сне кинокартину создал он
О том, что было намертво забыто,—
И выскользнул из сна. Но этот сон

Хранят, как старомодное именье,
С годами превращенное в музей.
Здесь жил, творил и умер некий гений,
Здесь все сохранено до мелочей:

Дом, где он жил, лужайка, где гулял он,—
Как все похоже! Человек идет
Немым туристом по бесценным залам.
Не прикоснись! Иначе пропадет

Тот сон, которым так он потрясен.
Когда он вновь увидит этот сон?

■

ДЖОН ЧИАРДИ

Воспоминания о единственном стуле

Все это было и стало сном
(Я чмокнул покойницу и улизнул),
Я с этой девицей не был знаком,

Я ей подмигнул и пошел напролом.
В углу стоял одинокий стул.

Все это — свет луны вдалеке
(Мы, может, курим, а может, пьем),
Я имя сменил и ушел налегке.
Полковник не вышел тогда из пике.
Печальный стул завален тряпьем.

Все это наше на нем тряпье
(Штабы и во сне не видали ракет),
Я понимаю — кругом вранье,
Зло не чужое, добро не мое,
Ничего, кроме тряпок на стуле, нет.

Все это так, как велел приказ
(Кто уже без вести, кто еще цел),
Я дал трассирующими на глаз,
Со стулом комната взорвалась.
Ты нахлесталась, я протрезвел.

Все лишь мечта, и по ней мы бьем.
На стуле призрак при слабых звездах,
На стуле, заваленном нашим тряпьем.
Я чмокнул труп и ушел живьем,
И снова вывел машину в воздух.

Все это сон, смотри — не проснись!
(Полковник приходит, полковник уходит),
За то, что на Токио сверху вниз
Звезды и полосы полились,
Меня медалью облагородят.

Все тихо, только снежинки летят
(Тодзио пляшет в петле — за всех),
Мы молотом били, мы били в набат,
И лишь потому это был не ад,
Что мы победили — тогда и тех.

Все лишь торгово-победный гул
(Пляшущих висельников торжество),
И наш печальный единственный стул —
О, если бы я на него взглянул,
И я загрустил бы — но что с того?

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ

Сцены из жизни перечных деревьев *

I

Перечные деревья!
Кошки потягиваются в дверях,
уверенные в себе. Утро.
Но перечные деревья
застенчиво стоят в стороне, на них скромные
красные ягоды.
Ветка над веткой —
воплощение легкости; тени
легко разбросаны.
Тень
заползает под кошку.
Выше и выше встает солнце,
уверенное в себе.
Перечные деревья
легко подрагивают.
Черная, как сажа,
мускулистая кошка
вспрыгивает на нижнюю ветку. Листья
смыкаются вокруг нее.

II

Желтая луна мечтательно
склоняется к пуговкам света
внизу, между листьями. Маримба **,
маримба — из глуби
черной улицы.
Кто-то танцует,
кого-то
гонят в три шеи
оттуда. Тени кошек,
обвиваясь вокруг стволов, лежат
на обнаженных узловатых корнях.

III

Человек спит в постели,
беззащитный. Смотри —
его длинные голые ноги
греют друг друга. Его
сузившиеся плечи
и голова
еле видны. Он хороший.
Пусть он спит.
Но третье дерево
волнуется, содрогаясь
тонкими листьями в свете
полудня. Выждав немного,
оно подходит и начинает стучать
охапкою красных ягод
в его окно. Разбудит ли?

* Американское тропическое дерево, лиственное, вечнозеленое, дает густую тень.
** Музыкальный инструмент, род ксилофона.

Музыка

Мелодию
движет
вниз по реке
цепочка барж,
едва
освещенных
в синем вечере,— туман
придает каждому огню
ореол,
движущийся с
рекой, но не
вплавь, быть может,
чуть быстрее
или, может,
медленнее?
Пение,
когда оно тихое,
пение
с оркестрованным
потрескиваньем и почти
неслышным жужжаньем ложится
на стремленье реки
к морю.

Меррит-аллея

Как будто
вечно они гонятся, те, которых
мы гоним...
Под тусклым небом, где
при зажженных огнях звезда
пронзила туман, теперь
размеренное
постоянное
в шесть наших рядов
движение, как во сне...

А люди — мы сами!
Разумные, из нутра
машин появляемся
лишь у заправочных станций,
неуверенно
рассматривая друг друга,

торопливо пьем кофе
у автоматов и мчимся
назад к машинам,
исчезаем
в них навсегда
ради движенья...

Там и тут дома за пределами
замкнутого пути, деревья-деревья, кустарники,
мимо них, мимо нас
автомобили —
перед нами,

обгоняют, подгоняют сзади
и
слева летят навстречу,
слишком блестящие,
неумолимо скользят

в шесть рядов,
на юг и на север мчатся,
невнятно ворча...

Под дождем

Черное лицо старика под фонарями
отливает золотом, словно камешки
под водой,— старик прогуливает
под дождем двух беспородных
собак, маленькую и здоровенную,
по отдыхающей предвечерней улице.
Маленькая верткая тянет в сторону,
послушная зову мусорной урны,
а здоровенная курчавая
тянет вперед: лоснящийся тротуар
сулит ей таинственные соблазны.
Дождь усиливается. Старик без шляпы,
он улыбается и бормочет себе под нос.
Меняется освещение: бесконечный церковный
свод улицы отражает литургически —
рдяные ноты. Старик дрейфует

меж вожделеньями двух собак.
Все трое сворачивают на перекрестке,
они объяты своим ощущеньем друг друга,
ощущеньем радости,
погоды, уличных углов,
ленивыми своими разногласиями
и сугубо личным молчанием.

АЛЛЕН ГИНЗБЕРГ

Моя утренняя песня

И вот я погубил
пять лет в Манхэттене
жизнь распадалась
талант опустел

болтая бессвязно
думал терпеливо
как счетная линейка
или арифмометр

подписанный в трех копиях
прогноз погоды
быстрый исполнительный
оклад грошовый

двадцатилетний
юность на торжище
плакал в конторах
на пишущих машинках

обманывал множества
как заговорщик
линкор озонатора
серьезный бизнес

каждый месяц
пили мою кровь
и это вошло
у меня в привычку

от двадцати двух
до двадцати семи
пять лет работал
ни цента в банке

рассвет только солнце
восток дымится в спальне
я осужден на ад
надрывается будильник

Сутра* подсолнуха

Я бродил над рекой по свалке, и присел в огромной тени паровоза Сазерн пасифик, и глядел на закат над домами и плакал.
Джек Керуак сидел со мной на ржавой изогнутой балке, друг, и мы, бесцветные и печальные, одинаково размышляли о собственных душах в окружении узловатых корней машин.
Покрытая нефтью река отражала багровое небо, солнце садилось на последние горы над Фриско, в этих водах не было рыб, а в горах — отшельников, только мы, красноглазые и сутулые, словно старые лодыри у реки, сидели, усталые и себе на уме.
— Посмотри на подсолнух,— сказал мне Джек;
на фоне заката стояла мертвая серая тень, большая, как человек, возвышаясь из кучи изгнивших опилок,
я приподнялся зачарованный — это был мой первый подсолнух, память о Блейке — мои прозрения — Гарлем
и пекла восточных рек, и по мосту лязг сандвичей Джоза Гризи, трупики детских колясок, колеса без ободьев,
черные и забытые, стихи на речном берегу, стальные ножи — все ржавые,— и лишь влажная грязь и все эти колющие глаз отбросы уходят в прошлое —
серый подсолнух на фоне заката, потрескавшийся, унылый и пыльный, и в глазах его копоть и смог** и дым допотопных локомотивов —
венчик с поблекшими лепестками, погнутыми и неровными, как

* Сутра *(санскрит)* — свод сведений, афоризмов.
** Смесь дыма и тумана.

изуродованная корона, большое лицо, кое-где повыпали семечки, скоро он станет беззубым ртом горячего неба, и солнца лучи повиснут в его волосах, как засохшая паутина,

листья торчат из стебля, как руки, жесты из корня в опилках, куски обвалившейся штукатурки, мертвая муха в ухе.

О грешная мертвая вещь, мой подсолнух, моя душа, как я любил тебя!

Эта грязь была не человеческой грязью, но грязью смерти и построенных людьми паровозов,

весь этот полог пыли на грязной коже железной дороги, этот смог на щеке, это веко черной нужды, эта покрытая сажей рука или протуберанец искусственной — хуже, чем грязь — промышленной — современной — всей этой цивилизации, запятнавшей твою сумасшедшую золотую корону,—

и эти туманные мысли о смерти, и пыльные безлюбые глаза, и увядшие корни внизу, в куче песка и опилок, резиновые доллары, шкура машины, потроха чахоточного автомобиля, пустые консервные банки со ржавыми языками набок,— что еще мне назвать? — дымящийся пепел сигареты, раскинутые ноги тачек, и молочные груди автомобиля, и потертые зады стульев — все это

сплелось в твоих корнях, похожих на мумию,— и ты стоишь предо мной в закате, и сколько величья в твоих очертаньях!

О совершенная красота подсолнуха! Совершенное счастье бытия подсолнуха! Ласковый глаз природы, нацеленный на ребро молодого месяца, проснулся, живой, возбужденно впивая в закатной тени золотой ветерок ежемесячного восхода!

Сколько мух жужжало вокруг тебя, не замечая твоей грязи, когда ты проклинал небеса железной дороги и свою цветочную душу?

Бедный мертвый цветок! Когда позабыл ты, что ты цветок? Когда ты, взглянув на себя, решил, что ты бессильный и грязный старый локомотив, призрак локомотива, привиденье и тень некогда всемогущего американского паровоза?

Ты никогда не был паровозом, подсолнух, ты был подсолнухом!

А ты, Паровоз, ты и есть паровоз, не забудь же!

И, взяв скелет подсолнуха, я водрузил его рядом с собою, как скипетр,

и проповедь произнес для своей души, и для Джека, и для всех, кто желал бы слушать:

— Мы не грязная наша кожа, мы не наши страшные пыльные безобразные паровозы, все мы душою прекрасные золотые подсолнухи, мы одарены семенами, и наши голые золотые тела при закате превращаются в черные тени подсолнухов, за которыми пристально наблюдают наши глаза в тени безумного паровоза на свалке над грязной рекой при свете заката над Фриско.

■

Федерико Гарсиа Лорка

К 30-летию со дня смерти

Перевод с испанского и вступление А. ГЕЛЕСКУЛА

Со дня гибели Федерико Гарсиа Лорки прошло тридцать лет; он прожил немногим больше. Странно сознавать, что сейчас он мог бы жить и писать. Фашистский мятеж застал Лорку в Андалусии; в ночь на 19 августа полупьяные фалангисты вывезли его из Гранады и где-то на дороге прикончили выстрелом в лицо.

Как художник Лорка сродни таким загадочным мастерам испанской культуры, как Гойя, Гонгора или Эль Греко: у него нет ни прямых предшественников, ни последователей, и в испанской литературе он был и, вероятно, останется поэтом неповторимым и потому одиноким. Но в его необычной и независимой поэзии современность прозвучала так отчетливо, как, может быть, ни у кого из испанцев. На всем творчестве Лорки лежит багряный отблеск его времени — времени революционного обновления, и в его ритмах, красках, даже в самых отвлеченных его образах дышит молодость века. В этом исток его смелой, чистой и тревожной поэзии. С годами становится все отчетливее, что творчество Лорки было не литературной вехой, а составной частью новой Испании, ее поэтической аналогией.

Вероятно, «совершить переворот в поэзии» в основе своей означает снова вернуть ее от литературы к первоистокам — к человеку и человеческому голосу. Литературность и как следствие — риторика, наследие девятнадцатого века, были застарелой болезнью испанской поэзии. Гарсиа Лорка вернул ей дыхание народной речи. Описательному рационализму он противопоставил формы лаконичные и увлекательные, как импровизации народных виртуозов, философской претенциозности — вдохновение, во всей полноте этого слова, по-испански, как и по-русски, родственного словам «дыхание» и «душа». Языческая поэзия Лорки заглушила в литературе унылое эхо католицизма, а его театр, не отделимый от его поэзии, ярко и властно утвердил жизнь как высшее начало. Таков был неполный список «преступлений» Гарсиа Лорки, решивших его судьбу.

Вместе с Лоркой погибли и многие его произведения: не увидели света «Сонеты сумрачной любви», которыми восхищались современники, и, вероятно, другие стихи и наброски пьес. Ряд произведений — пьеса «Так пройдет пять лет», газеллы, касыды (некоторые из них публикуются ниже) и отдельные разрозненные стихи были посмертно изданы в Латинской Америке. Они прозвучали как реквием.

Почти во всех последних вещах Лорки сквозит предчувствие смерти. Сама эта тема для него традиционна: испанская поэзия — поэзия стоическая — привыкла смотреть на смерть в упор и говорить о ней без обиняков. Поражает другое. В поэзии Лорка редко выступает от первого лица; творчество было не только смыслом, но и содержанием его жизни, и кажется, что красота и трагизм окружающего мира мешали ему, влюбленному в этот мир, видеть самого себя. Поэтому отголоски личной судьбы не звучат в его поэзии. И единственное, сказанное Лоркой от своего имени,— это стихи о смерти.

Та ясность, с которой поэты провидят свой конец, кажется необъяснимой, если забыть, что большая поэзия — это героизм и что большие поэты сами выбирают путь и на этом пути не отступают. И не случайны слова, сказанные Гарсиа Лоркой незадолго до гибели: «В мире борются уже не человеческие, а стихийные силы. Передо мной итог этой борьбы: на одной чаше весов мои страдания и моя жертва, на другой — справедливость для всех, со всей тревожностью перехода к будущему, которое уже присутствует, но еще не узнается,— и я с силой опускаю кулак на эту последнюю чашу».

■ ■ ■

В затонах песен
любовь витает.

А время льется
рекой великой.
И вечны звезды —
затоны тайны.

И тихи вздохи —
затоны крика.

Дерево песен

Все дрожит еще голос,
одинокая ветка,
от минувшего горя
и вчерашнего ветра.

Вышла девушка в поле,
и вздыхала, и пела —
и ловила ту ветку,
но поймать не успела.

Ах, луна на ущербе!
А поймать не успела.
Сотни серых соцветий
оплели ее тело.

И сама она стала,
как певучая ветка,
дрожью давнего горя
и вчерашнего ветра.

Ноктюрн

В окно постучала полночь,
и стук ее был беззвучен.

На смуглой руке блестели
браслеты речных излучин.

Душа моя, став рекою,
играла под звездной кровлей.

А время на циферблатах
уже истекало кровью.

■ ■ ■

Август.
Персики и цукаты
и в медовой росе покос.
Входит солнце в янтарь заката,
словно косточка в абрикос.

И смеется тайком початок
смехом желтым, как летний зной.

Снова август.
И детям сладок
смуглый хлеб со спелой луной.

Касыда о темной смерти

Хочу уснуть я сном осенних яблок
и ускользнуть от сутолоки кладбищ.
Хочу уснуть я сном того ребенка,
что все мечтал забросить сердце в
море.

Хочу забыть, что кровь томится
в мертвых,
что просят пить истлевшие их губы.
Хочу не знать, как сердце травы
ранят
и пьет луна змеиными губами.

Хочу уснуть нежданно,
уснуть на миг, на время, на
столетья,
но чтобы знали все, что я не умер,
что золотые ясли — эти губы,
что я товарищ Западного ветра,
что я большая тень моей слезинки.

Вы на заре лицо мое закройте,
чтоб муравьи мне глаз не застилали.
Сырой водой подошвы мне смочите,
чтоб соскользнуло жало скорпиона.

Ибо хочу уснуть я — но сном
осенних яблок —
и научиться плачу, который землю
смоет.
Ибо хочу остаться я в том ребенке
смутном,
который вырвать сердце хотел в
открытом море.

Касыда о недосягаемой руке

Я прошу всего только руку,
если можно, раненую руку.
Я прошу всего только руку,
пусть вовек не ведать мне могилы.

Только б алебастровый тот ирис,
горлицу, прикованную к сердцу,
часового, что луну слепую
в ночь мою последнюю не пустит.

Я прошу одну эту руку,
что меня обмоет и обрядит.
Я прошу одну эту руку,
белое крыло моей смерти.

■

Все иное в мире — проходит.
Млечный след и отблеск
безымянный.
Все — иное; только ветер плачет
над последней стаей листопада.

Безнадежная песня

Сливаются реки,
свиваются гравы.

А я
развеян ветрами.

Войдет Благовещенье
в дом к обрученным.
и девушки встанут утрами —
и вышьют сердца свои
шелком зеленым.

■

А я
развеян ветрами.

■ ■ ■

Песня,
которой не спеть,
спит на губах моих грустно.
Песня,
которой не спеть.

Где-то в саду захолустном
первый светляк золотится;
в речке луна струится,
как золотая сеть.

■

И песня тогда мне снится,
которую мне
не спеть.

Песня задумчивых губ
и затуманенной влаги.

Песня забытых минут,
что заблудились во мраке.

Песня звезды кочевой
над незакатной зарей.

БЕРНАРД ШОУ

ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ХОЛМАХ СУРРЕЯ

■

РАССКАЗ

Поскольку я по рождению не кокни, у меня нет никаких иллюзий относительно деревни. Неровные, петляющие дороги; пыльные кустарники; канавы с дохлыми собаками, сорняки и тучи ядовитых мух; дети, терзающие какую-нибудь бессловесную тварь; понурый, измученный непосильным трудом и преждевременно состарившийся сельскохозяйственный рабочий; одичавший бродяга; навозные кучи с их ужасным запахом; придорожные камни, отмечающие расстояние между постоялыми дворами и кладбищами,— тяжело шагая, я миную все это, пока не обнаруживаю вдали телеграфный столб или семафор, указывающий на то, что благословенный, спасительный поезд уже близко. Переход от деревенской улицы к железнодорожной станции равносилен скачку через пять столетий — от жестокой тупой тирании Природы над Человеком к упорядоченной, продуманной и организованной власти Человека над Природой.

И все же на прошлой неделе я позволил своему другу Генри Солту и его жене уговорить себя «приехать и пожить до понедельника» среди холмов Суррея. Солт, человек умный, исключительно хорошо разбирающийся во многих вопросах, помешан на деревне; у него есть дом в захолустье под названием Тилфорд, вниз по Фарнемской дороге, куда он время от времени удаляется и живет там, питаясь грибами, собранными в окрестностях, и сочиняя статьи, в которых он выступает поборником такого рода питания и объясняет лондонским домоседам, для чего в то или иное время года нужна именно такая погода. Он, несомненно, питал надежду, что день, проведенный в Тилфорде, превратит меня из агрофоба в агромана, и, поскольку он может быть вполне приличным спутником и собеседником,— если только он, как приличный человек, ограничивает свои прогулки набережной Темзы,— я в конце концов решился на эксперимент и даже согласился дойти до вершины якобы живописного холма, именуемого Хайндхед, и посмотреть оттуда на склоны Южного побережья, на Портсмутскую дорогу (лично я предпочитаю тот ее конец, который ближе к мосту Найтбридж) и главным образом на то место, где были повешены три человека, убившие кого-то, кто убедил их поехать с ним за город.

Когда я в воскресенье утром шел к вокзалу Ватерлоо, поднявшись вопреки обыкновению в семь часов, Лондон был чист, свеж и сух. Я раскрыл книгу, тщательно избегая смотреть между станциями в окно, и читал до тех пор, пока, миновав огромное кладбище и столь же огромный лагерь, мы не прибыли в Фарнем. За городом, как всегда, лил дождь. Я спросил, как пройти в Тилфорд, и узнал, что надо идти прямо мили четыре или около того. Из желания не оскорбить чувств Сол-

та, выказав недоверие к его деревенскому раю, я не взял с собой зонта, и рай, конечно, воспользовался этим упущением. Не знаю, что представляют собой склоны Южного побережья, но что касается суррейских дорог, то могу со всей ответственностью подтвердить, что там предостаточно и подъемов и спусков. Между Фарнемом и Тилфордом около полудюжины холмов и ни одного виадука. И вот я тащился в гору на носках и, тяжело ступая, спускался вниз, при каждом шаге оставляя после себя след в виде болотца, полного грязно-желтой жижи. По мере того как пейзаж становился менее цивилизованным, дождь шел сильнее, превращая мою книгу в бумажную массу и перенося всю краску с ее красной обложки на мою серую куртку. Какие-то птицы водонепроницаемой породы неудержимо хохотали надо мной с деревьев, и я наконец-то понял, почему их стреляют. Дальше дорога шла по сосновому бору, где лежал роскошный ковер из мокрого мха и висело объявление, предупреждавшее нарушителей его границ, что они будут подвергнуты преследованию в судебном порядке. Право же, стоило проехать тридцать миль ради того, чтобы какой-то сельский самодур заставил вас повернуть обратно. К этому времени рукава у меня насквозь промокли и кисти заледенели. Я свесил руки, чтобы по возможности избежать неприятных прикосновений, и посмотрел вниз на свои негнущиеся колени, и на них с полей моей шляпы тотчас обрушилась целая пинта черной от краски дождевой воды. Я расхохотался так, как, должно быть, хохочут колесуемые преступники, когда колесо поворачивается второй раз. Еще одна-две мили тяжкого труда по взбиванию дорожной грязи, и я подошел к окраине деревни, где среди зарослей сорняков поистине удивительного цвета спешила река, через которую был перекинут мост наподобие готической арки, так что от лошади требовался максимум усилий для того, чтобы втянуть на него повозку, а от возницы — для того, чтобы при спуске повозка не наехала на нее.

Это и был Тилфорд, где, насколько я мог судить, не жило ни души, если не считать одного человека, угрюмо уставившегося на меня и всем своим видом яснее слов вопрошавшего, какого черта мне здесь надо. Тут меня ждал подъем еще на один холм, между молитвенным домом и церковью, а затем — открытый участок дороги, где дождь и ветер, не встречая на своем пути никаких препятствий, вконец исхлестали меня. Солт ошибается, полагая, что живет в Тилфорде,— на самом деле он живет значительно дальше; я уже собирался повернуть назад, пока еще был в состоянии добраться до Лондона, как вдруг услышал с порога одного из домов его приветственный крик: «А вот и он!» Солт был в таком восторге и смотрел на меня с такой сияющей улыбкой, словно мой вид не оставлял желать ничего лучшего, и Тилфорд оправдал все ожидания. Не успел я опомниться, как моя одежда уже наполняла кухню паром, а я сам, облачившись в костюм, принадлежавший зятю Солта, многообещающему молодому поэту, чья фигура весьма мало похожа на мою, набивал желудок результатами последних изысканий хозяина дома в области местной грибологии.

Одежда моя высохла быстро. Вскоре после обеда я снова надел ее. Она была теплая и сухая, но стала на два дюйма короче и уже. Тем не менее я отчаянно расчихался, и миссис Солт поспешила достать бутылку с камфарным спиртом. Не зная силы этого лекарства, я неосторожно налил полную ложку. Я чуть не умер, но, придя в себя, был, по крайней мере, совершенно уверен в том, что бациллы инфлюэнцы не смогут этого выдержать. Затем, когда дождь перестал, мы пошли прогуляться по дороге, вившейся среди холмов и походившей на полосы мокрого торфа под облачным небом. Наконец мы выбрались на возвышенность, где болото сменилось мягким зыбучим песком и кустиками вереска, уже высушенного сильными ветрами с Северного

моря. С подветренной стороны от нас лежал Френшемский пруд, похожий на водохранилище, только без водопроводной станции; при малейшем порыве ветра дрожь пробирала его с головы до пят, покрывая рябью поверхность. Я посочувствовал ему и украдкой посмотрел на Солта; неужели его не обескуражила невыразимая скука этого пейзажа? Но он привык к нему и по пути домой принялся строить планы завтрашней экскурсии на Хайндхед. Одно упоминание об этом вызвало у меня новый приступ чихания. Но я решительно отказался от дальнейшего приема камфары, и миссис Солт, далеко не исчерпавшая своих ресурсов, дала мне кипятку с черносмородиновым джемом, что мне даже понравилось.

На следующее утро я встал в восемь, чтобы полюбоваться солнцем и послушать пение птиц. Но оказалось, что я поднялся раньше них; и я не видел и не слышал ни одной птицы, пока не вернулся в Лондон. Солт был в необычайно приподнятом настроении в связи с тем, что дул северо-восточный ветер, исключавший всякую возможность дождя. После завтрака мы двинулись по холмам к Хайндхеду сквозь туман, превращавший коров в мамонтов, а гребни гор — в альпийские цепи. Когда мы отошли достаточно далеко от какого-либо пристанища, начался дождь. Солт заявил, что это ничего не значит; дождь просто не может долго продержаться при северо-восточном ветре. Тем не менее он упорно держался. Когда, спотыкаясь и скользя по так называемым тропинкам, а на самом деле — руслам стремительно мчавшихся мутных горных потоков, мы наконец добрались до Хайндхеда (ничем не отличавшегося от всех остальных холмов), из-за тумана мы не могли различить не только Южного побережья, но даже друг друга. Я увидел место, где были повешены те трое, и не стану отрицать, что испытал известное мстительное удовлетворение при мысли о том, что кому-то от них все-таки досталось.

Когда мы вернулись домой, Солт был в наилучшем расположении духа. Дождь при севере-восточном ветре привел его в такой восторг, который может сравниться лишь с восторгом астронома, открывшего комету. Что же до миссис Солт, то она из всего этого сделала вывод, что я должен приехать еще раз. Дождь беспокоил ее не больше, чем если бы она была уткой; и я невольно подумал, не является ли то, что на ней надето, хитроумным купальным костюмом. Она была в отличном настроении, хотя даже овцы жалобно блеяли, глядя на небо, а корова, которую я дружески похлопал по спине, проходя мимо, была так пропитана водой, что брызги долетели мне до подмышки. Миссис Солт во время нашей прогулки говорила главным образом о доброте своей собаки Ниггера, за которой Солт тем временем зорко следил, неукоснительно пресекая ее попытки подойти к овцам. Пока мы добрались до дому, в моей одежде накопилось в три раза больше влаги, чем накануне. Когда я снова надел ее, казалось, что я ввиду крайней нужды одолжил ее у младшего брата.

Нет смысла описывать мой обратный путь в Фарнем после обеда. Всю дорогу шел дождь, но я по крайней мере приближался к Лондону. Я побывал в новых местах и отдохнул, и я уверен, что недели через две мне удастся избавиться от последствий того и другого. И если мой опыт предостережет какого-нибудь лондонца, соблазненного чрезмерно восторженными описаниями весенней прелести холмов Суррея, значит, я мучился не зря.

Перевод с английского В. АШКЕНАЗИ

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ АСТУРИАС

Латиноамериканский роман — свидетельство нашей эпохи

Начнем этот разговор, перемежая догадки и утверждения, с характеристики произведений, предшествовавших латиноамериканской литературе. Затем сосредоточим внимание на произведениях, более непосредственно относящихся к жанру романа. Подойдем сперва к самым истокам — к имеющим тысячелетнюю давность памятникам коренных обитателей Америки, созданным ацтеками, майя и инками.

Сразу же возникает вопрос: существовали ли у создателей древнейшей словесности произведения, чем-либо напоминающие роман? Думаю, что на него можно ответить утвердительно. В самобытных памятниках туземной культуры исторические предания ближе к поэзии, чем к истории. Следует иметь в виду, что предания ацтеков и майя, посвященные их истории,— их романы, как мы бы назвали эти произведения,— не что иное, как рисунки. Именно в таком образном воплощении они были зафиксированы в письменности. Лишь тот, кто умел прочитать эти пиктограммы, был в состоянии пересказать своим слушателям их содержание, причем сами индейцы не делали разграничения между чтением и сказом. Жрец, или Великий Язык, воссоздавал искусством слова то, о чем сообщали нанесенные на таблицы загадочные рисунки.

Сохранявшиеся в виде рисунков исторические предания благодаря сказителям постепенно запечатлелись в памяти слушателей и стали передаваться в устной форме от поколения к поколению. Со временем они были закреплены в письменности с помощью принесенного испанцами на американские земли алфавита. Их записывали латинскими буквами на местных языках или в переводе на испанский. Таким вот путем до нас дошли тексты отдельных памятников местного происхождения, испытавших лишь слабое чужеземное влияние. Ознакомление с ними позволяет утверждать, что исторические предания древних обитателей Америки ближе к поэтическому, чем к собственно историческому повествованию. В этих преданиях реальная действительность уступает место вымыслу, легенде, облекается в форму прекрасных поэтических символов. Благодаря тому, что сам поэтический вымысел строится на реальной основе, ее художественная разработка приводит в конечном итоге к воспроизведению действительности.

Процесс отрицания действительности поэтическим вымыслом, с последующим отрицанием вымысла действительностью приводит к воспроизведению действительности за ее пределами и сопровождается постоянным отрицанием времени и пространства, а также еще одним важным, даже решающим явлением. Для рассматриваемых памятников характерно утрированное словоупотребление, синонимический параллелизм, иначе говоря, обозначение разными словами одного и того же предмета, той же мысли, одних и тех же переживаний.

Хотя сегодня мы не придаем значения этому приему и несмотря на то, что найдутся люди, готовые назвать его литературным пустословием, синонимический параллелизм, обнаруживаемый в произведениях древних обитателей Америки и представляющий собой игру оттенков, был в их глазах неоценимым мерилом поэтических достоинств и оказывал на них поистине магическое действие.

Выяснению вопроса о существовании у древних обитателей Америки литературного

жанра, сходного с романом, помогает установление преемственности между эпопеей и романом.

Превосходя своими поэтическими возможностями обычные вымышленные истории, героическая легенда текла так же легко из селения в селение и из города в город, переносимая сказителями, жрецами, Великими Языками племен, или Куйканимами, как золотистая кровь струилась в жилах индейских языческих богов.

Эпические песни, которыми так богата древняя словесность Америки и которые еще так мало известны, несут в себе то, что мы привыкли называть романическим вымыслом, а испанские монахи и доктринеры, явившиеся вместе с завоевателями, именовали «пустыми выдумками». В качестве примера сошлемся на объемистый труд монаха Бернардино де Саагун «Всеобщая история Новой Испании».

Сохранившееся на языке ацтеков эпическое сказание «Кетсалькоатль» открывается чудесным описанием города, где герой встретился с таинственным путником—старцем, опоившим его волшебным зельем. Когда герой отведал зелья, ему начали мерещиться рогатые кролики, колибри с петушиными шпорами, плодоносящие камни. Далее следуют самые различные по своему характеру эпизоды: от рассказа о том, как дочь короля влюбилась в разорившегося бродячего торговца, до битвы между колдунами и силами природы, от сражения Кетсалькоатля с многочисленными противниками до исполненного драматизма описания того, как он убегает от врагов, достигает берега моря, сгорает на костре и возрождается, став небесным светилом.

Мы могли бы привести еще много примеров, подтверждающих, что предания индейцев больше походили на роман, чем на собственно историческое повествование.

Я не могу удержаться от искушения и приведу отрывок из жизнеописания Нетсауалькойотля, едва не ставшего жертвой вероломного предательства. «Нетсауалькойотль сам приветливо встречал гостей, украшал их гирляндами цветов и подавал курительные трубки. Когда гостям стали готовить угощение, он удалился в свои покои. Гости собрались, уселись и стали пировать, а верный слуга Нетсауалькойотля стал на страже у дверей, ожидая, что его господин сделает то, о чем они заранее условились. У входа были две большие курильницы. Когда все собрались, верный слуга бросил в них благовония. И так как он бросил их много, чертоги окутал дым. Тогда слуга, стоявший у дверей, развернул покрывало, как будто собрался его почистить, и прикрыл отверстие в стене, проделанное другим слугой. Окутанный молочным дымом, который распространяли благовония, Нетсауалькойотль вышел никем не замеченный, присоединился к слугам, сменил одежду, взял свое оружие и поспешно скрылся, обманув тех, кто замышлял лишить его жизни».

Эти близкие по форме к роману древние предания сохраняли в народе память о великих деяниях, славили их, поднимали слушателей на новые подвиги. Создание подобных произведений, отражающих действительность и представляющих собой плод поэтического вымысла, прерывается с началом колониального порабощения коренных обитателей Америки. Уцелевшие произведения подобно черепкам драгоценных сосудов доносят воспоминание об одной из великих древних цивилизаций в истории мировой культуры. Несомненно, что поэтическая разработка откликов на исторические события в формах, приближавшихся к роману, продолжалась. Однако произведения коренных обитателей Америки, созданные во времена колонизации, говорят не о подъеме, переживаемом их творцами, а об их упадке, вызванном тем, что народ не свободен, а порабощен, тем, что люди перестали быть сами себе господами, превратились в подневольных.

В эту мрачную эпоху литература, попрежнему создававшаяся в виде рисунков, стремится заполнить безмолвную пустоту. В ней звучат жалобы и раздается протест против произвола испанских правителей, ее создатели требуют, чтобы народу были возвращены его владения, его земли, требуют восстановить в правах прежнее искусство письма с помощью рисунков, искусство, говорящее языком красок, фигур, символов.

Вскоре в Латинской Америке появились роман и драма, которые в то время уже достигли расцвета на Пиренейском полуострове. Но тогда жанры эти были чужды латиноамериканской действительности и не смогли пустить корней.

Иным, по сравнению с испанцами, был темперамент индейцев, иные жизненные соки их питали, иная была у них кровь, иные реки, иные моря, иные миражи возникали перед их взором. Испанцем, который под впечатлением увиденного в Новом Свете стал создателем первого выдающегося латиноамериканского литературного произведения — «Правдивой истории завоевания Новой Испании», был Берналь Диас дель Кастильо.

Не слишком ли опрометчиво объявлять «романом» то, что солдат-летописец назвал не просто «историей», а «правдивой историей»? Но ведь сколько раз романы именовали «правдивыми историями»! И тем не менее я повторю свой вопрос: не слишком ли опрометчиво объявлять романом произведение знаменитого хрониста? Тому, кто сочтет это недопустимой вольностью, рекомендую вчитаться в стремительно развертывающийся напряженный рассказ пехотинца Берналя Диаса и, погрузившись в повествование, удостовериться, как, сам того не замечая, забываешь, что все рассказанное произошло в действительности. Это произведение скорее воспринимается как плод поэтического вымысла, как всамделишный роман. Да и сам автор приходит к такому ощущению и, описывая увиденное у стен Теночтитлана, восклицает, что все это «похоже на чудеса, о которых рассказывает книга об Амадисе», рыцарский роман.

Могут заметить, что все же речь идет о произведении испанской литературы. Но соб-

ственно испанское заключается лишь в том, что автор — уроженец Пиренейского полуострова, обосновавшийся в Гватемале, в Сантьяго де лос Кабальеросе, где хранится рукопись его книги, а также то, что написана она на старокастильском языке. Что же касается ее художественных особенностей, то в ней уже обнаруживается синонимический параллелизм, характерный для словесного искусства индейцев. Не кто иной, как Менендес-и-Пелайо — крупнейший специалист по классической испанской литературе,—воспринял стиль этой книги как «необычный», его удивляло и то, что она написана простым солдатом. Выдающийся ученый не задумался над тем, что ко времени, когда Берналю Диасу дель Кастильо исполнилось восемьдесят лет, он успел прочесть переведенные монахами на испанский язык произведения индейцев и не только испытал на себе их влияние, но и впитал местный дух, стал настоящим латиноамериканцем.

Однако есть и другое, еще более волнующее свидетельство того, что Берналя Диаса дель Кастильо соединили с Америкой родственные узы. В своих скорбных посланиях, дошедших до нас в виде поздних рисунков, индейцы взывают к справедливости, а солдат-летописец изливает душу, сетуя, что после стольких сражений и походов он оказался всеми забыт.

Именно с этого времени латиноамериканская литература, как устная, так и письменная, не просто свидетельство эпохи, в которую она создается, а, как сказал венесуэльский романист Артуро Услар Пьетри,— «орудие борьбы». Во всех сколько-нибудь значительных произведениях звучит призыв к борьбе и раздаются справедливые требования. Называя латиноамериканскую литературу свидетельством эпохи, мы далеки от того, чтобы считать ее бесстрастным документом. Ведь мы имеем в виду волнующие страницы, созданные теми, кто владеет искусством доставлять эстетическое удовлетворение, бичуя пороки своего времени.

Южная Америка дала нашей литературе Инку Гарсиласо. Он метис и был первым латиноамериканским писателем - изгнанником. Вдали от родины Инка Гарсиласо попрежнему слышит голос своих соотечественников. Этот голос звучит в обличении поработителей Перу. Изумительная художественная проза Инки включает не только американское и не только испанское начало: в ней как бы слилась кровь двух народов в едином требовании права на жизнь и на справедливость.

До поры до времени оставалось незамеченным, что проза Инки — «послания», как произведения этого жанра принято теперь называть. Это обнаружили в период борьбы за независимость. Инка предстал тогда перед читателями как индеец, сумевший обмануть бдительность империи «двух ножей» — иными словами, светской и церковной цензуры. С опозданием поняв, как много острых мыслей, какую силу воображения, какую глубокую скорбь заключают послания писателя грядущим поколениям, испанские власти распорядились, «проявив должную осмотрительность, изъять сочинения Инки Гарсиласо, поскольку местные жители почерпнут в них многое, что заслуживает осуждения».

Неприятным сюрпризом для иберийцев, тщетно рассчитывавших на единство своих рядов после открытия Америки, явилась и «Араукана» Алонсо де Эрсильи. Эта широко известная поэма заслуживает упоминания среди произведений колониального периода. Ее создатель был обвинен в том, что поднял восстание дикарей-араукан против испанского воинства. Надеемся, что когда поистине рыцарственная Испания поднимется во весь рост, то, преодолев ненависть к Эрсилье как к врагу, с которым она столкнулась на поле сражения, она воздаст должное поэту-воину, не имеющему себе равных.

Эпопея Эрсильи донесла до нас, подобно монетам из выдержавшего испытание временем металла, образы народных вождей Кауполикана и Лаутаро, которые не дали врагу наложить на себя оковы и сражались вместе со своими воинами до последнего вздоха.

Боевой дух пронизывает не только уже охарактеризованные стихи и прозу. Произведения даже таких, казалось бы, благонамеренных писателей, как Франсиско Хавьер Клавихеро, Андрес Кальво, Мануэль Фабри, Андрес де Гевара, также подтверждают, что подлинная литература — всегда свидетельство своей эпохи.

У каждого из них, как и у гватемальского поэта Рафаэля Ландивара, была своя форма протеста против конкистадоров. Ландивар выражал свой протест молчанием: испанцев он называет по-латыни «Hispani», не прибавляя к этому слову никакого определения.

Начиная с колониального периода, наша литература, я имею в виду настоящую, большую литературу Латинской Америки, никогда не выражала примиренческих настроений. Никогда не выражала! В Латинской Америке пишут либо защищаясь, либо идя в наступление, подобно тому, как шли на штурм, подняв знамя независимости, писатели конца XVIII века.

Предшественники романтизма целиком посвятили себя созданию произведений, выражавших требования креолов, прежде всего их стремление к свободе и независимости. Своим произведением «Инки» Мармонтель вдохнул новую жизнь в призыв индейцев восстановить их былые права, положив начало литературе о коренных обитателях Америки. По большим дорогам начала свой путь книга Конколоркорво о Ласарильо-поводыре. В ней, как и в клятве монаха Северандо Терес де Мьера в 1794 году на празднестве в честь богоматери Гвадалупской, зазвучал призыв к восстанию.

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ АСТУРИАС
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ РОМАН — СВИДЕТЕЛЬСТВО НАШЕЙ ЭПОХИ

Метисы, мулаты, негры начинают создавать произведения, показывающие, что общество переживает кризис, находится на подступах к эпохе Просвещения. Ее открывает написанное в связи с трехсотлетием Америки знаменитое послание Хуана Баутисты Вискардо-и-Гусмана, бывшего члена ордена иезуитов.

Как сказал Мариано Пикон Салас, «Послание испаноамериканцам» Вискардо-и-Гусмана — первое воззвание латиноамериканской революции, в котором блистательно сочетается стремление креолов к политической и экономической свободе с требованиями индейцев, подлинных хозяев американских земель.

XIX век знакомит нас с литературой, до конца проникнувшейся настроениями освободительного движения, ставшей его активным участником. Антологии созданных в это время стихов больше похожи на собрание прокламаций.

В Британском музее есть каталог поступлений из Латинской Америки, обогативших его коллекцию. Среди множества вызывающих тоску по родине неодушевленных предметов англичане как бы занесли в свой каталог характерный для Латинской Америки образ изгнанника, вынужденного искать приют вдали от родины. Среди томов огромной библиотеки Британского музея как бы пылают, охваченные языками пламени, книги Андреса Бельо. Своей судьбой он повторил удел двух латиноамериканских писателей колониального периода. Судьбой изгнанника Бельо напоминает Инку Гарсиласо, хотя и претерпел меньше превратностей судьбы, чем Инка, который был правителем индейцев, а стал подневольным человеком. Бельо-поэт обнаруживает черты, роднящие его с другим уроженцем Латинской Америки — Ландиваром. Можно с уверенностью сказать, что оба эти поэта первыми вписали славную страницу латиноамериканской литературы в историю литературы всемирной.

Обратимся теперь непосредственно к Рафаэлю Ландивару. Его творчество менее известно. А между тем он был подлинным знаменем латиноамериканской литературы, потому что в его книгах верно передан дух нашего народа, дано правдивое изображение Латинской Америки, ее людей и природы. Как справедливо писал Педро Энрикес Уренья, «среди поэтов испанских колоний Ландивар был крупнейшим пейзажистом, он решительно порвал с условностями литературы Возрождения, первым открыл характерные черты природы Нового Света, ее флору и фауну, ее поля и горы, ее озера и водопады. Описания обычаев, ремесел и обрядов отличаются у Ландивара изяществом и живостью. Своей поэмой автор внушает глубокое уважение к сохранившимся памятникам древней культуры индейцев, показывает глубокое знание ее».

В 1781 году в Модене, в Италии, появилась написанная гекзаметрами на латинском языке поэма Рафаэля Ландивара «Картины сельской жизни Мексики», состоящая из 3425 стихов. Год спустя в Болонье вышло ее второе издание. В десяти песнях автор прославляет природу Америки от мексиканских озер до пологих берегов Коста-Рики. Он воспевает копи Гондураса и Северную Калифорнию, где помещает свою пастушескую Утопию. Большую же часть поэмы автор посвятил прославлению своей родины — Гватемалы.

Обращаясь к европейцам, Ландивар воспевает природу, жизнь и людей Латинской Америки, говорит, что с радостью «посетил бы цветущие родные поля». Сейчас он поет, чтобы «занять досуг и разогнать тоску на берегах бурной Роны», из страстного желания поведать обитателям Старого Света, что мексиканский вулкан Хорульо может соперничать с Везувием и Этной, а водопады и гроты Сан Педро Мартир в Гватемале — со знаменитыми источниками Кастальи и Аретузы. Что же до певчих птиц, то сенсонтль с его четырьмястами трелями летает в царстве славы выше соловья.

Ландивар воспевает сокровища Латинской Америки — золото и серебро, отлитые в монеты, имеющие хождение по всему миру; головы сахара, возвышающиеся на пиршественных столах в королевских чертогах.

В поэме дается обстоятельное описание всего, чем богата Латинская Америка и чем она поражает европейцев,—бессчетных табунов и отар, коров, коз и свиней, целебных источников, народных развлечений, например, неизвестной в Европе игры в летающую палицу, какао и шоколада, которыми славится Гватемала.

Особого внимания заслуживает любовь Ландивара к уроженцу Америки — индейцу. Ландивар воспевает способность индейцев сохранять даже в тяжкую годину чувство достоинства, созданные руками индейцев чудесные плавучие сады — пример их трудовых навыков, мастерства и художественного вкуса. Ландивар не забывает о страданиях индейцев. Он называет себя певцом реальных, хотя и незаслуженно забытых вещей. Изображая и прославляя природу Латинской Америки, поэт всем существом своего творения говорит нам, что живительный источник поэтичности, чуждой символики,— упорно отрицаемые высокие духовные качества американских индейцев, крестьян, ремесленников, рабочих.

Ставшему в Европе привычным представлению об индейцах как о бездельниках, существах опасных и порочных, этим легендам, сочиненным колонизаторами и помещиками, Ландивар противопоставляет образ индейца, несущего на своих плечах из века в век всю тяжесть непосильного труда.

Утверждение Ландивара — не просто декларация, которая могла бы и не убедить. На страницах поэмы он воссоздает индейца в стройной пироге, который перевозит товары или куда-то плывет; индейца, добывающего пурпур и кошениль; индейца, занятого разведением шелковичных червей; индейца, взбирающегося на скалы за редкими раковинами, чтобы изготовить из них красную краску; индейца, который медленно и упорно бредет за сохой; индейца, вы-

ращивающего анил: индейца, который добывает в шахте серебро и разрабатывает золотоносные жилы...

Поэма Ландивара подтверждает уже сказанное о латиноамериканской литературе. Ей всегда была чужда созерцательность. Эта литература не может мириться с тем, что народ голодает на землях, славящихся изобилием, и что богатства этих земель грабят те, кому они не принадлежали.

Пятьдесят лет спустя, после бурных событий, взволновавших всю Латинскую Америку, Андрес Бельо в «Гимне земледелию в тропиках» вновь обратился к богатствам Нового Света: к «горделивому повелителю племени зерновых» — маису, «коралловым коробочкам какао», к кофейным и банановым плантациям, к поражающей воображение мощи растительного и животного мира тропических лесов. Бельо дал контрастное изображение этой грандиозной панорамы «земных богатств» и образа «человека, попавшего в кабалу». В творениях Ландивара и Бельо звучит один и тот же протест.

С XIX века в Европе пробуждается весьма специфический интерес к природе Нового Света, хотя изображение ее кое в чем и приближается к глубоко правдивым картинам Ландивара и Бельо. Восприятие природы Америки, искаженное стремлением увидеть в ней лишь чудеса, идиллию, райские кущи обнаруживается у Шатобриана в «Атале» и «Натчезах». Переносясь в своих стихах и романах на земли Америки, романтики всегда рисуют ее природу. Попутно следует уточнить, что для европейских романтиков природа служит лишь фоном, тогда как латиноамериканские вкладывают в ее показ глубокий смысл. Достаточно сослаться на изображение Ниагарского водопада, воспетого Эредиа, и пустыню в поэме Эчеверриа «Пленница».

Под знаком романтизма, который был в Латинской Америке не только литературным направлением, но и знаменем восстания, наша литература продолжала свой боевой путь. Поэты, историки, романисты отдают все свое время неразрывно связанным друг с другом политической деятельности и творческим исканиям. Никогда еще в Латинской Америке не было так радостно сознавать себя поэтом! В разгар борьбы зазвучал голос Сармьенто, поставившего перед человечеством на все последующие времена дилемму: «цивилизация или варварство». Но Сармьенто невольно содрогнулся, когда до него дошло, что Факундо обратил свое оружие против своего создателя и против всего рода человеческого, объявив лишь себя самого истинным представителем Америки, отказавшимся погибнуть и преисполненным решимости грудью проложить дорогу между противостоящими друг другу цивилизацией и варварством, чтобы отыскать между этими полюсами место, где ее народы обретут свое собственное лицо.

«Факундо» — бунтарское произведение, памфлет, ставшее со временем, как отметил Рикардо Рохас, учебником истории, поэмой, рыцарским романом, букварем и Библией. Но заложенная в нем антитеза уже не воспринимается нами теперь как то, что ставит Латинскую Америку в тупик. Варварство воплощено не в Факундо, а в эксплуатации, жертвой которой оказались люди, превращенные в рабов цивилизацией, освящающей рабство.

Среди писателей, сделавших своей музой родину, мы видим Хосе Мармоля, автора «Амалии» — одного из романов, наиболее популярных среди латиноамериканских читателей. Испытав на себе ужасы диктаторских режимов в Латинской Америке, мы листаем страницы этой книги дрожащими от волнения пальцами. Говоря о романе Мармоля, критики обычно отмечают, что он написан неровно, и при этом не отдают себе отчета, что такие произведения пишут кровью готового вырваться из груди сердца, что биение сердца Мармоля отдается в каждом абзаце, в каждой фразе. Такие романы — кардиограмма, воспроизводящая нарушения нормальной деятельности живого организма под названием Родина.

«Амалия» — одно из наиболее страстных произведений, когда-либо созданных в Латинской Америке. Оно волнует нас как человеческий документ, даже если мы не вдаемся в выяснение его литературных достоинств. Последние могут быть предметом полемики, но бесспорно значение «Амалии» как послания грядущим поколениям. В своем суждении о романе Мармоля я опираюсь на одно из высказываний Сартра: мир писателя раскрывается во всей его глубине лишь после того, как узнаешь, с каким восхищением и каким возмущением его восприняли читатели. «Амалия» — гневная инвектива Хосе Мармоля — до такой степени потрясает воображение, что для многих по сей день этот роман продолжает оставаться символом веры.

В середине прошлого века в гватемальской литературе появился другой, не менее страстный романтик — Хосе Батрес Монтуфар. Среди его произведений развлекательного характера вдумчивый читатель найдет и такие, в которых поэт-патриот, с волнением обращаясь к теме родины, выражает безграничную горечь и боль оттого, что у ее кормила, как и поныне, стоят бездарные правители, а мудрые вынуждены скрываться. Послушаем, что говорит Монтуфар:

О, моя Родина, дорогая и многострадальная!
Недаром твоя диадема покрылась пылью,
Недаром живешь ты как в агонии,
Недаром удел твой — проклятье.
Доколе будет длиться твое роковое
терпенье?
Почему не заклеймишь мертвящий порядок,
При котором мудрец принужден скрываться,
На бездействие таланты свои обрекая?
Если блеск твоей славы меркнет,
То виновны в том предатели, пригревшиеся
на твоей груди.
Видел я, как над твоим гербом они
надругались,
Видел, как знамя твое они попирали.

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ АСТУРИАС
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ РОМАН — СВИДЕТЕЛЬСТВО НАШЕЙ ЭПОХИ

Как взволнованно передана в этих строках боль, скрытая горечь и с какой глубиной поставлен в них злободневный уже в середине прошлого века, а потом еще более острый для стран Центральной Америки вопрос о необходимости приумножить усилия в борьбе против новых завоевателей. Еще в прошлом веке в Латинской Америке нашлись торговцы родиной, готовые заключать кабальные сделки, но тогда же на площадях зазвучали пророческие призывы поэтов, во весь голос говоривших слово правды.

Другим латиноамериканцем, который заставил прислушаться к своему голосу всю Америку, от Севера до Юга, был Хосе Марти, один из выдающихся борцов конца прошлого века. Великий кубинец не нуждается в том, чтобы я его восхвалял. Но все же нужно напомнить, что именно он был летописцем первой панамериканской конференции, созванной в 1900 году в Вашингтоне, где Аргентина голосами своих делегатов защищала честь Испанской Америки, к этому времени уже разъединенной и порабощенной. В своих газетных и журнальных статьях Марти разоблачал закулисные сделки, начавшие играть решающую роль в межамериканских отношениях. До прибытия в Вашингтон делегаты побывали на Уолл-стрите. Уже тогда Марти отмечал, с каким откровенным цинизмом пресса США сообщает о планах порабощения народов всего континента и призывает втянуть в великодержавную сферу малые латиноамериканские страны. Неутомимый боец, сражавшийся на родине и в изгнании, Марти вдохнул боевой пыл в нашу литературу на подступах к XX веку. У Марти нашлось время слагать стихи. Своим словом, своим примером, готовностью на самопожертвование Марти всегда участвовал в борьбе против поработителей, откуда бы они ни вторгались.

XX век дал нашей литературе множество имен. Но за исключением считанных писателей и возвышающегося над всеми нами Рубена Дарио литераторы этой поры своего слова не сказали. Поэты усматривают свое призвание в том, чтобы бежать от действительности. Их произведения, лишенные жизни, становятся пустой болтовней. Им незнакомы простые уроки, преподанные индейскими рапсодами. Они предали забвению творцов великой литературы колониального периода и находят удовлетворение в обескровленном подражании поэтам других широт. У них вызывают насмешку певцы освободительной борьбы, чьи творения будто бы свидетельствуют о невзыскательности авторов и представляют собой сплошное заблуждение. Лишь по окончании первой мировой войны горстка писателей — прежде всего граждан, а уже затем художников — стала отвоевывать то, что им по праву принадлежит, и, продолжая овладевать наследием, завещанным матерью-Испанией, обратилась к культуре индейцев. Эти писатели создали новое послание, ставшее апелляцией к будущему.

Латиноамериканская литература возродилась не под поэтической звездой. Знаменем века стала проза, весомая, многоликая, более свободная по форме, развивающаяся своими путями. Сперва она погрузилась в действительность. Но не для того, чтобы объективистски ее отражать, не затем, чтобы стать частью действительности и вместе с тем оставаться вне ее, а чтобы проникнуть в суть явлений, чтобы приобщиться к человеческим проблемам. Повествовательной литературе, вызванной к жизни непосредственным соприкосновением с латиноамериканской действительностью, ничто не чуждо в реальном мире. Именно таков современный латиноамериканский роман.

Ни у кого не может вызвать сомнения значение вклада, вносимого современным латиноамериканским романом в развитие этого жанра во всемирной литературе. Жанр этот культивируется во всех странах Латинской Америки писателями различных взглядов и убеждений. Примечательно, что свои произведения они строят по преимуществу на латиноамериканском материале. Все это служит свидетельством значительности исторического момента, переживаемого латиноамериканским романом.

Мы, латиноамериканские романисты, связанные с непрерывной традицией борьбы, в ходе которой развивалась наша великая литература, наша могучая поэзия, тоже должны требовать землю для тех, кого обездолили, рудники — для тех, кого на них эксплуатируют, должны отстаивать интересы людей, которые гибнут на плантациях мáте, заживо сгорают на банановых плантациях, из которых выжимают все соки на сахарных заводах. По-моему, подлинно латиноамериканский роман должен выражать эти требования, должен воспроизводить на своих страницах клич, раздающийся из глубины веков и находящий отклик в нашей литературе. Настоящим латиноамериканским романом может быть названа книга, которая всегда в строю с присягнувшей на верность народу обнаженной шпагой, со сжатыми кулаками рабочего, с натруженными крестьянскими ладонями; это книга, со страниц которой вновь и вновь повторяется призыв остановить потоки крови и пота, струящиеся по нашей земле к морю ради того, чтобы богатели монополии.

Подлинно латиноамериканский роман характеризуют воссозданные по воле автора или подсознательно особенности древних индейских преданий и фресок, сильно пострадавших, но от этого не менее впечатляющих. В них можно прочесть нетерпеливое и тревожное ожидание рассвета, которым светятся глаза креолов в колониальной ночи, хотя та ночь была светлее, чем нависший над нами мрак. С литературой прошлого современный латиноамериканский роман связывает прежде всего пафос утверждения, оптимизм, подобный оптимизму просветителей, которые, бросая вызов инквизиции, озаряли человеческое сознание, прокладывали дорогу освободительному движению.

Чтобы стать подлинно латиноамериканским, роман должен хранить верность боевому духу, всегда вдохновляющему нашу литературу. Можно сказать, перефразируя

Евангелие: «Если ты пишешь роман, чтобы развлечь читателей, лучше сожги его!» Ведь если ты не сожжешь его собственными руками, то со временем воспоминание о нем и о тебе самом, как его создателе, сотрется в народе. Сохранить себя в памяти народной — долг каждого поэта и романиста. Бесчетное множество писателей сочиняло романы. А многих ли вспоминают сегодня? И вместе с тем перечислить романистов, которые, создавая свои произведения, сражались на стороне народа, можно, почти не напрягая памяти. Роман — свидетельство своей эпохи — может быть создан лишь тем, кто, творя его, участвует в борьбе. Подлинный романист подобен апостолу среди язычников. Как апостол Павел, он, желая уйти от взывающей к нему действительности, сталкивается с ней на каждом шагу. Действительность, окружающая латиноамериканских романистов, душит и ослепляет. И когда она охватывает нас со всех сторон, нам остается лишь воскликнуть: «Зачем ты преследуешь меня?!»

Да, нас в самом деле преследует действительность, от которой нам не уйти. Она воплотилась в участниках мексиканской революции, героях Мариано Асуэлы, чья мысль столь же остра, как их ножи; в возмущении эксплуатацией индейцев и унижением их человеческого достоинства, которое отозвалось в Эквадоре — у Хорхе Икасы, в Боливии — в «Янакуне» Хесуса Лары, в Перу — у Клоринды Матто де Турнер, автора романа «Птицы, у которых нет гнезд», в Мексике — в романе «Найар» Мигеля Анхеля Мендеса.

Романы Латинской Америки до такой степени насыщены проблемами, имеющими жизненно важное значение для ее народов, что можно было бы, не приводя их названий, просто сказать: чилийский роман о меди; роман об олове, в котором выведен восседающий на осле Зенон Омонте; «Дьявольский металл» Аугусто де Сеспедеса, «Уголь» Диего Муньоса, слившего воедино безграничную печаль, труд и борьбу. В наше время никто не пригвождает к кресту Христа, но пригвождают рельсы, чтобы распять латиноамериканские страны на железных дорогах, принадлежащих иностранцам. Когда речь заходит о пампе, в памяти всплывает «Дон Сегундо Сомбра» Рикардо Гуиральдеса; стоит упомянуть сельву — «Пучина» Риверы. У негров есть романист, который пишет о них на Кубе; есть он у них и в Бразилии — Жоржи Амаду, автор «Жубиабы»; в Венесуэле — Ромуло Гальегос с его «Бедным негром».

Упомянув первые пришедшие на ум названия романов и имена их авторов, я не собираюсь приступать к их анализу. Я упомянул их, чтобы подкрепить свой тезис о том, какой, на мой взгляд, должна быть латиноамериканская литература.

На протяжении длительной истории латиноамериканской литературы природа представлена в ней в трех формах или, точнее говоря, состояниях.

У коренных обитателей Америки природа становится одним из действующих лиц и постоянно представлена в мире богов, героев и других персонажей. Иногда ее изображают в натуральном, неприукрашенном виде, иногда дают стилизованное изображение. При этом используются символы, цвета, разнообразные приемы и средства. Вера в магические силы предоставляет человеку простор для игры воображения, позволяет свести показ всей природы лишь к одной тщательно обрисованной детали: вулкана, дороги, птицы, следа ягуара.

Органически связанная со всей жизнью индейца, природа неотъемлема от его самобытного художественного творчества, в котором она одухотворялась с помощью слова-творца. Человек, чью голову переполняли чуждые нам фантастические представления, искал ответ на волновавшие его вопросы не в справочниках, а в мире природы, который казался ему волшебным и где он чувствовал себя как песчинка в море. Этот мир возник задолго до всяких справочников, музеев, библиотек. И жрец и вождь во всех случаях жизни взывали к природе. Природа укрывала человека от богов. Природа — это дождь, солнце, луна, плодородная и вечно оплодотворяемая земля. Природа — это потомство. Природа — это индейские племена. Они и природа — едины. Их нельзя отделить друг от друга. Невозможно представить себе связь теснее, чем та, которая их объединяет.

Позднее мы обнаруживаем в отечественной и иностранной литературах иную форму изображения природы Латинской Америки. Это как бы новое открытие Америки европейцами и их эпигонами, живущими у нас. Я имею в виду экзотическое изображение природы. Вместо индейца, который существует в действительности, романтики создали (как это делали еще в период колониального владычества Лопе де Вега и драматурги его школы) живописно-экзотического персонажа. Вместо одухотворенной древними обитателями Америки природы романтики создали ее копию, к тому же нередко отраженную в кривом зеркале и предназначавшуюся для того, чтобы как-то оживить их литературную продукцию.

В XX веке, когда смешение индейской и испанской крови, питающей нашу литературу, дало уже весьма ощутимые результаты, возникла потребность показать природу не так, как это делали обожествлявшие ее древние индейцы, и не так, как романтики, для которых природа служила лишь фоном, а поставив с большей силой и смелее, чем когда-либо прежде, проблемы, прямо касающиеся человека.

Взглянем правде в глаза и будем добиваться справедливости. Если мы поступим именно так, то не стоит преувеличивать значения технических погрешностей. Латиноамериканцы придают очень большое значение форме выражения. Но сперва надо

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ АСТУРИАС
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ РОМАН — СВИДЕТЕЛЬСТВО НАШЕЙ ЭПОХИ

знать, о чем говорить во весь голос. Мы хотим жить по-настоящему, а не прозябать. Мы требуем этого. Прозябать и тешить себя тем, что когда-то мы приближались по уровню к европейцам, не имеет никакого смысла.

В современной латиноамериканской литературе природа не воплощает веру в богов и не служит фоном для ее героев. Через ее изображение раскрываются проблемы, жизненно важные для человека. Природа — как скаковая лошадь: на ней ездят, но ее и укрощают. Одна из наиболее характерных и всеми отмечаемых особенностей нашего романа — наделение природы безграничной силой, способной подчинять себе безжалостно и до конца. Под ее неумолимое воздействие подпадают герои романа. Когда в «Пучине» сообщается, что сельва поглотила героев романа, это не литературный вымысел, а то, что происходит на самом деле. Нарисованная в этом произведении грандиозная картина природы не заслоняет основного. Сельва поглотила героев «Пучины». Но идя по проложенному ими следу, встречаешь на пути обглоданные тропическими муравьями обрубки рук, черепа с оскаленными зубами, будто радующиеся избавлению, принесенному смертью. Эти останки напоминают о людях, которым привелось пережить даже больше, чем героям «Пучины». Продвигаясь вслед за ними, особенно страдаешь от мысли, что люди, поглощаемые сельвой, могут жить лучше, и надеешься, что наступит день, когда они найдут, наконец, дорогу, которая выведет их оттуда, где их поработили, где из них высасывают все соки, надеешься, что наступит день, когда их руками начнет строиться новая Америка.

Мир природы необъятен. Но грандиозны и проблемы, которые человеку предстоит решать. Мы еще не покорили природу. Но разве это освобождает каждого из нас от ответственности перед лицом учиняемого наемниками насилия, от ответственности за Человека, который в Латинской Америке еще часто ползает как пресмыкающееся, от ответственности за крестьянина, лишенного земли? Для нас не существует запретных тем. Мы скажем все. Мы хотим объяснить трагедию жизни. Мы не хотим передоверить это заезжим писателям, которые будут довольствоваться материалом в виде дешевых анекдотов. Наше восстание в разгаре. Сражаясь на стороне народа и создавая свидетельство о его борьбе, мы вместе с тем свидетельствуем и о том, какую позицию занимаем сами. Все это — не громкие слова, за которыми прячется внутреннее смятение. Стоит лишь бросить взгляд на современный латиноамериканский роман, от Мексики до Аргентины, чтобы убедиться, что в произведениях этого жанра ставятся все проблемы нашей жизни. Бродят в потемках лишь романисты, которые делают это умышленно или по заказу. Латиноамериканские романы становятся все мужественнее, в них все сильнее звучит обличение, они все более реалистичны, в них все чаще выражается надежда. Мы не впадаем в пессимизм, и нас не охватывают пораженческие настроения. Напротив, прямая и непосредственная связь с реальной действительностью укрепляет нашу веру в будущее Америки, говорящей по-испански.

Можно было бы проследить и другие характерные особенности латиноамериканского романа. Но думается, на этом следует закончить. Можно было бы рассказать о заметно усилившейся лирической струе в литературе стран Латинской Америки, находящейся еще в стадии становления. Даже на самых страшных полотнах наших романистов и новеллистов ощущается лирическая нота, порожденная любовью и печалью. Эти чувства вызывает осмысление вещей не только в их собственном значении, но и в их отношении к Человеку. Можно было бы также отметить как одну из характерных особенностей нашей литературы то, что, по сравнению с Европой, в ней труднее определить литературные школы.

В своем обзоре я все же хотел бы обратить внимание на примечательную группу романов, изображающих проникновение монополий в страны Карибского бассейна. Эти романы созданы в самые последние годы. Авторы их — уроженцы разных стран Центральной Америки, выходцы из разных социальных кругов, люди с различной общеобразовательной подготовкой. Но в своих произведениях все они показывают без прикрас жизнь на плантациях «Юнайтед фрут компани» в Коста-Рике, Гондурасе, Гватемале, Никарагуа и Панаме.

Я имею в виду «Зеленую тюрьму» гондурасца Амайа Амадора, «Мамиту Юнай» костариканца Фальяса, «Космапа» никарагуанца Ороско, «Порт Лимон» костариканца Гутьерреса и романы моей трилогии «Сильный ветер», «Его зеленое святейшество», «Глаза погребенных».

В «Зеленой тюрьме» Амайа Амадор пишет от лица обездоленного пеона. Он сам был пеоном, до того как бежал из зеленого ада на северном берегу Гондураса, потрясенный открывшейся перед ним картиной. «Мамита Юнай» показывает вмешательство «Юнайтед фрут» в политическую жизнь стран Центральной Америки, как она контролирует выборы, диктует изменения в правительстве. Одним словом, этот роман рисует сверхгосударство в действии. Хотя в романе «Порт Лимон» фруктовые монополии не показаны в действии, картина упадка, который переживает порт, находящийся в руках ненасытного треста, звучит обвинением всей их деятельности. Что касается моих собственных романов, то единственное, что я сделал,— это напал в них на пиратов; им наскучило плавать по соленой воде Карибского моря, и, пристав к берегам Гватемалы, они пустились в плавание по потокам пота закабаленных ими людей.

Мы, писатели Центральной Америки, стремимся перенести на страницы своих романов правду о том, что у нас происходит, правду, которую теперь узнают повсюду. Найдутся люди, которые станут оспаривать литературные достоинства наших книг. Но нас волнуют прежде всего их человеческие

достоинства. Мы — люди из народа и пишем о народе. У кого что болит, тот о том и говорит. У нас вызывает боль то, что происходит на нашей родине. Об этом мы и говорим. Мы не представляем себе, как можно написать роман, в котором не раздавался бы голос народа, не разоблачалась бы несправедливость, царящая в Центральной Америке, этом стержне континента, на этом мосту, где пока еще каждый день совершается предательство.

Наши писатели предают гласности сведения о происходящем не ради сенсации. Мы пишем, чтобы об этом знали люди всех широт и всех национальностей. Как и создававшиеся во все времена латиноамериканские романы, наши произведения — живые человеческие документы, которые, наряду с собственно литературной функцией, служат мобилизации моральных сил, направляют их против социальной несправедливости.

Появляются все новые и новые благородные свидетельства того, что в мире пробуждается интерес к современному латиноамериканскому роману. Растет число произведений, переведенных на другие языки. Это также содействует более широкому ознакомлению с волнующими нас проблемами. Ничто в жизни Латинской Америки не чуждо современному латиноамериканскому роману.

Заключая, можно сделать следующие выводы: во-первых, во все периоды истории литературы Латинской Америки наиболее значительные произведения всегда пронизывал дух борьбы; во-вторых, современные латиноамериканские романы шире, чем произведения остальных жанров, должны брать темы из живой действительности, чтобы стать правдивым свидетельством своего времени и солидаризироваться с народами своих стран, с их социальными устремлениями. Только при этих условиях роман выполнит свою миссию, сохранив верность лучшим традициям нашей литературы.

Перевод с испанского К. ЦУРИНОВА.

И. ЛЕВИДОВА

ОБ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ НАШИХ ДНЕЙ

Ландшафт ее легко может представиться гуманной равниной, посреди которой неожиданно возникает несколько мощных, но старых деревьев. Фрост, Сэндберг, Хьюз да еще разбросанная кое-где редкая молодая поросль битников, еще несколько имен, появившихся в одной-двух подборках,— вот, собственно, и все, что мы знаем. Старым мастерам и американским поэтам предвоенного поколения повезло больше. Антология М. А. Зенкевича и И. А. Кашкина «Американские поэты XX века», вышедшая в 1939 году, была не только переводческим, но и литературоведческим событием. Предисловие и вводные заметки осветили основные моменты развития современной поэзии США, начиная с поры ее бурного расцвета, получившего наименование «поэтического Ренессанса» (1912—1925). Последний сборник переводов И. Кашкина «Слышу, поет Америка», составленный М. Зенкевичем сборник стихотворений Фроста «Из девяти книг» и книга переводов М. Зенкевича «Поэты XX века» (1965) углубили наше знакомство с несколькими большими американскими мастерами.

Справедливо будет сразу заметить, что сравнительная безвестность, за пределами США и Англии, нынешних американских поэтов, в общем, не вызывает особого удивления. Каждое необыкновенное явление раньше или позже обязательно перерастает свои географические рубежи. Но американская поэзия последней четверти века, в отличие от прозы, отмеченной очень интересными поисками,— действительно явление куда менее самобытное и новаторское, чем в пору своего Ренессанса, когда, в напряженных попытках уловить облик и ритмы новой эпохи, в США создавалась новая система поэтического мышления, новый стиль. Современные поэты главным образом пожинают плоды новаторской работы, проделанной предшествующими поколениями. И все же перед нами не голая равнина, а достаточно густой лес, и по его извилистым тропам стоит побродить, и даже то, что разочаровывает в творчестве иных поэтов, вызывает внутренний протест, тоже интересно — ведь все это связано с духовной жизнью страны.

Вот почему и была предпринята эта попытка, отобрав (чрезвычайно скупо) некоторое количество имен, рассказать о том, что же происходит сейчас в поэзии США. Разумеется, это будет очень беглый, поверхностный рассказ, не столько путешествие, сколько составление карты, но, думается, и он окажется полезным для знакомства с предметом, о котором мы долгое время знали очень мало.

■

«В течение последних тридцати лет,— говорит критик Д. Холл в предисловии к составленной им в 1962 году антологии,— в американской поэзии властвовала ортодоксия. Она уходила корнями в авторитет Т. С. Элиота и «новых критиков», она утверждалась с помощью толстых журналов и университетов. Она требовала от поэзии симметрии, интеллекта, иронии и остроумия» *.

Близкие к этой инвективе, хотя не всегда выдержанные в духе инвективы определения можно найти у других исследователей этого периода. Грубовато, но весьма выразительно характеризует «модный и безопасный» (его определение) стиль Р. Хамфрис: «...установившаяся манера, большей частью сознательно литературная, очень профессиональный стих, обнаруживающий отличное знание техники (хотя применяется она по-

* Hall, D. Contemporary American poetry. Lnd., 1962, p. 17.

рой очень неудачно), интерес к наблюдениям, подчас принимающим характер каталога, и при этом — очевидная душевная замкнутость, нежелание чем-либо рисковать, обнаружив свои внутренние помыслы; некоторый холодок, словно поэт окружил себя частоколом опасливых, присущих временам холодной войны предписаний, которые можно сформулировать словами: «Не зарывайся, братец!»*

Хочется добавить ко всем этим признакам еще один: темноту смысла, зашифрованность, которая, надо сказать прямо, часто мешает и раздражает. Это замечание не рекомендуется воспринимать как выпад против «трудной» поэзии вообще. Но сложность бывает от изобилия мыслей и ассоциаций — от богатства — и от творческой недостаточности, искусно маскируемой интеллектуальным фанфаронством; а бывает и темнота смысла от самой примитивной безответственности: автор, если допросить его с пристрастием, и сам не понимает, куда его унесло, но недоумение читателя его не волнует. К сожалению, эти немудрящие объяснения нередко приходят на ум, когда читаешь многие стихи американских поэтов нашего времени. Правда, критики объясняют эту проблему (а «темнота» — самая настоящая проблема) более глубокими причинами. Англичанин А. Альварес в своей книге «Формирующий дух» ссылается на авторитет Элиота, который считает смысловую сложность естественным следствием и выражением «трудной и сложной цивилизации нашей эпохи». Альварес прибавляет к этому специфически американские, по его наблюдениям, обстоятельства — отсутствие настоящей «общей почвы» между поэтом и его аудиторией: «Во многих стихах лучших американских поэтов ощущается какая-то напряженность, порой приобретающая почти физический характер, как заикание. У поэта никогда нет уверенности, что все, о чем он говорит, имеет право на существование в качестве предмета поэзии, что аудитория дает ему неограниченные возможности выбора и трактовки темы» **.

Это интересное и по существу верное рассуждение, но складывается впечатление, что для большинства поэтов в США проблемы «общей почвы» и границ дозволенного вообще не существует, нет стремления избежать *частной* (в отличие от личной, без которой не мыслится лирическая поэзия) темы, со всеми ее узкобиографическими, случайно попавшимися, «непросеянными» аксессуарами, с тяжеловесным бряцанием эрудицией, которая вряд ли может кого-либо обогатить... Словом, то, что Альварес называет робостью и неуверенностью художника, воспринимается скорее как пренебрежение художника к своим читателям. Как бы то ни было, все это говорит о том, что разрыв между поэтом и аудиторией существует.

Другая характерная черта этой поэзии — описательность. Исторически это можно понять: у колыбели американского Ренессанса стояли в свое время имажисты — молодой Ричард Олдингтон, Хильда Дулитл, Эми Лоуэлл, Эзра Паунд. Главным принципом поэзии было провозглашено тогда «непосредственное описание предмета, как субъективного, так и объективного». Но вторая «заповедь» имажистов — «не употреблять ни одного слова, кроме тех, что необходимы для описания предмета»*,— не приобрела популярности: лаконизм, как правило, не присущ современным американским поэтам.

Поэтов «университетского» направления (почти все они связаны с университетами) нередко называют «новыми метафизиками», имея в виду их явное тяготение не только к формам стиха (размеры, системы рифмовки), утонченно разработанным в английской поэзии XVI—XVII вв. Джоном Донном, Эндрю Марвеллом, Джорджем Гербертом и другими, но и к существу их творчества. «Старые» метафизики создали образцы великолепной философской лирики, оставили они и великое множество замысловато и искусно построенных стихотворных рассуждений и скрупулезно выполненных поэтических узоров. Но пересаженная на современную американскую почву метафизическая поэзия чаще дает плоды в виде узоров и рассуждений.

Ни один из критиков не обходит, однако, молчанием очень важную черту современной американской поэзии: ее *многообразие*, основательно приглушенное, быть может, но ни в коей мере не задавленное господствующим стилем.

Один из наиболее значительных представителей этого направления — Уоллес Стивенс. Он умер в 1955 году, но резонанс его творчества очень велик до сих пор, его считают одним из родоначальников и мэтров «университетской школы». Однако стихи учителя резко отличаются от головной, балансирующей на грани между житейщиной и вялым мистицизмом поэзии многих его учеников. Стивенс не признавал мистики и всю жизнь тяготел в своих стихах к тропической экзотике и фантастическим странам — возможно, из неосознанного желания как-то компенсировать свою не отличавшуюся экзотичностью жизнь вице-президента страховой фирмы в Хартфорде. Богом Стивенса было воображение художника, трансформирующее и возвышающее повседневность. На тревоги и горести реального мира поэт смотрел сквозь призму художника, в природе которого, по выражению Баббет Дейч, «слишком уж редки зимы». Вот одно из характерных его стихотворений.**

---

* Hamphries, R. New poems of American poets, v. 2 N. Y., 1957.

** Alvares, A. The shaping spirit. Lnd., 1958. p. 162-164.

* Bogan, R. Achievement in American poetry. Chicago, p. 37.

** Здесь и далее стихи в переводе И. Левидовой. На русском языке печатаются впервые. *(Прим. ред.).*

И. ЛЕВИДОВА
ОБ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ
НАШИХ ДНЕЙ

Сухой ломоть

Жить в трагическом времени — все равно
Что в трагическом крае жить.
А теперь погляди на эти отвесные скалы,
И на реку, что путь пробивает сквозь камни,
И на хижины тех, кто живет в этом крае.
Вот что представилось мне за высохшим ломтем:
Скалы, которых ни разу не тронул снег,
Сосны вдоль побережья
И люди, сухие от ветра и зноя, коричневые, как хлеб.
Их мысли — о птицах, летящих из жарких песчаных стран,
Словно мутные волны, все небо заполнив собой,
А небо, словно течение, птиц на себе несет.
Как волны, они наплывают на берег,
Одна за другой, одна за другой, и гложут высокие скалы.
А потом я услышал: гремят барабаны.
Я услышал: голодные люди кричат.
Волны — словно солдаты трагических наших времен,
Шагающие по асфальту внизу, под тенью деревьев.
А птицы летят и летят водянистыми мутными стаями,
Потому что весна и птицам пора прилетать.
И, конечно, солдатам надо шагать и шагать
И греметь, и греметь, и греметь барабанам...

Поэзию Джона Кроу Рэнсома и Роберта Пена Уоррена — представителей Юга — отличает их пристрастие к балладной форме, часто очень изощренно и неожиданно разработанной, стремление к повествовательности; все это связано с общей атмосферой литературы американского Юга — ее острой конфликтностью, эмоциональной насыщенностью, ее тяготением к гротеску. Но если Рэнсом, который начал писать еще в начале века (он родился в 1888 году), поэт изысканный, влюбленный в живописные детали, то Уоррен гораздо более современен и заземлен. Надо иметь в виду, что Р. П. Уоррен (родился в 1905 году) — один из самых видных американских романистов. Это писатель, не очень-то сентиментально относящийся к роду человеческому и своим согражданам, в частности; темные пещеры (один из последних его романов и называется «Пещера») в психике и общественном бытии респектабельных граждан он освещает холодным, пронзительным светом. Стихи Уоррена, мастерские по технике, по духу очень родственны его прозе. Многие из них заставляют вспомнить нашего Сашу Черного — его сарказм, его отвращение к пошлому и банальному, его умение, блистательное и страшноватое, вывернуть наизнанку мелкое и жалкое существо. Общие истоки творчества и Рэнсома и Уоррена — в поэзии и критических работах главы южной школы 20-х гг., так называемых «фюджетивс» («Беглецы»), Аллена Тейта, с его увлечением историей, мифологией, размышлениями о месте человека во вселенной. Но хотя Уоррен, как полагается «академикам», отдает щедрую дань вариациям античных мотивов и риторическим пассажам, его энергичное, яркое творчество смыкается важными своими гранями с другим направлением (о нем речь пойдет дальше), получившим название «разговорного».

Одна из самых приметных фигур современной американской поэзии — Теодор Ретке (1908—1963). Его первая книга «Открытый дом» вышла в 1941 году, последняя (при жизни), «Слова на ветру», в 1957 году. Ретке выделяется среди поэтов, для которых главное — зрительный образ, своей чуткостью к внутренней мелодии стиха. Строфу Ретке можно узнать: в ней есть что-то плавное, скользящее, эмоциональный акцент на начале строки создает впечатление душевной распахнутости, но это — обманчивое впечатление. «Мое сердце — открытый дом. Распахнуты настежь двери»,— писал Ретке в первом своем сборнике. Все это не так, Ретке — поэт в достаточной мере «темный», лирика его замкнута в кругу личных и не всегда доступных постороннему глазу переживаний. Очень «густая», часто экстравагантная образность поэзии Ретке питается главным образом стойкими впечатлениями детства и юности: отец его работал в мичиганских теплицах и оранжереях. Причудливые растения, цветы, фрукты, а также птицы и рыбы — «герои» многих его стихов. Чувственное, праздничное прославление жизни и плодородия, подчеркнуто эротическая любовная тема пронизана у Ретке ощущением душевного разлада, тревоги, растерянности «блудного сына», который бесплодно ищет утраченную страну своего детства. Больше всего остается в памяти инфантильный, капризный эгоцентризм его лирического героя.

В этом смысле совсем иначе воспринимается творчество младшего собрата Ретке по «школе», признанию, премиям — Роберта Лоуэлла (родился в 1917 г.). Потомок старинного бостонского рода, в котором были ученые, государственные деятели, поэты (в том числе родоначальница американского имажизма Эми Лоуэлл), он тоже поглощен воспоминаниями — одна из последних книг стихов Лоуэлла, «Этюды из жизни» (1959), почти полностью автобиографична, с большим куском прозы, посвященной клану Лоуэллов и реминисценциям детских лет. Он тоже пишет «симметричные», правильной формы стихи, порой до предела нагруженные историческими, литературными и в особенности теологическими ссылками и аналогиями, стихи глубоко субъективные и часто с трудом расшифровываемые. На этом, однако, сходство его с Ретке заканчивается. Вся тональность, весь пафос его творчества — а напряженный, сумрачный пафос пронизывает его поэзию — носит совсем иной характер. Лоуэлл — католик, религиозная тема занимает большое место в его стихах, однако, как у многих западных писателей-гуманистов (Грина, Бёля, Мориака), его религиозные взгляды далеки от церковной ортодоксии и в какой-то степени оказываются своеобразной формой проявления этических исканий, а иногда — бунтарства. В автобиографической лирике поэта нет ни тени позерства, есть честность и достоинство, есть сдержанная горечь, которая трогает. Его описательная манера строга и в лучших стихах выразительна, как черно-белая гравюра. Вот одно маленькое стихотворение Лоуэлла, характерное для лирической, «домашней» темы его поэзии:

Продается

Бедная, глуповатая игрушка,
Выстроенная назло на широкую ногу,
Послужившая только год,—
Отцовский коттедж в Биверли-Фармс
Был объявлен к продаже через месяц после
его смерти,
Пустой, раскрытый во всех своих секретах.
Его городская мебель
Стояла будто на цыпочках,
Ожидая, что вслед за гробовщиком
Сразу явятся грузчики.
Готовясь, страшась
Прожить одной до восьмидесяти,
Под окошком бесцельно сидела мать,
Как пассажир, пропустивший свою
остановку.

Для раннего Лоуэлла (сборник «Замок усталого господина», 1946) характерно совсем другое — длинная, несколько торжественная, иногда иронически торжественная строка (пятиударная, как правило), развернутый монолог, смахивающий на проповедь, в котором можно встретить саркастические выпады по поводу американской цивилизации. В этой поэзии звучат порой мильтоновские ноты, возникают величественные образы, но все это, словно мощный каскад, разбивающийся на мелкие брызги, расходуется на частности, на риторику, на незначительные мысли. В книге «Этюды из жизни», как говорит Холл в цитированном уже предисловии, «Лоуэлл послал свою музу в мастерскую Уильяма Карлоса Уильямса», то есть ввел в свою поэзию живой разговорный язык и конкретный жизненный опыт. Но вряд ли имеет смысл говорить лишь о смене одного литературного влияния другим, все это не так просто, и развитие Лоуэлла, поэта большой потенциальной силы, идет своим путем, будущее его вызывает интерес. Недавно у него вышел новый поэтический сборник («Павшим за Союз», 1964), свидетельствующий о том, что Лоуэлл расширяет рамки своего творчества. О бескомпромиссной гражданской позиции этого поэта писалось уже на страницах «Иностранной литературы».

Говоря об изяществе, присущем стихам многих поэтов этой плеяды, необходимо назвать Ричарда Уилбера (родился в 1921 г.), который наделен этим качеством в высшей степени. Поэзия Уилбера в основе своей мажорна, во всяком случае по сравнению с творчеством его коллег. Он не прочь щегольнуть замысловатым техническим «ходом», наблюдением, остротой. Уилбер часто пишет о природе, которая обычно предстает в его стихах, как «ландшафт в рамке», приметы его чуть иронично или просто шутливо описаны с помощью метафор, взятых из другого, «книжного» ряда (например, «рукопись деревьев перед холмом читается: холод»). Уилбер, стихи которого читатель найдет в помещенной в этом же номере подборке «Американские поэты последнего десятилетия», особенно активно работает в последние годы.

Совсем в ином ключе звучит поэзия Рэндалла Джаррелла (1914—1965). Он известен не только как поэт, но и своими критическими работами, недавно вышел его публицистический сборник, красноречиво озаглавленный «Печальное сердце на прилавке». У Джаррелла есть свои пристрастия, например, путешествия в мир немецких сказок («Сказки братьев Гримм») — полностью трансформированный, переосмысленный, приводящий в ходе сложного повествования-рассуждения к жгучим проблемам современности, связанным с проблемой Германии. Джаррелл — участник войны, и она занимает очень большое место в его творчестве, и он пишет о ней с киплинговской суровостью, но без киплинговской романтизации.

Он также проявляет склонность к большому повествовательному монологу, не свободному от риторических пассажей, но монологи эти отличаются большей конкретностью и логичностью. В стихах Джаррелла есть мужественная прямота и стремление понять смысл исторических событий, общественного процесса. Это — не очень частое явление среди «университетских» поэтов.

Заметное место в американской литературе последних лет занял Джон Чиарди — человек разностороннего дарования: он пишет стихи для взрослых и детей (книжечка детских его стихов недавно вышла у нас в переводе Романа Сефа), критические статьи. У Чиарди-поэта уверенное, легкое перо, широкий диапазон, ему присущи и юмор, и философичность, и публицистический темперамент, как показывают стихи его, помещенные в подборке.

Еще один «университетский» поэт, о котором надо сказать, Карл Шапиро (родился в 1913 г.), отличается острым интересом к бытовым аспектам современной американской цивилизации. Если в сюите «Адам и Ева», в бессчетный раз, хотя и с некоторыми новыми подробностями, излагающей историю первого грехопадения, Шапиро можно принять, скажем, за раннего Лоуэлла, то трудно спутать его с кем-либо в таких стихах, как «Аптека», «Автомобильная катастрофа», «Официантка», «Купол воскресного дня».

...Воскресный полдень сквозь прозрачный
воздух
Рассматривает улицу
И видит в фотокамере моих зрачков
Ряды домов и жизней.
Стекло и вновь стекло, за дверью дверь
И за лицом лицо, все то же, то же,
Одно и то же грубое обличье,
Как будто жизнь одна, шагнув через порог,
В двух зеркалах бессчетно отразилась...

...Весь день они с веранды на веранду
К самим себе являются с визитом,
Плетут узор воскресной чепухи
И целый день надменно и вульгарно
Кидают взгляды на самих себя.

Это — бэббитовская тема 50-х гг., запечатленная с темпераментом и злостью. Но внутренние ресурсы Карла Шапиро не ограничены этими свойствами. Очень популярно было в Соединенных Штатах его стихотворение «Воинский поезд», опубликованное в

1944 году. Это отличные стихи, умные, человечные, полные лиризма и реалистических деталей, близких сердцу самого литературно неискушенного американца,— вот почему и успех «Воинского поезда» был прежде всего успехом читательским. Любопытно, что написаны стихи в очень консервативной, освященной всем XIX (и даже XVIII) веком манере, внешне слегка риторической (так писались оды), но при этом в них все современно и национально, и все атрибуты поэтического мироощущения двадцатого века (в том числе, разумеется, ирония) на своем месте.

■

Поэзия Шапиро может служить выразительным примером «размывания границ» между условными направлениями американской поэзии и своего рода мостиком к другой ее «школе», которая, быть может, еще менее точно именуется «разговорной», то есть выросшей на почве живой повседневной речи, с ее лексикой, ритмами, интонацией и, конечно, тем жизненным опытом, который ее питает.

Эта традиция никогда не замирала в Америке, пусть ее и подавляли другие тенденции. Признанным главой поэтов, работающих в этом направлении, издавна считался Уильям Карлос Уильямс (1883—1963), врач по образованию и профессии, всю свою жизнь практиковавший в небольшом городке штата Нью-Джерси. Уильямс принадлежит к зачинателям американской поэзии XX века, и влияние его распространяется даже на тех поэтов, которые далеки от него в своих эстетических воззрениях. Деликатное скольжение по кривым, зыбкая туманность чужды Уильямсу, но не менее чужда ему и плоская прямолинейность. Это поэзия рельефная, осязаемая, резкая, необычайно восприимчивая к впечатлениям действительности. Прекрасное, уродливое, страшное и будничное — все имеет право на существование в его стихах. Труд всей жизни Уильямса, монументальная поэма «Пэтерсон» (опубликованы четыре книги ее) — сложное произведение, в котором повседневная жизнь городка на реке Пэссеик (на берегу этой реки стоит и город, где жил Уильямс) приобретает характер эпоса и аллегории, переплетаясь с темой творчества, поэтического языка и его отношения к реальности. Самая важная заслуга Уильямса в том, что он открыл шлюзы, через которые в американскую поэзию хлынула живая, современная речь рядового американца — выражение его характера, эмоций, жизненного опыта. Особенно многим обязаны, разумеется, Уильямсу поэты, пишущие «наперекор ортодоксии», порвавшие связи с «интеллектуальной» традицией.

Здесь надо коснуться известного уже, и в большей своей части печально известного, явления, именуемого поэзией битников. В чисто литературном плане это было реакцией, исторически естественной, на «академизм и формализм, окостеневшую просодию, нарочитую туманность, щегольство эрудицией, сдержанность лирического начала и подавление эмоций»*. В плане социальном эта бродяжная и бродильная поэзия (и псевдопоэзия, которой было куда больше) вобрала в себя протестующую неудовлетворенность поколения молодежи, выросшего в эру холодной войны, маккартизма, войны в Корее, атомного безумия. При всей своей анархической «расхристанности» битники были весьма определенны в своем издевательском неприятии самодовольно сытой и лицемерно жестокой капиталистической Америки; за истерическим кривлянием и юродством можно было ощутить тоску по доброте, правде и человечности. Битничество как литературное движение сошло на нет, и этому очень эффективно помогла та самая буржуазная печать, которая была одним из главных объектов нападок молодых бунтарей: битники были быстро превращены в модную сенсацию, которая вскоре приобрела не менее пошлый характер, чем самая заскорузлая буржуазная мораль. Но когда шумиха улеглась, на поверхности осталось несколько новых имен: Лоуренс Ферлингетти, Грегори Корсо, Аллен Гинзберг, Дениза Левертов, впрочем, эта поэтесса с самого начала ассоциировалась с битничеством очень «периферийно». В тонких, часто стремительных по ритму стихах Денизы Левертов (родилась в 1923 г.) заключен богатый и прихотливый мир, в них есть свобода лирического порыва и насмешливая наблюдательность, которая дает возможность создать, например, вот такую миниатюру:

В воскресном, благостном безмолвии,
На улице запертых складов и оптовой
продажи тишины
Адам Разнесчастный — его обыскивает
«фараон» —
Обеими руками поднимает губу
И висящие свои усы,
Обнажая большие, как у лошади, зубы
Для досмотра.
Ничем его не удивишь
И не запугаешь ничем.

Мир таков. И подобно тому, как художник
Раздвигает свой мир последним, венчающим
дело штрихом —
Белым бликом на полотне
Или звонким взлетом кларнета
Над басами оркестра,—
Так Адам украшает свой мир
Этим только что найденным знаком
презренья.

Лоуренс Ферлингетти (родился в 1919 г.) был в 50-х гг. одним из вожаков «калифорнийского движения», издавал сборники поэзии битников. В собственных его стихах не встретишь характерной для большинства его собратьев внешней и внутренней бесформенности; всегда есть хребет, связующая и членораздельно выраженная мысль. Тема поэзии Ферлингетти — современная Америка, и есть много уитменовских интонаций в том, как он о ней говорит и к ней обращается. Но самая приметная краска в его палитре— ирония, жгучая, грубоватая, не боящаяся плакатной резкости и даже точного политического адреса («Попытка описания обеда, устроенного по случаю обвинения президен-

* Предисловие к сборнику Baro, G. «Beat poets». Lnd., 1961, p. 6.

та Эйзенхауэра в государственных преступлениях»). Рядом с эпичностью, чуть отстраненной манерой Ферлингетти отчетливо проступает лирико-романтическое начало поэзии Грегори Корсо, не случайно в его стихах звучат имена Шелли, Чаттертона, Рембо. Конечно, это романтизм сугубо современный, ритмы и образы сегодняшней Америки заполняют творчество Корсо, он прекрасно чувствует бытовую стихию, находчиво и зло пародирует банальщину «общепринятого». Озорной иронией и подлинным ужасом перед трагикомедией житейской пошлости насыщено его большое стихотворение «Брак» — монолог молодого «антигероя», представляющего себе, во всей их живописности, все фазы «респектабельного» брака. Любопытно, что стихи эти чем-то перекликаются с романом «Кролик, беги» Джона Апдайка, не только одного из интереснейших молодых прозаиков США, но и автора двух книжек занятных стихов. Иногда в поэзии Корсо, особенно в его коротких, летучих наблюдениях-зарисовках есть нечто общее с Лэнгстоном Хьюзом — простодушно-наивный тон, который еще резче подчеркивает жизненную нелепицу, претенциозную и пошлую «гримасу быта». Имя Аллена Гинзберга, «пророка» битников, известно у нас по нескольким переводам. Это человек, безусловно, талантливый, яркий, хотя в поэзии его часто воцаряется «принципиальный» хаос — неизбежное следствие излюбленной битниками теории спонтанности, рождающей на свет целые периоды вдохновенной невнятицы. Все это — шлак, но в лучших стихах Гинзберга чувствуется незаурядная драматическая сила, не может оставить равнодушным обнаженность человеческой боли, радует праздничная жадность зрения и слуха, душевная раскрытость поэта. В «Сутре подсолнечника», помещенной в этом номере, отчетливо проступают черты творчества Гинзберга, роднящие его с уитменовскими традициями.

Хотелось бы остановиться еще на нескольких мастерах старшего поколения, работающих в своей особой и подчас чрезвычайно своеобразной манере. Очень не повезло у нас Э. Э. Каммингсу (1894—1962), представляющему совершенно особое явление в американской поэзии XX века. Его знают прежде всего как экспериментатора, «отменившего» прописные буквы в именах собственных, разрывающего и перетасовывающего слова, и т. п. Все это он проделывал, и большая часть этих экспериментов могла бы оставаться в рукописи, а не становиться сенсацией довольно дешевого свойства. Одно такое «стихотворение» Каммингса попало как-то в сатирическую подборку «Литературной газеты». Но эксперименты с лексикой, синтаксисом, звучанием и начертанием стиха у Каммингса, в общем-то, не самоцель, он действительно оригинальный и талантливый поэт, «бесстыдно» романтический в своем жизнелюбии, яростный противник всяческой фальши, буржуазных добродетелей, рекламного оптимизма, вездесущего торгашества. Каммингс пытается (не всегда удачно, но в таких вещах надо ориентироваться на удачи, даже если их меньше) обновить, расширить смысл некоторых слов, которые играют чисто служебную роль в английском языке, придав им определенное эмоциональное содержание. Он сливает существительные с прилагательными, образуя «синтетические понятия» («Не жалейте деловое чудовище — человеканедоброго»,—начинается одно стихотворение). Есть у него и самые традиционные по форме, несколько сентенциозные стихи, звучащие примерно так:

Мэгги, и Молли, и Милли, и Мэй
Отправились к морю в какой-то из летних дней.
Там ракушку Мэгги нашла, и ракушка пела так мило,
Что все свои горести Мэгги в тот день позабыла.
А Милли попалась морская звезда на песке,
С лучами, как пальцы, опущенные в тоске.
За Молли ужасная тварь погналась там и,
Плывя на боку во всю прыть, пускала притом пузыри.
Круглый камень, находку Мэй, домой привезла она.
Он был маленький, точно мир, и большой, как «одна».
Ибо, что бы мы ни теряли (ты это узнаешь вскоре),
Только самих себя всегда мы находим в море.

Сентенциозность, правда, немного насмешлива, что ей на пользу, и проникнута расположением к людям, которое, в зависимости от адресата, нередко уступает у Каммингса место свирепому отвращению.

У нас была опубликована довольно большая подборка стихов другого поэта, выделяющегося своей резко индивидуальной манерой,—Огдена Нэша (родился в 1902 г.). Его книги можно было бы назвать краткой сатирико-юмористической энциклопедией американских нравов и быта. Нэш выработал своеобразный раешный стиль (но это, конечно, в высшей степени «цивилизованный» раешник): его разнокалиберные, сугубо прозаические строки, словно наспех — одним гвоздем — скрепленные по краям небрежной или шутливой рифмой, узнаются издалека и сразу. Нэш может добродушно поддразнивать, как, скажем, в стихах о неизбежных симптомах одержимости, обнаруживаемых всеми смертными, как бы они ни вели себя прежде, когда они становятся бабушками и дедушками. Он может быть ехидно насмешлив, изумляясь выносливости представительниц «слабого пола», проводящих весь день на каблучках, которые немедленно заставили бы рухнуть самого крепкого мужчину. Может быть и саркастически насмешлив, обращаясь к богачам, утверждающим, что не в богатстве счастье... Во всех этих оттенках он подкупает своим озорным воображением, гибким и уверенным мастерством, великолепной социальной и психологической наблюдательностью. Последнее

качество очень характерно и для поэзии Филлис Макгинли (родилась в 1905 г.), пользующейся широкой популярностью. Особенно близка и понятна ей трудная, полная то мучительных, то комических сложностей внутренняя жизнь подростков, о которых она пишет с веселой и умной теплотой.

В определенном возрасте

Вдруг стал велосипед забавой для ребят
И семиклассниц, что всегда визжат.
Но существо в пятнадцать с лишним лет
Сей транспорт не приемлет. Легче дать ей
Обет монашества и пропустить обед,
Прийти на танцы в прошлогоднем платье,
С родным отцом, чем оседлать велосипед.

У детства на краю тот узенький мирок,
Где властвует закон, неписан, но жесток,
Свирепее, чем в Спарте был когда-то:
Табу одни и те же внушены
Всем без различья, бедным и богатым,—
Изволь постичь обычаи страны,
Суровый штраф — за отклоненье плата.

Отставку получил велосипед.
На шаровары старые запрет
Наложен. Правит эталон
Во всем. Коленки нынче без царапин,
Один и тот же, с прозвищем, жетон
Предписано подвесить к каждой лапе
И в выраженьях соблюдать фасон.

Фасон настырных просьб, и пестрых бус,
И нижних юбок (чтоб крахмал был густ),
И разгорающейся красоты...
Отмыты, наконец, гурьбой шагают мимо,
Как на парад, покрыв помадой рты,
Под флагом прелести неуловимой.
Они в пути. Спешат — захватывает дух.
И стрелка компаса повернута на юг.

■

Многие американские критики понимают и неточность терминологии, и, что гораздо важнее, условность и недостаточность чисто формальных критериев в подходе к поэтическому творчеству. Но, понимая все это, иных критериев все же не выдвигают. Когда начинаешь доискиваться, где же проходит водораздел между разными направлениями, убеждаешься, что проходит он не через те или иные стихотворные размеры и формы, не через те или иные лексические пласты.

В конце концов кто же сейчас может позволить себе сомнительную роскошь писать языком XVII века? Дело все же в *существе*, в том, что мы называем «пафосом» поэзии — не в смысле ее патетики, а в смысле ее внутренней сути. Проще говоря, дело в *мироощущении и мировоззрении* поэта.

Принимая этот угол зрения, мы увидим, что за пределами разнородных и все же более или менее родственных течений остаются какие-то группы или люди, творчество которых питается иными традициями. И одним из самых животворных источников оказывается поэзия Уитмена. Когда-то, вспоминает Б. Дейч, Паунд сказал, что «Уитмен валил деревья, прокладывая поэзии дорогу в лесу, теперь настало время резьбы по дереву» «Самое большое различие между Уитменом и Паундом,— продолжает эту мысль Б. Дейч,— это различие не между демократом, с надеждой глядящим в будущее, и фашистом, одержимо влюбленным в прошлое, а между лесорубом и резчиком по дереву» *. Афористические высказывания обычно звучат очень убедительно. Тем не менее это неверно. Когда Паунд признавал свой долг Уитмену, сам он еще был другим. Он, конечно, работал совсем иными инструментами и в этой своей работе, несомненно, был скорее резчиком, чем лесорубом. Но Паунд фашист, с отравленным ненавистью и маниакальными заблуждениями умом, полярно отдален от существа поэзии Уитмена — подразумевая под этим существом не свободный стих, который стал достоянием всего (слагающего стихи) человечества, и не восторженный, «бардический» темперамент Уитмена, который был признаком его художественной индивидуальности, а уитменовский *органический демократизм,* чувство слитности с миром и активную любовь к человеку. Знакомясь с поэзией людей, творчество которых идет вразрез с наиболее признанными сейчас в США тенденциями, думаешь именно о *духовных* уитменовских традициях — само собой разумеется, воспринятых с внушительными «поправками на эпоху».

Два поэта, оба испытанные и активные участники демократического и рабочего движения в США, Уолтер Лоуэнфелс (родился в 1897 г.) и Томас Макграт (родился в 1917 г.) работают в совершенно разных манерах. Лоуэнфелс широко использует наряду со свободным размером сонетную форму, которой он уверенно владеет. Макграт, романист, сатирик, поэт, также обращается к разным стихотворным стилям. В автобиографической поэме «Письмо к воображаемому другу» (первая часть вышла в 1962 году), насыщенной богатейшим жизненным и историческим опытом, нередко перенасыщенной, так что образам и эпизодам становится очень уж тесно, он вводит в поэтический обиход живую грубую речь, профессиональную, политическую лексику. Герой поэмы — потомственный рабочий, проходивший «горьковские» университеты в разных концах страны, а затем своим горбом сумевший получить высшее образование. У Макграта — темперамент оратора, выступающего перед огромной аудиторией, соответственно — громкий голос, но никакой склонности к пустой риторичности: емкая и гибкая строка его свободного стиха до предела наполнена метафорами, ассоциациями, фактами; как говорилось уже, иногда это мешает, в поэме не хватает «воздуха». Совсем иначе звучат ясные и строгие строфы поэмы «Пора войны»:

Нет, в переменах время неповинно,
А если изменились времена,
То случай в переменах неповинен.
Меняемся лишь мы, по доброй воле
Взвалив на плечи бремя перемен,
Как ткач Основа — голову осла.
В комедии бесславной и опасной
Мы ищем мудрость и волшебный жезл,
Пока алхимик, оружейный маг,
Колдуя потихоньку, превращает
Все, чем богаты мы, в свинец бандита.
Но где же наши мудрые волхвы?

* Deutsch, B. Poetry in our time. N Y., 1956, p. 126.

Кто нам укажет мирную звезду?
Кто нас спасет, кто вызволит наш век
Из огненных колец атомной розы?
Мы сами, только мы...

■

В начале статьи говорилось уже, что современные американские поэты в большинстве своем продолжают пожинать плоды открытий начала века. Плоды эти, которые заботливо выращивались в академических теплицах или, во всяком случае, в помещениях с кондиционированным воздухом, стали обнаруживать грустные признаки: единообразие формы и вялость фактуры. Но так как в действительности все оказывается сложнее и богаче, чем в теории, то и этот процесс «благородного оскудения» все время сопровождался иными, порой подспудными, часто сумбурными и «шлакообразующими», но в основе своей плодотворными процессами. Очень много одаренных людей работает сейчас в американской поэзии. Немало можно было бы рассказать о бесчисленных молодежных журналах, возникающих (хотя по недостатку средств быстро прекращающих свое существование) в самых различных городах и городках Америки, о фольклорной песенной традиции, возрожденной молодыми певцами и поэтами, которых волнуют насущные темы современности, и прежде всего темы войны и мира, социальной справедливости и борьбы за гражданские права. Возрождение социального, политического пафоса в творчестве самых молодых американских поэтов — факт, уже не вызывающий сомнений, хотя еще совсем не ясны художественные масштабы этих новых тенденций. Можно ли предположить, что теперь, полвека спустя, закономерно возникновение нового поэтического Ренессанса? Можно, если в итоге сложных сдвигов в эстетических воззрениях, моральном, социальном климате страны укрепится и расширится *общая почва* между поэтом и его аудиторией. Если в герметическое убежище «хорошо сделанного стиха» по-настоящему проникнет дыхание времени, чтобы стать собственным дыханием поэта. И, наконец, если появится поэт, личный мир которого, бесконечно богатый, будет важен и дорог его современникам.

И здесь кончается искусство.
И дышит почва и судьба,—

писал Пастернак, имея в виду, что тут-то и начинается искусство.

Ю. КАГАРЛИЦКИЙ

ПУБЛИЦИСТ ИЛИ ХУДОЖНИК?

(К 100-летию со дня рождения Герберта Уэллса)

Удивительно интересно бывает иногда узнать, что герои любимой сказки— реальные люди, и еще интереснее проследить их дальнейшую жизнь. Интересно, но иногда огорчительно. Не знаю почему, но меня, например, ужасно огорчает, что мальчик Кристофер Робин сейчас — владелец книжного магазина. Я все понимаю. И магазин, наверно, хороший, и детей туда водят, и книжка о Винни Пухе там продается, а все-таки что-то во всем этом меня огорчает. Вот что, скорее всего, дети. Дети, которых приводят в магазин посмотреть на Кристофера Робина и которые все равно не верят, что этот немолодой человек — Кристофер Робин. Они, может быть, даже испытывают чувство неловкости за этого почтенного джентльмена, который без всякого видимого на то основания набивается в Кристоферы Робины.

Не знаю, как отнестись и к тому, что герой «Волшебной лавки» Джип превратился в известного зоолога, члена Королевского общества и профессора Лондонского университета Джорджа Уэллса, который еще тридцать пять лет назад вместе со своим отцом Гербертом Джорджем Уэллсом и внуком его университетского профессора Томаса Хаксли —Джулианом Хаксли написал замечательную книгу по биологии, озаглавленную «Наука жизни».

Наверно, так относишься только к героям любимых сказок. Сказки эти не стареют, а герои их подвержены нашей общей участи.

Впрочем, об Уэллсе-сказочнике я говорю не без тени смущения. Кажется, считать его сказочником принято далеко не всюду. Во всяком случае, в известной книге Роджера Ланселайна Грина «Рассказчики сказок. Детские книги и их авторы с 1800 по 1964 год», вышедшей недавно в новом, дополненном издании, Уэллс не упомянут.

Это, по-своему, тяжелое обвинение. Не быть причисленным к сказочникам значит сегодня не быть причисленным и к современным научным фантастам — ведь сейчас центр тяжести научной фантастики заметно переместился в сторону сказки. Не потому ли бывший председатель ассоциации английских фантастов писатель Брайан Олдис писал, что основателем современной фантастики следует признать скорее Льюиса Кэролла, автора «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье», чем Герберта Уэллса.

Кем же, в таком случае, был Герберт Уэллс?

Ответить на это не так просто, как кажется. Уэллс написал сто десять книг и около пятисот статей. Среди них романы фантастические, бытовые, романы-трактаты, книги по истории, биологии, политэкономии, статьи по вопросам социологии, философии, физики, политики. Фантастика принесла ему славу; бытовые романы—«Киппс», «История мистера Полли», «Тоно Бенге» — ее закрепили; работы социологические и научно-популярные помогли оценить масштаб его интересов; а все, вместе взятое, заставило задать вопрос, на который по сей день отвечают по-разному.

Публицист он или художник?

Самое любопытное, что поставил этот вопрос сам Герберт Уэллс. И ответил на него так, что, если мы желаем проявить уважение к словам этого замечательного литератора, мы должны начисто вычеркнуть его из истории литературы. Из любого ее раздела. Я не художник, ска-

зал о себе Уэллс, я публицист. У меня просто хорошая голова, я легко усваиваю и передаю идеи.

Как на беду, впрочем, великий драматург Бернард Шоу, друг и всегдашний оппонент Уэллса, тоже называл себя публицистом. Что касается самого Уэллса, то он в придачу испытывал порою приступы крайнего презрения к тем, кто живет одними идеями.

Мистер Полли (человек вообще не очень везучий) дружил одно время с неким мистером Распером, владельцем расположенной по соседству скобяной лавки. У этого мистера Распера были две отличительные особенности. Он любил порассуждать об ученом и еще время от времени как-то странно щелкал языком. Так вот, «Распер считал, что книги пишутся для того, чтобы дать выход великим мыслям, и что искусство — это педагогика, разряженная в сказочные одежды; он не чувствовал красоты слова, не обращал внимания на художественные средства, но все-таки знал о том, что на свете существуют книги. Он и в самом деле знал, что книги существуют, ибо был напичкан всевозможными идеями, которые любил длинно излагать и о которых говорил, что — щелк — «это — плоды современной мысли», и был весьма озабочен (хотя в этом не было необходимости, потому что сам ничем помочь не мог) «благополучием — щелк — нации».

Мистеру Полли его рассуждения — щелк — снились иногда во сне»*.

Разумеется, Уэллс не стремился походить на мистера Распера.

Может быть, поэтому все, начинавшие рассуждать о том, что Уэллс — публицист, приходили очень скоро к мысли, что он художник.

Послушаем, для примера, Кингсли Мартина.

Кингсли Мартин в течение многих лет в качестве редактора «Нью стейтсмен энд нейшн» находился в деловых и личных отношениях с Уэллсом. Сейчас он пишет второй том своих воспоминаний. С главами, посвященными Уэллсу, он недавно познакомил Уэллсовское общество в Лондоне.

Кингсли Мартин, разумеется, сталкивался с Уэллсом-журналистом, и его исходная позиция не может вызвать ни малейшего удивления. Замечательно другое — вывод, к которому он приходит. «Он был, с моей точки зрения, одним из крупнейших в мире — может быть, даже самым крупным — журналистом,— пишет К. Мартин.— Он всегда заявлял, что он журналист, и, я думаю, он был прав. Но как и у других великих журналистов, кое-что из написанного им стало большой литературой, и эти его вещи не утеряли своего значения».

А еще лет за пятьдесят до Кингсли Мартина Форд Медокс Форд, сравнивая в своей книге «Генри Джеймс» (1913) Уэллса и Голсуорси как представителей «тенденционного романа» с Диккенсом, отдавал в этом смысле пальму первенства Диккенсу. Уэллс и Голсуорси, писал он, слишком художники, чтобы быть хорошими публицистами - реформаторами. Они, например, не разделяют более героев на волков и агнцев. Что поделаешь, они подверглись влиянию французов и русских и владеют литературной техникой более тонкого свойства...

Известны поразительные случаи воздействия книг Уэллса на людей. Меньше чем за год до начала второй мировой войны молодой американский актер и режиссер Орсон Уэллес решил с помощью труппы театра «Меркюри» сделать радиопостановку по роману Уэллса «Война миров». Чтобы все прозвучало убедительней, он перенес действие в США и несколько модернизировал его. Убедительность передачи превзошла все ожидания. Когда 1 октября 1938 года она была выпущена в эфир, около миллиона человек кинулись вон из Нью-Йорка. Дороги, уводящие из города, оказались забиты. Люди звонили в полицию и требовали противогазы. Некоторые, взобравшись на крыши небоскребов, видели уже взрывы снарядов и своими ушами слышали звук выстрелов. Одни поверили в нашествие марсиан, другие решили, что это — высадка немцев или японцев. А когда паника улеглась, раздались требования предать суду режиссера.

Другая радиопостановка по роману «Война миров» кончилась более трагически. В начале пятидесятых годов радио Кито (Эквадор) решило повторить спыт Орсона Уэллеса. По городу немедленно распространилась паника. К месту предполагаемой высадки были посланы войска, однако они взбунтовались, убили одного из командиров и отказались выступить. Но волнения этим не кончились. Едва стало известно, что по радио передавалась инсценировка, толпа атаковала радиостанцию, убила несколько человек, в том числе режиссера и диктора, и сожгла здание. Говорят, в Эквадоре столичных жителей до сих пор при случае называют марсианами...

Что ж, если кто и отказывается числить Уэллса среди «рассказчиков сказок», то на это у него, надо полагать, всегда найдутся причины. Хотя бы та, что сказки его слишком часто оборачивались былью.

Первая мировая война началась в точном соответствии со стратегическим планом, угаданным Уэллсом,— нападением немцев на Бельгию и Голландию. Атомная бомба была предсказана и описана Уэллсом в 1913 году. Танк — в 1903.

---

* Г. Уэллс. Собр. соч. Изд. «Правда». М., 1964, т. 9, стр. 445.

Вряд ли воплощение в жизнь этих предсказаний радовало Уэллса. Но он умел предсказать и нечто иное. Причем предсказания эти воспринимались в то время просто как художественные образы, порожденные причудливой, парадоксальной, «истинно английской», как сказал о нем Жюль Верн, фантазией Уэллса. Когда английский фантаст Олаф Степлдон в романе «Первые и последние люди» (1936) изобразил выращенный из протоплазмы искусственный мозг, это действительно было замечательным образцом научного допущения. Но Герберт Уэллс изобразил нечто подобное в «Первых людях на луне» еще в 1901 году. Тогда всякий пожал бы плечами, если б Великого Лунария назвали порождением научной фантастики.

Были и такого рода предсказания Уэллса, какие позволительно делать только человеку с утвердившейся репутацией фантаста (то есть человека вполне безответственного). В книге «Наука жизни» Уэллс определяет живой организм как машину. В семнадцатом, восемнадцатом, даже части девятнадцатого века, когда писали Рене Декарт, Ламетри (автор книги «Человек — машина»), Кабанис, Фохт, Молешотт, Бюхнер, подобное определение никого бы не удивило. Но в 1931 году оно производило очень странное впечатление — тем более что высказано оно было обладателем ученых степеней по биологии, учеником Томаса Хаксли, поклонником и популяризатором Ивана Павлова. Однако прошли годы, и определение Уэллса снова никому не кажется странным, как не кажутся нам сейчас странными такие заглавия, как «Конструкция мозга», «Организм как машина», «Механизмы мозга», «Мозг как вычислительная машина». На теперешнем этапе развития науки возвращаются в новом качестве старые, казалось бы, навсегда перечеркнутые определения. Уэллс же всегда следовал теперешней системе научного мышления — общее интересовало его больше частного.

Впрочем, здесь следует остановиться. Несколькими страницами выше автор заметил, что все, начинавшие рассуждать об Уэллсе-публицисте, приходили скоро к мысли об Уэллсе-художнике. Сам же он, начав рассуждать об Уэллсе-художнике, нечаянно пришел к разговору об Уэллсе — философе и ученом. В этом нет ничего удивительного. Уэллс — бесспорно художник. Большой, многообразный, сильный. И все же — не очень обычного рода.

В 1901 году, выступая с лекцией «Открытие будущего», Герберт Уэллс дал определение целей научного исследования, которое было для него и определением целей литературы.

«Основное и направляющее в научном процессе,— говорил он,— это отнюдь не коллекционирование фактов, а их анализ. Факты — сырье науки, а не ее материал. Цель, критерий и оправдание научного исследования — в пророческом предсказании, а не в рассчитанном на потребителя фокусе-покусе».

Целью, критерием и оправданием работы Уэллса было то, что предсказания его так или иначе сбывались — порою неожиданно для него самого. Правильно избранный метод действовал почти автоматически, словно независимо от воли человека, его применявшего. Так обстояло дело с Уэллсом-ученым. Художественным же оправданием его метода было то, что он умел быть художником, оставаясь ученым. Вернее, быть художником постольку, поскольку он был ученым.

Арнольд Беннет был прав, когда, сравнивая Уэллса-художника и Уэллса-моралиста (слово не очень удачное: как видно из других мест его статьи, Беннет имел в виду Уэллса-ученого), не находил между ними никакого противоречия.

«Его талант моралиста и талант художника являются, по существу, двумя сторонами одной и той же способности видеть вещи по-новому, так, словно никто до него их не видел, способности отбросить все ярлыки, гипотезы и формулировки, придуманные или хотя бы только намеченные другими, и подойти к любому явлению с чувствами, совершенно незамутненными. Такого рода способность всегда выделяет художника; она же должна бы (впрочем, дело нередко обстоит совершенно иначе) выделять моралиста. Уэллс-художник и Уэллс-моралист — мне трудно решить, кто из них выше, — обладают ею в степени необычайной».

Некоторым казалось, что Уэллс удачно соединил наблюдательность художника с воображением ученого. Это неверно. И наблюдательность Уэллса и воображение его — это качества сразу и ученого и писателя. Беннет говорил, что Уэллс органически не приемлет статику. Действительно, его описания, каким бы спокойным тоном ни были они сделаны, никогда не принадлежат спокойному наблюдателю. Уэллс терпеть не мог это слово — описание. Лет тридцать спустя после одной из встреч с Джозефом Конрадом он еще с возмущением вспоминал, как тогдашний его приятель (вскоре они разошлись, и в этом нет ничего удивительного) сидел у берега моря и перебирал слова, все выискивая, как точнее определить какой-то оттенок цвета. И хотя критики всегда поражались точности и уместности детали в его собственных книгах, он, и правда, работал совсем по-другому. Он никогда не описывал, он записывал, как записывают эксперимент. Лучшие места в его книгах — это всегда эксперименты, специально поставленные для выяснения научной истины. Искусство экспериментатора состоит в том, чтобы правильно поставить опыт, аккуратно его провести, умело записать. Во всем этом Уэллс достигал совершенства.

Как он этому научился? Трудно сказать. В университете, судя по его собственным признаниям, он показал себя с этой стороны очень неважно. Не хватало терпения. А тут и терпение откуда-то взялось, и усидчивость, и интерес к мелочам.

Не в том ли дело, что материал эксперимента с тех пор переменился? Входя в свой писательский кабинет, Уэллс вряд ли вспоминал свои появления в физической лаборатории Южного Кенсингтона, которая на протяжении года была для него местом пытки. Там опыты ставились с целью выяснить те или иные свойства твердого тела. Здесь — свойства человека и общества.

Герберт Уэллс был великолепным экспериментатором, и он понимал, что материал и задачи эксперимента определяют и методику его. Для эксперимента, который он проводил, нужны были фантазия, юмор, сатира, ирония и еще умственная честность и смелость. Что ж, весь этот инструментарий у него был — и отличного качества.

Ведь писал он о человеке и обществе.

В подробности он мог не вдаваться, но и общих слов говорить не любил. На «Машину времени» он извел гору бумаги, и мы получили ее в третьем или четвертом варианте. В «Человеке-невидимке» было сначала более ста тысяч слов, в опубликованном варианте осталось пятьдесят пять тысяч, и Уэллс сетовал, что у него не хватило решимости сократить роман основательней. Самая фрагментарность иных эпизодов должна была послужить их убедительности — так они вернее производили впечатление живых человеческих документов. Участник событий не выписывает потом все по-писательски, он вспоминает с пятого на десятое. В качестве героя Уэллса он сообщает о себе сведения отрывочные, незаконченные, но почему-то всегда самые нужные.

В фантастике эта точность расчета особенно помогла Уэллсу. Хьюго Гернебек, описывая в своем романе «Ральф 124 С 41+» (1911) «аппарат, делающий твердые тела светопроницаемыми», а следовательно, невидимыми, коротко изложил принцип («можно добиться полной прозрачности любого предмета, если придать ему частоту колебаний, равную частоте света») и на этом успокоился. В этом была безупречная логика: какие возможны подробности, когда сам принцип только что сформулирован?! К сожалению, логика инженерская, не писательская. Уэллс поступал как раз наоборот. Описывая превращение Гриффина, он рассказывает обо всем в мельчайших деталях. Для него принцип давно известен, обжит, не выходит за рамки элементарных понятий, излагаемых в школе (забыли такую ерунду — какой позор!), теперь только о подробностях говорить и осталось... И мы, представьте себе, ему верим — из поколения в поколение.

Впрочем, мы немножко сами с собою жульничаем. Читая Уэллса, мы отнюдь не включаем полностью свой аппарат проверки. Нам не хочется быть скептиками и придирами. Мы принимаем условия игры, как принимаем их, читая сказку. Умник, пристающий ко всем: «А вот ты скажи, почему ковер-самолет летает», — всегда дурак. Хотя, с другой стороны, не всем же фантастам мы верим, и вопрос «а почему?», обращенный к иному из них, не так уж бывает неуместен.

Американский критик и писатель Деймон Найт так сказал об одном из последователей Уэллса, английском фантасте Джоне Уиндеме: «Он заставляет вас верить в самые невероятные вещи просто потому, что они случились с людьми, которых вы знаете». То же самое можно сказать и о героях Уэллса. Мы верим им потому, что их знаем. Вспомните, как тот же Гриффин описывает процесс своего превращения в невидимку. Он — ученый, описывающий эксперимент, поставленный на себе самом. Определения его неизменно точны, он отмечает стадии процесса и их протяженность. И это же человек мучающийся, теряющий порою силы выносить происходящее, не выдерживающий принятой на себя роли «чистого экспериментатора». Он не вспомнил вовремя о боли, страдании, муке, а они вторглись в эксперимент, как будут вторгаться в него на всем коротком пути, оставшемся Гриффину. Так ли был продуман опыт, в котором пытались сбросить со счета одну из существеннейших его сторон?..

Глубокая мысль и какой-то удивительно цепкий взгляд. Не разглядывал — просто глянул и все увидел в подробностях.

Правда, надо сказать, Уэллс всегда оставлял за собой право сообщить читателю те или иные подробности или прикопить их про черный день. И часто решал — прикопить.

Когда пришла старость и настало время распорядиться прикопленным про черный день, Уэллс тоже распорядился этим очень рачительно. В каждом его романе тридцатых годов можно найти что-то, если и не просто заимствованное из ранних вещей, то во всяком случае лежащее где-то рядом. И очень вместе с тем непохожее. Раньше он писал о том, что увидел сразу. Теперь — о том, что видел множество раз. Столько раз, что выступало, в гротескной подчеркнутости, все повторяющееся из года в год, от поколения к поколению. Старость его не была примиренной старостью. Прожитая жизнь породила не усталость, а озлобление. И против буржуа, на исправление которого он когда-то надеялся, и против

буржуазного общества, старательно повторявшего зады провидца Уэллса.

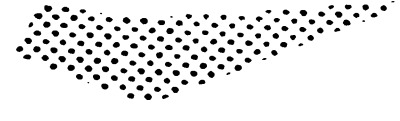
В современной науке все больше утверждается практика так называемого «умственного эксперимента». Размах и сложность научных исследований сейчас таковы, что эксперимент может потребовать строительства целого завода. Это обходится слишком дорого, идея в процессе строительства может устареть, и, где удается, теоретик старается заместить экспериментатора-практика. Уэллс тоже ставил свои умственные эксперименты, рассчитывая тем самым помочь человечеству не платить слишком дорогой ценой за практику истории. Сталкивая в своих романах действительное с невероятным, он всегда желал обнаружить в действительности что-то, не открывающееся привычному глазу, о чем-то предупредить.

Умственный эксперимент Уэллса был очень полным, в опыт вовлечено было все содержание жизни общества, как умеют это делать только те экспериментаторы, имя которым — художники.

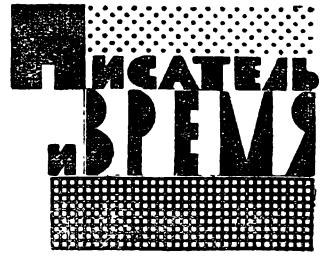
Вера Уэллса в науку, его причастность к ней не мешали ему быть художником. Они только делали его художником современным. И очень радикальным в своих воззрениях.

Позитивисты считали, что наука принесет благие плоды в пределах буржуазного общества. Уэллс же считал, что наука способна преобразовать человека и общество. В 1923 году он написал утопию «Люди как боги», где изобразил общество без частной собственности и принуждения, общество, где освободившийся человек потому и чувствует себя человеком, что не сидит более на своем клочке земли, рыча на прохожих, а принадлежит всему человечеству. Такое общество называется коммунистическим, и в какие бы раздраженные споры ни вступал Уэллс с коммунистами, он не мог не написать такого романа. Он был ученым и гуманистом. Гуманизм определил направление его поисков. Наука помогала их объективности. Уэллс не мог не выразить объективного пути человечества к коммунизму. Уэллс — ученый и гуманист. Иными словами, Уэллс — художник.

Когда-то Уэллс предвещал человечеству страшные испытания. Ему не верили. Кому хочется верить в дурное? Он оказался прав. Потом он принялся рисовать картины утопии. Ему снова не верили. «Сказки»,— говорили ему. Говорили так упорно, что он сам поверил своим хулителям. Но, может быть, прав был все-таки он, а не они? Может быть, Уэллс все-таки не Иеремия, а светлый сказочник? Из тех, чьи сказки сбываются,— хотя не обязательно так, как они были рассказаны?



Писатель и время



Ана Мария Матуте — автор трех романов (один из них — «Мертвые сыновья» — недавно вышел в русском переводе) и нескольких сборников рассказов. Среди современных испанских прозаиков Ана Мария Матуте выделяется стремлением к анализу напряженных психологических коллизий, к воплощению крупных, страстных, национально-своеобразных характеров.

Статья Матуте, написанная для журнала «Иностранная литература», важна и интересна тем, что в ней раскрыт трудный процесс формирования целого поколения писателей, к которому принадлежат Хуан Гойтисоло, Армандо Лопес Салинас, Антонио Феррес, чьи книги хорошо известны в СССР. Выросшие в Испании в самые тяжкие годы франкистской диктатуры, долгое время изолированные от передовой европейской мысли, подвергавшиеся цензурным и полицейским преследованиям,— эти писатели, как рассказывает Ана Мария Матуте, сумели выработать свое, резко критическое отношение к современному состоянию испанского общества.

АНА МАРИЯ МАТУТЕ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ПИСАТЕЛИ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Прошу простить мне заголовок этой статьи — быть может, слишком притязательный. Я не могу и не ставлю себе целью охватить здесь все это поколение писателей, во всей его сложности и значимости. Да и само слово «поколение» довольно неопределенно и расплывчато и поэтому допускает разноречивые толкования.

На самом же деле я могу и хочу говорить лишь о маленькой — хотя достаточно представительной — группе испанских писателей, которых я знаю. Рядом с ними я жила, вместе с ними боролась и надеялась, с ними меня связывает братская дружба. Я не критик, не исследователь, а поэтому я не собираюсь их судить: они слишком близки мне, и я всего лишь одна из них. Моя цель — рассказать о группе девчонок и мальчишек, выросших во время жестокой гражданской войны и после нее. Я могу говорить только о тех, кто после войны остался в Испании. Чтобы рассказать о других, вынужденных силою обстоятельств покинуть родину, мне не хватает непосредственного знания их писательской жизни. Итак, я могу лишь повторить, что речь пойдет о горстке писателей, горстке мальчишек и девчонок, горстке детей.

Я должна возвратиться к отрочеству и детству этих писателей. К детству, которое их — то есть нас — всегда преследовало и которое можно увидеть почти во всех наших произведениях. В тот день, 18 июля 1936 года, нам было восемь — десять — двенадцать лет.

В самом деле, гражданская война была ударом, глубокой раной, навсегда отметившей мою писательскую жизнь и — осмелюсь сказать — жизнь всех писателей моего поколения. Мы были детьми: любознательными, пугливыми и тревожными зрителями той драмы, которая разыгралась среди старших.

Почти все испанские писатели того возраста, о котором я говорю, принадлежали так или иначе к семьям одного типа, к одной системе воспитания, характерной для испанской средней буржуазии. Образование, которое давалось перед войной детям этого класса, преследовало цель держать их подальше от внешнего мира. Редкий ребенок не посещал в те годы католический коллеж или, чаще, интернат. Религиозное образование (особенно женское) до крайней степени замыкало и ограничивало действительность. Внешний мир нам представляли как нечто

далекое, ужасающее, опасное, дьявольское. Мы должны держаться в стороне от него — так советовала нам религиозная проповедь,— если хотим сохранить свою чистоту.

Но вот начиная с 18 июля 1936 года мир изменился на наших глазах. Та действительность, которая рисовалась нам прочной и неизменной, внезапно дала трещину сверху донизу.

С двойственным чувством изумления и несогласия (его испытывает почти каждый ребенок перед поступком, который он считает несправедливым) мы увидели оборотную сторону той жизни, которой мы спокойно и послушно жили доголе. Мы были детьми, и мы были потрясены. Мы попросту остолбенели: перед нами безжалостно раскрылся тот самый «ужасный мир», рисовавшийся нам с наших первых дней как то «плохое», чего мы неизменно должны избегать.

Мы, десятилетние и двенадцатилетние, неожиданно столкнулись с вопросом: почему монахи и монашки наших коллежей переодевались в мирскую одежду, прятались или бежали? Почему священник, приведший нас к первому причастию, должен был скрываться, как вор? Почему отцовская фабрика или мастерская перестала быть собственностью отца? Почему хороший, правильный и чистый мир нашего детства, одобренный всевышним, вдруг вызвал столько ненависти? Почему — если люди этого мира были обязательно «хорошими»? Кто же в конечном счете оказался «плохим»?

Горстка изумленных детей, стоя на коленях за перилами балконов и террас, прячась за жалюзи, глядела на вооруженных людей, маршировавших по улицам,— на людей, которых не видела никогда раньше. Это были мрачные люди с голодными и ненавидящими лицами, в красных платках узлом на шее, с ружьями и пулеметами, наведенными на «приличные» дома.

Горели церкви. Почему они горели? Что произошло? Почему мужчины и женщины — и дети! — которых мы не видели раньше, кричали на улицах, поджигали и расстреливали ангелов нашего детства? Эти оборванные и полные непонятного гнева мужчины, женщины и дети, оказывается, жили в том же самом городе, что и мы. У нас было такое ощущение, будто кто-то вылил воду из водоема, казавшегося чистым и спокойным, и на его дне оказалась грязь, о которой невозможно было и подозревать.

Все, что преподносилось раньше как бесспорно хорошее или безусловно плохое, вызывало теперь мрачные сомнения. Что же находится «одесную», а что «ошую» бога: кто был способен это определить? Где добро, где справедливость — какой человек смог бы указать нам это, на какой карте, в какой стране, в каком раю? Тысячи таких вопросов стали обвинением тому миру, который нам изображали прочным, незыблемым, разумным и безукоризненным.

В те горячие июльские дни у нас перехватывало дыхание от отдаленных выстрелов. Ночную тишину разрывали звуки радио: возле микрофонов кричали мужчины, женщины и дети, торжествуя, как будто состязаясь в произнесении слова, нового для нас и еще непонятного: свобода. Горстка изумленных детей наблюдала с тревожным и выжидательным любопытством. В десять лет ребенок, разумеется, думает уже обо всем и наивно повторяет упрямый и надоедливый вопрос: почему?

Жизнь — безудержная, жестокая и неизведанная, но реальная и трепещущая — раскрылась перед нашими глазами. В мире существовал голод. Существовала ненависть. Существовала жажда справедливости. В мире существовали эгоизм, страх, жестокость и смерть. Жизнь городов, потрясенных революцией и войной, ворвалась как ветер в щели и окна.

Но вот война окончилась, и мы выросли.

Сейчас я не берусь решительно судить о тех или других сторонах и тенденциях испанской жизни того времени. Я хотела бы только объяснить некоторые обстоятельства и факты, которые определили мироощущение горстки детей, столь рано познавших мир. Я повторяю: война окончилась и мы выросли. Но великий урок войны уже не вычеркнуть из памяти, ибо то было время открытий. Те мальчишки и девчонки, о которых я говорю, уже никогда не смогли вновь стать легковерными и нелюбознательными детьми «в привилегированном положении», к которому их предназначали. Здесь-то, по-моему, и заключен корень нашего литературного призвания. Взошел посев, и его уже нельзя уничтожить. Мы научились думать по-своему. Мы превратились в любознательных, непокорных и беспокойных подростков.

Но вокруг нас стали заметны другие перемены. Несколько лет спустя Альфонсо Гроссо в своей книге «Канава» назвал эти перемены «ужасами мира». Он писал: «Вместо гранат — еда. Вместо людей, живых или мертвых,— еда. Хоть какая-нибудь еда. Еда, которую поглощали бы вместе победители и побежденные в городе, обретшем наконец мир, первые ужасы мира: нет снарядов, нет тревог, только расстрелы у стенки, на рассвете, и почти совсем нечего есть».

Вслед за этим первым ощущением мы изведали великий урок приглушенных разговоров и подавленных криков. Мы поняли другой страх, другую тревогу: огромное, глухое молчание, возникшее от кляпа, который забивали все мучительней и глубже в тысячи и тысячи ртов, глаз, ушей и, наконец, сознаний. Разбросанные среди молчания, мы были подростками, которые писали для того, чтобы найти путь к правде и действительности в море мрака и мифов, иллюзий и слепоты — путь, который позволил бы выкрикнуть наше несогласие, нашу надежду и наши вопросы — большие и не находящие ответов. Эти подростки, то есть мы, натолкнулись на молчание, прикрытое безразличием. Вокруг был мир, который заткнул себе глаза и уши, он не говорил ни громко, ни шепотом, он лишь тупо повторял одно и то же.

Но мы искали. Спускаясь в портовые кварталы, на окраины, в землянки и таверны, мы искали пульс и сердце народа. Нам были нужны его слова. Всегда можно найти то, что ищешь, если ищешь настойчиво.

Я намеренно не говорю о том поколении, которое предшествовало нашему,— о воевавшем поколении. Из тех людей никто, за редкими исключениями, не писал о гражданской войне. И наоборот: мало кто из тогдашних десятилетних не писал потом о войне. «Романа о войне», разумеется, не создал никто из нас — но трудно найти книгу писателя моего поколения, где в той или иной форме, на той или другой странице не возникла бы война. Она оказалась нашим наследством, мы жили ею много лет после того, как она кончилась. Не будучи ее участниками, мы были ее свидетелями, по-детски непреложно объективными,— и мы были ее жертвами.

Мы выросли во времена, трудные для испанской литературы. В те годы испанский роман едва ли изображал что-нибудь, кроме сложных душевных движений утонченных героев, а если он касался войны, то говорил о войне триумфальной, победоносной и героической, выполняющей божественное предназначение, о конечной победе морали над грехом, ангелов над демонами. Снова «хорошие» непременно торжествовали над «плохими», как в сказках нашего детства.

Мы начали строить роман на другой основе. Напоминая о войне, мы называли ее просто гражданской войной, а не Славным восстанием и не Крестовым походом. Слово «гражданская» сразу же было запрещено: надо говорить «Славное восстание» или же «Крестовый поход»! Из наших книг выбрасывалось также слово «свобода», не говоря о многих других. В испанской литературе той эпохи царили «табу»: согласно им, никто в Испании не кончал жизнь самоубийством и не совершал прелюбодеяний. Цензура систематически заботилась об этом. Вот в такой удушающей обстановке мы и начали писать.

Нам было восемнадцать-двадцать лет. Было трудно. В течение еще пяти или десяти лет мы были «плохими детьми», которые с годами должны исправиться, но с которыми надо обращаться построже. Мы боролись. И худшим нашим врагом была не прямая критика и даже не цензура. Им было окружавшее нас расслабленное равнодушие, не говоря уже о презрении к любым проявлениям литературной и вообще интеллектуальной деятельности. Никто не интересовался литературой. Но мы хотели писать: не для того, чтобы поправить свои дела, и не для того, чтобы развлечься,— а чтобы разоблачать, удивляться и ставить вопросы.

Помню, как мы писали. Помню, как открывали запрещенные книги, как находили новые для нас имена и литературные течения, случайно затерявшиеся в грудах книг у букинистов. Вокруг нас было безмолвие. Мы уже знали свое призвание, и мы были готовы разбивать головы о стены отказов, запретов и противодействий. Цензура четвертовала наши книги. Мы вынуждены были напрягать и иссушать свой мозг в поисках тех извилистых тропинок, которые позволили бы выразить в завуалированной форме наши идеи. Среди скептического безразличия посредственной (за малыми исключениями) критики, хотевшей всюду видеть «тремендизм» * и приклеивавшей ко всему непонятному и нежелательному кличку «экзистенциализм», мы раз за разом возвращались к войне.

И это легко объяснить, если принять во внимание, что та война, на которую мы смотрели когда-то в изумлении и неведении, которая запечатлелась в нашей памяти как ужасная и чудовищная, была в конечном счете окном — единственным окном, внезапно открывшимся и внезапно закрывшимся перед нами. Ослепив нас своим пламенем, она закончилась так же сурово и неожиданно, как и началась. Нас окружали только ее отдаленные отзвуки. Слова «свобода» и «права человека» были вымараны из наших произведений, вычеркнуты из наших программ. Справедливость, к которой мы взывали, была заменена словом «милосердие». Но через окно, к которому мы обернулись, к нам стали проникать новые имена. Ведь наше поколение выросло без писателей. Достаточно сказать, что был запрещен почти весь Достоевский, была запрещена «Анна Каренина», был запрещен или искажен Бальзак. Под строгим запретом находились почти все современные писатели Франции, Италии, Северной Америки. Были запрещены и наши писатели — Бароха, Вальье-Инклан, Ортега-и-Гассет, большинство произведений Унамуно, Кларина и других,— не говоря уже о тех, кто был вынужден покинуть родину по политическим мотивам. Книги, допущенные цензурой, фальсифицировались и коверкались. Наша молодежь, наши друзья росли в стороне от идейных поисков, страстно увлекаясь только футболом. Молодежь не говорила о литературе и политике, она не знала значения этих слов. Вспоминаю, как мы вслепую искали и находили друг друга. Наши поиски единомышленников, наше братство, наши страстные собрания — все это посреди безмолвия. Нас как будто не было. Немногие читали нас, порицая или снисходительно подтрунивая. Мы были «трудными детьми» или, в лучшем случае, модой. Вокруг нас были неприступные границы: поехать во Францию было золотым сном, пересечь Пиренеи — счастливым приключением, купить запрещенную книгу — отвагой. Мы кричали в безмолвие и слышали собственное эхо. Нынешнее поколение не знает о нашей тогдашней тоске и жажде неведомого.

Официальная цензура не была для нас

* «Тремендизм» (от исп. tremendo — страшный, ужасный) — название, данное испанской критикой литературному течению 40-х — начала 50-х гг., изображавшему жизнь как нечто беспросветно и безнадежно страшное, угнетающее человека.

АНА МАРИЯ МАТУТЕ
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
И ПИСАТЕЛИ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

хуже, чем другая цензура — цензура тех людей, которые (как это было со мной, когда я опубликовала серию рассказов в одном еженедельнике) писали в редакцию такие письма: «Не допускайте на ваши страницы этих неприятных писателей. Когда я прихожу домой и сажусь за кофе, читая ваш еженедельник, то нищета других врывается в мой дом. Я ничего не хочу знать обо всем этом. Я хочу жить спокойно». На нас нападали, нас запрещали читать, но это нас укрепляло. Мы все-таки существовали, мы разрушали комфорт и безразличие, мы говорили что-то, кричали — и нас начинали слушать.

Вокруг нас происходило медленное пробуждение. Военная рана, несмотря на все бинты, оставалась открытой и давала о себе знать. Она напоминала о лживом разделении на «плохих» и «хороших». Мы еще не знали, кто на самом деле лучше и кто хуже. Но появилась возможность узнать это. Молодые писатели уже не обращались к исключительным индивидуумам, с которыми трудно было отождествить человека с улицы, каждодневно боровшегося с тяготами жизни «на осадном положении». В новых писателях появилось открытое любопытство, бесстрашие и желание справедливости. Это последнее слово уже нельзя было заменить двусмысленным «милосердием», успокаивающим — в согласии с установленными формулами — совесть и чувство долга. Молодые писатели говорили о таких мужчинах и женщинах, которые не имеют времени размышлять над своими душевными состояниями, потому что испытывают постоянно голод и холод, работают по 12—14 часов в день и зачастую не умеют даже читать и писать. Испанский роман снова ставил проблемы, которые еще незадолго до этого (если не считать книг Камило Хосе Селы или Мигеля Делибеса) казались забытыми, словно бы сданными в архив. Новый ветер развеял, как клочки бумаги, все заботы о строгом стиле, о запятых и глаголах. Начались заботы о содержании.

Воспоминания о войне всегда жили в сердцах тех, кому в 1936 году было десять лет. Я снова возвращаюсь к этим воспоминаниям, ибо именно они и заключенные в них возможности позволили Армандо Лопесу Салинасу ввести двадцать лет спустя в роман «Шахта» эпизод, где ведут разговор крестьяне, тщетно искавшие работы в андалусских деревнях:

«...Ты никогда не видел народа, как он кричит на улице и радуется свободе? Я никогда не забуду. Люди шумели на улицах, обнимались. Они подняли на муниципалитете флаг без единого выстрела, а потом уж началась стрельба. Все полетело к черту. Моего отца и моих братьев убили посредине улицы...»

А другой говорит:

«Однажды я услышал разговор о разделе земли между бедными крестьянами. Но это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. А все-таки было здорово. Они хотели нам помочь. Мы жили надеждой. А потом все пошло насмарку».

В прекрасной книге «Стриженая голова» (это сборник рассказов о гражданской войне) Хесус Фернандес Сантос, быть может, лучше всех показал чувства ребенка, наблюдающего за военными событиями, ощущение того, что в жизни совершается нечто огромное, необычное, не сообразующееся с объяснениями старших. Я привожу отрывок из рассказа «Очень далеко от Мадрида»:

«С тех пор как фронт перерезал железную дорогу и отец остался по ту сторону, они втроем — мать и двое детей — отходили все дальше, повинуясь приказу эвакуироваться. Дни шли в отступлении, вместе с деревнями, с полными солдат поездами, с новыми контролерами, которые попадались навстречу каждое утро. Белые пустые деревни. Бесстрастные старики и незнакомые дети, сидя на обочине дороги, смотрели и не здоровались. Равнины, раскаленные голые степи колыхались вокруг движущегося обоза и оставались позади раньше, чем их успевали разглядеть. Разрушенные церкви, фонтаны, которые еще били потихоньку. И над всем этим молчание людей, их враждебные, недоверчивые лица, страх перед войной...»

Дети Фернандеса Сантоса понимают: открывается мир, и надо его рассмотреть, не отводя глаз, надо познать его до глубины его ужаса. Быть может, это и есть возможность спастись. В рассказе «Конец войны» появляется ощущение потери, смутного и странного поражения: «Далекие, одинокие выстрелы приносили иногда воспоминание о минувшей войне, в которой никто из них не участвовал. Только перемены на фронтах, переходы из сырых траншей на грязные парапеты, надоевшие ежедневные смены караула и бесконечный изнуряющий голод. Крики сдающихся, ночное дезертирство...»

В романе «Харама» Рафаэль Санчес Ферлосио показал молодежь, не познавшую войну, повернувшуюся ко всему спиной. Это молодежь скучающая и неудовлетворенная, но смирившаяся и равнодушная. И вот взгляды этих юношей — тех, кто еще моложе нас,—также обращаются назад, к войне.

«— Во время войны, наверное, немало народу погибло в этой реке.

— Да, особенно выше, в Харамских горах. Там было много убитых. Но вообще-то линия фронта проходила по всей реке, вплоть до самой Титульсии.

— Титульсия?

— Ты что, не слышал об этой деревне? Я знаю ее, потому что как раз в Титульсии погиб в бою мой дядя, брат матери.

— Подумать только, что здесь был фронт,— сказала Мели,— и столько было убитых.

— Точно. А мы здесь так спокойно купаемся.

— Как будто ничего не было.

Люсита прервала их:

— Хватит. Охота вытаскивать снова все это.

Вернулись трое других. Мигель сказал:

— О чем вы тут говорили?

— Ни о чем. Люсите не нравятся истории про убитых.

— А что это за убитые?

— Те, кто погиб на войне.

— А... ладно. Кстати: который час?»

На такую же молодежь, хотя и из другого класса общества, указывает Гарсиа Ортелано в романе «Новые друзья». То же самое безразличие и незнание, но на этот раз с легкой тоской о чем-то непережитом. Герой этого романа говорит:

«Мы живем в мире лжи. Само наше существование фальшиво». «И все у нас временно,— прошептал Леопольдо. — Исабель говорит, что это из-за войны. После войны все кажется временным».

У Антонио Ферреса в книге «Кирка», где автор поднимает свой голос вместе с бедняками, строящими барак в мадридском предместье, говорятся слова, которые, по моему убеждению, обобщают именно это чувство:

«У тебя нет родителей?» — «Их убило снарядом во время войны. Меня раскопали. Теперь мне двадцать. Только это и осталось у меня от войны»,— Луис указал на шрам на левой щеке. «Только это и осталось»,— сказал другой».

Вот так мы — хотя бы раз, хотя бы в одном рассказе, на одной странице, в одной фразе, в одном слове — возвращались к войне.

Заканчивая эти страницы, посвященные горстке выросших детей войны, я хотела бы сказать: мы начали писать потому, что — хотя у нас и не было нищенского детства, хотя мы и принадлежали к средним классам общества — мы были недовольны. Потому мы и пишем о войне спустя много лет после ее окончания. Мы пишем, ибо мы не заснули и не покорились, мы не слепы и не мертвы. Мы пишем, потому что наши произведения становятся одной из форм протеста. Пока мы живы, пока у нас есть силы, мы протестуем против угнетения, лицемерия и несправедливости.

АНДЖЕЙ ДРАВИЧ

К СЕРДЦЕВИНЕ ЖИЗНИ

Молодых польских поэтов и прозаиков я читаю, в общем, систематически, как из интереса, так и по долгу рецензента. Делаю я это со смешанным чувством: порой долг преобладает над интересом, но порой бывает и наоборот. По неписаному закону, когда пишешь для зарубежной печати, так сказать, на экспорт, принято несколько приукрашивать отечественную литературную действительность, выковыривая из ее, зачастую непропеченного теста одни лишь изюминки. На мой взгляд, в этом нет надобности, если обращаешься к советскому читателю: такие близкие и дружные соседи, как мы с вами, должны узнавать друг друга без прикрас, без ретуши и позы, в повседневном общении. Чем меньше официальности и дипломатического протокола, тем лучше для обеих сторон.

Надо открыто сказать, что, впрочем, и без того должно быть ясно: выдающиеся произведения не растут у нас, как грибы после дождя, будни нашей литературы — это длинные ряды книг более или менее солидных, честных, занимательных, среди которых изредка что-то вдруг засверкает и окажется откровением. Именно эти ряды, а не одни только откровения, я и хотел бы показать на примере нескольких имен и некоторых книг. Подбор будет в какой-то мере субъективным, однако это неизбежно, поскольку к литературе всегда подходишь с позиции личного вкуса.

Так какая же она, молодая польская литература наших дней?

Легче начать с того, каких черт она лишена. Итак, в ней, к счастью, все меньше сказывается влияние всеобщих увлечений, погоня за модой, стилевое однообразие. В нашей литературе слышатся разные, часто нестройные, иногда смутные голоса. Пишут на свою ответственность, не оглядываясь на других. Я намеренно подчеркиваю этот факт, так как еще сравнительно недавно дело обстояло совсем иначе. За последнее десятилетие, начало которому положили серьезные политические и общественные процессы 1954—1956 годов и которое сформировало сегодняшний облик молодой литературы, мы наблюдали поочередно несколько приливов тем и образов, общих для многих писателей. Первым был прилив сомнения: оказалось, что идеальное видение мира не соответствует действительности, литературу заполнили разочарованные, обманувшиеся в своих надеждах персонажи, «люди с пустынных пространств», как их тогда называли.

Согласно закону действия и противодействия за этим последовал прилив картин идиллического или тревожного детства, увлечения автобиографией: маленькими героями можно было управлять по своему усмотрению, они предоставляли авторам большую свободу действий и давали возможность эффектного противопоставления детской наивности и неопытности механизму мира взрослых. Затем наступило увлечение темой бессилия, период «гамлетизма», когда молодые писатели мелочно копались в тайниках своей души. Потом в книгах стали изображаться ситуации, тщательно очищенные от всякой конкретности, которым авторы пытались придать универсальное, символическое значение, однако нередко они оказывались попросту пустыми и претенциозными. И, наконец, в литературу широкой волной вторглась повседневная действительность, но ее содержание сознательно сводилось к обыденным человеческим делам, из которых ничего не вытекает, кроме того, что они существуют; критика справедливо определила это явление как «малый реализм».

Литературные моды сохраняются по инерции, и сейчас все еще появляются книги, которые кажутся запоздалыми отголосками

первого, второго или третьего увлечения. Однако на переднем плане молодой польской литературы, несомненно, совершается кристаллизация писательских индивидуальностей, а также кристаллизация чувства ответственности за литературу как социальное мнение. Это связано с рядом процессов, среди которых не последнее место занимает простое биологическое созревание. Ведь что там ни говори, хорошие книги (я не имею в виду стихи) редко пишут в возрасте до 30 лет. Проза любит взрослых! Поколение сегодняшних молодых писателей (часто условно называемое «поколением «Вспулчесности»— по названию литературного журнала, к которому они примыкали) уже подходит к той возрастной черте, которая у прозаика знаменует зрелость. Я отнюдь не утверждаю, будто до сих пор они ничего еще не добились, но хочу надеяться, что лучшее у них впереди. Краткую генеалогию этого поколения сформулировал Анджей Лам, главный редактор «Вспулчесности».

По его мнению, молодые писатели «были слишком молоды, чтобы внести свой вклад в формирование идей, определивших облик польской жизни в первом послевоенном десятилетии. Скорее, в различной степени, они примыкали к этим идеям, стремясь найти применение капиталу своей юности. Перемены, происшедшие после VIII пленума ЦК ПОРП (1956), застигли их врасплох в момент, когда у них еще не выработалось устойчивое мировоззрение. Они жаждали не столько рассчитаться с прошлым, сколько найти исход для своей внутренней энергии — ведь они не сделали ничего, что могло бы вызвать у них ощущение вины, и не пострадали столь сильно, чтобы чувствовать себя жертвами. Просто мир не принимал того, что они хотели бы и могли признать своим, и они ответили на это недоверчивостью, духом противоречия и осторожным скептицизмом — слишком слабые, чтобы взять на себя зрелую ответственность, и слишком сильные, чтобы не подчеркнуть своей обособленности. Они заняли позицию, в которой таится неясное ожидание, как в фильмах Антониони. Видимо, по мере того, как они будут чувствовать свое возрастающее значение, по мере неизбежного перемещения ответственности на их плечи наступит также процесс окончательной идейной кристаллизации, первые проявления которого уже заметны. И тогда то, что казалось отчужденностью, может стать основанием для положительных устремлений, направленных на самую сердцевину жизни».

Вот именно. Незрелость, недостаточное чувство ответственности, неопределенность позиции, вся та половинчатость и нерешительность, о которых пишет Лам и которые в свое время заполнили молодую литературу фигурами карманных гамлетов, судя по всему, отходят в прошлое. Чему же они уступают место, какими позициями, какими воплощениями сменяются? Об этом я сейчас и попытаюсь рассказать, по возможности систематично и сжато.

Итак, молодые писатели обращаются к теме войны как источнику чересчур важного для нашего общества и чересчур болезненного опыта, чтобы можно было забыть о ней даже столько лет спустя. Войны, на которую они смотрели детскими глазами, сохранили в памяти прежде всего кошмар убийств и разрушений. Однако отдаленность во времени позволила им художественно овладеть этим кошмаром, избежать истерии, придать ему лаконичную, сдержанную форму, на первый взгляд — бесстрастную, а в результате тем более впечатляющую. Так пишет Генрик Гринберг в своей «Команде Антигоны» и в «Иудейской войне». Автор воссоздает тяжкие переживания еврейского ребенка, которого прятали во время оккупации, который рос под постоянной угрозой смерти. О вещах страшных он говорит как о чем-то обыденном, благодаря этому, не повышая голоса, он достигает потрясающего эффекта в своем протесте против фашистского варварства.

Отметим далее пристальное внимание молодых к переходному этапу между войной и миром, специфику которого могли уловить зрители фильма «Пепел и алмаз» Анджея Вайды. Кончилась война — и вместе с нею кончилась прежняя Польша; очертания новой Польши с новым общественным строем еще расплывчаты, нечетки, а тем временем страну сотрясают болезненные судороги преобразований, льется кровь, доходит чуть ли не до гражданской войны. Отдавая себе отчет в том, сколь сложен был этот период, писатели младшего поколения и здесь используют автобиографический материал. Но в тот период они были старше, подходили к жизни более сознательно, и поэтому уже нет наивного детского ужаса в их произведениях, а есть наблюдения внимательного свидетеля, порой даже участника событий.

Молодая литература освещает различные стороны польской действительности того времени. Вроцлавянин Тадеуш Миколаек воспроизводит обстановку, в какой совершалось воссоединение с Польшей ее Западных земель,— с массовыми переселениями, со всеобщей неустроенностью, с трудностями перехода вчерашних участников подпольного движения Сопротивления к новым условиям, с ускоренным, прерывистым ритмом жизни, который автор «После дождя» и «Жарувки» передал нарочито яркими, резкими, полными экспрессии словами, напоминающими «динамичную» и «орнаментальную» раннюю советскую прозу.

Ежи Щигель в «Молчании» и «Догорающих деревьях» пишет о трудном становлении характеров своих юных героев, которые выросли в маленьких городках, в обстановке послевоенных лишений, обывательщины и нетерпимости, доходящей до фанатизма, и стали свидетелями и участни-

ками того, как создавалась новая Польша. Его книги привлекают внимание своей правдивостью, в них много горечи, но в самой своей глубине они оптимистичны и в этом отношении напоминают горьковскую автобиографическую трилогию. О жизни, сквозь которую надо упорно пробиваться, в которой ничего не дается даром, писатель повествует спокойно, как бы приглушенным голосом; в колорите его книг преобладают серые тона, как в описываемой им действительности.

Эрнеста Брылля, автора «Отца», «Тетки», «Можжевельника» и цикла рассказов «Горько, горько...», интересует польская деревня, какой она была двадцать лет тому назад, в дни великого перелома, который с высоты наших дней виден яснее и отчетливее. В его книгах воспроизведены фрагменты польской революции со всей ее национальной спецификой, разрушающей литературные схемы, в его произведениях черное — не совсем черное, а белое — не совсем белое, и когда разъяренные противники преследуют друг друга с обрезами (это напоминает «Поднятую целину» Шолохова), на каждом шагу возникают ситуации, непредусмотренные ни в каких учебниках. Для писательской манеры Брылля характерны постоянные смены планов, приближение и отдаление от объекта, показ одних и тех же событий в восприятии разных персонажей, сопоставление настоящего с прошлым. Все это напоминает полет трудолюбивого шмеля, описывающего бесконечные круги над цветком.

Молодая литература Польши берется за критическую оценку периода духовного созревания своего поколения, пришедшегося на конец сороковых — начало пятидесятых годов. Откровенно говоря, мы еще только ждем книг о тех, кому сейчас по 30 лет: видимо, это время еще не настало. Однако Хэлина Снопкевич уже сделала первую такую попытку в своих «Подсолнечниках» — повести, написанной непритязательно и живо, в форме дневника молодой девушки, кончающей школу и накануне вступления в жизнь, со всей свойственной этому возрасту экзальтацией, решившей строить свою жизнь так, как, по ее мнению, этого требовала избранная ею идеология:

«В связи с этим я предприняла следующие меры: 1) подстриглась по-мужски, чтобы походить на революционерок и чтобы прическа подходила к красному галстуку; 2) прочла «Коммунистический манифест»; 3) избрала своими духовными вождями Горького и Свердлова; 4) прогуляв занятия, съездила в Ченстохову и купила там маленький бюст Карла Маркса; 5) порвала фото Джеймса Мезона как не соответствующее моей новой позиции; 6) начала собирать материалы об Интернациональных бригадах в Испании... 7) приучаюсь курить».

Вот так-то...

И, наконец, настоящее время, современность, мир, в котором мы живем. Его показать еще труднее, ибо все это слишком близко. Тем не менее есть уже несколько интересных произведений, особенно в малых прозаических формах — в новелле.

Беспощадно, с едким сарказмом разоблачает проявления современного мещанства, срывает маски с людей, пытающихся скрыть свой подлинный облик, Богдан Войдовский в сборнике рассказов «Каникулы Иова»— одном из наиболее примечательных литературных дебютов последних лет. В своей новой, недавно изданной книге «Конотоп» Войдовский проникновенно и с рационалистическим увлечением изображает явление одновременно и гротесковое и грозное, так как в людях просыпаются самые низменные инстинкты, трагически осложняя их судьбы. Случаи религиозного фанатизма, хотя уже и более редкие, у нас еще бывают; и «Конотоп», помимо своих чисто литературных достоинств, и с этой точки зрения представляет самый актуальный интерес.

Несомненное мастерство психологического реализма проявил в книге «Какое большое солнце!» Януш Красинский — писатель, прошедший нелегкий путь. От него мы еще многого ожидаем.

Действие его последней небольшой повести «Тележка», которая возникла на основе сценария телевизионного фильма, развертывается в последние дни войны среди узников одного эвакуированного немцами концлагеря. Атмосфера ожесточенности, игры рокового случая, ожесточенной борьбы за существование, контрастов человеческого благородства и низости показана тут с большой документальной точностью, придавая книге характер обнаженного, при всей его сдержанности и лаконичности, как обычно у Красинского, гуманистического протеста. Наряду с художественной прозой Красинский пробует свои силы в драматургии, пишет для радио и телевидения, а также постоянно и с успехом выступает как очеркист.

Интересно идет становление творческого таланта Ремигиуша Напюрковского, прозаика, который обладает солидной суммой наблюдений над тем, как меняется облик современной польской действительности, накопленных им во время его журналистских поездок по стране. В его повести «Еще поживешь», не свободной, правда, от известной доли схематизма, показано, как у людей, занятых на большой стройке, рождается чувство общей ответственности, человеческой солидарности, дружбы. Журналистский опыт оказался равно полезным и для литературных начинаний Романа Самсела, который упорно и последовательно ищет в литературе своих собственных путей. Насколько в его первых книгах ощущались общие для многих молодых писателей маршруты их сомнамбулических блужданий, настолько последний том его рассказов «Грусть взрослых» отличают верно подмеченные моральные конфликты, прочно связанные со временем, в котором мы живем. Причина печали (нетрудно догадаться, что она знакома и самому автору

книги) в том, что не всегда слова соответствуют поступкам, намерения — их реализации, наименование — внутренней сущности понятия, в ощущении несовершенства человеческой морали.

Что же еще? Хотелось бы назвать не одно имя, однако простое перечисление превратило бы их для советского читателя в пустой звук. Но следует хотя бы упомянуть о Веславе Дымном, чья книга «...Ни черту кочерга» доказала, что традиционные мотивы польского фольклора могут быть обогащены современной их трактовкой. В результате получились сочные, красочные и очень смешные рассказы. В прозе Дымного есть нечто от высокой художественности народных польских «сьвентков», придорожных скульптур анонимных мастеров, которые, на первый взгляд, могут показаться неуклюжими (в поисках сравнения я остановился бы, пожалуй, на русском слове «лубок»).

Очень интересен, наконец, Марек Новаковский — бытописатель замкнутой зоны, лежащей, собственно, вне общества, зоны, населенной людьми, которые не всегда ладят с законом. Вначале писателя увлекло открытие своеобразного морального кодекса и обычаев, установившихся в этом мире. Затем он отверг миф о «воровской романтике», показав его плачевные последствия. В последней книге — «Записи»— Новаковский значительно расширил поле своего зрения, обратившись к жизни предместий и маленьких городков, о которой пишет горячо, с глубоким психологизмом. Часто говорят, что у писателя должна быть своя провинция. Так вот, сфера деятельности Марека Новаковского, вначале узкая и второстепенная, все заметнее расширяется. Если и дальше так пойдет, то, может быть, второстепенным будет уже не то, о чем он пишет, а то, о чем он не станет писать...

Этим оптимистическим предположением я завершу свой обзор. Появление на русском языке сборника рассказов молодых польских писателей дало бы возможность читателям сопоставить свои впечатления с этой, по необходимости голословной, информацией. До настоящего времени советские читатели хорошо знают только наших классиков и, в сущности, лишь начали знакомиться с такими современными писателями, как Анджеевский, Рудницкий, Ружевич, Бреза, Конвицкий, Неверли и другие. Молодое литературное поколение все еще ждет своей очереди, что, разумеется, свидетельствует о его хороших манерах, но все же не должно продолжаться слишком долго. Не могу не упомянуть здесь о том, что мы, со своей стороны, стараемся быстрее вылавливать и публиковать все интересное и значительное в молодой советской литературе. Итак?..

Итак, вывод может быть только один: надо читать друг друга, изо дня в день, а не по праздникам. Пусть это станет своего рода дружеским долгом, будем надеяться — приятным долгом. Впрочем, это уж зависит от писателей.

г. Варшава.

ПУБЛИЦИСТИКА

ДУШАН ГАМШИК

ОБЕД С АДЕНАУЭРОМ

Для чеха, гражданина страны, которая всегда была объектом германских агрессивных притязаний, путешествовать по Западной Германии, узнавать, как живут и что думают западные немцы, очень интересно и полезно. Не менее интересно и полезно найти ответы на те роковые вопросы, которые встают перед Германией и перед всей Европой. Ведь Германия — это точка пересечения самых разных тенденций европейской политики, и здесь все политические противоречия дают себя знать более ощутимо, чем где-либо, так как они еще обостряются разделением Германии на два государства с различным общественным строем. Фрагменты из моей книги о Западной Германии, которые публикуются ниже, представляют собой попытку нарисовать портреты ведущих деятелей западногерманской политики, которые так или иначе определяют официальный курс страны и формируют сознание ее граждан, идет ли речь о представителях правящей партии или оппозиции. Эти портреты — результат личных встреч, наблюдений и впечатлений — составляют некую часть общей картины политической жизни Федеративной Республики. Они должны способствовать лучшему знакомству со страной, которую называют «обнаженным нервом Европы» и которая может сыграть роковую роль в жизни многих народов, и прежде всего роковую роль для самой себя.

«ТЕНЕВОЕ» ПРАВИТЕЛЬСТВО

Вероятно, когда-то Карлсруэ * действительно был тихим и спокойным курортным городком, уклад жизни которого соответствовал его имени. Еще и теперь на богом забытых, отдаленных улочках можно найти идиллические пансионы, в которых жизнь идет по-домашнему — начиная с завтрака и кончая постелью. Постель вам стелит не накрашенная девица, которая могла бы служить рекламой косметического кабинета, а пожилая добродушная дама, вызывающая воспоминания о матери... а в остальном?

В остальном — по бульварам несутся потоки разноцветных автомобилей, а если вы отвернетесь от них, то перед глазами у вас замелькают непрерывно движущиеся рекламы разных фирм; когда же вы в поисках успокоения устремляете взоры на небеса, то там проносится, делая виражи, бомбардировщик канадской воинской части, расквартированной неподалеку. Пытаясь спастись от бешеного шума и грохота его реактивных моторов, вы забегаете в старозаветную парикмахерскую и между флаконами одеколона замечаете дилетантский рисунок, весьма ясный по своему смыслу: трое мужчин на трех виселицах; для тех, кто не знает их в лицо, надпись под рисунком; Аденауэр—Эрхард—Штраус. И это в городе — резиденции федерального суда, где был вынесен закон, запрещающий деятельность коммунистической партии... Нет, мне не удается взгляд со стороны, да я и не стремлюсь остаться в стороне, я тоже спешу, потому что...

...потому что в этот час неподалеку, в Шварцвальдском зале, открывается съезд Западногерманской социал-демократической партии, «гвоздь» которой — провозглашение так называемого «теневого» кабинета — правительства, которое взяло бы в свои руки власть в этой стране к западу от наших границ в случае, если бы социал-демократы победили на выборах осенью 1965 года.

* Ruhe — покой *(нем.)*.

Теперь уже все ясно, но тогда еще никто не мог знать, удержит ли большинство правивший до той поры блок христианских демократов (ХДС) и баварских христианских социалистов (ХСС), представленный Аденауэром, Эрхардом, Штраусом,— или же большинство голосов завоюет вторая из наиболее значительных западногерманских политических партий — социал-демократы. Тогда всем было ясно только одно: от электронного устройства не получишь другого ответа, кроме «да» и «нет»,— в точном соответствии с основными законами формальной логики. Третьего тут не дано: выиграть может только одна из этих двух партий: либо ХДС—ХСС, либо СДП. Все остальные, не входившие в две основные партии, должны были заботиться прежде всего о том, чтобы собрать не менее пяти процентов голосов избирателей для представительства в федеральном бундестаге. Эти заботы одолевали и руководство «свободных демократов», которые служат чем-то вроде стрелки на весах — они помогают ХДС—ХСС удерживать большинство в парламенте и в коалиции с ними образуют федеральное правительство, хотя, впрочем, в нескольких землях они оказывают те же услуги социал-демократам и вместе с ними образуют местные правительства земель. Нравится нам это или не нравится, но это так.

Однако внимание! Сейчас мы увидим вождей социал-демократов за работой.

Человек, который произносит речь,— это Вилли Брандт. К прежним титулам председателя социал-демократической партии и обер-бургомистра Западного Берлина печать присоединяет еще и другой титул: «теневой» канцлер; если социал-демократы пришли бы к власти, победив на выборах, этот человек стал бы федеральным канцлером Западной Германии, главой правительства с весьма широкими полномочиями.

Он говорит медленно и рассудительно, жесты его скупы, он изредка заглядывает в письменный текст речи, но не очень строго его придерживается; даже когда он говорит экспромтом, он тщательно выбирает выражения, подгоняя слово к слову и фразу к фразе. Он старается произвести на слушателей впечатление рассудительного, солидного, достойного доверия и надежного человека. Мне довелось наблюдать его через несколько дней в узком кругу за обедом, разумеется «политическим», во время которого он отвечал журналистам на десятки вопросов. Он отвечал за салатом и за вином, разумеется без бумажки, и впечатление от его выступления и способ выражения политических идей были в точности те же. Все дело в том, что этому человеку, Вилли Брандту, предназначена в предвыборных боях чрезвычайно важная роль. Это — статный высокий мужчина лет пятидесяти, с приятными чертами и свежим цветом лица, прекрасно владеющий искусством честно и открыто улыбаться. Одевается элегантно, но строго. Обладает несомненным личным обаянием, которое особенно действует на женщин — а женщины составляют большинство западногерманских избирателей. И его биография как будто создана для того, чтобы вызывать умиление. Он происходит из бедной семьи, рано потерял родителей и был воспитан дедушкой, старым немецким социал-демократом. Во времена нацизма ничем себя не скомпрометировал, все это время прожил в эмиграции в Скандинавии, а в Берлин вернулся в 1945 году офицером норвежской армии — не был «коллаборантом», не сотрудничал ни с одной из ведущих держав антигитлеровской коалиции. Впрочем, именно эти обстоятельства и пытаются использовать против него крайние правые: Штраус недавно изрек, что настоящий немецкий политик переживал вместе со своим народом и хорошее и дурное. «О нас известно, что мы делали во время войны, а что делал господин Брандт?» О Штраусе известно, что он воевал под Сталинградом, был офицером вермахта, и, поскольку он считает это своей заслугой, ни у кого, по крайней мере, не останется сомнений, на какие слои немецкого общества он опирается. Личность Брандта отвечает сентиментальным чувствам: он тот самый «бедный мальчик, который поднялся из низов», он не жалеет усилий, бывает в периферийных организациях, объезжает города и села, держит сотни импровизированных речей, проводит тысячи бесед, произносит тысячи тостов, пожимает руки десяткам тысяч избирателей, он лично знаком со множеством людей и многим из них симпатичен.

Брандт лелеет честолюбивую мечту: он хочет, чтобы его считали немецким Кеннеди. Внешне это проявляется в том, что он постоянно поминает убитого президента, с которым его связывали дружеские отношения. Даже съезд социал-демократической партии был открыт довольно необычным образом: накануне Брандт выступал в академии в Карлсруэ под ярко освещенным бюстом Кеннеди, а телевидение передавало в каждую немецкую квартиру его речь, полную пасторальных оборотов и подчеркнутого пафоса. Строгие критики Брандта иронизируют по поводу того, что он пытается спекулировать на популярности Кеннеди, увеличившейся благодаря его трагической смерти, шутливо или вполне серьезно подсчитывая, каких качеств не хватает Брандту, чтобы дотянуться до Кеннеди. Но все же нельзя отрицать, что продвижение под прикрытием Кеннеди оказывает заметное воздействие на значительную часть западногерманской общественности.

...Я слушаю Вилли Брандта; в его рассудительной и нарочито бодрой речи, полной намеков и умолчаний, разные вещи, решающие и второстепенные, выступают как одинаковые — идет ли речь о принципе или о каком-нибудь мелком требовании, которое служит для удовлетворения и привлечения на свою сторону какой-нибудь группы или слоя. Свою динамичность Брандт доказывает, между прочим, успехом перегово-

ров с ГДР о берлинских пропусках, и это обстоятельство способствует его популярности. Он усиленно старается никак не назвать государство с семнадцатимиллионным населением, существующее пятнадцать лет, он не употребляет ни его настоящего имени, ни неодобрительной клички «Советская зона», а с театральным пафосом говорит о «наших людях там» или о «наших согражданах там за стеной», которым якобы надо помогать и пытаться всячески облегчать их судьбу. Брандт за контакты, но против признания ГДР, он за «малые дела»; принципов он, насколько возможно, избегает или выражает их цветистыми риторическими оборотами; он не хочет вызвать в своей аудитории даже тень подозрения, что «играет на руку большевикам», но в то же время он не собирается отказываться от претензии на то, что именно он, и только он, может быть подходящим и приемлемым партнером для Востока: «решение германского вопроса возможно только совместно с Советским Союзом, а не вопреки ему. Мы не можем отказаться от своих прав, но нам должно быть ясно, что для их осуществления необходимы новые отношения между Западом и Востоком и тем самым новые отношения между Германией и Советским Союзом».

Если эти слова обозначают стремление к честному сотрудничеству и постепенному улучшению международных отношений и всей атмосферы в духе мирного сосуществования, то, конечно, к ним стоит прислушаться; но если за ними кроется ловкая спекуляция, надежда на постепенное расшатывание единства европейских социалистических государств и расчет «нувориша» на то, что ему удастся купить их поддержку,— то такой сообразительный человек, как Брандт, должен был бы понять, что будет иметь дело с бумерангом...

ОБЕД С АДЕНАУЭРОМ

— Как же ты туда попал? — спрашивали меня друзья, прежде чем я успевал ответить на вопрос, что было на этом обеде, и ожидали услышать про какой-нибудь ловкий трюк, какую-нибудь невероятную проделку.

Я рад бы удовлетворить их ожидания и оправдать свою добрую репутацию репортера, но я уже давно пришел к выводу, что этой репутации помогает только правда и ничто иное. Поэтому мне придется разочаровать любителей сенсаций: я просто-напросто явился в клуб иностранных корреспондентов в Бонне — хоть я не состою его членом, один приятель уступил мне свое право, представив меня по телефону,— предъявил визитную карточку, заплатил 13 марок и ушел восвояси. Квитанция о получении 13 марок с надписью: «Ленч «Аденауэр» служила мне одновременно приглашением, входным билетом и удостоверением личности.

Товарищи кивают при этом головами, но думают, что я все-таки что-то утаил.

Итак, я надеваю свой лучший костюм и иду в ресторан «Фуайе Франсе», расположенный, разумеется, на берегу Рейна и с видом на Драхенфельз. Стол в просторном зале поставлен так, чтобы тот, кто сидит посредине, мог обозревать через большие окна всю незабываемую панораму. В зале подают аперитив, корреспонденты шумно разговаривают, смеясь, похлопывая друг друга по плечу, развязно рассказывают последние сплетни. Мне очень любопытно поглядеть на Аденауэра, я тоже мило беседую, пью, задаю вопросы, отвечаю на них и, конечно, в общей суматохе пропускаю момент, когда он входит. С бокалом аперитива он обходит зал, здоровается со знакомыми, внимательно слушает, когда ему представляют незнакомых, и, подавая руку, говорит: «Очень рад, господин Гамшик»,— он повторяет имя каждого представленного и приветливо улыбается, как будто его это и впрямь радует. Рядом с ним нет начальника протокольной части, он сам следит за тем, чтобы никого не пропустить. Аденауэр одет в серый костюм, сшитый по моде, его высокая стройная, несколько худощавая фигура подчеркнуто выпрямлена, движения — живые, быстрые; он напоминает человека лет шестидесяти, который к тому же хорошо сохранился, и только веер бесчисленных морщинок выдает его возраст, когда вы видите его улыбку вблизи,— ему почти девяносто лет. Анфас он очень походит на свои карикатуры, зато профиль у него удивительно тонкий, чуть ли не юношеский.

Ест он все: закуску, суп из шампиньонов, жаркое из курицы с зеленью, ест не спеша, с аппетитом и шутит с английским корреспондентом, сидящим справа, и с французским корреспондентом слева от него; время от времени поглядывает на остальных присутствующих в зале, а через наши головы — на панораму за окном. Только после того, как он отведал сыру и попробовал «божолэ», англичанин справа звякнул своей ручкой по бокалу:

— Вы пригласили нас, господин доктор Аденауэр, во французский ресторан, на французский обед с французским вином. Это не случайность, конечно. Означает ли это, что и в политическом смысле вы тоже франкофил?

Аденауэр смеется, допивает вино, поднимается и, сказав несколько слов благодарности, подхватывает в том же тоне:

— Франкофил? Нет, я всегда был и буду немцем, а в политическом смысле — европейцем. Но можно ли представить себе Европу без Франции? Ведь и вы охотно посещаете французские рестораны.

Кто-то другой, поднявшись, спрашивает:

— А ваш преемник на посту федерального канцлера — тоже европеец в таком смысле?

Аденауэр:

— Я верю, что да.— С минуту он молчит, а потом, приняв хитрый вид, добавляет: — Но ведь Эрхард, как известно, из Баварии.

Смех в зале. Все поняли намек. Бавария и баварцы в немецкой политической жизни — это понятие, которое обозначает местный патриотизм, ограниченность, провинциальную узость, отсутствие европейской широты взгляда и стремление уподобить себе весь остальной мир, сделать его традиционно-патриархально баварским. Аденауэр сказал когда-то, что Германия делится на зону пива (Бавария), воды (Пруссия) и вина (его родные прирейнские земли); он отделяет рейнский католицизм от баварского фанатизма, заметив, что ставит на первое место любовь к жизни, а уж потом — любовь к богу.

Теперь речь идет об Эрхарде, относительно которого Аденауэр как корректный коллега по партии высказывает уверенность, что он европеец по убеждениям, напоминая все же, что он из Баварии... Это лишь одна из насмешек, которыми Аденауэр неустанно преследует своего преемника. Он, например, заявляет, что Эрхард отлично разбирается в хозяйстве, но мало смыслит в политике. А через минуту-другую замечает, между прочим, что канцлер — должность политическая, а не хозяйственная. Популярность Эрхарда основана на представлениях о нем как об «отце экономического чуда», у колыбели которого он, инициатор экономической реформы 1949 года, стоял и которое он, министр экономики и заместитель Аденауэра, совершал. Благодаря этому, а также благодаря своей добродушной баварской физиономии любителя пива, с его неизменной сигарой и оптимистической улыбкой, он представляется многим немцам идеалом и гарантией преуспеяния. Эрхард — главный козырь ХДС—ХСС; по данным некоторых обследований, он — самый популярный политик в ФРГ. Во времена нацистов Эрхард не выступал ни за, ни против властей, хотя под их нажимом ему пришлось все же покинуть в 1942 году кафедру экономики в Нюрнбергском университете. А теперь старательно подмалеванный образ Эрхарда омрачает сам Аденауэр — председатель его партии, его многолетний шеф и бывший глава государства!

Эрхард переносит это с горечью, другие руководители ХДС (в меньшей степени ХСС) стремятся перенести обсуждения разногласий в кулуары, создать видимость внутрипартийного единства, лишив социал-демократов возможности играть на внутренних противоречиях. Они несколько раз вынуждали Аденауэра к мирным декларациям, на съезде партии ему пришлось корректно поддержать кандидатуру Эрхарда, но старый господин не унимается, он снова и снова бросается в бой.

«Это очень комично,— сказал Аденауэр в интервью самому читаемому западногерманскому еженедельнику «Бильд ам зоннтаг», данном по поводу годовщины его ухода в отставку,— но я думаю, что сейчас я завоевал большее уважение, чем год назад».

Что же это — самоуверенность и непоколебимая вера в незаменимость своей персоны, в свои несравненные способности государственного деятеля, которые не дают этому без малого девяностолетнему старцу покоя, толкая его на новые авантюры? Я в ресторане «Фуайе Франсе» наблюдал, как он между закуской и вином развивает свои мысли. Он здесь один, при нем нет никакого секретаря с бумагами и документами, который бы незаметно подсунул записку с ответом на вопрос, подсказал нужные сведения или напомнил, что следует говорить, никто не сортирует вопросы, не откладывает в сторону неподходящие и не обеспечивает паузу для того, чтобы подготовить ответ. Аденауэр слушает и отвечает сам, как говорится, с ходу, без всяких предварительных заметок, иногда помедлит с ответом, чтобы съесть что-нибудь или выпить вина, часто смеется и отвечает не прямо, а с помощью анекдота, притчи, меткого слова, поговорки, намека. Он говорит медленно, хорошим литературным языком, несколько смягчая согласные, как это принято в прирейнском диалекте. Держится он очень уверенно, все еще играя роль хозяина положения; каждый раз вспоминает, что ему сказал Даллес и что ему ответил он, Аденауэр, что сказал де Голль, что Эйзенхауэр, что Макмиллан, а что Бен Гурион, всюду он был, со всеми разговаривал; из всех переговоров, при всем уважении к партнеру, самым умным оказывался он сам, Аденауэр.

«Когда я как первый немецкий канцлер был в Америке...»

«Когда мы закладывали НАТО...»

Аденауэр постоянно напоминает, что именно он вывел Западную Германию из послевоенного хаоса, построил крепкое и сильное государство, включил его в западный союз и в короткий срок отвоевал для него утраченное за время войны доверие и вес, авторитет и силу — хотя основы его политики, обнаружившей свою фальшивость, в последнее время в значительной степени пошатнулись. Известно, что он не признает этого, категорически отказывается признавать и то, что он покинул свой пост под сильным нажимом и после всевозможных оттяжек: для этого, мол, еще не наступило время, он, мол, после смерти Даллеса был единственным деятелем, способным обеспечить дальнейшее проведение его политической линии в Европе,— Даллес назвал

его «лучшим американцем в Европе», и что сталось бы с несчастной Европой, если бы не мы (то есть Аденауэр)?

Ушел он со своего поста поздно, тогда, когда уже нельзя было больше откладывать, и охотнее всего не уходил бы вовсе, да и ушел он так, что, скорее, остался — остался председателем правящей партии, сохраняя большое влияние на политику правительства, влияние настолько большое, что в сущности нет ни новой, ни старой линии.

Аденауэр никогда не простит Эрхарду и его министру иностранных дел Шредеру визита в Вашингтон, где они согласились на формулировку относительно воссоединения Германии на пути «ослабления международной напряженности». По его мнению, это недопустимая ошибка, чреватая неисчислимыми последствиями.

Парадоксально, что те, кто настойчивее всех попрекает Эрхарда и Шредера за проамериканскую ориентацию, в годы «холодной войны» были самыми решительными сторонниками Америки. Но когда с приходом к власти Кеннеди американская политика приобрела иной, более реалистический оттенок, оставшиеся в одиночестве любители «жесткого» курса стали искать пристанища в другом месте и попытались найти его во Франции, надеясь, что с ее помощью Федеративная Республика кратчайшим путем доберется до атомного оружия. Аденауэр не упустил случая обвинить Эрхарда и Шредера в охлаждении, наступившем во франко-немецких отношениях, и недвусмысленно дал понять, что знает идеального кандидата на кресло министра иностранных дел — Франца-Иозефа Штрауса. Имя этого активнейшего баварского политика, который, будучи аденауэровским министром обороны, скомпрометировал себя коррупцией и в особенности превышением власти в деле гамбургского еженедельника «Шпигель», играет в Западной Германии роль лакмусовой бумаги: одни горячо поддерживают его, другие не менее горячо выступают против.

Штраус родился в 1915 году в Мюнхене в семье мясника, в Мюнхене же он учился и работал учителем, а с 1937 года участвовал в нацистском движении. Оправившись после Сталинграда, где Штраус отморозил обе ноги, он командовал учебным подразделением в Баварии. Из американского плена попал в переводчики к американскому командованию в Шонгау. В 1946 году стал членом президиума ХСС, в 1949 году — генеральным секретарем и депутатом. В правительстве Аденауэра он был заместителем председателя совета обороны ФРГ, потом министром по атомным вопросам, потом министром обороны. После скандала с еженедельником «Шпигель» вынужден был отступить и укрепился в родной Баварии, откуда предпринимал вылазки, подготовляя осуществление своих честолюбивых планов.

Для многих в Западной Германии он — воплощение зла, большая часть общественности отвергает его. Журнал «Политише майнунг» провел в 1960 году опрос относительно того, кто самый популярный политик в ФРГ,— Штраус оказался на последнем месте. Журнал характеризует его следующим образом: «Тупой милитарист, который хочет перевести всю политику, особенно внешнюю, на военную колею. Поклонник атомного оружия, который не успокоится, пока не получит для бундесвера водородную бомбу. Фашистский агрессор, за которым нужно следить, чтобы он не подставил ножку демократии. Его резко критикует большая часть западногерманской печати, причем не очень-то церемонится в выражениях. Штраус, даже когда он был на вершине успеха, тоже не очень-то церемонился. После выступления гёттингенских физиков против атомного оружия он публично обозвал нобелевского лауреата Отто Гана «старым идиотом, который не спит ночью и не может удержать слез, когда вспоминает о Хиросиме». С таких же позиций он нападает и на Брандта. Симпатизирующая Штраусу самая правая западногерманская газета «Дейче националь унд зольдатенцейтунг», которая и читается в самых правых кругах, провела в 1962 году анкету: «Хотите ли вы Штрауса в качестве канцлера?» Результаты поразили редакцию настолько, что она даже опубликовала их под заглавием: «7804 читателя отвергли Штрауса, 207 были «за», 8 не имели ясного суждения». Отрицательные суждения звучали так: «Он хочет нас втравить в войну», «С меня хватит Гитлера», «Я не хочу выбирать себе убийцу» (Schächter имеет в немецком языке два значения: мясник и убийца).

Но не менее характерны и мнения, благоприятные для Штрауса: «Это правильный парень, который не расшаркивается ни перед кем и называет вещи своими именами, не спрашивая разрешения в Вашингтоне, в Лондоне или в Москве». «Я убежденный монархист и отвергаю демократию как худшую из всех государственных форм. До сих пор я голосовал за ХДС, потому что видел в Аденауэре сильного человека, который держит в узде господ народных представителей, как они того заслуживают. Но так как я сейчас нахожу сильного человека только в лице Штрауса, я должен высказаться за его кандидатуру». «Он единственный немецкий политик, который никого не боится и защищает немецкую честь. Несмотря на гнусные выпады клики продажных интеллигентов в печати, по радио и по телевидению, а может быть и благодаря им, за Штраусом идет вся Бавария, а скоро пойдет вся Германия».

Вот за этого человека и ратует сейчас Аденауэр. Аристократический уроженец Рейнской области с трудом мирится с прямолинейной кривизостью Штрауса, более уместной в мюнхенских пивных. Он очень осторожно выбирает слова, когда говорит о «самобытном прирожденном политическом таланте» Штрауса, правда, пока что неотшлифованном, но обладающем такой силой и энергией, которую жаль не исполь-

зовать. Он наперед страхует себя от возможных возражений, говоря о позитивном развитии Штрауса, в результате которого его прежняя разухабистость сменилась рассудительностью и большей глубиной мысли. Многие идеи Штрауса в области внешней политики могли бы, по его, Аденауэра, мнению, внести плодотворную инициативу в нынешнюю застывшую и слишком одностороннюю ориентацию. Он прав в одном: Штраус стал теперь много осторожнее и сдержаннее: то, на чем он «погорел», послужило ему уроком, он действует менее откровенно...

Аденауэр показался мне в эту минуту иным, чем раньше или позже. Ему стало недоставать легкости, уверенности и элегантности, его речь утратила ясность и доходчивость, на смену им пришло дипломатическое многословие. И когда он с заученной улыбкой, не очень, впрочем, охотно начал отвешивать комплименты Баварии, понимая, что баварцы могли быть задеты его насмешками над Эрхардом,— сквозь шутку, которой он закончил тираду, проглядывал холодный расчет. Он призвал баварцев поддержать милого его сердцу Штрауса, который, как он говорит, может служить доказательством того, что из Баварии тоже выходят люди талантливые, подающие надежды.

Аденауэр прежде всего политик, и политические симпатии играют для него первостепенную роль. Он знает, что ему самому уже не вернуться на ключевые позиции западногерманской политики, и он стремится пропихнуть туда хотя бы своего последователя, душу, наиболее ему близкую. А это и есть Штраус, политические намерения которого состоят в том, чтобы планомерно проникать с западногерманскими требованиями в социалистические страны, способствовать их размежеванию и сделать их таким образом более склонными к уступкам Западной Германии. Штраус, как и Аденауэр, считает, что восточноевропейские страны вследствие своего исторического опыта испытывают известное недоверие к Германии и что во многих из них, особенно в Польше, в Румынии и даже в Советском Союзе и Чехословакии, существуют традиционные профранцузские симпатии. Так, по мнению Штрауса, может быть нащупана та щель, через которую вместе с французским гуманистом проникнет и замаскированный западногерманский милитарист. Эта перспектива кажется ему и его единомышленникам настолько многообещающей, что они даже пока терпят и совершенно недвусмысленное отношение де Голля к восточным границам Германии, которые он считает такими, каковы они на самом деле, то есть границами по Одеру — Нейсе.

Ради этих надежд Аденауэр поддерживает и французские требования реорганизации НАТО, которые носят явно антиамериканский характер и предполагают, по меньшей мере, предоставление большей самостоятельности европейским партнерам США под лозунгом уважения их национальных особенностей.

Наклонившись над столом, Аденауэр расставляет руки и, постукивая костлявым указательным пальцем, говорит:

— НАТО давно уже созрело для перестройки, и не стоит этого откладывать. Я, конечно, уважаю генералов, занимающихся делами армии, но назначение НАТО — делать европейскую политику.

Он излагает свою концепцию, дает советы, в общем, чувствует себя в своей тарелке:

— Я говорил об этом президенту Кеннеди, и, мне кажется, он соглашался со мной: руководство, политическое руководство — это не то, что командование. Америка — главная сила Атлантического сообщества, Европа, объединенная Европа должна быть ее равноправным партнером. Мы должны идти в одной упряжке, но народы не одинаковы, один и тот же суп не может нравиться всем,— и все же в принципиальных вопросах возможно полное единство.

Нет, политика Аденауэра не изменилась оттого, что Соединенные Штаты не проявили охоты рисковать всем ради западногерманских интересов. Аденауэр добивался бы своего и без Соединенных Штатов. В этом он последователен и всячески дает это понять, о чем бы он ни говорил.

Его спрашивают о западногерманской социал-демократии и о ее концепции западногерманской политики.

— Какая концепция? Пусть мне кто-нибудь изложит эту их концепцию, я не вижу никакой, пусть мне покажут настоящего социал-демократа, чтоб я мог с ним поспорить.

Старый господин проявляет необычайную воинственность, когда слышит о социал-демократах, его ирония становится убийственно язвительной, он обвиняет их в оппортунизме, в приспособленчестве, в беспринципности, в измене своим убеждениям, однажды он предложил даже, чтобы социал-демократы изобразили на своем гербе хамелеона. Хотя он и допускает, что результат выборов неясен и что могут победить и социал-демократы, но он все же рассчитывает, что до того времени наступят перемены, которые изменят соотношение сил в пользу его партии.

— Какие перемены вы имеете в виду? — моментально задают ему вопрос.— Изменения внутри Федеративной Республики?

Нет, перемены вне Германии. Перемены в международной политике.

Удивительная последовательность! У одних она вызывает удивление, у других негодование. Аденауэр все еще верит в возобновление «холодной войны» и надеется на это. Ветры «холодной войны» должны надуть паруса его корабля!

Тот, кто знаком с долгой и полной превратностей политической карьерой Аденауэра, не так уж удивится этому. Он родился в 1876 году в Кёльне и был очевидцем

всей новейшей немецкой истории: кайзеровской империи, Веймарской республики, гитлеровского фашизма и послевоенной эпохи. Он изучал право и после недолгой практики в качестве нотариуса стал в 1906 году чиновником кёльнского магистрата, а в 1917 году — бургомистром Кёльна, представляя католическую партию центра. Затем — членом парламента Рейнской области и членом Прусского государственного совета. В должности кёльнского бургомистра он оставался вплоть до 1933 года, его сместил Геринг. Уже в 1933 году он вышел на пенсию и во времена нацизма получал ежегодно 12000 марок. Он жил в своей белой вилле на склоне Драхенфельза, «обрабатывал свой сад и выращивал розы», как он сам говорит. Его невестка Лола вспоминает: «Несмотря на войну, это была тихая и спокойная жизнь». Он не высовывал носа из своего родного Рейнского края: «Там я мечтал лишь об одном — стать деревенским нотариусом где-нибудь в живописном уголке и не очень много работать».

Это звучит красиво, но, главное, Аденауэр умел ждать и при этом делать ожидание приятным, не рисковать жизнью и не изматывать себя. Многие видят именно в этом источник его неукротимой энергии, которую он начал проявлять в ту пору, когда стал канцлером: это произошло в таком возрасте, когда другие уходят на покой, в 1949 году ему было 73 года.

Впрочем, он довольно азартно занялся политикой еще после первой мировой войны, когда в кругах Антанты размышляли о возможности создания сепаратного западнонемецкого государства. Тогда он впервые окунулся в политическую борьбу. «Мы готовы отделиться от Пруссии. Я заверяю вас в своей полной готовности к сотрудничеству»,— сказал он представителю оккупационных властей. «Путь через Германию покажет Антанте, что в нашей стране ее ждут опасности и притом серьезные,— заявил он в интервью для парижского «Журналь».— Какие же это опасности? Это большевизм. Если же большевизм победит у нас, не потребуется много времени для того, чтобы он проник и к вам. Охраняя нас, вы охраняете самих себя».

С удивительной ясностью он сформулировал уже тогда программу западного антикоммунистического альянса со значительной, а по его представлениям, и решающей ролью немецкого государства в этом союзе. Но тогда одержала верх другая концепция. Аденауэр остался бургомистром в своем родном Кёльне, не солидаризировался позднее ни с Гитлером, ни с антигитлеровскими силами. После 1945 года он понял сепаратистский характер американской политики по отношению к Германии, вторично вступил в бой и стал подходящей фигурой для руководства западногерманским государством. Многие расценивали тогдашнюю его позицию как проявление дальновидности, на самом же деле это был просто итог всей его жизни. Аденауэр — человек единой жизненной концепции, он ждал лишь удобного момента для ее осуществления. Когда этот момент настал, то с точки зрения всего его жизненного пути не было ничего нелогичного в том, что наступила эра Аденауэра.

В Германии еще достаточно людей, которым импонирует эта последовательность, хотя ее можно расценивать и как сумасбродное упорство. Его сторонники часто вспоминают аденауэровскую эру, когда все было ясно и не нужно было лавировать между опасными рифами; друзья поддерживали аденауэровскую политику, недруги нападали на нее — это тоже доказывало, что она верная, и жилось хорошо, приятно.

Но в Германии достаточно людей, которые поняли, что политика Аденауэра, доведенная до логического конца, рассчитана на третью мировую войну. А война при нынешних условиях означала бы, как дважды два, конец немецкого народа.

Конрад Аденауэр стоит за столом, попивает вино, оживленно жестикулирует, критикует, шутит, нападает, защищается. Ему уже почти девяносто лет, он каждый день приезжает в свой рабочий кабинет в здании федерального канцлерства, которое построено по его распоряжению и где он уже не хозяин. И на партийном посту рядом с ним уже появился председатель по оргвопросам. В белой вилле над Рейном, где он прожил почти всю жизнь, Аденауэр садится за стол и пишет свои воспоминания, глядя через окно на розарий. Он работает от двенадцати до четырнадцати часов в день, дискутирует в кулуарах, произносит публичные речи, которых его младшие коллеги по партии смертельно боятся, потому что он всегда что-нибудь да выкинет. Во многом можно упрекнуть Конрада Аденауэра, но уж, конечно, не в том, что он не знает, чего хочет, не умеет этого четко формулировать и ловко проводить в жизнь.

— Мы благодарим вас, господин экс-бундесканцлер,— говорит британский корреспондент; взгляд Аденауэра устремлен через зал к великолепной панораме Драхенфельза,— за эту беседу.

Он кланяется, благодарит и уходит, держась очень прямо.

И мне бы следовало поблагодарить за возможность познакомиться со столпом целой эпохи немецкой политики. Мне кажется, что я никогда не понимал ее так хорошо, как после трехчасового обеда с Аденауэром.

С АЛЬП ДУЕТ ФЁН

Я добрался до Мюнхена после полудня, и на меня сразу как будто что-то навалилось. Я не страдаю частыми головными болями, но я почувствовал, что мне не миновать мигрени, ощутимо и назойливо закрадывающейся в мозговые извилины.

Я вовсе не такой уж неврастенический субъект, но тогда меня охватила какая-то смутная тревога, которая вынуждала совершать бессмысленное: куда-то бежать отсюда, разрушая все свои планы и замыслы.

Может быть, это все же нервы, не привыкшие к напряжению тысячекилометрового пробега за рулем автомобиля при более чем стокилометровой скорости?

Не помогла и прогулка на свежем воздухе. Хотя погода удивительно теплая, безветренная, солнечный закат кажется призрачным, а удаленные километров на сто и местами плохо различимые вершины Альп — невероятно близкими. И все же в воздухе словно носится что-то непостижимое, гнетущее, мрачное.

Может быть, это просто проявление комплекса неполноценности, возникающего у чеха в городе, по имени которого названо Мюнхенское соглашение 1938 года? Может быть, это сказывается зловещий дух самого города, где возникло и выросло до всегерманских масштабов нацистское движение?

Не помогает ни черный кофе, ни кока-кола, ни даже рюмка французского коньяку; я не иду туда, куда собирался идти, не звоню по телефону тем, кому хотел позвонить; чувствую, что лучше всего лечь в постель. Но желанное благо отдыха в горизонтальном положении превращается в муки бессонницы, в ворочанье с боку на бок — в мелькание печальных образов прошлого, и только под утро я засыпаю в предчувствии каких-то бедствий, которые принесет мне следующий день.

Следующий день, однако, свежий, бодрящий; следующий день — самый обыкновенный.

— Ну, как вы переносите наш фён? — спрашивает меня утром мюнхенский знакомый. И так как я недоуменно пожимаю плечами, допытывается с нескрываемым удивлением: — Неужто вы вчера не заметили ничего особенного?

Неужто не заметил? Даже теперь, когда я пишу эти строки, одно лишь воспоминание о том вечере вызывает отзвук тогдашних ощущений, усиливает тревогу и смятение. Но тогда я лишь весьма неопределенно упомянул о своем вчерашнем самочувствии.

— Но если вы на самом деле переносите его так легко, из вас вышел бы отличный мюнхенец!

Я не протестую, потому что хочу выяснить, что же это такое — фён, о котором мне говорят как о проклятии Баварии, проклятии Мюнхена. Я хотел бы целиком и полностью быть уверенным в том, что это всего лишь ветер, сильный южный ветер, который, преодолев вершины Альп, приносит откуда-то из далеких пустынь в эти края теплый, прозрачно-ясный воздух. Его приход сопровождается быстрым снижением атмосферного давления, после которого обычно наступает резкая перемена погоды: вслед за ясным днем — снегопад, после резких ветров — затишье, после сырой мглы — яркое солнце, после яркого солнца — сырая мгла. Фён приносит с собой не только волну раздражительности и беспокойства, но и волну сердечной слабости, инфарктов и — как показывает статистика — волну убийств и самоубийств. Этому подвержены не только люди, больные или психически неустойчивые, воздействия фёна не может избежать никто: трезвенники испытывают нежелательное и сомнительное для них наслаждение, напоминающее опьянение, пьяницы переживают головокружение, даже не выпив ни единой рюмки; опытнейшие автомобилисты, за плечами которых сотни тысяч безаварийных километров, норовят ехать по левой стороне, сами не понимая почему; у хирургов трясутся руки, и они берутся оперировать лишь в крайних случаях, когда промедление грозит смертью; набожные богохульствуют, а люди интеллектуальные вдруг остро ощущают, что поглупели.

Все это вызывает фён-чудак, фён — виновник чего-то необъяснимого, фён, приносящий несчастья, фён-призрак...

А после него наступают самые обыкновенные дни и появляется потребность изменить первое впечатление от города, именуемого Мюнхеном. Когда в чешских краях говорят «Мюнхен», то это однозначно представлению о 1938 годе, о предательстве наших английских и французских союзников, отдавших Чехословацкую Республику на растерзание Гитлеру. Мюнхен для нас — понятие, символ. Я и приехал сюда с таким представлением о нем. А заранее сложившиеся представления, и особенно такие однозначные, хорошо время от времени сравнивать с реальной действительностью.

Я, естественно, не мог не увидеть в Мюнхене пивной «Фельдхерренхалле», из которой в 1923 году Гитлер с горсточкой фанатиков вылез на свет божий, пытаясь организовать первый нацистский путч, а в то же время просто напрашивалось знакомство с промышленностью и торговлей этого города, где сосредоточенно производят, продают, покупают, потребляют. Я не мог, естественно, не заметить здание полицейского управления, в котором начал в 1932 году свою «деятельность» Генрих Гиммлер в качестве шефа баварской полиции, а в то же время просто напрашивалось знакомство с интеллектуальной жизнью города, где в прогрессивных газетах резко критикуют Штрауса и Зеебома и решительно добиваются политики мирного сосуществования. Я не мог, естественно, не увидеть малоприметный дом на Тюркенштрассе, где начал, едва достигнув тридцати лет, закладывать основы зловещей «зихерхайтсдинст» — СД — и своей карьеры Рейнгард Гейдрих, а в то же время просто напрашивалось знакомство с библиотеками этого города, где тщательно изучаются результаты все-

народных опросов, идеи XX века. И не мог я, естественно, не навести справки о здании, известном прежде как «Фюрербау»: там в сентябре 1938 года было подписано так называемое Мюнхенское соглашение.

Останавливаю пожилых прохожих. В ответ слышу:

— Не могу знать, я ведь тогда не жил в Мюнхене.

— Извините, не знаю, я не имел с этим ничего общего...

— Вероятно, оно было уничтожено, как и все другие...

— Но, позвольте, я никогда не была нацисткой!

— Не знаю,—сказал полицейский.

— Не знаю,— звучит окончательный ответ самого услужливого чиновника в справочной конторе, который в других случаях знает все.

Лишь с помощью историков мне все же удается выяснить, что «дом вождя» не уничтожен, а он все еще стоит на углу Каролиненплатц и Аркисштрассе. Он не причисляется, разумеется, к местным достопримечательностям. Туристов охотнее направляют в другие места. К тому же, он занят тремя учреждениями — Баварским государственным архивом, Институтом истории Баварии и Высшей музыкальной школой. Таким образом, разрешение на его осмотр надо получать у трех руководителей этих учреждений.

Но вот, наконец, мы с Иржи Пражаком — первые чешские журналисты — обретаем право вступить в бывшую резиденцию фюрера тысячелетнего рейха, сооруженную еще до захвата нацистами власти по проекту все того же Гитлера, который промышлял и архитектурой. Проект предусматривал сооружение двух этажей под землей и двух этажей над землей; в 1934 году взялись за его осуществление, начав с прочных противовоздушных укрытий, надежной подземной системы с потайным туннелем и выходом. Железобетонные плиты, стальные двери, вращающиеся бронированные занавесы, запирающие лестницы, несколько раз изломанные с учетом предполагаемого действия взрывной волны; вдоль лестниц — ряд крохотных помещений, персональных убежищ для нацистских главарей и, разумеется, для главного из главных — для фюрера,— в него с трудом можно втиснуть кровать, стол и стул.

Чуть подальше — центральный пункт связи, предназначенный, разумеется, не для соединения абонентов друг с другом. Над полууничтоженными гнездами коммутатора сохранилась надпись: «Abhörleitung» — подслушивающее устройство. Возле некоторых кнопок обозначения — 40, «Führerzimmer» (хотел ли он фиксировать то, о чем с кем-нибудь говорил с глазу на глаз?) 35, «Empfangzimmer» (о чем говорят в приемной?), 16, «Wache» (о чем болтают караульные?), «Schaubzimmer» — «Brücknerzimmer» (не изменяют ли помощники?). И рядом — потайной лифт, доставляющий Гитлера в его кабинет в первом этаже: фюрер был суеверен, его мучило предчувствие, что в лифте он лишится жизни, и поэтому он пользовался не общими лифтами, а только теми, которые оборудовал исключительно для себя.

Угловая комната в первом этаже служила Гитлеру рабочим кабинетом, над нею этажом выше был кабинет Мартина Бормана. Там, где стоял письменный стол Гитлера, теперь стоит рояль, против него — доска, на ней мелом между пятью линейками записан принцип трудного ритма «три на два», который должны усвоить ученики музыкальной школы. В прилегающем конференц-зале, который был 30 сентября 1938 года ареной трагикомического акта — подписания так называемого Мюнхенского соглашения, из обстановки того времени сохранился один лишь камин. «Им бы бросить туда эту бумагу»,— заметил сопровождавший нас коллега из влиятельного мюнхенского журнала. В те времена у камина стоял глобус — основной реквизит в фильме «Диктатор», в котором Чарли Чаплин создал уничтожающую карикатуру на Гитлера,— над камином висел портрет Бисмарка работы фон Ленбаха, на столе лежала карта Чехословакии с границами, обведенными карандашом. Вместо Бисмарка теперь висит Иоганн Брамс, в углу — не глобус, а система репродукторов стереофонического играющего устройства, на столе — кипы нот. Конференц-зал ныне служит для заседаний, здесь собираются преподаватели, чтобы обсуждать произведения студентов класса композиции.

Выходим из здания Высшей музыкальной школы, бывшего «Фюрербау», и снова ощущаем то особое взаимопроникновение прошлого и настоящего, на которое неотступно, на каждом шагу, наталкиваешься по всей Германии, и в особенности здесь, в Мюнхене. Мюнхен для нас — это понятие, символ, но одновременно Мюнхен — это живой и шумный город, которым, благодаря внушительному большинству избирательных голосов, управляют социал-демократы на основе программы, куда более приемлемой, чем та, что проводится штраусовским христианско-социалистическим союзом Баварии. События прошлого волнуют не устаревшим их смыслом, а своими нынешними связями с современностью. Я не могу не думать о прошлом с точки зрения своей страны: да, мы были преданы, позорно принесены в жертву. Здешним актом завершилась одна ориентация чешской политики, в сложном и болезненном процессе выработалась новая ориентация. Но все ли, однако, выражено этой грубой схемой? Между совершенным здесь когда-то актом и сегодняшним днем пролегла четверть столетия — и какая четверть столетия! Меня волнуют последствия того, чему здесь фактически было положено начало — тревожат мысли о комплексе пораженчества, о

равнодушии, о нежелании причимать участие в судьбе целого народа, об опекунах, которые за нашей спиной решали что нам предстоит пережить. Нельзя зачеркнуть мюнхенскую действительность 1938 года, нельзя смягчить жестокость преступлений, совершенных вышедшим отсюда германским нацизмом, и все же нельзя при этом обвинять только других, надо думать также и о себе, о проявлениях собственной слабости, о своей причастности к происшедшему, о его последствиях. Эти результаты остаются фактом, и то, что главным виновником был кто-то другой, а не мы, не изменяет этого обстоятельства. Жертвы преступлений судят не только преступников, но и самих себя, в их самопознании — источник здоровья для настоящего и будущего.

С мыслями обо всем хорошем, что делается у меня на родине, я дал себя поглотить бесстрастному шуму города, именуемого Мюнхеном...

Это не значит, что в мюнхенской атмосфере не осталось, хотя бы и в зародыше, чего-то угрожающего — того, что проникает в умеренно либеральный город из консервативной баварской деревни и что вынуждает прогрессивных граждан Федеративной Республики, преследовавшихся прежде нацизмом, постоянно иметь, в духовном смысле, наготове чемоданы для новой эмиграции. И здесь заметны проявления реакционного национализма, хвастающего всем отечественным и принижающего все иное, хотя часто и лучшее. Это то, что по-немецки обозначается непереводимой игрой слов: «Bazi» — «баварский» и «наци» — то есть нацист. В Мюнхене можно зайти в приятный ресторан, есть на свежем воздухе легкую закуску, рыбу, птицу, овощи, запивать их искристым натуральным вином и читать, вкушая на десерт деликатесный сыр, последние новости наимоднейших ревю. Но здесь не так уж многолюдно. Зато всегда полным-полно в прокуренных, смердящих погребках, где подают толстые сосиски с капустой и беспрерывно запивают их из массивных керамических кружек пивом, от которого тяжелеет голова, расслабляется мысль, способная приободриться только для агрессивных бульдожьих выпадов против всего, что выглядит чем-то отличным от собственных представлений, соответствующих набору фраз из ханжеских брошюр или вечерних бульварных газетенок. Разумеется, не случайно именно эти пивные были центром коричневого движения, местом, где куражились эсэсовцы, инкубатором воинствующей ограниченности и нетерпимости. И, разумеется, не случайно и сегодня Мюнхен — не только резиденция Ф.-И. Штрауса и его правого движения, но и самый крупный центр реваншистских организаций, включая судето-немецкий союз. Старый дух Мюнхена 1938 года обитает уже не в доме на углу Каролиненплатц и Аркисштрассе, а в этих погребках и пивных.

Я жил в Мюнхене несколько дней в отеле «Мюнхенер гоф», над окном цокольного этажа, где находится ресторан; объявление извещает, что «земляки» из округа Дечин — Подмоклы собираются здесь в пивном зале каждую первую субботу ежемесячно, «земляки» из округа Теплице — там же каждое второе воскресенье. Несколько вечеров мне пришлось слушать такую немецкую речь, которую я понимаю с трудом — не только потому что это особый диалект, но, главное, из-за того, что на нем говорят. Я присутствовал на так называемом судето-немецком съезде и слышал не только официальные выступления, провозглашающие «права на родину», но и неофициальные речи под звон полулитровых кружек, и в этих речах проливалось много крови во имя реванша.

Есть много западных немцев, которые стыдятся этого, для них существование таких реваншистских экстремистов — позорное пятно. Они всячески подчеркивают, что не имеют ничего общего с этими оголтелыми судетцами, резко критикуют их позицию — нынешнюю и прошлую. Они считают, что «переселенцы по призванию» делают карьеру на трудной судьбе своих земляков и злоупотребляют ими теперь так же, как прежде злоупотребляли фашисты. О Зеебоме они говорят, что он отвратительный паяц, заурядный политикан безо всякого влияния, и, наконец, даже преступник; вероятно, ни один другой министр еще не подвергался такой всеобщей критике и нападкам со стороны печати, как он.

И вот прогрессивные западные немцы, с которыми в этом отношении мы без особых усилий соглашаемся, все же дают нам понять, что у страха, мол, глаза велики, что опасность реваншистских настроений среди переселенцев мы переоцениваем, что наша пропаганда слишком уж насаждает противонемецкий комплекс. В конце концов, все равно, как называть многолетний и дорогой ценой оплаченный опыт. Разве мы выдумали, что судетское движение — резервуар реваншизма? Разве Зеебом с 1949 года состоит министром во всех правительствах действительно в силу своих исключительных качеств? И все политические партии так или иначе заискивают перед переселенцами только во имя избирательной арифметики? Почему же не поддержали коммунистическую партию, когда она доказывала, что Зеебом и его друзья и в самом деле отвратительные паяцы, провалившиеся политиканы? Почему их безответственные действия, которые портят отношения между нашими народами, не приостановлены, хотя нынешний государственный строй представляет для этого достаточно возможностей?

Нам не хочется видеть в Германской Федеративной Республике **только** это, но в то же время мы и не можем этого не видеть, хотя были бы рады не видеть этого. Да, как бы было прекрасно, если бы все это был только коварный фён...

КАК И ПРЕЖДЕ

Мне не пришлось находиться ни в одном из множества западногерманских больших и шумных городов в то воскресенье, когда происходили выборы, когда щелкали электронные счетные машины, по проводам и без проводов в боннский центр доставлялись каждые полчаса частичные результаты и в свете телевизионных рефлекторов непрерывно передавались обратно тем, кто выбирал. В то воскресенье я находился далеко от всего этого — на идиллическом далматинском острове Хвар, выдвинутом глубоко к югу от береговой линии самого прекрасного европейского моря, перед нами не было ничего другого, кроме неоглядного водного простора Адриатики. В маленьком пансионате я разделял гостеприимство с тремя западногерманскими парами; это были вежливые и непривычно тихие люди. Не встречайся мы за табльдотом во время общего приема пищи, я бы и не знал об их существовании. Когда мы в тот вечер досыта наелись изумительно вкусной, местного приготовления, рыбы, запили ее легким местным же вином и начали обычный разговор о морских увеселениях, один из моих компаньонов, самый молодой, совершенно неожиданно проявил невежливость: рассеянно пробормотав извинение, оставил свою жену за столом и вышел на террасу. Вытащив антенну транзисторного приемника, он принялся ловить в эфире голоса немецких станций, сообщающих предварительные результаты выборов. Через минуту следом за ним вышел второй. Третий, самый старший, неодобрительно наблюдал за ними и вскоре торжественно провозгласил, что самое лучшее сейчас — отправиться спать.

Я дождался полуночных последних известий и слушать их тоже вышел на террасу над морем, где слышимость была получше. Оба немца были еще там. Они уже все знали. На столе перед ними стояли две пустые бутылки из-под легкого вина, в стаканах, разумеется,—все то же густое пиво, посредине — полупустая бутылка дешевого коньяка марки «штейнхегер»; мне хорошо знаком этот напиток — обычный спутник возбужденных дебатов и политических страстей; после пива, подкрепленного «штейнхегером», убедительность аргументов возрастает до опасной весомости.

Тот, что помоложе, был искренне потрясен тем, что социал-демократическая партия не выиграла.

— Наш народ показал, как он глуп. Он не заслужил себе нового, лучшего правительства. Он заслуживает такое правительство, какое имеет. Так ему и надо.

Его компаньон был необычайно весел и повторял мне, пока я не отошел от них, одну и ту же фразу:

— Сегодня буду спать спокойнее, раз знаю, что Брандт не будет канцлером!

Третий узнал о результатах выборов только утром, во время завтрака, и, не скрывая этого, давал всем понять, что ему совершенно все равно, кто избран.

— Все будет по-старому.

— Вы, вероятно, рассчитывали на какую-то перемену?

— Я не хочу никаких перемен, я хочу покоя.

Первый результат выборов, естественно, был сообщен сразу после того, как счетные машины определили приблизительно: 47,6 процента голосов за ХДС — ХСС, 39,3 процента за социал-демократическую партию. В понедельник утром канцлер Эрхард уже мог с изрядной долей уверенности, даже самоуверенности объявить, что результат выборов — это не только подтверждение политики его партии, но и его собственной персоны, как творца и исполнителя этой политики. Эрхард сидел крепко и удобно в своем кресле, с притворно добродушным видом, в телевизионных кадрах был виден дымок его неизменной сигары.

— Я вижу в результатах выборов однозначный и недвусмысленный приказ немецкого избирателя продолжать эту политику, к чему мы также готовы.

Председатель социал-демократической партии и ее кандидат на пост канцлера бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт предстал перед телевизионной камерой несколько поблекшим. Свою неблагодарную задачу он, однако, выполнил достойно, говорил не спеша и корректно, как всегда до этого. Голос его не дрожал, когда он сказал:

— Социал-демократы не достигли на выборах своей цели — стать самой сильной группой в новом федеральном парламенте. В большей части федеральных земель социал-демократической партии не удалось преодолеть предрассудки избирателей по отношению к ней и разъяснить им программу социал-демократов.

Нельзя забывать и о более широкой взаимосвязи событий и общей атмосферы, царившей на последней стадии предвыборной кампании и повлиявшей на результаты выборов. Мы хорошо помним, как Конрад Аденауэр развивал за рюмкой вина и закуской свои мысли и как объявил, что и социал-демократы могли бы выиграть на выборах, но тотчас же добавил, что до той поры могут произойти перемены, которые изменят расстановку сил в пользу его партии.

— Какие перемены вы имеете в виду? — спросил его сразу же один из присутствующих корреспондентов.— Перемены внутри Федеративной Республики Германии?

И Аденауэр ответил:

— Нет. Перемены вне Германии. Перемены в международной политике.

Тогда его высказывание вызвало насмешливые отклики, в нем усматривали лишь упорную тоску старого политикана по «холодной войне», желание, чтоб снова задули

ее ветры — при них он чувствовал себя как дома,— но то время уже прошло и не вернется.

Однако весь год после западногерманских выборов эти ветры дули со страшной силой: американская интервенционистская война во Вьетнаме — мрачный рецидив прошлого. Сперва на Западе ей не придавали большого значения, но позже, когда становилось все яснее, что Джонсон — не Кеннеди, упорная агрессия Соединенных Штатов во Вьетнаме накрепко заморозила разрядку международной напряженности и сделала невозможной столь желанную дальнейшую нормализацию отношений.

«Кризисные времена — времена ХДС» — так еженедельник «Шпигель» озаглавил один из своих комментариев к итогам выборов. Нет ничего удивительного, что во времена кризисов психология маленького человека проявляется в страхе перед переменами, и поэтому смена правительства представляется ему рискованной. Конечно, трудно сказать, до какой степени международные события повлияли на результат выборов, но факт остается фактом: день западногерманских выборов был ознаменован напряженной, кризисной атмосферой.

...Германская проблема все еще не разрешена. Но если не знаешь ответов, надо хотя бы уметь ставить вопросы. Преодоление прошлого, разоблачение фальшивых легенд, во имя которых уже столько раз ввергали немецкий народ в пучину бедствий и заводили его в тупик,— вот важнейшие из этих вопросов. И если мы видим, что стремление к верному осмыслению прошлого, к разоблачению фальшивых легенд и мифов и к самокритичному сведению счетов с прошлым, необходимое для того, чтобы занять честную позицию в настоящем, активнее всего проявляют интеллигенция и молодежь,— то это серьезное напоминание о неоплаченном долге немецкой политики и немецких политиков, которые в этом смысле не проявили ни особой смелости, ни тактической гибкости. Грехи немецкой политики наложили свой отпечаток на национальное сознание. Время покажет, будут ли их последствия изжиты и как это произойдет.

Перевод с чешского
И. БЕРНШТЕЙН и Л. ЛЕРЕР

А. КАРАГАНОВ

ДЛЯ ТЫСЯЧ ИЛИ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ?

В Хельсинки состоялась вторая встреча писателей Финляндии и Советского Союза. (О первой встрече, состоявшейся в прошлом году в Ленинграде, сообщалось в «Иностранной литературе» № 11, 1965.)

Статья А. Караганова посвящена проблемам культуры, литературы и искусства, обсуждавшимся на этой встрече, участником которой он был.

Для тысяч или для миллионов пишет писатель? Вопрос этот кажется элементарным. И тем не менее разные писатели на него отвечают по-разному. Споры об отношении писателя к читательской аудитории, о массовых средствах распространения литературы, их использовании и их влиянии на художественное творчество ведутся непрерывно. Без них не обходится теперь ни одна писательская встреча.

Некоторые участники споров утверждают, что тираж книги не так важен, как ее содержание. Думаю, что в современных условиях такие суждения недостаточно реалистичны. Конечно, для истории литературы главное — о чем говорится и как говорится в книге. Но для истории нравов, для формирования вкусов и взглядов тираж в наше время имеет огромное значение.

Я применяю слово тираж в самом широком его значении. Литература имеет ныне не только десятки миллионов читателей, но и сотни миллионов зрителей и слушателей. В мире ежегодно продается свыше 4,5 миллиарда книг. Литературные произведения, воплотившиеся в экранные образы, смотрят около 12 миллионов зрителей. Пьесы и инсценировки ставятся в десятках тысяч театров, включая самодеятельные. Не поддается никакому учету число людей, пользующихся 370 миллионами радиоприемников и 90 миллионами телевизоров.

Рост грамотности населения земли и мощное развитие техники распространения литературы — великое завоевание цивилизации. Писатель получил невиданную ранее аудиторию. Вырос объем широко распространяемой информации, увеличились возможности восприятия миллионами людей духовного и эмоционального опыта, сосредоточенного в писательском слове. Этот процесс не может не радовать всех нас. Однако он же является источником многих тревог. Ведь в литературе действуют не только добрые духи, но и дьяволы. Рядом с книгами великих писателей-гуманистов на книжный рынок низвергаются потоки комиксов, пропагандирующих гангстеризм и распутство. На кино- и телеэкранах поэтизируются не только человеческое благородство, но и жестокость, равнодушие, цинизм.

«В западных странах,— говорил Туомас Анхава на международном писательском семинаре в Лахти,— производство книг зависит от фантазии писателя, от осуществляемого им лично сбора материала и его частной предприимчивости. Регулирующим фактором являются законы свободной конкуренции. Они служат предпосылкой низких цен,

следовательно, широкого производства и мощной рекламы. Широкое производство предполагает серийность товаров, а мощная реклама — кажущееся многообразие. Чтобы удовлетворить спрос, получила развитие легкая развлекательная литература».

Названные Туомасом Анхава современные формы превращения культуры в товар самым драматическим образом отзываются на литературе. Рынок вторгается не только в область рекламы, но и в святая святых писательских кабинетов. Множится производство легковесных и легкомысленных сочинений. Происходит инфляция эстетических ценностей. Часто бывает, что даже очень хороший роман плохо истолковывается на экране по голливудским канонам «коммерческого кино». Потом, через год или два, поставленный по этому роману фильм попадает в телепередачу и там несет новые потери: ведь фильм, созданный для кинотеатра, на телеэкране выглядит примерно так же, как репродукция с картины живописца.

В распространении рыночной культуры роковую роль играет макиавеллизм многих издателей и продюсеров. Старый принцип беспощадных циников «цель оправдывает средства» они истолковывают по-своему: «прибыль любой ценой». Ради прибыли они готовы на все.

Романы Флеминга о Джеймсе Бонде ныне не только издаются миллионными тиражами — они стали основой экранной бондиады. В последнее время на телеэкраны явился новый любимец публики — Бэтмен. С фильмами о бондах и бэтменах на западных экранах никто сейчас не может соревноваться в зрительском успехе, включая самого Чаплина. Ведь в этих фильмах в избытке имеются секс и детектив — самые мощные магниты рыночной культуры наших дней.

Такого рода произведения не только потакают далеко не лучшим запросам потребителя, но и формируют свою аудиторию, отвлекая читателя и зрителя, поддавшегося их обманчивым чарам, от понимания эстетических ценностей истинного искусства. Я уж не говорю о том, как трудно бывает провести границу и определить, где кончается циничная погоня за прибылью и где начинается зловещая пропаганда морали беспощадного сверхчеловека, готового убивать на любой войне.

Распространители рыночной культуры обычно обращаются к такому потребителю, в котором не развита или убита способность критического мышления. Придавая ловко сочиненным мифам внешнее обличье узнаваемой жизни, они стремятся к наркотическому эффекту мгновенного действия. Им очень нужен читатель-несмышленыш. Но не «дитя природы» с естественными инстинктами и врожденной тягой к прекрасному, а обыватель, чья заурядность уже отшлифована культурой, обыватель, которого легко увести от противоречий, радостей и горестей реальности в призрачный, но зато многоцветный мир очередной бондиады.

Рыночная культура действует упрямо и нахально. Варьируя одни и те же понятия, она вдалбливает их в человеческие головы, утверждая унифицированные схемы мышления и поведения. При этом она унифицирует своих потребителей на уровне духовной нищеты.

Это происходит не только потому, что хозяева рыночной культуры любят иметь дело с писателями-ремесленниками. Иной раз поставщиками литературного и экранного ширпотреба выступают и подлинные мастера, погнавшиеся за гонорарами или популярностью: в таких случаях они не поднимают рыночную культуру до уровня своего таланта, а приспосабливают свой талант к требованиям рынка.

Практика современной литературы знает многочисленные случаи, когда издатели предлагают писателям вносить изменения в написанные вещи, ссылаясь при этом на свое знание «коммерческой стороны» литературного дела, на критерии моды и обстоятельств, на дух и веяния времени. И писатели далеко не всегда умеют или смеют противостоять этим предложениям. Таким путем и они включаются в общий процесс унификации человеческих душ.

В оправдание этого недекретируемого, но фактически существующего конформизма обычно говорят, что в современном обществе частной инициативы собственник не имеет больше монопольного права на владение культурой и ее распространение. Теперь подлинным хозяином положения является массовый потребитель: он настолько властно диктует свои требования, что не считаться с ним могут одни только банкроты.

Как-то я слышал такие рассуждения продюсера: в кинотеатры сейчас в основном идет молодежь, люди постарше предпочитают сидеть дома у телевизоров. Чтобы молодого зрителя и дальше удерживать в кинотеатрах, я должен чаще показывать фильмы с красивыми женщинами, раздетыми или полуодетыми, завлекать его интимными любовными сценами. Я должен делать фильмы для холостяков.

Продюсеры и издатели, придерживающиеся такого способа мышления, хорошо понимают свою выгоду. Они знают, что зеленый юноша, поставленный перед выбором: философическая повесть или сексуальный боевик,— выберет второе. Вот и пусть он свободно выбирает, рассуждают хозяева рыночной культуры,— и демократично и выгодно.

Ясно, что такое понимание взаимоотношений с читателем и зрителем служит не демократизации культуры, а укреплению могущества и власти издателя и продюсера, которые заинтересованы в рыночной культуре экономически и идеологически.

Экономически — потому, что ширпотребом легче и прибыльнее торговать, чем истинными ценностями высокой культуры: легче найти нужного автора, легче распродать массовый тираж книги или собрать массовую аудиторию фильмом.

Идеологически — потому, что рыночная культура в ее современном обличье внушает массам такие эмоции и нормы поведения, которые ослабляют или вовсе нейтрализуют человеческие усилия, направленные на улучшение социальной и моральной структуры общества. Рыночная культура множит людские заблуждения, увековечивает предрассудки, препятствует очеловечиванию человека.

Половодье этой культуры и ее успех в массах кажутся такими неотвратимыми, что в разговорах о ней гнев и отчаяние часто преграждают дорогу анализу; разделение культуры на два потока воспринимается многими как нечто фатальное.

За последнее время в писательских и кинематографических кругах получила распространение такая точка зрения, согласно которой телевидение возьмет на себя черную, неблагодарную работу развлечения людей, а истинная литература, истинное искусство должны становиться все более художественными, сосредоточиться на эксперименте, на решении своих сложных задач, связанных с формами и способами художественного самовыражения.

Тут мы подходим к проблемам той части художественной культуры, которую на Западе часто называют элитной. Проблемы эти больше всего волнуют писательский мир и чаще всего обсуждаются на всякого рода симпозиумах. И бывает, что о литературе и искусстве, стремящихся к высокому интеллектуализму, сложных по мысли и языку, высказываются одни только восторги или только осуждения. Между тем произведения так называемой элитной культуры неоднородны по своей направленности и действию — тут тоже нужен анализ.

Для меня очевидны преимущества лучших фильмов Феллини, Антониони, Бергмана, Бунуэля, Годара перед искусством бездумного или наигранного оптимизма, которое в своем восприятии жизни не выходит за пределы известной формулы Панглоса: все к лучшему в этом лучшем из миров. Художники типа Феллини или Бергмана разрушают голливудские иллюзии, мешают обольщаться гармонией там, где такой гармонии нет.

Но бывает, что своим творчеством на месте одних иллюзий они утверждают другие: вместо иллюзорной гармонии — иллюзию роковой хаотичности мира. Преходящие драмы одиночества и взаимонепонимания людей они поднимают в такие философско-эстетические выси, где ослабляется, если вовсе не подрывается, соотнесенность изображаемого с повседневным опытом человека, где обобщения приобретают настолько отвлеченный характер, что их уже не измеришь критериями жизненной правды.

Самое парадоксальное, пожалуй, состоит в том, что среди художников, чьи произведения доходят лишь до избранной публики, есть и вполне искренние демократы, убежденные гуманисты, болезненно переживающие беды современного общества, драмы современного человека. Их изощренная и усложненная стилистика неравнозначна снобизму. Они искренне озабочены тем, чтобы отстоять ценности истинной культуры от вульгаризации и разрушения. Ради умножения этих ценностей они экспериментируют в поисках новых возможностей и новой силы искусства. Но не претендуя на аристократическую избранность и отдаленность от толпы, они считают свободу художнического самовыражения главнейшей, если не единственной формой проявления демократии в искусстве. В призывах к демократизации языка искусства им чудятся опасные посягательства на свободную мысль, словно такая демократизация никогда не может стать внутренней потребностью художника, основанной на выстраданном убеждении.

В этой связи мне представляется особенно интересным доклад Пьера Паоло Пазолини о поэтическом кино, прочитанный на прошлогоднем кинофестивале в Пезаро.

Пазолини утверждает, что для поэтического кино наших дней очень характерна свободная косвенная речь — полное проникновение автора в душу героя, усвоение не только его психологии, но и его языка. В современном своем развитии она открывает новые возможности обогащения языка кино, но часто приводит к ослаблению его смысловых значений и преувеличению роли стиля.

Конечно же, Пазолини прав.

История литературы и искусства знает многочисленные случаи эффективного использования такой речи для раскрытия реальной пестроты жизни, увиденной в многообразии человеческих характеров, фактов, явлений.

Станиславский в свое время настойчиво советовал актерам, своим ученикам, идти от себя, чтобы сберечь органичность, естественность жизни в образе. Но идти от себя, подчеркивал Станиславский, это не значит повторять себя в каждой роли. Бывают и такие роли, которые требуют, чтобы актер как можно дальше уходил от себя.

Нечто похожее происходит в литературе. В каждое свое произведение писатель-реалист вкладывает свою биографию, свой жизненный и духовный опыт. Но не в каждом герое повторяет себя. Он умеет жить жизнью многих. Умеет почувствовать характер и психологию разных героев и создать такие картины жизни, которые убедительно обращаются к многообразию читательского опыта.

В наши дни заметно повысилось влияние авторского эгоцентризма на использование свободной косвенной речи. Авторы очень часто облегчают свое проникновение в душу героя тем, что приближают героя к себе. Множится число произведений, в которых герой является лишь предлогом для выражения авторского ощущения мира.

Таким героем-предлогом автор, указывает Пазолини в упомянутом докладе, часто пользуется «для достижения максимальной поэтической свободы, лежащей на грани произвола и потому особенно упоительной» Автор достигает этого тем, что подделывается под доминирующее душевное состояние действующего лица: скажем, Антониони в «Красной пустыне» смотрит на мир глазами психически неуравновешенной Джулианы и как бы от ее имени в ключе ее истерии, ее невроза использует те или иные технические приемы изображения реальности. Он свободно деформирует краски мира, то любуясь ими, то доводя до скандальности их взбесившиеся сочетания.

«Персонажи-предлоги,— подчеркивает Пазолини,— могут быть выбраны только из культурного окружения автора; следовательно, по своей культуре, языку и психологии эти персонажи аналогичны автору; они, как и он, представляют собой «изысканный цвет буржуазии». Если же эти персонажи случайно принадлежат к другой социальной формации, то они неизбежно подвергаются подслащиванию, лишаются остроты и уподобляются автору при помощи категорий невроза, аномалий или обостренной чувствительности. Словом, буржуазия даже в кино вновь стремится отождествить себя со всем человечеством в целом в некоем межклассовом иррационализме».

В повествовательном, или, как его называет Пазолини, классическом, кино съемочная камера не чувствовалась, самостоятельной роли не играла. Язык чаплинских «Огней большого города» служил смыслу, содержанию. Он был прозрачен и сложен одновременно. Это язык прозы. Поэзия фильма таилась внутри произведения, как в рассказах и пьесах Чехова.

В поэтическом кино камера становится шальной, она ведет себя вызывающе, произвольно, по авторскому велению, а иногда и капризу деформируя факты, усложняя их восприятие семантическими иносказаниями. Происходит фетишизация приема и стиля, авторские усилия сосредоточиваются на исследовании технических возможностей формы.

Надо ли говорить, сколь важны стиль, прием, форма в литературе и искусстве. Но ясно, что отношение к человеку важнее отношения к стилю. И потом, когда художник сосредоточивается только на голой технике, он почти неизбежно приходит к сухости выражения и теряет эмоциональный контакт с читателями и зрителями, находящимися вне круга единомыслящих с ним специалистов, высокая интеллектуальность оборачивается холодным интеллектуализмом.

Культура, которая называет себя элитной, отдаляется ныне от массовой аудитории разными путями. Тут и отказ от изображения взаимоотношений человека и среды ради исследования человеческой души — сужение объекта художественных исследований, игнорирование многих социальных проблем, волнующих миллионы людей. Тут и подчеркнутая усложненность художнического самовыражения. Тут и пренебрежение эмоциональностью искусства, рационализм даже в тех случаях, когда художник вторгается в область иррационального. Пути разные — результат один: элитная культура почти без борьбы отдает массового потребителя во власть культуры рыночной.

До сих пор, говоря о культуре широкого распространения, я применял термин «рыночная культура», чтобы отделить дешевку пошлого ширпотреба от массовой культуры. По моему глубокому убеждению, само понятие «массовая культура» не должно пятнаться презрением и подвергаться снобистскому осмеянию. Ведь современная культура это не только рыночная мишура, с одной стороны, и произведения для элиты, с другой. Это и Чаплин, и Хемингуэй, и Шолохов, десятки других художников, которые много сделали для развития искусства, оставаясь понятными миллионам людей. Ради поиска, ради эксперимента они не удаляются в лаборатории, куда вхожи только посвященные. Своими открытиями в области искусства они щедро делятся с читателями и зрителями, обогащая их духовно, эмоционально и эстетически. Опыт таких художников — ценнейшее достояние современной культуры.

Сама жизнь ставит вопрос о необходимости активнее бороться с рыночной культурой путем вытеснения ее ценностями высокого искусства. Из опасения быть обвиненным в патерналистском отношении к народу нельзя ослаблять усилий в поисках таких художественных решений, которые обогащали бы искусство и в то же время были бы понятны, доступны массовому читателю, зрителю, слушателю.

Что же, вы против эксперимента? — не раз слышал я гневные вопросы в ответ на подобные рассуждения. Против сложного искусства, которое способно многое дать самим его мастерам, хотя и не получает широкого признания за пределами писательской среды,— ведь могут же быть поэты для поэтов?

Нет, не против. И эксперимент, и сложные произведения не просто имеют право на существование — они нужны для нормального развития искусства, для того, чтобы его разнообразие не было однообразным. Проблема состоит в том, что в современной литературе и искусстве слишком много экспериментируют в поисках новых слож-

ностей художественного самовыражения и слишком мало экспериментируют в поисках новой простоты, новых средств завоевания читателя, зрителя, слушателя.

В свое время Сергей Эйзенштейн говорил об эксперименте, понятном миллионам. Его «Броненосец «Потемкин» насквозь экспериментален. Какие можно еще назвать произведения, которые так же много дали развитию искусства, его языка? И этот же «Броненосец» покорял сердца миллионов людей не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами, причем очень часто в неблагоприятных для него политических ситуациях.

Такие произведения, как «Броненосец «Потемкин», не терпят бездумного к себе отношения, они вызывают напряжение мысли, волнение сердца. Они не приспосабливаются к примитивному вкусу, а ведут за собой зрителя, пользуясь его душевным расположением, в котором соединяются понимание и любовь. Сам факт успеха таких произведений в многомиллионных аудиториях не является ли укором тем писателям, которые расчетливо и сознательно пренебрегают 90% читателей, чтобы угодить снобизму той части интеллектуальной элиты, которая именно в снобизме видит наиболее действенную форму своего духовного самоутверждения?

Об эксперименте так много писалось и говорилось в последнее время, перекос внимания в эту сторону так очевиден, что я не боюсь сейчас перекоса в другую сторону. Пусть в борьбе против одной крайности я не удержусь на черте полемического благоразумия. Я со всей силой хочу подчеркнуть, что многие деятели искусства на Западе сейчас настолько увлеклись поисками новых форм, что часто у них не остается силы на открывание и художественное исследование новых жизненных проблем, новых тем. Факты таковы, что в подавляющем большинстве случаев литература и искусство проходят мимо главных забот и тревог народа. Явственно обозначился кризис содержания, проявляющийся в том, что сюжеты и мотивы многих художественных произведений находятся лишь в очень слабой соотнесенности с переживаниями и раздумьями массового читателя, зрителя, слушателя.

Некоторые писатели индивидуалистического склада мышления утверждают, что литература становится бесцельным и бесполезным развлечением, если она формируется под воздействием желаний большинства. Но может ли она иметь какие-то существенные цели и приносить ощутимую пользу, если игнорирует эти желания? Ведь приспособление к вульгарным вкусам это одно, а стремление обрести многомиллионную аудиторию, чтобы поднимать массу к высотам художественной культуры,— совсем другое.

В этой связи мне хочется напомнить читателю суждения знаменитого американского кинорежиссера Стэнли Крамера, хорошо понимающего современные взаимоотношения массовой и элитной культуры.

«Я не верю,— говорил Крамер на недавней пресс-конференции в Париже,— чтобы можно было делать хорошие картины, если они не доходят до широкого зрителя. Мы считаем фильм провалившимся... когда, завоевав лишь узкий круг специалистов, он не получает признания у широких масс зрителей. Если он не преодолеет эту грань между специалистами и публикой, значит, в его основе или в его форме скрыт какой-то изъян, значит, фильм сделан плохо или автор его придерживается ошибочного направления».

■

В ходе советско-финской встречи ее участники подчеркивали, что вопросы, с которых шла речь на дискуссии, в несколько иной форме стоят и у нас.

В недавнем прошлом Россия была страной, в которой развитие великой литературы, могучего искусства шло рядом с неграмотностью подавляющего большинства населения. В течение нескольких десятилетий положение переменилось коренным образом. В стране произошла культурная революция. Невиданно выросла аудитория искусства и литературы. Тиражи книг, посещаемость кинотеатров, распространение радио и телевидения измеряются ныне астрономическими цифрами.

При столь быстрых переменах к художественным ценностям приобщились миллионы людей, еще не успевших овладеть культурой эстетического восприятия этих ценностей. Эстетическому развитию трудящихся мешали и всем известные трудности построения социализма в ранее отсталой стране. В результате у нас и сейчас нередко возникают диспропорции между профессиональной оценкой тех или иных произведений искусства и их читательским и зрительским восприятием. И бывают случаи, когда некоторые предприимчивые издатели, директора театров и киностудий нажимают на развлекательное искусство, без энтузиазма относясь к выпуску произведений, рассчитанных на эстетически подготовленную публику.

Но такая практика не поощряется, погоня за успехом любой ценой не может стать законом распространения культуры в обществе, поставившем своей задачей формирование нового, гармонического человека. Естественно, что советские писатели, деятели искусства не могут безучастно проходить мимо фактов тиражирования легковесных и пошлых сочинений, они активно участвуют в борьбе за повышение качества телепередач, за высокую культуру и глубину фильма, за повышение уровня массовой культуры.

Сложные проблемы, ставшие темой нашего симпозиума, привлекли заинтересованное внимание всех его участников. В ходе дискуссии были и коллективные раздумья, и острые споры.

Наиболее решительные возражения советских участников симпозиума вызвал один из разделов доклада проф. Марти Кууси, в котором финский докладчик разделил писателей на четыре категории — короли, купцы, писари и бродяги. Королями Марти Кууси назвал тех писателей, которые не подвластны влиянию массовых средств — распоряжаются ими властью, данной гениям; купцами — тех, которые поставляют хорошо оплачиваемый мусор, пишут то, что с охотой покупается, легко продается. Оба эти определения не вызвали возражений. Споры возникли по поводу определения писателей, отнесенных профессором Кууси к категориям писарей и бродяг.

В древности, говорил Марти Кууси, писарем обычно выступал раб, который оформлял чужие мысли или просто писал под диктовку — работал на одного господина. В современных условиях, по мысли Кууси, такой тип писателя возникает там, где царствует один царь, одна церковь, один папа, одна партия. Писатель-писарь стилистически оформляет догмы одной религии, все остальное для него — от лукавого.

Купцам и писарям в докладе проф. Кууси был противопоставлен писатель-бродяга: он выражается на языке, который многим непонятен, борется с предрассудками, бунтует против привычных ценностей; в его творчестве нередки и проповедь безнадежного одиночества, и романтизация наркотиков, однако и в таких случаях в нем может быть нечто стимулирующее.

Уже из этого краткого пересказа ясно видно, что своей схемой проф. Кууси уравнивает служение писателя царю, религии, папе, партии, народу, прославляя свободу бродяги, который невнятно бормочет на неведомом языке. Кууси и мысли такой не допускает, что «верующий» писатель может быть по-настоящему свободным, если он служит своей партии не по принуждению или расчету, а по убеждению, если он знает, что его партия не только олицетворяет, но и практически осуществляет идеалы трудового человека, если в идеях и общественной практике своей партии он видит силу, оплодотворяющую художественное творчество.

Писатель коммунистического миропонимания не «догмы одной религии» стилистически оформляет, когда отстаивает свои убеждения: утверждение коммунистических идей для него имеет исповеднический характер, партийность в творчестве является для него формой свободного самовыражения.

В своем заключительном слове Марти Кууси утверждал — со ссылкой на иностранные свидетельства,— что в СССР самая передовая наука, побеждающая атом и космос, и самая консервативная литература. На родине Толстого и Достоевского сейчас нет ни Толстых, ни Достоевских. Не виноваты ли в этом условия, в каких живет литература?

Что на это можно было сказать? Прежде всего — любой вывод хорош, когда он основывается на изучении фактов. Размашистая формула о консервативности советской литературы, уравнивающая и обезличивающая очень разных писателей,— явно пропагандистского происхождения. И потом, в СССР нет двух советских властей— одна для физиков, другая для лириков. Впрямую связывать появление Толстых и Достоевских с политической и идеологической атмосферой в стране — значит упрощать вопрос. Ведь ни Александр II, ни Александр III «не повинны» в том, что в их царствование создавались «Война и мир», «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Ясно, что тут тоже нужен анализ исторического и духовного развития общества во всей его сложной диалектике. И напрасно проф. Кууси пошел на замену такого анализа пропагандистской формулой, позаимствованной из иностранных источников.

В ходе нашей дискуссии Арво Туртиайнен убежденно говорил о том, что путеводителем для писателя должна быть честность. А что это такое? Очевидно, верность писательскому праву откровенно высказывать свое мнение. Дальше этого уточнения Туртиайнен не пошел. Он даже вопроса такого не поставил: а как быть при оценке писательской честности в условиях современной разноголосицы мнений, из которых одно исключает другое и далеко не каждое служит защите человека и человечности?

Отвлеченность в подходе к социальным и моральным понятиям нередко приводила участников дискуссии к формальным противопоставлениям свободы выбора диктату выбора, плюрализма идеологии декретируемому монизму. Но ведь ясно, что без анализа конкретно-исторического содержания этих понятий и стоящих за ними явлений невозможна их оценка, немыслимо определить их влияние на культуру и человека.

Как-то мне довелось слышать горькие рассуждения Микельанджело Антониони: «У нас много вер и ни одной настоящей». Знаменитый итальянский кинорежиссер не восторгался прелестями плюрализма — он говорил о духовной драме, своей и своих героев.

Конечно, бывают и такие общественные состояния, когда единовластие одной веры становится трагическим для культуры, для интеллигенции, для народа — история знает немало тому примеров. Но можно ли на этом основании считать явлением отрицательным морально-политическое единство писателей, ощущающих себя частью народа, который строит жизнь по законам передового научного мировоззрения?

Можно ли осуждать такое единство только на том основании, что где-то в других странах духовное творчество подавляется диктатом ложной идеи, ставшей государственной религией?

На дискуссии поднимался вопрос о так называемых «опасных» писателях, чьи книги запрещаются или подвергаются осуждающей критике. Опыт показывает, говорил Кай Лайтинен, что любые формы ограничений и запретов делают книги этих писателей особенно желательными для многих читателей: запреты и осуждения играют роль рекламы.

Кай Лайтинен поднял вопрос, от которого не отмахнешься: за этим вопросом не только логика суждений, но и неоспоримость цифр, показывающих фактическую роль «рекламы» в форме критики или запрета. Соображения и выкладки Лайтинена основательны. Но до каких пределов можно идти в непротивлении злу, опасаясь рекламирования произведений, разрушающих человеческие души? До каких пределов осторожничать? Писатель имеет право на презрение. Презирать низость, ложь, двурушничество и бороться с ними — это ведь тоже форма свободы творчества для писателя, который убежден, что не бороться нельзя.

В ходе дискуссии тот же Кай Лайтинен высказал такую мысль: для советских писателей характерно этическое отношение к литературе, а финские писатели больше полагаются на читателя, не хотят его учить, пусть он сам решает, принимает он или не принимает, одобряет или не одобряет предлагаемое ему произведение. Ради обострения читательского интереса финские писатели иногда специально «раздражают» публику, нарушая привычные нормы и запреты. Они эпатируют читателей, не останавливаясь в таких случаях даже перед нападками на церковь.

В том же духе Кай Лайтинен трактовал и проблемы, связанные с писательским и читательским отношением к эксперименту.

Имея в виду мою попытку определить положительное и отрицательное в современном экспериментировании, Кай Лайтинен заявил: «Я смотрю на поиски с точки зрения менее этической». Трудно сказать, продолжал он свою мысль, что останется в завтрашнем искусстве от сегодняшних экспериментов. Предоставим времени творить свой суд.

По сути дела, рассуждения Лайтинена сводились к элементарному выводу: пусть будет что будет. Зачем оценивать? Зачем критиковать? Из каждого эксперимента, каким бы странным он ни казался сегодня, может произрасти что-то интересное.

Конечно, в этом случае, как и во многих других, ставить вопросы легче, чем пытаться давать ответы. Ведь поиски ответов почти всегда сопряжены с немалыми опасностями: ищущий легко может переступить невидимую границу, за которой начинается нормативность. Однако и тут, думается мне, пассивное ожидание — не лучшая для писателя позиция.

В современной литературе нередки случаи, когда вопросы диктуются трагическим ощущением мира. Сама постановка вопросов, ответ на которые пока неведом писателю, оказывается в таких случаях активным действием, формой борьбы. Но часто бывает и так, что вся энергия писателя уходит на то, чтобы сохранять невозмутимость ожидания: я задаю вопросы, пусть история, общество на них отвечают.

Оберегая свое душевное спокойствие, любитель вопросов без ответов может обратить себе на пользу даже такие общеизвестные истины, как мысль об отставании сознания от бытия, о постоянном отставании идеологических институтов от развития общества, о котором говорил на дискуссии Ярно Пеннанен. Однако известно, что сознание не только отражает мир, но и творит его. И очень важно, чтобы оно воздействовало на мир самыми разумными средствами.

Говоря о деформации художественного творчества под влиянием рыночной культуры, Эйла Пеннанен очень остро поставила вопрос о «деодоризации» писательского слова на телевидении: там старательно удаляется пот правды, создается стандартное благоухание.

На дискуссии, напомнила Эйла Пеннанен, говорилось о том, сколь необходимы людям писатели-пророки. Но пророков, которые говорят не то, что хочет широкая публика, забрасывают камнями. А пророчествовать во вкусе публики, чье мироощущение формируется средствами массовой информации,— это живописать благополучие человеческого существования в американском стиле.

Читателю по-настоящему полезна только правда, простая правда. Мы не имеем права предлагать ему героев, которые не существуют, предлагать манекены. Обязанность литературы — показывать реальных людей, на примере которых читатель может подумать о своих возможностях и проблемах. Эти выводы Эйлы Пеннанен были поддержаны многими участниками дискуссии.

В ходе дискуссии довольно отчетливо прозвучали голоса, которые можно было бы назвать «неоруссоистскими», если бы сам термин не выглядел устаревшим. Некоторые писатели, обескураженные шумным вторжением телевидения и радио в святая святых художественного творчества, обесцениванием искусства в процессе его массового распространения, говорили о своей нелюбви к «массовым средствам», о прелестях тихой работы один на один с листом бумаги.

Но сколь бы ни были активными протесты против такого рода вторжений, сколь бы ни был прелестен идеал кабинетной работы мастера, современные средства массо-

вой информации — реальность, с которой не может не считаться даже склонный к «неоруссоизму» литератор.

Все дело, очевидно, не в самом факте существования «массовых средств», а в их использовании, в характере использования.

Олави Линнус говорил по этому поводу: когда писатель пишет для узкого круга читателей, ему нетрудно найти и сохранить индивидуальную интонацию; он знает своего читателя, читатель знает его, ему легче писать, он может лучше выразить себя. Когда же писатель входит в соприкосновение с массовыми средствами, положение изменяется, возникает ответственность иного уровня. Писатель не может знать всю свою публику, не может предвидеть всех возможных реакций, у него нет уверенности, что он всегда будет правильно понят. И тем не менее писатель должен идти на радио, в телестудии, поднимая уровень их работы, должен помогать людям ценить истинное искусство, отвергая его суррогаты.

В этом плане всяческой поддержки заслуживают слова Кая Лайтинена о педагогической роли критики, высказанные им в конце дискуссии и являющиеся одним из ее позитивных результатов. Лайтинен говорил, что критика обязана помогать читателю выбирать, отделять искусство от псевдоискусства. Очевидно, это и задача всех писателей, не одних только критиков — формировать художественные вкусы, не учительствовать свысока, а дружески разъяснять, почему не все заметное с первого взгляда есть действительно хорошее, всеми доступными писателю средствами прививать миллионам людей уважение и любовь к подлинно прекрасному в художественной культуре, всегда так или иначе связанному с защитой человека, с утверждением идеалов гуманизма.

Когда учитель знает, что $2\times2=4$, он идет в класс и объясняет ученикам, почему $2\times2=4$. Тут дискуссия не нужна. Потребность в дискуссии возникает, когда собираются учителя, по-разному определяющие не только содержание и методы обучения, но и свое собственное место в жизни: каждодневно учительствуя, некоторые из них не хотят называться учителями. В таких случаях участники дискуссии получают пользу не только от тех, кто согласен с ними, но и от несогласных: споря, они обретают новые идеи и аргументы для развития своих концепций, освобождают эти концепции от тех идей, которые не выдерживают тяжести убедительных возражений, пересматривают те положения, которые нуждаются, как показала дискуссия, в пересмотре.

В ходе нашей дискуссии ее участники не поучали друг друга. Они вместе думали. И спорили.

Дискуссия советских и финских писателей о массовых средствах распространения литературы была необходима не только для дальнейшего развития добрососедских отношений. Вопросы, ставшие ее темой, сейчас приобрели такую остроту и значение, что ни один писатель не может уклониться от их решения. Завершая дискуссию, и советские и финские ее участники единодушно отмечали ее плодотворность.

КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПЕРВАЯ КНИГА ЭЖЕНА ПОТЬЕ

К 150-летию со дня рождения

В Парижской Национальной библиотеке хранится брошюрка небольшого формата. Она вышла в 1831 году и называется «La jeune muse» — «Юная муза. Сборник песен, посвященный пятнадцатилетним Эженом Потье г-ну Беранже».

Таков был первый дебют в печати будущего создателя песни, облетевшей весь мир,— международного гимна революционного рабочего класса. «Интернационал» существует сегодня в переводах на 90 языков мира, в том числе на 55 языках народов Советского Союза.

В автобиографическом письме Полю Лафаргу, написанном в 1887 году, незадолго до своей смерти, Потье упоминает о том, что первую из песен, помещенных в этой брошюрке, он сочинил в дни Июльской революции 1830 года, очевидцем которой он был.

Вот это первое поэтическое произведение будущего певца Парижской коммуны (оно не было включено ни в один из вышедших впоследствии его сборников и на русский язык не переводилось). О нем упоминает В. И. Ленин в своей статье о Потье, написанной к 25-летию его смерти.

Слава Свободе!

Снова разбиты народом оковы,
Отблеск свободы в глазах заблистал...
Долго страдая под игом суровым,
Он ненавистную власть проклинал.
Памятник вечный потомки поставят
Тем храбрецам, что погибли в борьбе.
И в Пантеоне героев восславят.
Слава, Свобода, тебе!

. . . . . .

Злого монарха, тирана-невежды
Смело стряхнули мы тягостный гнет.
В душу Свобода вдохнула надежды,
Веру, что счастье нас близкое ждет,
Слава навек Конституции, слава!
Мы ее имя твердили в борьбе.
Как новой эры заря величавая!
Слава, Свобода, тебе!

«За этой песней, сочиненной по всем правилам,— пишет Потье Лафаргу,— шаблонной, а значит, слабой последовала куча других, тоже слабых. Дюжина их была напечатана Бреоте. Куда девались эти пятьсот экземпляров? Мои товарищи по играм в кегли и волчок наделали из них корабликов».

Как самокритично ни оценивал поэт в старости свои первые пробы пера, они представляют известный интерес. Некоторые из них проникнуты республиканским духом.

Песни «Всегда одно и то же» и «Почему вы недовольны, французы?» можно считать первыми опытами Эжена Потье в области сатиры. В первой из них будущий «Ювенал предместий» (как назовет его впоследствии Жюль Валлес, его соратник по Парижской коммуне) иронически советует соотечественникам не увлекаться переменами:

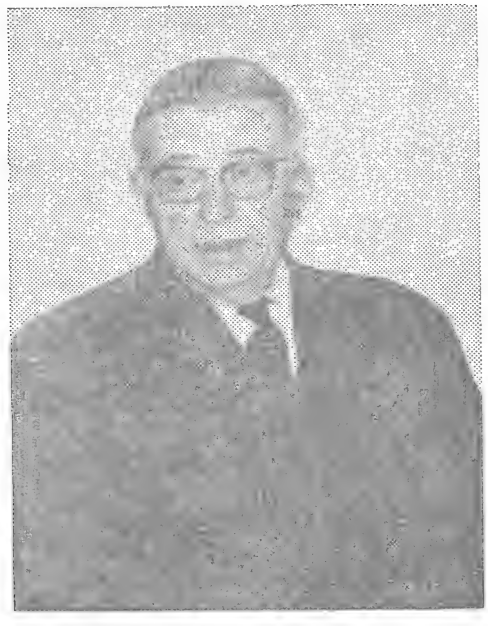
Менять не стоит короля,
Ведь хрен не слаще редьки!

Свой первый сборник, напечатанный на деньги, заработанные в мастерской отца (который был столяром-упаковщиком), юноша посвятил своему кумиру — Беранже.

Став поэтом-агитатором, поэтом-пропагандистом, будущий автор «Интернационала» нашел свое призвание и не изменял ему до конца своей долгой жизни. В. И. Ленин назвал его «одним из самых великих пропагандистов посредством песни».

ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВ

НАШИ ГОСТИ



«Самое главное для меня — это действие»

Был или не был Флобер «ангажированным» писателем? С ответа на этот неожиданный вопрос и началась беседа с Жаном-Полем Сартром и Симоной де Бовуар, состоявшаяся в редакции. Жан-Поль Сартр уже три года пишет книгу о Флобере и собирается писать ее еще три года. Две тысячи страниц уже написаны, а сколько еще предстоит написать?

— Это громадная книга,— говорит Сартр.— Для вашего журнала она великовата.

Не так часто случается, чтобы писатель, чье имя известно во всех частях света, тратил годы жизни на проникновение в творческий мир другого писателя. В чем же тут дело? И почему объектом многолетнего исследования Сартр выбрал именно Флобера? Не потому ли, что Флобер, которого без конца объявляли и который не раз сам себя объявлял сторонником «искусства для искусства», опровергал это, достигая вершин творческого пересоздания жизни в искусстве? Такова, по-видимому, причина, побудившая Сартра углубиться в Флобера. Писателя двадцатого века волнует проблема так называемой «ангажированности» искусства, оказывающего — иной раз даже и помимо воли того, кто его творит,— воздействие на общественную жизнь. И пример великого художника девятнадцатого века, демонстративно отказывавшегося признавать общественные обязательства и тем не менее выполнявшего их, представляется ему в своей парадоксальности поучительным.

Рассказывая о будущей книге, Сартр добавляет, что он стремится разгадать еще одну загадку Флобера: как могло произойти, что Флобер, считавший себя врагом реализма, создал роман, признанный во всем мире образцом реализма? Речь идет о «Мадам Бовари».

— Моя книга начинается рождением Флобера и кончается созданием «Мадам Бовари»,— говорит Сартр,— я хочу показать всю совокупность различных обстоятельств — социальных, семейных, личных,— которые направляли творческий путь Флобера и привели его в конце концов к созданию «Мадам Бовари».

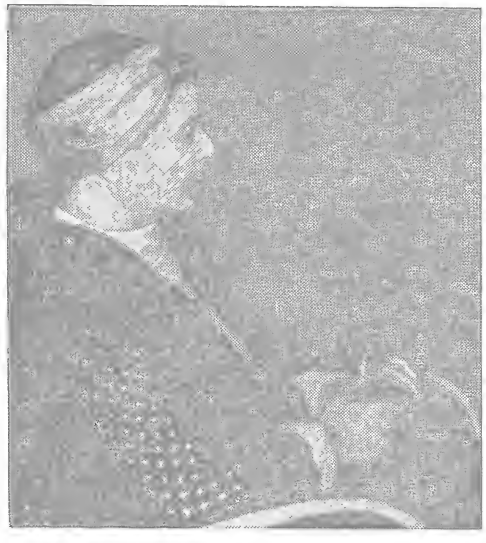
Сартра спрашивают, придает ли он в своей книге значение известной фразе Флобера: «Эмма — это я»?

— Огромное, хотя Флобер этой фразы скорее всего не произносил,— отвечает Сартр.— Я исхожу из того, будто это в самом деле было сказано.

Сартр называет «Мадам Бовари» не просто шедевром, а «шедевром становления писателя». Он говорит о личности писателя, становление которой увенчалось созданием «Мадам Бовари».

Сартр не согласен с теми, кто пытается доказать, будто вершина творчества Флобера не «Мадам Бовари», а «Бувар и Пекюше». Сартр убежден, что «Мадам Бовари» — это книга, в которую ее создатель «вложил всего себя», все пережитое и познанное; именно поэтому она и остается непревзойденной. Для Сартра, таким образом, тайна флоберовского мастерства не только в том, как он владеет словом.

Школа «нового романа» охотно именует Флобера своим учителем. При этом, как уточняет Сартр, чаще всего повторяют од-



ну и ту же флоберовскую фразу: «Что кажется мне прекрасным, что я хотел бы сделать — это книгу ни о чем, книгу без внешней привязи, которая держалась бы сама собой, внутренней силой своего стиля, как земля, ничем не поддерживаемая, держится в воздухе...».

— Видеть у Флобера только это — значит не понимать Флобера,—заявляет Сартр. Он решительно возражает против каких бы то ни было попыток причислить Флобера к формалистам. Во всем, что Сартр говорит о своем знаменитом соотечественнике, чувствуется глубокое понимание Флобера-писателя и Флобера-человека.

— Я стараюсь,—объясняет Сартр,— понять человека через его книги.— И тут же добавляет, что в его задачу входит и обратное: получив представление о человеке, осмыслить его книги. Это единый диалектический процесс.

— Что в моей работе особенного? Пожалуй, ее метод,— продолжает Жан-Поль Сартр.— Методов познания личности много, они разные. Прежде всего, марксистский метод. (Беседуя несколько дней спустя со студентами Литературного института имени Горького, Сартр сказал: «В каждую эпоху существует философия, которая служит ее выражением. Нашу эпоху выражает марксизм».) Или, к примеру, психоаналитический. Беда в том, что эти методы разобщены. Когда читаешь то, что пишут о Флобере разные люди, пользующиеся разными методами исследования, создается впечатление, будто Флоберов было несколько. Если о Флобере пишет марксист — речь идет прежде всего и больше всего о формировании его классового сознания. Если о Флобере пишет психоаналитик — он интересуется только лишь субъективным жизнеощущением писателя. А я пытаюсь— на основе марксистского мировоззрения— воссоединить разобщенное. Мой метод, так сказать, синтетический... (В беседе со студентами Литинститута Сартр выразил уверенность в том, что марксизм может и должен стать «философской базой универсальной культуры».)

Итак, книга Жана-Поля Сартра о Флобере обещает быть и разносторонней и цельной. Судя по всему, в ней утверждается бесспорная, хотя и многими на Западе оспариваемая мысль: писатель не может оставаться непричастным к тому, что происходит в мире. Выражая свое отношение к окружающему, он оказывается приверженным чему-то, в чем для него цель жизни и смысл творчества. «Ангажированность» писателя — если термин, показавшийся Сартру необходимым в его разговоре о Флобере, употребить применительно к самому Сартру,— это его добровольная приверженность тому, во что он верит.

Как говорит Сартр, его книга о Флобере должна ответить и еще на один вопрос: что такое роман?

— А что такое роман? — спрашивают Сартра, рассчитывая услышать определение, отражающее то новое, что внес Сартр в этот старый жанр. Но автор «Слов» предпочитает отшутиться:

— Я еще не кончил книгу и не могу дать окончательного ответа на этот вопрос.

Однако о том, каким в его представлении должен быть герой современного романа, конечно, не единственный, но, с точки зрения исторической перспективы, самый главный,— Жан-Поль Сартр высказывается с полной определенностью.

— Это, на мой взгляд, коммунист-революционер, для которого точка отправления — Октябрьская революция. Он прошел через ужасающие события всякого рода. И обрел ясность понимания, необходимую для борьбы. Этот герой сохранил веру в будущее.

Между тем многие западноевропейские писатели, в частности те, кто создал театр «абсурда», потеряли веру в будущее. Понимая ничтожество и бессилие людей, не пытающихся противостоять злу, они лишились веры в человека вообще, в его способность отстоять добро.

— Они атакуют не буржуа, а человека,— справедливо замечает Сартр. И добавляет, что неверие в человека — не что иное, как частица буржуазной идеологии.

Именно потому, что Жан-Поль Сартр верит в человека, признавая и его обязанности и его возможности, он говорит:

— Самое главное для меня — это действие.

Однако и этим еще не все сказано. Пьеса «Дьявол и господь бог», с которой наш журнал познакомил советского читателя, показывает, насколько сложна проблема действия во все эпохи. Сартра спрашивают, не работает ли он сейчас над новой пьесой.

— Нет,— отвечает он.— Обычно я пишу одну пьесу лет за пять. Нужно, чтобы представился какой-то случай, как это было, например, с «Альтонскими узниками», нужен какой-то толчок извне — из жизни. Когда я писал пьесу «Дьявол и господь бог», я ощущал необходимость выразить

определенные мысли в театральной форме. Но дело было не только в этом, а и в растущем влиянии католицизма, которое, так сказать, послужило злободневной основой пьесы.

Присутствующих интересует, видел ли Сартр «Лиззи Маккей» в постановке театра им. Моссовета. Драматург не скрывает, что, по его мнению, это «одна из самых странных постановок его пьес». Глядя на сцену, писатель спрашивал время от времени: «А это что за персонаж?»

— Вот что тут произошло,— рассказывает драматург.— Еще у себя на родине я согласился изменить финал моей пьесы в более оптимистическом духе. Было это так. Я написал пьесу для буржуазного зрителя. Мне хотелось, чтобы буржуазный зритель почувствовал себя скверно. Я убежден, что это тот случай, когда нельзя кончать пьесу оптимистически. Нужно, чтоб зритель испытал ощущение неловкости, стесненности, неуверенности. Пьеса о Лиззи Маккей кончается тогда, когда начинается возмущение существующим порядком вещей. Но оно подавлено, это возмущение. Такой финал не удовлетворил зрителя, смотревшего эту пьесу в рабочих кварталах, где ее ставили самодеятельные труппы. Рабочие отказывались признавать, что борьба бесплодна, ведь они сами боролись. Вот почему я, давая разрешение на экранизацию пьесы и учитывая, что фильм будут смотреть миллионы зрителей, изменил концовку. Приехав в Советский Союз, я сказал, что театр может, если захочет, кончить пьесу так, как кончается фильм. Однако постановщики придали моим словам более широкий смысл...

Итак, Сартр-драматург — а наверное, и Сартр-романист, и Сартр-публицист — видит перед собой того, для кого он пишет,— зрителя, читателя, слушателя. Сартр с уважением говорит о французской провинции, которую называет «честной и серьезной».

Во Франции и за ее пределами Жана-Поля Сартра знают как основоположника современного экзистенциализма. Французская пресса сейчас пытается подвести итоги «двадцатилетия экзистенциализма», имея в виду то широкое распространение, которое идеи экзистенциализма получили в Западной Европе в послевоенные времена; в причины такого распространения пресса обычно не углубляется. Как относится ко всему этому Сартр?

— Думаю, главный редактор «Ар» заговорил об этом потому, что не знал, о чем ему говорить в своем еженедельнике. К тому же он надеялся, что статьи, которые ему предложат, окажутся более злобными.

Я не нахожу, что настала пора подводить итоги. Ведь экзистенциализм — всего лишь сумма идей, а не философская система. Вдобавок случилось так, что эти идеи были подхвачены самыми разными людьми... Я, например, с ужасом обнаруживаю эти идеи в «новом романе». ...Честертон в свое время сказал: мир полон христиан, которые стали безумцами. Пожалуй, я, в шестьдесят лет, глядя на то, во что превратились мысли, высказанные мною в тридцать—сорок лет, могу вслед за Честертоном сказать: мир полон экзистенциалистов, которые обезумели.

Не собирается ли Сартр участвовать в подведении итогов?

— Нет, я не стану в это вмешиваться. Надо идти вперед, а не возвращаться к прошлому.

Беседа переходит к «новому роману», от «нового романа»—опять к Флоберу. Сартр говорит, что в письмах Флобера к Луизе Коле умудряются находить все что угодно, включая и теорию «нового романа». Он явно не одобряет подобные «находки», немыслимые без натяжек.

В конечном итоге беседа сводится к самой существенной из всех творческих проблем: писатель и действительность.

Для Сартра, в его восприятии действительности, особое значение имеет Советский Союз.

— Думаю, что для людей моего поколения, независимо от их убеждений (даже для фашистов), решающее событие в их жизни — Октябрьская революция.

В ненависти к революции, к рабочему классу, к народу проявляется сущность фашизма. Если иметь это в виду, можно понять, что 1917 год был «решающим событием» и для врагов. Однако Сартр говорит не о них, а о тех, на чью судьбу Октябрьская революция оказала и продолжает оказывать благотворное воздействие.

— Мы — плоды революции. Но это надо понимать в особом смысле. Мы не двигали историю, но испытывали на себе ее движение. Это нередко приводило нас в отчаяние, а потом мы вновь обретали надежду.

Мы — это те, кто, как уточняет Сартр, по происхождению принадлежит к старому буржуазному миру, но ищет путей в новый мир.

— Октябрьской революцией обусловлена вся моя жизнь и то, что сегодня я здесь.

Жан-Поль Сартр в Советском Союзе не впервые. Так же, как и Симона де Бовуар, чьи книги — от романа «Мандарины» до повести «Сладкая смерть» — создали ей известность не только во Франции. У себя на родине Симона де Бовуар известна еще и тем, как охотно она помогает начинающим писателям, не жалея для этого ни времени, ни сил. В настоящее время Симона де Бовуар завершает работу над новым романом.

— Если говорить в общих чертах, можно сказать, что это сатира на французскую буржуазию, которая усиленно американизируется,— сообщает Симона де Бовуар,— книга будет небольшая.

И большие и небольшие книги наших гостей интересуют советских читателей. Ведь для них литература — в особенности такая, которая выполняет свое общественное предназначение, свой долг перед людьми и народами,— стала насущной потребностью.

Л. А.

«Фантастические истории, в которых — правда»

Когда Макс Фриш, решивший совершить туристическое путешествие по Советскому Союзу, приехал в Москву, он узнал, что его пьеса «Бидерман и поджигатели» напечатана в журнале «Иностранная литература» и поставлена в Театре сатиры, что его роман «Homo Faber» появился на страницах «Иностранной литературы», что его пьеса «Дон-Жуан» готовится Театром сатиры к постановке. Оказалось, что в незнакомой стране, на землю которой Макс Фриш вступил впервые, его хорошо знают. Это было, как он признался, приятной неожиданностью. И ему захотелось понять, в чем тут секрет. Не один раз на протяжении беседы, состоявшейся в нашей редакции, он спрашивал, чем вызван интерес советских читателей к его творчеству, как понимают советские критики его произведения. Однажды он спросил, не воспринимается ли советскими читателями роман «Homo Faber» как нечто экзотическое. Ему ответили, что это и так и не так. Многое в книге для нашего читателя необычно и непривычно, но его больше всего волнует то, что в судьбе Фабера общезначимо: крушение прагматического мировосприятия, невозможность вывести точную формулу жизни, не принимая в расчет человеческие чувства.

— Да, да, прагматизм, совершенно верно,— сказал Фриш еще до того, как перевели с русского на немецкий слова одного из участников беседы.

И хотя прагматическое мировосприятие в той или иной степени может быть свойственно людям разных стран, Фриш — и в романе, и в разговоре о романе — непосредственно связывает его с американским образом жизни.

— Книга не имеет предыстории,— говорит он о романе «Homo Faber»,— не обусловлена какими-нибудь воспоминаниями. Работал я над ней полтора года. Труднее всего было найти для героя свойственный ему язык — такой, чтоб отличался от литературного, чтоб это был язык техника.

Я не знаю, как вы понимаете книгу,— продолжает Фриш,— но для меня Фабер — не техник, хотя он и обладает определенной суммой технических знаний, а человек, воображающий себя техником. Фабер, имеющий представление об американском образе жизни, уверен, что он понимает жизнь, самое главное в ней. Но это не его жизнь.

По-видимому, Макс Фриш придает слову «техник» более широкий смысл, для него это не столько профессия, сколько образ мысли, в известной мере обусловленный образом жизни. Такой образ мысли, при котором литература и искусство рассматриваются как пустое времяпрепровождение именно потому, что они открывают внутренний мир человека. Для таких людей, к каким причислял себя Фабер, открытия существуют только в науке. Все остальное кажется им простым и ясным. В остальном они приемлют мир таким, какой он есть, тем более что для них это комфортабельное место под солнцем. Но, как известно читателям книги, ее герой в конце концов открывает самого себя — не того Фабера, преуспевающего и равнодушного, каким он был, а Homo Фабера. Случайная встреча, заставившая его многое обрести и многое потерять, делает его несчастным человеком, но **человеком — самим собой.**

Очевидно, это и имел в виду Фриш, когда он охарактеризовал свое произведение, как «попытку разрешить проблему идентичности». Человек должен быть идентичным самому себе, найти самого себя, а не принимать облик той среды и того мира, где ему, по крайней мере до поры до времени, удобно живется.

Случай — или, вернее, ряд случаев, которые по воле автора выпадают на долю героя,— заставляет Фабера стать самим собой.

— Вся книга — сцепление случайностей,— говорит Фриш.— Если пересказать ее фабулу, получится коротко и нелепо. А суть в том, что герой придерживается теории, которая опровергается жизнью, ее случайностями.

Герой, как объясняет Фриш, спорит с жизнью, в которой полным-полно самых различных вероятностей. И побеждает в этом споре не он, а жизнь.

— Что же касается случайностей,— добавляет Фриш,— то они бывают и настоящие, и кажущиеся.

По мнению Фриша, встреча Фабера с Забет, оказавшейся его дочерью,— скорее мнимая, чем подлинная, случайность. С братом Иоахима, друга юности, он в самом деле чисто случайно встретился в самолете.

А дальнейшее было, как подчеркивает Фриш, «внутренне обусловленным»: вспоминая Иоахима, он вспомнил Ганну, подругу юности, мать Забет. И если б не постоянные мысли о матери, он, наверно, не обратил бы внимания на дочь. Мало ли было девушек на пароходе!..

Не оттого ли он не мог не думать о Ганне, что в нем дремал — или просыпался! — тот человек, которого автор называет «истинным Фабером»?

— Истинный Фабер,— говорит Фриш,— начинается тогда, когда в нем пробуждается страх смерти.

Для тех, кто читал книгу, такой поворот мысли не представляется странным. Ведь Фабер долгое время не жил, а существовал, как существуют сотни подобных ему. Начав жить, поняв цену жизни, он познал страх смерти. Страх и боль за тех, кто ему дорог. Страх и боль за себя, потому что он одновременно узнал и горечь и радость жизни.

Разговор снова и снова возвращался к книге «Homo Faber», но он касался и других произведений швейцарского писателя, в частности, его последнего романа «Пусть мое имя будет Гантенбайн».

— Эта книга далась мне не легко,— рассказывает Макс Фриш.— Я не знал, что и как в ней будет. Впрочем, для меня это обычно. Я еще ни разу не написал такой вещи, в которой все было бы заранее продумано. Я, как правило, не знаю, что, в конце концов, будут делать мои герои, к чему они придут. Мне нужно много времени, чтоб разобраться, что к чему.

В последнем романе Макса Фриша человеческие судьбы изображаются в различных вариантах, каждый из которых, вероятно, мог бы иметь место.

Разумеется, присутствующих интересует «творческая лаборатория» писателя, а также его творческая биография.

— Я был по профессии архитектором,— рассказывает Макс Фриш.— Писал пьесы, а начать большой роман не мог — не хватало времени. Я вообще не мог посвятить себя исключительно литературе. И вот в 1950 году мне дали стипендию от фонда Рокфеллера, и я провел около года в Соединенных Штатах. Написал там роман, который не удался. Вернулся домой, что называется, без ничего. И вдруг, уже дома, написал несколько страниц о человеке, которого посадили в тюрьму и который отрицает, что он — это он. Это было начало романа «Штиллер», в котором, как позднее и в романе «Homo Faber», решалась проблема идентичности. Я почувствовал, что все то, чем был заполнен мой неудавшийся роман, не пропадет даром — оно преображается во что-то иное, новое.

Когда книга готова к изданию, она, так сказать, сооружена,— продолжает Макс Фриш.— Но сооружается она вопреки законам архитектуры. Я часто делаю то, что в архитектуре совершенно не годится. Сначала возвожу крышу, потом закладываю фундамент. И лишь к концу работы начинаю понимать, чего хотел. Что-то делаю, бросаю, делаю снова.

И все-таки я считаю: мне, как писателю, принесло пользу то, что я двенадцать лет занимался не литературой, а архитектурой. Для любого писателя важно, чтоб он был в жизни не только наблюдателем. Нужно, чтоб у него, помимо литературной работы, было еще какое-то дело, которое давало бы ему возможность разносторонних связей с людьми.

Вот я недавно в Берлине разговорился с Уве Йонсоном *. Ему только тридцать лет, а он уже знаменит. Оказавшись в Америке, он сразу же направляется в Рэндом-хауз **, в Италии — в Европейское сообщество писателей к Вигорелли, если б он приехал в СССР, пошел бы в Союз писателей. Все его связи — только в литературных кругах. А этого мало.

По-моему, самое главное для пишущего — выполнять определенную функцию в обществе.

Конечно, литературное творчество — тоже общественная функция. Но Фриш говорит о другом: о том, что писателю необходим такой жизненный опыт, для которого недостаточно быть сторонним наблюдателем.

— Писатель не должен смотреть на жизнь со стороны,— утверждает Фриш.

Судя не только по его романам, но и по его пьесам, сам он хорошо знает жизнь. Переходя в своем творчестве от пьесы к роману, от романа к пьесе, он, по его определению, «работает циклично». Обычно получается так: часть материала, разработанного для романа, но не использованного в нем, переходит в пьесу. И наоборот.

Иной раз бывает и что-то забавное в том, как жизненный опыт отражается в художественном творчестве. Фриш рассказывает об этом с усмешкой. Однажды некий богатый человек, торговавший жидкостью для волос, обманул его: не заплатил денег за работу. Архитектор сначала хотел подать на обманщика в суд, а потом предоставил писателю рассчитаться с ним по-своему: в пьесе «Бидерман и поджигатели» вывел гротескную фигуру главного героя, который... торгует жидкостью для волос.

Сюжет этой пьесы был изложен в дневнике Фриша задолго до ее написания. Через некоторое время ему предложили написать текст радиопостановки. Он использовал готовый сюжет. А еще позже сделал на его основе пьесу, которую знают во многих странах мира.

— Так побочные работы оказываются подчас самыми удачными,— говорит Фриш.

Вообще же работа для театра для него не побочная.

— Работать для театра стало для меня потребностью,— признается Макс Фриш.— Пожалуй, специфика этой работы в том, что она — в большей степени, чем проза,— принуждает к объективизации. Сейчас я тоже работаю над пьесой. Надеюсь написать ее по-иному, чем я писал до сих пор. Нелегко

---

* Уве Йонсон — западноберлинский романист.

** Крупное издательство в США.

объяснить, чего мне хотелось бы добиться, но я попытаюсь. У меня сложилось впечатление, что наши драматурги — за исключением Беккета — создают драму перипетий, драму судьбы. Все, что происходит на сцене, должно быть так, а не иначе. Как будто существует провидение, в которое, кстати сказать, никто не верит. Между тем судьба сплошь да рядом определяется случаем. И я хотел бы создать драму случая. Сначала случайность, а потом причинная обусловленность, цепь причин и следствий.

И вот я уже целый год работаю над пьесой, в которой человеческая судьба изображается в различных вариантах, в зависимости от случая. Да, это будет нечто вроде моего романа о Гантенбайне, но только в иной форме — для театра.

Я нахожусь в состоянии эксперимента. Знаю, чего хочу, но все еще не нашел путей к осуществлению моего замысла. Ищу их.

Итак, с одной стороны, театр как возможность наибольшей объективизации изображаемого. А с другой стороны, такая драма, в которой решающую роль играет случай. Нет ли здесь неразрешимого противоречия? По-видимому, нет. И не только потому, что случайность существует как объективная категория, но и потому, что для драматурга случайность — это лишь звено в длинной цепи сложных взаимосвязей, из которых слагаются судьбы. То самое звено, ухватившись за которое, он старается вытащить всю цепь.

И все-таки не придает ли писатель слишком большого значения случаю? Не приводит ли это к фатализму? Макс Фриш, возвратившись к роману «Homo Faber», сказал, что у героя этой книги «остается свобода выбора». И пояснил свою мысль следующим образом: жизнь стечением обстоятельств воспитывает Фабера, но ведь от него зависит, окажется ли он восприимчивым к урокам жизни или нет. Таким образом, от каждого человека зависит многое. А если так, значит, точка зрения Фриша не фаталистическая.

Не только Фриша-романиста, но и Фриша-драматурга вряд ли следует причислять к тем, для кого человек бессилен перед роком. Смысл пьесы «Бидерман и поджигатели» в том, что человек не должен быть бессилен. Он бессилен тогда, когда он слеп, когда не видит жизнь такой, какова она есть. А театр, как сказал Фриш в одном из своих выступлений, помогает людям видеть.

Вопрос о современном театре, о путях, которыми он идет, был затронут и на встрече в редакции. Сравнивая Ионеско с Беккетом, швейцарский драматург сказал, что Ионеско только лишь расшатывает основы старого театра, а Беккет разрушает все до основания, придает значение только лишь слову и пантомиме. Искания Беккета чрезвычайно интересуют Фриша. Он высоко оценивает и драматургию Дюрренматта. Что же касается «документального театра», создаваемого Вейсом * и Кипхардтом, то Фриш в него не верит. Он верит в талант Петера Вейса, но считает, что театрализованный документ — это уже не документ.

— К тому же,— говорит он.— у меня нет никакой охоты видеть на сцене Кадука и Богера **. С меня довольно того, что я видел их живыми на процессе.

В общем, Фриш находит, что «документальный театр» — это не путь вперед.

На наш взгляд, это не единственный, но вполне возможный путь развития современной драматургии. Конечно, театральный документ не идентичен документу, как таковому. Но он все же обладает особой силой воздействия — силой достоверности, которая, в общем, сохраняется, даже и при известных потерях. Именно поэтому спектакль Вейса «Судебное разбирательство» стал общественным событием, политической манифестацией.

На вопрос о том, каков, с его точки зрения, тот путь, которым должна идти современная драматургия, Фриш ответил:

— По-моему, нужно создавать модель мира. Сочинять фантастические истории, в которых — правда.

Мы надеемся, что Макс Фриш еще не раз порадует своих читателей и блеском фантазии, и взлетом мысли, улавливающей противоречия современной жизни.

Л. СИМОНЯН

---

* См. пьесу Петера Вейса «Судебное разбирательство», напечатанную в «Иностранной литературе» № 5 за 1966 г.

** Кадук и Богер — фашисты, зверствовавшие в Освенциме, предстали перед судом, состоявшимся во Франкфурте-на-Майне в 1965 году.

Герберт ЗАНДБЕРГ — *художник-публицист*

Герберт Зандберг — художник-публицист. Его искусство, то разящее своей горькой иронией, то вселяющее надежду,—всегда в наступлении. Плакат, листовка, газетный рисунок, карикатура или развернутое повествование, каким является графический цикл,— повсюду и неустанно он говорит о черных силах фашизма и о повседневных подвигах тех, кто сражался и сражается с ним сегодня. Даже обращаясь к жанру дружеского шаржа (см. «Иностранную литературу» № 12 за 1959 г.), он остается прежде всего политическим художником.

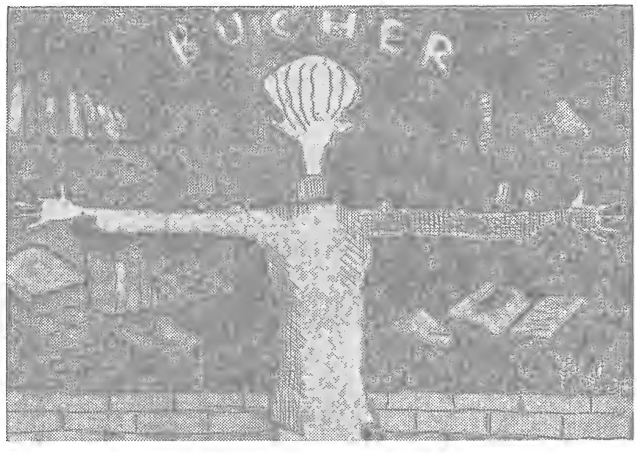
Зандберг родился в 1908 году в Познани (Силезия) в семье благочестивого, добропорядочного купца. Отец хотел для сына твердого и обеспеченного положения, а потому была и высшая торговая школа, и банкирская контора, в которую Герберта определили учеником. Но конторским книгам Зандберг предпочитал антикварианты, книжные и букинистические магазины. И в конце концов отцу пришлось сдаться. Сын учился во Вроцлаве, сначала в школе прикладного искусства, а затем в Академии художеств.

Это были трудные и беспокойные времена для Германии — проигранная война, подавленная революция, ограбленная и униженная страна, невиданное обнищание огромного числа людей и сказочное обогащение немногих. У одних — жадный интерес и сочувствие тому, что происходит «на востоке», у других — столь же яростное неприятие нового.

Поколение, к которому принадлежал Зандберг, развивалось под знаком социальных драм Г. Кайзера, «неустроенной» лирики Клабунда, критических романов Генриха и Томаса Манн, первых работ уже приобретавшего широкую известность Б. Брехта. Властителями дум были К. Кольвиц, Э. Барлах, Г. Гросс, О. Дикс, О. Кокошка, М. Бекман, Мазереель. Событием была каждая новая постановка Э. Пискатора, с нетерпением ожидался каждый очередной номер «Симплициссимуса». Затем пришла литература «потерянного поколения» и прежде всего Ремарк, советские кинофильмы — «Броненосец «Потемкин», «Путевка в жизнь». В 1925 году начался путь художника, работающего в ежемесячных, еженедельных и ежедневных газетах и журналах. Завязываются знакомства с местными поэтами, писателями, артистами и художниками. Зандберг входит в «группу молодых», настроенных весьма радикально. Они выступают в Концерт-хаузе с политическим памфлетом, шуткой, куплетами. Но «постепенно нам становилось ясно, что таким путем мы не сможем изменить мир... Одними речами ничего не сделаешь». Зандберг печатает свои первые политические рисунки в «Арбейтер - иллюстрирте цейтунг». Собрав последние гроши, он отправляется в Берлин. Утром нужно было побывать на последних генеральных репетициях, обежать редакции социал-демократических и коммунистических газет, выкроить время для работы, а по вечерам раскрывались гостеприимные двери ночных кабачков на Поллендорфштрассе, на Ранкештрассе, где встречались художники и литераторы.

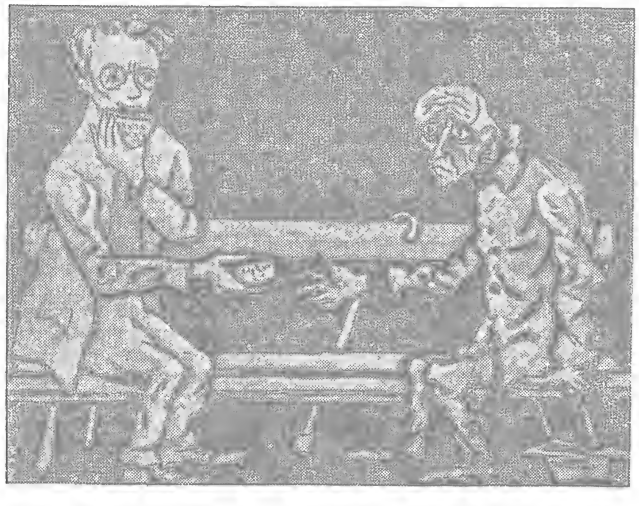
Чем напряженнее и драматичнее становилось время, тем четче и определеннее вырисовывалась позиция Зандберга. Давно уже являющийся членом Межрабпома и МОПРа, он входит в «Ассоциацию революционных художников Германии» и, наконец, в 1931 году становится членом «партии Ленина и Либкнехта». Фашизм стоял у ворот, и «теперь нужно было действовать. Я занялся тем, что было мне особенно по душе — агитацией,— вспоминает Зандберг.— Мы писали маслом, клеили, с энтузиазмом таскали тюки с нашими газетами и брошюрами... И хотя с середины 1932 года я сменил Р. Шлихтера (работавшего в коммунистической прессе.—**Прим. авт.**) и рисовал карикатуры, занимавшие еженедельно половину страницы в «Вельт ам монтаг», но в основном все более и более переключался на организационно-политический сектор и в конце концов взял на себя агитационно-пропагандистскую работу в западных районах Берлина. Через несколько дней после поджога рейхстага (или за несколько дней до него) я руководил в Тиргартенхофе большим собранием «левого картеля работников умственного труда», председателем берлинского отделения которого я был. Архитектор Ганс Мейер, только что вернувшийся из Москвы, рассказывал о том, как живут в социалистическом государстве наши коллеги. Это было последнее наше общественное выступление». Затем работа в прессе под чужим именем, подполье. Уже летом 1933 года Зандберга разыскивала полиция, а в августе 1934 года он был арестован и обвинен в «подготовке к государственной измене». Подследственное заключение, каторжная тюрьма Бранденбург, Бухенвальдский концентрационный лагерь. И там, больной, голодный, слабый, он продолжал оставаться активным участником движения Сопротивления. Оттуда протянулись нити дружбы, связывающей его с Бруно Апицем, с известным немецким поэтом Карлом Шногом, чьи антифашистские стихи он иллюстрировал в Бухенвальде...

«Мы пытались вырвать из рук палачей как можно большее число людей и, там, где это было возможно, сделать их нашими товарищами». В чем смысл и содержание графической



Открытие

Разделенная радость



Интеллектуалы

серии, над которой Зандберг начал работать еще в лагере? Весной 1944 года он был болен и на какой-то срок ему посчастливилось попасть из строительной команды в больничный барак. Раздобыв печной сажи и мела, он выполнил эскизы 18 из 30 гравюр на дереве, составивших цикл «Дружба». Они впоследствии были доставлены художнику, наконец-то дождавшемуся свободы. Он дополнил их и выпустил отдельной книгой в 1949 году.

«Дружба» — первая большая работа Зандберга — была итогом более чем десятилетнего страшного опыта. Сюжет ее — история двух очень разных людей, очутившихся в мире с изуродованными понятиями о праве, истине, обо всем человеческом вообще.

В процессе работы над этой серией сложился весь инструментарий изобразительных средств, определяющих сегодня творческое лицо художника.

Пожалуй, ни один из созданных позднее циклов не продолжает начатое столь последовательно, как «Путь», с успехом обошедший все последние крупнейшие немецкие выставки. Цикл (см. иллюстрации) был приурочен к 20-летию объединения социал-демократической и коммунистической партии Германии в Социалистическую Единую партию Германии.

Подобно первому циклу, «Путь» — автобиографическая серия. Ее хронологическая протяженность — от начала и до середины века. Но это не просто автобиография, это и рассказ о судьбах целого народа со всеми перипетиями его трагической истории.

Серия состоит из 70 листов, не все, конечно, равноценно в ней. Иногда поиски и отбор нужной детали приводят к некоторому схематизму и сухости, затрудняющим ее прочтение. Это не меняет общей оценки серьезной, по существу, философской серии.

З. Пышновская

Арнольд Цвейг

Современность, запечатленная в гравюре

Бывали такие времена и такие стечения обстоятельств, когда разрисованные или исписанные листки запечатлевали важные, узловые моменты повседневности и, обращаясь к памяти людей, формировали их политическое сознание. Но то были эпохи, когда такие листки становились документами, потому что не было тогда ни репродукций, ни журналов и газет, которые могли бы почтить себя их воспроизведением — себя и своих читателей. К сожалению, нас, людей нынешнего дня, чудеса фотографии и графической репродукции лишили возможности переживать сенсации: иллюстрации попадаются нам на глаза ежедневно, они стали частью наших буден, а со времени изобретения телевизора — и привычными домашними киносеансами. Великие художественные свершения мы возвысили — или принизили — до ранга будничных дел.

С такой конкуренцией приходится спорить графику, который, подобно Герберту Зандбергу, с помощью гравировальной иглы и кислоты воссоздает хронологию своего становления.

И его удача несомненна. Серия его превосходных листов — это biblia pauperum нашего поколения — библия для бедных, вроде той, что великодушно предоставляли монастыри людям, которых они не учили чтению и письму. Страшно еще раз увидеть эпоху, пережитую нами, как эпоху засилья трестов и монополий, с одной стороны, и, с другой, эпоху разъединенности трудового люда. Умерший два поколения на-

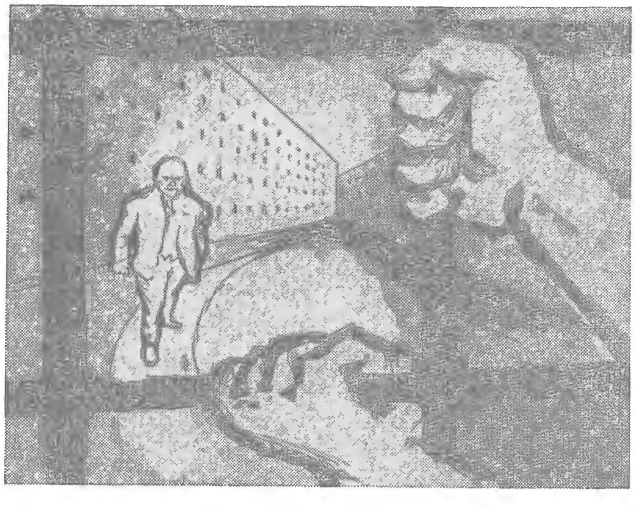
Образец I: Франц Мазереель

Щель

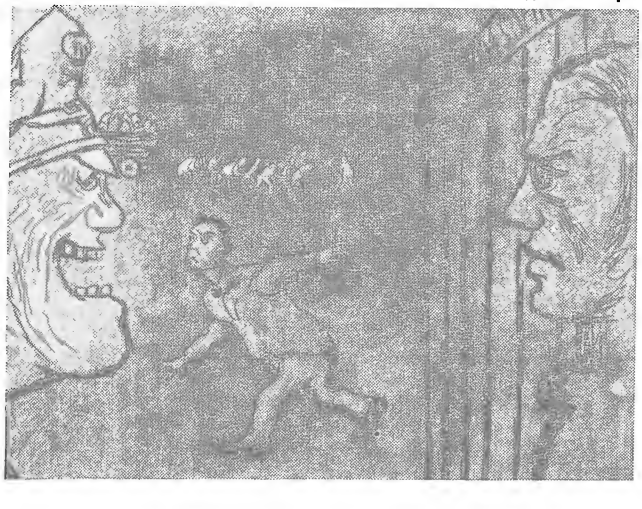
Сначала книги

Что делать?

Спасите Тельмана!



Вход в лагерь



зад молодой писатель Вальтер Кале сказал об этом: «Труднее всего перекинуть мост через трещину». Отметим для себя, памятуя об этом, что и сегодня человек цивилизованного мира живет под властью того же закона недостаточности объединяющего начала. Вызывается ли этот индивидуализм условиями городской жизни, или, в свою очередь, более четкая индивидуализация личности накладывает отпечаток на профиль наших столиц и улиц — пускай этими вопросами занимаются социологи; мы же видим на примере истории наших государств и городов, что они сколачивались из гильдий и ферейнов и что теплый связующий ток симпатии, сотрудничества и братского взаимообмена был тем фундаментом нашего человеческого общества, к созданию которого мы всегда стремились и который иногда не удавался. В досоциалистический век мы проигрывали в конкуренции даже с муравьями и пчелами.

Рисунки Герберта Зандберга — как ведущий по снегу след благородной гончей или оленя. Печален отпечаток первой половины нашего века, лежащий на их сюжетах, но как ободряющ заключенный в них отсвет той энергии, с которой мы отстаивали и осуществляли наше право на жизнь. Можно прочесть в них страшную правду о том, как поколение немцев вырастало под эгидой законов коричневого варварства,— эти рисунки тоже озаглавлены «Мирное время». А война здесь осознается как классовая борьба. И то, что мы, молодые люди, выросшие в германской империи, могли прочесть лишь в социалистических брошюрах, встает теперь перед нами со страниц альбома зандберговских рисунков, воссозданное в художественно совершенном графическом исполнении.

Нужно запомнить особенно два рисунка, наглядно демонстрирующие уроки

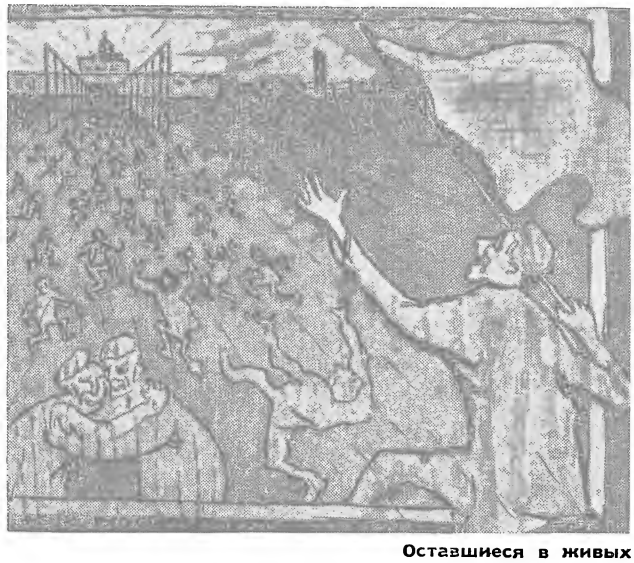
того, что я в своей книге «Калибан, или Политика и страсти» назвал страстью к разногласиям. Две группы рядовых молодых людей — каждая со своим знаменем — повернулись спиной друг к другу, и возникла брешь, в которую вламываются фашисты со свастикой на знамени — на погибель этим отвернувшимся и в конце концов самим себе. Этот рисунок скупо и впечатляюще воспроизводит главную ошибку, навязанную нам первыми десятилетиями нашего века, так что каждый зритель легко и навсегда запомнит ее. Но художник Зандберг изобразил на предпоследнем рисунке своего цикла и те уроки, которые вынесли из этого мы, оставшиеся в живых. На фоне руин обмениваются рукопожатием представители обеих рабочих партий: светлые фигуры перед марширующими колоннами, повернувшиеся друг к другу, выписанные без всякого приукрашивания,— наши современники, на которых наложили свой отпечаток труд и тяготы жизни. Но они научились ценить прежде всего то, что за все эти трудные десятилетия формировало их души и, следовательно, все их существо: что мир — это хлеб наш насущный, а война — враг наш и разрушитель, в политическом смысле и в смысле повседневного устройства нашего бытия.

Отметим еще, что эти рисунки представляют собой и биографию самого художника, создавшего их. Герберт Зандберг — один из самых талантливых и продуктивных наших графиков. Неутомимый в труде, он нес то в один, то в другой журнал свои наблюдения над жизнью, и самое в нем поразительное — это то, с какой беспримерной стойкостью он сумел подняться над страшным опытом своего тюремного заключения. Изо дня в день работая карандашом и пером, постоянно в пути из одного города в другой, из

Герои

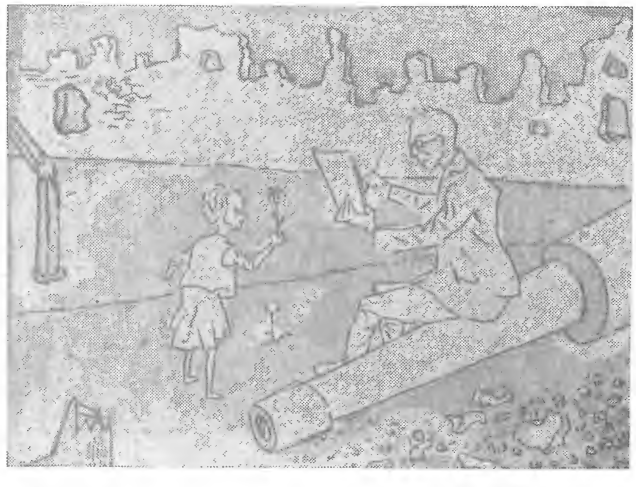
Привели военнопленных

Выше голову!



Оставшиеся в живых

Новая жизнь



1946

одной страны в другую, он является полпредом искусства ГДР.

Историю девятнадцатого века во Франции для нас сохранили живою художники Монмартра из школы великого парижанина Домье — раскройте тома старинных журналов. Музеи Англии одарил целыми залами драгоценных рисунков гений Уильяма Хогарта, идя по его следам, еженедельник «Панч» увековечил неисчерпаемую страстность и меткость британской злободневной политической графики. Немецким классиком был Вильгельм Буш — черно-белыми рисунками и убийственно-меткими строфами он оградил себя от юдоли забвенья. Отвести Герберту Зандбергу место в этом созвездии мастеров графического искусства мы должны, повинуясь в равной мере велению долга и велению сердца. Альбом его рисунков расскажет вам, что причинил человеку третий рейх. Они возникли после более чем десятилетнего заточения в одном из тех склепов смерти, которые сатрап по имени Адольф Гитлер с иезуитской основательностью создавал в тихих уединенных местечках и которые навеки запятнали такие трогательные названия, как Биркенау и Бухенвальд — Березовая роща, Буковый лес... В случае с бывшим воспитанником художественной школы и рисовальщиком Гербертом Зандбергом речь идет о том Бухенвальде — буковом лесе вблизи Веймара,— о котором так много жителей города Гёте и Шиллера, по их уверениям, ничего не знали и в котором были зверски замучены около 60 тысяч антифашистов. Герберта Зандберга не убили, но его били и пытали. Он, этот ученик художественной школы во Вроцлаве — городе, который тому же Гитлеру обязан своими руинами,— оказался из несгибаемого духовного материала, и об этом свидетельствует его альбом.

КАК ЗАВЕСТИ ЧАСЫ?

Карсон Маккаллерс. Часы без стрелок. Роман. Перевод с английского Е. Голышевой. Послесловие М. Марецкой. Москва, «Молодая гвардия», 1966. 271 стр.

«Часы без стрелок» — первая книга американской писательницы Карсон Маккаллерс, появляющаяся в русском переводе.

Если задать себе вопрос: что больше всего привлекает и волнует Карсон Маккаллерс, то не сразу найдешь ответ. Верней, ответов будет слишком много. Может показаться, что ее особенно тревожит тема болезни, неустойчивость, недолговечность человеческого существования. Ведь в последнем ее романе «Часы без стрелок» так много места отведено почти клинической картине медленного умирания аптекаря Мелона, заболевшего лейкемией. А в первой ее книге, принесшей ей широкую известность, «Сердце — одинокий охотник» на многих страницах описано безрадостное существование двух глухонемых: один из них умирает в больнице, другой кончает самоубийством. Но нет, эта тема не исчерпывает творчества Маккаллерс, хотя ей в книгах писательницы принадлежит непомерно большое место.

Тогда, может быть, это тема детства, отрочества, становления человеческой личности, поисков и блужданий юного существа, впервые сталкивающегося с несправедливостью, с торжествующим злом? Вспомним, что в первом романе Маккаллерс перед нами проходят два года жизни юной Мик Келли — и на протяжении этих лет она из резкой, угловатой, по-мальчишески порывистой, но вместе с тем непосредственной девочки-подростка становится взрослой девушкой, на долю которой выпадает не одно испытание. А в последней книге автор с взволнованностью и тревогой пытается раскрыть внутренний мир юноши Джестера Клэйна, постигающего на своем собственном опыте, как трудно жить в пору, когда «распалась связь времен».

А может быть, основной является для писательницы негритянская проблема американского Юга, возникающая в обеих ее книгах? В первой из них мы видим, как разрушается семья негра—доктора Копленда, затравленного и замученного всей атмосферой южного городка, где любой белый может назвать его — уже немолодого, высокообразованного человека, спасшего от смерти десятки людей,—презрительной кличкой «бой», где сыну Копленда Вилли в полицейском участке заковывают ноги, и он становится калекой. А в последнем романе Маккаллерс «голубоглазый негр» Шерман Пью погибает, став жертвой банды линчевателей,—один из них бросает бомбу в его жилище, потому что Шерман поселился в квартале, где неграм жить не положено.

Читая «Часы без стрелок», невольно вспоминаешь первое произведение Маккаллерс «Сердце — одинокий охотник», после которого она написала еще несколько книг, пьесу и сборник рассказов (впрочем, ни одно из этих произведений не получило со стороны американской критики такого признания, как литературный первенец писательницы).

Свой последний роман она опубликовала после нескольких лет молчания и более чем через два десятилетия после первого романа. Американская критика встретила его холоднее, чем предыдущие книги Маккаллерс. Журнал «Тайм» увидел в нем лишь еще одно проявление увлеченности «южных» писателей проблемой «насилия» в ее

«расовом аспекте», а критик из «Нью-Йорк таймс» охарактеризовал эту книгу как «сценарий еще не написанного романа». Нашему читателю нетрудно будет убедиться в произвольности этого суждения. Американской же критике должно быть известно, что композиция первой книги более рыхлая, что силы зла и произвола представлены в ней более обезличенно, чем в последнем романе.

Манеру письма Маккаллерс отличает большая простота в описании событий наряду с предельной сгущенностью психологического рисунка, а, в свою очередь, эта усложненность приемов раскрытия внутреннего мира ее героев сочетается с натуралистичным воспроизведением всех деталей болезни и распада личности таких ее персонажей, как глухонемой грек в первом ее романе и аптекарь Мелон в книге «Часы без стрелок».

Бросается в глаза общность фона обеих книг: и тут и там действие происходит в провинциальном городке на юге США. И хотя время действия первого произведения — годы кризиса, а второго — начало пятидесятых годов, все же описание города, которое мы находим в первой книге, можно было бы без особых изменений перенести и в «Часы без стрелок».

«На главной улице сгрудились двух- и трехэтажные здания магазинов и контор,— писала Маккаллерс в своем первом романе,— но самыми крупными сооружениями в городе были заводы, на которых работало большинство населения. Эти хлопкоочистительные заводы процветали, а работавшие на них люди были очень бедны. Часто на лицах прохожих можно было увидеть выражение отчаяния, голода и одиночества».

С какой мучительной болью размышляет доктор Копленд, собрав у себя дома группу негров, о безудержной эксплуатации, о расовой ненависти, словно стена, разделяющей людей: «Нас освободили от одного вида рабства, чтобы ввергнуть в другой. Разве мы свободны?.. Нас миллионы во всем мире — людей разного цвета кожи, разных рас и верований... А ведь многие из нас ненавидят бедняков-белых, а те ненавидят нас... Нужда с ее несправедливостью должна сплачивать людей, а не разъединять».

В уединенном домике старого негритянского врача говорят о Марксе. Неграмотные негры, впервые услышавшие это имя, путают его с евангелистом Марком. Но это имя прозвучало.

Почему же так безысходно грустны финальные страницы обоих романов?

Потому, говорит писательница, что люди разъединены, разобщены, изолированы. Так, в ее первом романе рабочий Джейк не может понять Копленда, а тот с недоумением и недоверием слушает гневные тирады Джейка. И символично, что единственный человек, которому они верят, которому поверяют свои думы,—это глухонемой Сингер, настолько ранимый и одинокий, что для него лучшим выходом становится самоубийство. Между тем Копленд произносит знаменательные слова: «Самое страшное для человека — когда он пытается остаться один».

Не случайно эти слова появились в книге, написанной в Америке кризисных лет; они перекликаются со словами героя книги Хемингуэя «Иметь и не иметь» о том, что «человек один не может ни черта». Нельзя не пожалеть, что этот мотив в книге Маккаллерс не развернут, что одиночество трактуется как извечное проклятье, на которое человек обречен. И трудно согласиться с утверждением автора послесловия к русскому переводу книги Маккаллерс, что «любая ее строка — гимн жизни».

Тема смерти, умирания, одиночества воплощена и в этом романе с большой силой, жизнь предстает в нем как безрадостное существование, тусклое прозябание.

Трагично завершаются судьбы «голубоглазого негра» и аптекаря Мелона в последнем романе Маккаллерс и судьбы героев ее первой книги. Ведь в ней только с двумя образами связаны какие-то светлые надежды. Это Мик, верящая, что ее жизнь не пройдет даром, и ее друг юноша Гарри. Мик мечтает о том, что она будет сочинять музыку, от которой людям будет легче и радостней, а у Гарри — одна мысль: посвятить себя борьбе с фашизмом.

Через два десятилетия писательница снова вводит нас в южный городок. И читателю хочется узнать, что стало с такими людьми, как Мик и Гарри.

В одном из персонажей в «Часах без стрелок» можно было бы увидеть Гарри, ставшего взрослым и даже достигшего, как он мечтал, положения известного юриста. Это Джон Клэйн, сын судьи Клэйна. Но его давно уже нет в живых. Как Гарри, как Джейк и Копленд, он ненавидел несправедливость, увлекался «радикальными идеями». И когда какого-то негра обвинили в изнасиловании белой (она любила обвиненного негра), Джон вызвался защищать «черномазого». После того как судья Клэйн, его отец, утвердил смертный приговор, он пускает себе пулю в лоб. И о нем в романе только вспоминают. А героев, подобных ему, в книге нет.

С кем же мы знакомимся в романе Маккаллерс «Часы без стрелок»? Со старым судьей Клэйном, с его внуком Джестером — сыном покончившего с собой адвоката, с аптекарем Мелоном и «голубоглазым негром» Шерманом Пью. Судьбы всех этих очень разных людей роковым образом переплетены.

Мелон в возрасте сорока лет заболевает, ему остается жить не более года. Он подводит невеселый итог: жизнь прожита зря; он словно старый мул бродил по кругу, вращая мельничный жернов. Мелон обнаруживает неискренность, отчужденность окружающих его людей, поглощенных своими мелочными заботами, равнодушных к тому, что он, Мелон, уходит из жизни. Но еще страшней смерть, все больше завладевающая им.

Многие эпизоды книги, связанные с судьей Клэйном и Шерманом, раскрывают странную извращенность их сознания, причудливую гротескность их судьбы.

85-летний судья — поборник рабства, защитник «добрых старых обычаев», бывший конгрессмен — принадлежит к числу уважаемых политических деятелей Юга. Он лелеет сумасбродный план — вернуть южным штатам их былое могущество, добившись от правительства восстановления старых, потерявших всякую цену после поражения Юга, денег. С маниакальной настойчивостью он проповедует свою нелепую идею, видя в ней путь к восстановлению рабовладельчества. Он с патриархально «южным» добродушием относится к своей старой чернокожей служанке, испытывает даже привязанность к «голубоглазому негру», которого делает своим секретарем, но, узнав, что тот «нарушил закон», поселился в квартале для белых. становится инициатором расправы местных черносотенцев с «полукровкой».

Клэйна искренне возмущают негры, «не знающие своего места», помышляющие о равноправии. Его страшит, что когда-нибудь «нежной белой девочке придется сидеть за одной партой с черным как сажа негритосом!» С ужасом чувствует Клэйн, что в воздухе носятся новые веяния (чего стоит «грехопадение» его собственного сына, сблизившегося с «ниггерами» и красными агитаторами), что внук его, Джестер, становится ему чужим.

Джестер с уважением и любовью думает о своем отце, он все больше убеждается в том, что «прогнило что-то в датском королевстве», но он слаб, молод и беззащитен. И, проникаясь каким-то странным чувством к Шерману, он пытается преодолеть свое одиночество, найти точку опоры. Здесь, на земле, все кажется ему чужим и враждебным, и он ищет успокоения в своем увлечении авиацией; только взлетев ввысь, отрываясь от земли, чувствует он себя свободным и счастливым. Он горько переживает смерть Шермана, но когда рядом с ним в самолете оказывается убийца негра, Джестер ощущает лишь бессильную ярость.

Шерман, впрочем, не вызывает к себе особой симпатии. Испытывая двойное чувство неполноценности — как «цветной» и «незаконнорожденный» (он сын белой женщины и того негра, которого казнили за «насилие»), он пытается компенсировать это чувство агрессивной хвастливостью. В его характере много странного и причудливого, и при всем его стремлении к независимости, доведись ему услышать горячие слова доктора Копленда о свободе и солидарности людей всех рас, он едва ли сумел бы их понять и оценить.

В последнем романе Маккаллерс, как и в первой ее книге, осуждается расистское изуверство, страшные пережитки рабовладельческого Юга. Писательнице больно за своих героев, она скорбит о том, что их жизнь не удалась. Однако одной жалости мало. Ведь жалость может вызвать к себе и старый Клэйн в минуты, когда он испытывает страх смерти, чувство физической беспомощности.

Так как же приделать к часам стрелки, как завести их, чтоб они возвещали приближение будущего, а не только отмечали медленное умирание Мелона и Клэйна? Писательница об этом не говорит. Но в «Часах без стрелок» она выражает неприятие того алчного и хищного мира, где так много сил пущено в ход, чтобы повредить «механизм» человеческого существования.

ВЛ. РУБИН

«ГРУСТНЫЕ ИГРУШКИ»

Исикава Такубоку. Лирика. Перевод с японского, вступительная статья и примечания Веры Марковой. Москва, «Художественная литература», 1966. 178 стр.

«Грустные игрушки» — так назвал свои «короткие песни» — та́нка японский поэт Исикава Такубоку.

В первый раз мы познакомились с ним в 1956 году, когда появился на русском языке сборник «Японская поэзия». Диапазон сборника был широк — от стихов знаменитого Утамаро, поэта седьмого века, до нынешних поэтов Японии. И среди этого поэтического моря, как «белые жемчужины печали», сверкали грустные и страстные пятистишия Исикавы Такубоку — поэта нашего века.

Такубоку умер совсем молодым, в двадцать семь лет, как Лермонтов. И чем-то его стихи, глубоко национальные, перекликаются с лермонтовскими. Если бы он был жив, весной этого года ему исполнилось бы восемьдесят лет. Еще живы люди, знавшие его. И нет японца, который не помнил бы его песен.

В тот день, когда я голодал,
Так добра была морда собаки, что в лицо мне глядела,
Голодная, тонким виляя хвостом!

Друзья!
Не брезгуйте так жалким видом нищих!
Ведь я в дни голода такой же, как они!

(Перевод А. Глускиной)

Ладонью обтирает снег
С лица, запорошенного метелью,
Товарищ мой, сторонник коммунизма.

(Перевод В. Марковой)

Это танка, но какие! Вместо изысканных метафор и тем древних поэтов, воспевавших цветение вишни, ладью луны, парчу кленовых листьев, грустный голос кукушки,— собака, глядящая голодному поэту в глаза, жалкий нищий, товарищ, сторонник коммунизма — простые слова из обихода простого человека. Это танка Исикавы Такубоку.

Правда, уже в трехстишиях Басё читатель столкнулся с простолюдинами, с супрепкой, с нищим ребенком, замерзающим на осеннем ветру... Но так в жанре пятистиший, как писал Такубоку, не писал до него никто. Они стали демократичнее, народнее.

В том же сборнике «Японская поэзия» мы нашли и еще одно поэтическое произведение Такубоку — большую поэму о русском адмирале Макарове, который гордо погиб на своем корабле, ушел навечно в пучину, не сдавшись врагу. Написал ее Такубоку в дни Русско-японской войны. И можно только поражаться мужеству поэта, которое он проявил в те годы,— Такубоку говорит о бессмысленности войны:

Его я славлю в час вражды слепой
Сквозь грозный рев потопа и пожаров.
В морской пучине, там, где вал кипит,
Защитник Порт-Артура ныне спит.

(Перевод В. Марковой)

Второй раз мы встречаемся с Такубоку в 1957 году. Это была книга стихов (Исикава Такубоку. «Стихи». Перевод В. Марковой). Здесь были пятистишия, и белые стихи из разных сборников поэта, и лирика, и гражданская поэзия.

Начиналась книга со знаменитого пятистишия:

На песчаном белом берегу
Островка
В Восточном океане
Я, не отирая влажных глаз,
С маленьким играю крабом.

Это пятистишие высечено на надгробии могилы поэта.

И теперь мы снова, уже в третий раз, встретились с Исикавой Такубоку. Книжка его лирических пятистиший вышла в серии «Сокровища лирической поэзии». И снова — в переводе Веры Марковой.

...Печальный и сильный человек одиноко сидит на берегу. Волны одна за другой набегают на белый песок. Маленький краб ковыляет по белому песку. Юноша берет его пальцами и переставляет чуть в сторону. Краб снова ковыляет к норе. А мысли совсем о другом: о неустройстве жизни, о любимой, о матери, которая высохла от горя и болезни.

Здесь, в этой книжице, только лирические пятистишия, их около четырехсот. Это пятистишия из книг «Горсть песка» и «Грустная игрушка». «Песни о любви к себе», как назвал их поэт. Песни о любви к людям — как назвали бы мы их.

Сердце мое
Словно раненый зверь.
Но только с родины вести придут,
Станет ручным,
Утихнет.

* * *

Вы перед глазами у меня,
Берега далекой Китаками,
Где так мягко ивы зеленеют,
Словно говорят мне:
«Плачь!»

Пятистишия Такубоку рассказывают нам грустную повесть о том, как жил в Японии мальчик Хадзимэ (настоящее имя поэта), как рос он в деревенском храме в маленькой, нищей деревушке на севере Японии, бегал ловить светлячков у реки, любовался «снежными бровями горы Иватэ», слушал шум криптомерий и сосен, как учился потом в провинциальном городе Мориока, мыкался в большом и равнодушном Токио, пытаясь жить литературным трудом, скитаясь в поисках заработка по дальней окраине Японии — острову Хоккайдо, и как погиб от туберкулеза и нищеты в двадцать семь лет.

Перед огромным морем
Я один.
Уже который день,
Как только к горлу подступают слезы,
Из дому ухожу.

Это пятистишие из книги «Горсть песка». Воспоминания о Хоккайдо. Здесь же, на Хоккайдо, познакомился поэт с демократическим движением тех лет, с социалистами, и сам участвовал в забастовке рабочих.

Есть у Такубоку и такие строки:

Летел навстречу мокрый снег,
И по равнине Исикари
Наш поезд мчался сквозь метель.
Я в этом северном просторе
Роман Тургенева читал.

Пятистишия рассказывают нам и о Токио последних дней поэта, когда, смертель-

но больной, он пришел к мысли о революции. Незадолго до его смерти по ложному обвинению в заговоре против императора были повешены японские прогрессивные деятели-социалисты. Япония превращалась в жандармское государство.

Не позабыть мне
Его лица!
Под полицейской стражей
По улице шел в тюрьму человек
И только слегка улыбался.

* * *

Словно из дикой пустыни,
Я домой воротился...
Долго шел я
По черной ночи,
По черной ночи Токио.

Однажды в этой черной ночи ушел из жизни один из самых любимых поэтов японского народа Исикава Такубоку. Коротка была его жизнь, так же коротка, как и его «короткие песни».

Можно только радоваться, что у нас в стране живет человек, обладающий и великолепным знанием языка, на котором писал Такубоку, и поэтическим даром. Вера Маркова переводит японского поэта емко и лаконично, так же, как он писал. Она не рифмует его стихи, как и он не рифмовал их, и мы чувствуем музыку его песен. Книга стихов Исикавы Такубоку издана у него на родине сразу на двух языках: на японском и на русском. На каждой ее странице рядом стоят японские строки и строки пятистиший в переводе Веры Марковой.

Г. РОНСКАЯ

НА ЗЕМЛЕ ЦЕЙЛОНА

Мартин Викрамасинге. Последний век. Роман. Перевод с сингальского В. Выхухолева и Е. Шевелевой. Предисловие К. Чугунова. Редактор А. Клышко. Москва, «Прогресс», 1965. 365 стр.

Как будто многое знакомо читателю в этой книге: меняющаяся феодальная деревня, с трудом, ощупью находящая дорогу в новом для нее мире буржуазных отношений, и ее жители: одни — быстро приспособившиеся к иной, непривычной для них жизни, и другие — сознательно или под давлением прочно вкоренившихся предрассудков и верований не принимающие ее, погибая в окружившей их чужеродной среде.

Но эта известная историческая ситуация складывается на мало знакомой нашему читателю земле Цейлона, и потому с таким неослабевающим интересом читается трилогия одного из известнейших современных сингальских писателей, Мартина Викрамасинге, посвященная его родной деревне Коггала — деревне, где он родился и вырос, где мальчишкой прислушивался к ропоту реки, а мужчиной — к ропоту односельчан.

Трилогия, носящая общее название «Последний век», состоит из самостоятельных романов: «Меняющаяся деревня» (1944), «Конец века» (1957) и «Последний век» (1949). Как видно из приведенных дат, романы эти писались в разные годы, они неравноценны и по своей значимости в трилогии, и по своим художественным достоинствам.

Основная часть трилогии — роман «Меняющаяся деревня», рассказывающий историю семьи Кайсаруватте, родовитого, но уже обедневшего землевладельца. Романы «Последний век» и «Конец века» служат как бы продолжением и дополнением первого романа, повествуя о дальнейшей судьбе его героев, об их детях и внуках, о взаимоотношениях поколений, о «последнем веке» старой цейлонской деревни, о революционном конце этого века, в корне изменившем жизнь сингальских крестьян и пролетариев.

Сингальская деревня в начале нашего столетия еще пронизана патриархальными отношениями. Очень трудно изменить образ жизни и образ мыслей крестьян, говорит писатель. «Богатые люди в деревне до самого последнего времени ходили в саронгах. Бедняки тоже одевались в саронги. Деревенские богачи говорят на сингальском языке, точно так же и бедняки. Дети богатых и бедных в деревне вместе садятся за стол, вместе играют». Обитатели «Большого дома», семья Кайсаруватте, отличаются от прочих жителей деревни даже уже не богатством — они на грани разорения,— а лишь необычайной родовой спесью. Кайсаруватте живет предрассудками, собственная родословная целиком заслоняет от него весь мир. И детям своим он старается внушить, что знатное происхождение — основная добродетель человека.

Заботы о чести рода губят всех троих детей Кайсаруватте. Старшая дочь его, Нанда, натура неглубокая, отказывает бы-

стро богатеющему местному буржуа Пиялу, которого она любит, и выходит замуж за сельского аристократа, разорившегося неудачника. Гибель мужа и обнищание семьи все-таки приводят Нанду к браку с Пиялом, но лишь тогда, когда только деньги Пияла могут хоть как-то поддержать престиж семьи. Во втором браке Нанда обретает если не счастье, то спокойное благополучие, однако трое ее детей вырастают чужими не только для нее, но и для своего народа: как почти все дети крупной сингальской буржуазии, искусственно созданной и вскормленной иностранными колонизаторами, они умеют лишь презирать родной язык и культуру и эксплуатировать своих соплеменников. В конце жизненного пути Пиял и Нанда убеждаются, что, отдав все силы непрестанному накопительству, они потерпели полный моральный крах.

Вторая дочь Кайсаруватте, поэтичная и нежная Анула, горячо любящая родной край, не может приспособиться к жизни быстро меняющейся деревни. Она пытается расстаться с обветшалым родовым гнездом, «Большим домом», поселяется в семье старшей сестры в Коломбо — но шумная столица, угарная светская жизнь новоявленных богачей быстро иссушают ее душу и тело. Тяжело заболев чахоткой, Анула возвращается под родной кров, медленно, вместе с ним погружаясь в небытие.

И сын Кайсаруватте, Тисса,— самая интересная фигура романа — всю жизнь мечется между родной деревней и Коломбо, пытаясь разорвать крепко сковавшую его цепь предрассудков. Деревенское бескультурье и нищета тяготят его, он думает найти свое счастье в столице, но там он сталкивается с мерзостями жизни доморощенных буржуа, с еще более тяжкой, чем у крестьян, долей цейлонских рабочих.

«Помогая другим, забываешь о себе»,— говорит Тисса. И до конца своих дней он остается другом обездоленных. Он даже принимает участие в профсоюзных митингах рабочих и городской бедноты. Но, будучи противником насильственных действий, Тисса все время занимает позицию между двумя борющимися лагерями, одинаково ненавидимый ими обоими.

Поколения сменяют друг друга... Дети еще бесконечно далеки от народа. Но внуки уже твердо знают, чью сторону они должны выбрать в жизненной борьбе. Герой романа «Конец века», внук Нанды — Малин становится профсоюзным вожаком, рабочие идут за ним, и Малин не страшится выступить во главе рабочих против собственного отца — крупного предпринимателя.

Мартин Викрамасинге — один из родоначальников реалистического романа на Цейлоне. Он порвал окончательно с существовавшей до него развлекательной или подражательной литературой и вывел цейлонский роман на путь реалистической прозы. Творчество Викрамасинге развивалось под влиянием европейской, русской и советской классики. Его «Последний век» во многом перекликается с «Делом Артамоновых» М. Горького.

В трилогии Мартина Викрамасинге нарисована широкая картина жизни Цейлона за последние полстолетия. Это картина не только последнего, но и первого века жизни изменившейся сингальской деревни.

Л. ФЕЙГИНА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ИСПОВЕДЬ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕГО

Bohuslav Březovský. Věční milenci. Praha, Ceskoslovenský spisovatel, 1965.

Наверное, нужно немало смелости, для того чтобы создать большое эпическое полотно, в то время как кругом только и слышно, что роман отжил свой век, что ему на смену пришли малые формы, что эпический жанр пора сдать в музей вместе со старомодными бабушкиными украшениями. Зато, если такое смелое предприятие удается, оно становится событием, влияющим на всю литературную ситуацию в стране. Именно так и случилось с романом чешского писателя Богуслава Бржезовского «Вечные любовники». Да и как мог этот писатель поверить разговорам о закате романа, столь модным среди некоторых критиков в его стране, если он отдал всю свою творческую жизнь развитию этого жанра?

Один из романов Бржезовского, «Железный потолок», знаком нашему читателю *. В этом произведении автор стремится показать крупным планом события февраля 1948 года, ставшие поворотным пунктом в истории Чехословакии. Его герои оказываются свидетелями и участниками митингов и массовых демонстраций, автор приводит их на заседание рабочих комитетов действия или на тайное совещание главарей контрреволюционных партий; политика становится определяющим моментом в судьбе героев, вторгается в их самые интимные отношения. Этот талантливый роман еще раз доказывает, что непосредственное введение истории — само по себе не причина схематизма, но нельзя в то же время считать «прямой» путь отображения исторической действительности единственным.

Идя по более трудной дороге, которая на первый взгляд могла бы показаться «обходной», Бржезовский в романе «Вечные любовники» достигает большой художественной

* Роман был опубликован в журнале «Иностранная литература» №№ 5, 6, 7, 8 за 1961 г.

убедительности, и его голос начинает звучать по-новому. Отказавшись от непосредственного отображения исторических событий, он возвращается к истории по извилистым тропинкам, ведущим через внутренний мир человека.

«Вечные любовники» можно назвать романом-исповедью. Его центральная часть носит подзаголовок «Записки пятидесятилетнего». Герой — историк Вацлав Гавлин — не случайно ровесник автора. Видимо, в этих главах книги много лично пережитого (и это придает им волнующую убедительность) — не столько в биографическом смысле, сколько с точки зрения судьбы поколения, его духовной биографии. Гавлин принадлежит к той части чешской интеллигенции, которая, расставшись со многими иллюзиями «надклассового» гуманизма, еще в предвоенные годы нашла путь к коммунистической партии. Вера в социалистический идеал помогла ему в трудные годы оккупации, он встретил майские дни освобождения и события 1948 года как осуществление давнишних мечтаний. Для него не вставал вопрос, принимать или не принимать новое: активное участие в переустройстве жизни родины на социалистический лад стало для него кровным делом.

И только много позднее Гавлин заметил, что иногда понимал свое активное участие как усвоение готовых истин, как отказ от самостоятельного мышления, от ответственного принятия решений. Он успокаивает себя мыслью, что там, «наверху», виднее, когда директор института, где он работает, карьерист и демагог Севера начинает несправедливо преследовать честного работника Нерольда. Вацлав предпочитает не задумываться о смысле случившегося и тогда, когда арестовывают в начале 50-х годов его друга Прыля, честного коммуниста, человека, указавшего ему самому путь в партию. И лишь позднее он начал отдавать себе отчет в том, сколько страха за свое спокойствие, равнодушия и душевной лени примешивалось к его слепой вере в авторитеты. Тем более что исчезновение Прыля открыло ему путь к личному счастью: Вацлав вскоре женится на подруге Прыля Елене.

И не только смерть матери осенью 1956 года и стремление подвести итоги прожитой жизни заставляют Вацлава писать воспоминания, но и те серьезные моральные потрясения, которые постигли его в эти годы. «Мне захотелось бросить взгляд на свою жизнь. Не то чтобы проследить свой жизненный путь: он сам по себе не представляет ничего исключительного и не заслуживает особого внимания. Я решил посмотреть на карту своей жизни и заполнить на ней белые пятна, которых в жизни каждого из нас гораздо больше, чем мы воображаем»,— начинает воспоминания герой романа. И итоги оказываются мало утешительны: «Я до сих пор ретушировал свое прошлое, так же как ретушировал настоящее. Я понял, что часто был слеп, вернее, не хотел видеть». Так с первой же страницы зазвучала основная тема романа: тема столкновения иллюзии и правды. А с этим связан и вопрос о смысле человеческой активности, свободы действия и его исторической обусловленности.

В последние годы в чешской литературе появилось немало повестей и рассказов с той же этической проблематикой, но во многих из них доказательство определенной истины носит чисто тезисный характер, несмотря на применение сложных и ультрасовременных приемов повествования. Чешский писатель Милан Кундера в интересном эссе о современном романе пишет: «Для того чтобы свидетельство о жизни действовало убедительно, чтобы читатель не воспринял его как специально подобранный набор фактов в дурной газетной пропаганде, это свидетельство... должно иметь убедительность эпического доказательства истины».

Видимо, Бржезовский, как всякий романист по призванию, почувствовал потребность в «эпическом доказательстве истины». Поэтому он расширяет рамки романа-исповеди: «Записки пятидесятилетнего» перемежаются с главами, названными «Старые фотографии». В них рассказана жизнь родителей героя, его двоюродного брата Индржиха Маркуса и семьи последнего. Мы не найдем здесь ни семейных празднеств с галереей ярких колоритных типов, как, скажем, у Голсуорси, и непередаваемого аромата старых, давно обжитых покоев, как у Томаса Манна. Чешского писателя интересует другое. Он ищет скрытый смысл перекликающихся и в чем-то повторяющихся судеб. Средоточием проблематики романа, тем прожектором, который освещает всю его сложную структуру, является столкновение иллюзии и истины и связанная с этим проблема ответственности.

Только после смерти матери Вацлав узнал, что эта незаметная провинциалка жила много лет двойной жизнью: она тайно любила брата своего мужа актера Яна Гавлина, сыном которого и был Вацлав. Эта любовь была основана на иллюзии: мать Вацлава создала себе образ идеального возлюбленного, а опустившийся, неудачливый актер с чисто профессиональным тщеславием поддерживал эту иллюзию даже тогда, когда его недалекая и сентиментальная возлюбленная окончательно опротивела ему. Иллюзорным оказался и тот мир, который создал для себя человек, считавшийся отцом Вацлава,— судья Гавлин. Он, всю жизнь рьяно защищавший от всяких посягательств «законную власть», пытается найти «приличную» форму сосуществования и с гитлеровскими оккупантами. Ему кажется, что так он сохранит свое достоинство и принесет пользу соотечественникам. Эта иллюзия кончается позорным крахом и самоубийством. По-иному складывается жизнь главного героя. Вацлав сумел освободиться от иллюзий, и при этом, несмотря на все пережитые разочарования, самообвинения и горькие утраты, он не поддался той панике и истерии, которая овладела некоторыми, когда многое из того, что казалось им не подлежащим критике, было осуждено историей. «Идея социализма показала свою силу, потому что все злоупотребления и деформации были раскрыты во имя этой же идеи, а не какой-нибудь другой»,— говорит Вацлав. Это убеждение дает ему огромные силы и помогает найти себя снова. Он не согласен признать, что «наше усилие изменить этот мир напрасно, что каждая идея, которую люди начнут осуществлять, загрязнится, искривится и обратится против человека. Это значило бы, что человек не имеет права на надежду».

А вот Индржих Маркус не смог понять то, что стало ясно Вацлаву. И, главное, он не сумел принять ту ответственность, которая ложится на плечи каждого, кто перестал считать себя винтиком. Он готов был остаться беспрекословно подчиняющимся солдатом, а оказавшись на командном посту, потребовал такого же слепого подчинения себе, но он не смог перенести тяжесть самостоятельного анализа, самостоятельного решения. Ему показалось, что рушится все, во имя чего он, старый коммунист, жил, он не согласился принять критику тех методов устрашения и командования, которые сам применял. И Индржих опускается ниже и ниже, в нем умирает все живое еще до того, как его находят мертвым с револьвером в руке.

Именно через эти трудные жизненные судьбы раскрывает автор облик эпохи. Моральный смысл понятия ответственности меняется, как меняется и понимание иллюзорного и подлинного в человеческом существовании. Он ищет и находит неприметные на первый взгляд точки пересечения человеческой судьбы и эпохи, становящейся тем роком, который ломает или выпрямляет человеческие судьбы.

Роман представляет собой произведение большой эпики, насыщенное действием, в котором проверяются характеры героев и те моральные ценности, которыми они живут. Но он теряет свою убедительность тогда, когда автор перестает доверять своему стилю и прибегает к приемам, ему чуждым. Может быть, излишняя описательность — вообще один из самых опасных подводных рифов современной эпики. Она порой проявляется и у Бржезовского в чрезмерно подробной регистрации, скажем, предметов обстановки, а иногда в слишком «добросовестном» увязывании сюжетных линий. Это относится к скрупулезному воспроизведению последних дней жизни окончательно запутавшегося Индржиха Маркуса. Тщательное сведение концов с концами в сюжетном отношении ведет порой к известной искусственности.

К таким искусственным сюжетным конструкциям относится встреча Вацлава со своей старой любовью Йоланой как раз тогда, когда назревает его конфликт с Еленой, пытавшейся восстановить отношения с вернувшимся Прылем. К тому же Вацлав неожиданно узнает (так же как он узнал когда-то правду о своем настоящем отце), что у него есть дочь от Йоланы, и получает таким образом после двадцатипятилетней разлуки «готовое» семейное счастье и удачный выход из любовного кризиса. Подобные искусственные конструкции не нужны талантливому романисту, так умело пользующемуся приемами современной эпики, для того чтобы рассказать о крутом и трудном пути человека наших дней.

И. БЕРНШТЕЙН

РАЗМЫШЛЕНИЯ ФЛОРИАНА ТОТА

Goda Gábor. Magányos utazás. Budapest, Szépirodalmi könyvkiado, 1965.

Роман «Одинокое путешествие» — новая страница в творчестве Габора Годы. Писатель отошел в этой книге от своей обычной сатирической манеры и обратился к психологическому жанру.

Роман написан от лица венгерского писателя Флориана Тота, который приехал в Италию, чтобы отдохнуть и поработать над окончательной редакцией своей новой книги. Он оказывается в небольшом курортном городке с вымышленным названием Лигуза. С первого же дня у Флориана Тота появляется множество знакомых: хозяин квартиры Джованни Даринетти, владелец кафе Марио и его многочисленная семья, врач Бельтрамелли, аристократ по происхождению, Нерина, дочь рыбака, с которой у Флориана возникает поэтическая дружба. Смерть жены Даринетти Маргариты еще больше втягивает Флориана Тота в жизнь местного населения.

Почему венгерский писатель так быстро оказался в гуще жизни чужого ему итальянского городка? Вопрос носильщика Альберто: «Из каких вы венгров?» показывает, что трудящиеся Италии хорошо знают о совершающихся в мире событиях и имеют свою точку зрения на них. Альберто — коммунист, его влечет к представителю социалистического мира, где власть принадлежит трудящимся, где царят законы справедливости. Не все люди, с которыми Флориан Тот сталкивается в Лигузе, тяготеют к коммунизму, как Альберто, Нерина и ее жених Карло. Венгерский писатель вызывает интерес и у таких людей, как стяжатель и капиталист Даринетти или доктор Бельтрамелли.

Осень постепенно вступает в свои права, безмятежно спокойное море становится хмурым, ветер гонит темные волны с большими гребнями пены, гнет мощные стволы пальм. Флориан Тот каждый день провожает кого-нибудь из своих друзей: Маргариту — на кладбище, ее мужа Даринетти, решившего навсегда покинуть Лигузу, уезжающего в Рим Бельтрамелли и, наконец, Нерину и Карло, отбывающих в Торре-дель-Греко.

Но когда наступает долгожданное одиночество, возможность целиком посвятить себя работе над рукописью, Флориан Тот обнаруживает, что общение с героями написанного им романа не может заменить ему живых людей, хотя он и разговаривает с ними, как с Нериной, спорит, как с Бельтрамелли. Флориан Тот чувствует, что созданные им персонажи не подчиняются ему, что они вышли из-под его власти и живут своей собственной жизнью. И он понимает: чтобы кончить работу, он должен вернуться к себе на родину, к привычной ему жизни.

Описание событий в романе «Одинокое путешествие» перемежается с раздумьями героя.

Флориан Тот — старый холостяк, мнительный, с консервативными вкусами и привычками. Габор Года не знакомит читателей с биографией своего героя. Мы узнаем лишь, что ему лет под пятьдесят, можем сделать вывод, что пришел он к пониманию и принятию социализма не по классовому происхождению или жизненным обстоятельствам, а по внутреннему убеждению. Это — один из представителей теперешней венгерской интеллигенции старшего поколения.

Столкновение с людьми, принадлежащими к совсем другому миру, помогает Флориану Тоту уяснить многое из того, на что он не мог и даже не пытался дать ясного ответа. Флориан Тот был, например, убежден, что его мнение об окружающем мире сугубо личное, что взгляды на жизнь зависят, пожалуй, и от настроения. Общение с людьми, нравственный облик которых носит несомненный отпечаток общественного строя Италии, заставляет Флориана Тота понять, насколько и его «личные» убеждения зависят от среды, окружающей его сегодня в Венгрии.

В Италии Флориан Тот вдруг почувствовал, что для людей он не просто известный писатель — никто из новых друзей не читал его произведений,— для них он прежде всего человек иного, социалистического мира. И если Флориан Тот совершает поступки, казалось бы, никак ему не свойственные, то на это его толкает новое для него чувство ответственности представителя страны социализма.

Главный предмет размышлений Флориана Тота — отношение между личностью и обществом. Габор Года противопоставляет одиночество Флориана Тота одиночеству Бельтрамелли. Последний страдает от одиночества, но выход из него он видит в том, чтобы запереть Нерину в своем родовом замке, чтобы жить там в кругу многочисленного потомства. Ему непонятно, как может Нерина отвергнуть предлагаемое ей обеспеченное существование и выйти замуж за нищего рыбака.

Совершенно иначе понимает отношения между личностью и обществом Флориан Тот. Казалось бы, жизнь старого холостяка должна была приучить его к одинокому существованию. Но Флориан Тот не отгораживается от окружающей его действительности, он черпает из нее события и впечатления для своего творчества и сам принимает участие в этой кипучей интересной жизни.

Венгерская литературная критика высоко оценила роман «Одинокое путешествие». Габор Года был удостоен премии Кошута 1966 года за совокупность творчества в жанре романа.

Е. БОЧАРНИКОВА

ШЕКСПИР КАК ОН ЕСТЬ

Nirendranath Ray. Shakespeare. His Audience and His Readers. Calcutta, Modern Book Agency, 1965.

Поговорка о том, что множество раз вновь и вновь доказывать существование бога значит только увеличивать сомнения в его истинности, в то время как один, но действительно веский аргумент в пользу существования бога был бы способен убедить сомневающегося,— эта поговорка может быть отнесена и к Шекспиру.

Книжка бенгальского профессора Нирендраната Рая «Шекспир. Его зрители и его читатели» и есть — если это касается Шекспира — такой «аргумент». В ней умело сведено все, достоверно известное о великом драматурге. И оказывается, мы знаем достаточно, чтобы конкретно представить себе жизнь и творческий путь неутомимого театрального труженика — «потрясателя подмостков», как называли его завистники. У профессора Рая нет пространства — объем его книжки шестьдесят страниц — развертывать систему доказательств, поле-

мику, как делают авторы фундаментальных жизнеописаний Шекспира. Однако бенгальский шекспировед с осторожностью и последовательностью отбирает факты, выкристаллизованные, обработанные за несколько веков существования шекспироведческой науки, и в результате на страницах небольшой книги вырисовывается человечески понятный облик Шекспира.

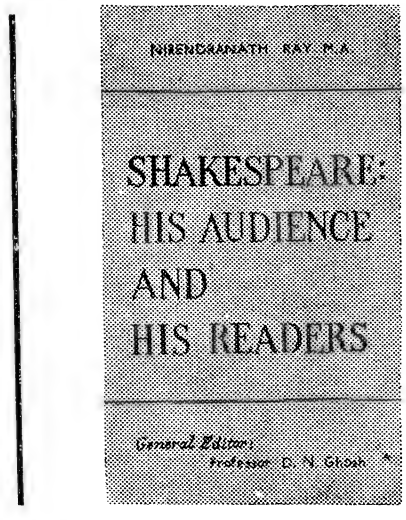
Особенно выразительно показан Шекспир на фоне современного ему Лондона: известны некоторые домашние адреса Шекспира, в частности, на Бишопсгейт-стрит, мы знаем, где находился Театр Бербеджа, где стоял знаменитый «Глобус», и вот Шекспир движется через весь город, который тогда, правда, был в диаметре не более двух миль. Столь же удачны страницы, посвященные истории публикации посмертного собрания шекспировских пьес, так называемого «первого Фолио» (1623). Здесь вырисовывается фигура Бена Джонсона, которого связывала с Шекспиром особая дружба — соперничество. Тут — Геминдж и Кондел, актеры шекспировской труппы и впоследствии редакторы-составители «Фолио».

В 1955 году на Шекспировской конференции Всероссийского театрального общества в Москве профессор Рай рассказывал о признании и почитании Шекспира в Индии. Очерк «Любовь бенгальцев к Шекспиру», приложенный к книге, охватывает эту же тему. Характерной чертой «Бенгальского Возрождения» (конец XVIII — начало XIX столетия) был, отмечает профессор Рай, большой интерес к драматургии Шекспира. Он показывает затем удивительную личность — ученого и поэта Г. Л. В. Дерозио, скончавшегося в возрасте двадцати трех лет (1831), однако успевшего много сделать для пробуждения национального самосознания индийцев, а также в раскрытии для них Шекспира. Очерк, как и вся книга, символически завершается стихами Рабиндраната Тагора, посвященными Шекспиру и написанными в трехсотлетнюю годовщину его смерти (1916).

На Шекспировской конференции в Москве профессор Рай говорил также о том, каким уважением среди индийских исследователей Шекспира пользуются работы советских шекспироведов. И вот, приводя в конце своей книжки список трудов, на которые он опирался, профессор Рай указывает в узком кругу наиболее основательных шекспироведческих книг: «Шекспир» М. М. Морозова (1956), его же «Избранные статьи и переводы» (1954). Здесь и «История английской литературы» А. А. Аникста (1956). В то время, когда профессор Рай составлял свой очерк, до него, видимо, еще не дошли книги советских шекспироведов, появившиеся в юбилейный шекспировский год (1964).

Труд профессора Нирендраната Рая — удачное прибавление к тем индийским работам о Шекспире, которые он перечислил в библиографии. Так, рядом с Шекспиром природным, английским становится индийский Шекспир.

Д. УРНОВ



ЕМЕЛЬКА, ЦАРИЦА САВСКАЯ И ГЕРБЕРТ МАРШАЛЛ

Voznesensky: Selected Poems. New York, Hill and Wang, 1966.

Музы требовательны к своим служителям. Переводчику рекомендуется знать родной язык. Не лишним также представляется хотя бы умеренное знание языка, с которого делается перевод.

Переводчик должен иметь общее представление о стране, давшей миру переводимый текст, об ее истории, географии, реалиях быта.

При всей обременительности этих требований, они, видимо, неизбежны, и человеку, им не удовлетворяющему, лучше писать стихи, чем переводить их. Предмет настоящих заметок — том стихов под названием «Вознесенский. Избранные стихи» в переводе на английский язык Герберта Маршалла.

Сборник состоит из предисловия, переводов стихов и примечаний.

Начнем, пожалуй, с переводов и попытаемся установить, в какой мере переводчик Г. Маршалл соответствует требованиям своей суровой музы.

Андрей Вознесенский пишет в поэме «Мастера»:

Бросьте, дети бисовы,
Кельмы и резцы.
Не мечите бисером
Изразцы...

Г. Маршалл переводит:

Бросьте, ребята, выходящие на «бис!»,
Кельмы и резцы — ваши.
Не мечите жемчуг
Перед изразцами.

Вознесенский:

В звезды метишь, дороги месишь...
. . . . . .
Меж столешниковских афиш,
Несмысленыш,
олешка,
самочка,
Запыхавшаяся, стоишь!
(«Кто ты?»)

Маршалл:

Прицеливаешься в звезды, а подметаешь
лужи...
...Меж столешниковских киосков
Олень,
тигрица,
полудурок,
Запыхавшаяся, стоишь!

И конечно же примечание: «Киоск означает доску для объявлений». Где означает? У Вознесенского этого просто нет, а в русском и в английском языке это слово означает приблизительно одно и то же.

Примеры, как говорится, можно умножить.

Вознесенский:

В ревю
танцовщица раздевается, дуря.

Г. Маршалл:

В ревю
танцовщица раздевается, глупость
обнажена.

Вознесенский:

На го́ре мальтузианству

Маршалл:

По горе мальтузианства

Вознесенский:

Мост парит.

Г. Маршалл:

Мост исходит паром.

В «Вынужденном отступлении» из поэмы «Треугольная груша» Вознесенский пишет:

17 лбов из ФБР —
Б-р-р-р!

Не мудрствуя лукаво, Г. Маршалл так и переводит «лоб» как brow. Довольно широко известно, что существуют части тела, названия которых как в английском, так и в русском языках используются для обозначения всего человека. Однако в отличие от русского языка, в английском слово «лоб» не входит в их число.

Самое неприятное, что может быть в переводчике поэзии, это глухота, неумение (или снисходительное нежелание) понять образный строй и тональность стиха.

Стихотворение «Маяковский в Париже» написано на Вы, и невозможно представить себе, чтобы Вознесенский решился на развязное «Володя» по отношению к великому поэту, произвольно вставленное Маршаллом.

Трагедия безысходности Мерилин Монро оборачивается в переводе Маршалла ординарнейшей жадностью, и достигается это очень простым способом.

Вознесенский:

Изнемогают, хотят
машины
Невыносимо,
невыносимо.
Лицом в сиденьях, пропахших псиной!

Маршалл:

Они изнемогают, так им хочется машин
Невыносимо,
невыносимо.
Эти лица в сиденьях, пропахших псиной.

Можно возразить, в конце концов: если перевод — искусство, то не всех же отметил господь бог талантом. Не слишком ли много мы требуем от Маршалла?

Андрея Вознесенского справедливо считают трудным поэтом, и его переводчикам можно только посочувствовать. Нелегко передать на иностранном языке ритмы и мелодию его стиха, и Г. Маршалл поступает правильно, даже не пытаясь это сделать; трудны для перевода и его неожиданные ассоциации.

Может быть, Вознесенский вообще непереводим? Но вот совсем недавно в том же Нью-Йорке вышли «Антимиры» в отличном, по утверждению американской критики, переводе. Их перевела талантливая группа поэтов во главе с У. Оденом. Книге предпосланы слова Роберта Лоуэлла:

«Вознесенский — трудный поэт, и он учился у трудных поэтов. Однако он понятен широчайшей аудитории, и это побуждает его выражать самые невероятные мысли и изощренные образы живым языком с разговорными интонациями».

Значит — можно?

Если поэтическое произведение не стало в переводе Г. Маршалла фактом англоязычной литературы, то это не вина его, а беда. Талант — категория, трудно поддающаяся определению, но вот добросовестность — это просто качество порядочного человека. Предисловие же и примечания — это труд самого Маршалла, и здесь нелегко найти обстоятельства, которые могли бы смягчить его вину.

Г. Маршалл является перед читателем в двух ипостасях — переводчика и критика, специалиста по советской литературе и, кстати, по всему советскому.

Предисловие Г. Маршалл озаглавил довольно широковещательно — «Поэт в России».

Прежде всего в предисловии обращает на себя внимание отсутствие даже скромных попыток разбора творческой манеры Андрея Вознесенского и энциклопедическое невежество Г. Маршалла во всем, что касается нашей страны. Впрочем, пожалуй, следует сделать оговорку — предисловием

можно пользоваться как уникальным справочным пособием: больше нигде нельзя прочитать о таких «фактах» в жизни советской литературы, как, например, недавний арест Евгения Евтушенко на вечере в Колонном зале, и о том, как драматически отбивала публика любимого поэта от «вооруженной полиции». Немалый интерес для исследователей творчества Леонида Мартынова представляет рассказ о том, как он был репрессирован в «годы сталинского террора».

Любители молодой советской поэзии с понятным волнением обнаружат, что Белла Ахмадулина была продавщицей: тоже, надо полагать, в результате преследований. Если к тому же вспомнить, что сам Вознесенский действительно готовился стать архитектором, то картина подавления таланта в СССР становится просто кошмарной.

Самое важное для критика — безупречная стройность и логичность концепции. С фактами следует считаться в двух случаях: если они укладываются в концепцию (это просто) или если, мешая концепции, они настолько общеизвестны, что их трудно обойти. Во втором случае факты рекомендуется препарировать.

Г. Маршаллу трудно обойти молчанием огромную популярность поэзии в нашей стране, непризнание этого факта снижает убедительность мрачной картины гонений на свободу художника в СССР, вернее, на ее рудименты, нечаянно выжившие под пятой диктатуры пролетариата, замысловатым образом отождествленной Маршаллом с культом личности,— иными словами, рушится основная концепция.

Описав читателям вечер в Лужниках в 1962 году, не забыв отметить, что «слушатели хорошо приняли мои переводы из Маяковского», Г. Маршалл сообщает: президиум вечера, *как ему, Маршаллу, было известно,* «боялся открытой демонстрации, поэтому больше такие вечера не проводились».

Читателю, простоявшему ночь — пусть даже теплую и летнюю — в очереди за билетами на недавно состоявшийся в Лужниках вечер поэзии в пользу Вьетнама, позволительно опять-таки усомниться в добросовестности Маршалла или его информированности.

Читая Вознесенского в переводах Г. Маршалла, вообще можно усомниться, о России ли его стихи. Книгу переводов Г. Маршалла населяют странные существа. Там происходят нелепейшие вещи. Где у Вознесенского «на снегу горят ножи», у Г. Маршалла появляются ноги, шагающие в снегу. Мужчина там поименован: «Митьки Филина». Читатель может догадаться, что это родительный падеж, но Г. Маршалл так поглощен поисками второго смысла стихов, что ему не до грамматики.

В предисловии говорится, конечно, и о противостоянии в советской литературе поколения «отцов» и «детей». Усиленно стараясь разницу между поколениями сделать рознью между ними, Г. Маршалл цитирует эпиграмму Сергея Васильева на Евтушенко: «Разные хотенья Евтушенко Евгенья» и при этом мастерски использует свое незнание русского языка. Эпиграмма кончается строчками:

> ...даже собственную маму
> в эту музыку втравлю.

Маршалл переводит.

> я хочу отравить даже собственную мать.

Зловещий смысл, который получает эпиграмма, таким образом обработанная, может испугать кого угодно.

Вообще страшно подумать, сколько упускаешь в советском аду без надежного Вергилия — Маршалла!

Разве, допустим, можно без него узнать, что чуваши — это племя бывших кочевников, населяющее северные арктические районы СССР (примечание к «Вечеру на стройке»), или что Вирсавия — это озеро в Эстонии (примечание к «Балладе о работе»)?

В справочных изданиях содержатся на этот счет другие сведения, но кто не знает— «все врут календари», а уж советские!

Возникает, однако, вопрос: а что, если смышленый читатель продерется сквозь чащобу маршалловского перевода и поймет, что Андрей Вознесенский пишет совсем не так, как его читает Г. Маршалл?

Эта мысль явно гложет Г. Маршалла, и, покрепче схватив читателя за руку, он возглашает:

«Гражданину западноевропейской страны или США трудно понять положение вещей в Советском Союзе, особенно — положение художника... Произведения Вознесенского, Евтушенко и других поэтов, мыслящих, как они, должны рассматриваться в особом плане, и только тогда их можно правильно понять».

У. Оден подходит к стихам Андрея Вознесенского по-иному.

«...Каждое его слово,— пишет Оден,— даже когда он настроен критически, говорит о глубокой любви к родине и ее традициям. Я хочу особенно подчеркнуть это: существует опасность, что мы не поймем Вознесенского, если в сегодняшней политической атмосфере будем рассматривать его творчество с точки зрения идеологии, а не так, как мы читаем поэзию своих соотечественников».

Нелегко выбрать самое нелепое и безграмотное из маршалловского опуса, но самое трогательное, пожалуй, можно.

«Емелька,— пишет Г. Маршалл и заботливо уточняет: — Емельян Пугачев — это первооткрыватель Сибири». На вопрос: а как же теперь быть с Ермаком? — Г. Маршалл ответа не дает.

Из Библии никому не было ясно, бывала ли вообще в России царица Савская, но Г. Маршалл, Библии, очевидно, не читавший и не потрудившийся заглянуть в обыкновенный словарь, отрекомендовал ее в примечании к «Балладе о работе» «одной

из русских цариц, покровительницей искусств, неоднократно изображавшейся художниками».

По крайней мере, в одном труд Г. Маршалла не оставляет сомнений — литература занимает его постольку-поскольку, а вот провокационным политиканством он занимается всерьез. Должно быть, поэтому он собрал в предисловии почти полную коллекцию высказываний западных толкователей советской литературы от навязшей в зубах проблемы свободы творчества до наисвежайших сенсаций.

Можно было бы еще очень долго перечислять нелепости — иные порожденные невежеством, иные злобные, иные мелкие, в сумме составляющие предисловие Г. Маршалла,— но рамки настоящих заметок просто не позволяют этого.

Естественно, что нас всегда радует появление переводов произведений нашей литературы, но как хотелось бы, чтобы зарубежный читатель мог знакомиться с переводами настоящими, талантливыми и имел бы возможность самостоятельно делать выводы из прочитанного, без сомнительной помощи добровольцев из публики типа Г. Маршалла.

М. НИКОЛАЕВ

К ЮБИЛЕЮ ШОТА РУСТАВЕЛИ

800 лет со дня рождения автора бессмертной поэмы «Витязь в тигровой шкуре»

В 1960 году поэт И. Абашидзе и грузинские ученые-филологи А. Шанидзе и Г. Церетели побывали в Крестовом монастыре в Иерусалиме, где по преданию покоится прах Шота Руставели. Ими был обнаружен воспроизводимый здесь портрет, на котором великий поэт изображен на склоне лет.

Портрет Шота Руставели работы венгерского художника Иштвана Задора, сделанный для перевода поэмы «Витязь в тигровой шкуре», выпущенного в Будапеште в 1954 г.

В нынешнем году исполняется 800 лет со дня рождения величайшего поэта Грузии XII века Шота Руставели, автора всемирно известной поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Юбилей Шота Руставели по решению Всемирного Совета Мира широко отмечается всей мировой общественностью. На торжества в столицу Грузии Тбилиси съехались деятели культуры — писатели, поэты-переводчики, ученые — и гости из многих стран мира.

Поэма «Витязь в тигровой шкуре» переведена более чем на сорок языков народов земного шара. Раньше всех ею заинтересовались в России. Первое упоминание о ней и перевод первой строфы поэмы содержались в вышедшей в 1802 году в Петербурге книге Е. Болховитинова «Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и учебном ее состоянии». Впоследствии полные переводы поэмы на русский язык были выполнены К. Бальмонтом, Г. Цагарели, П. Петренко, Ш. Нуцубидзе, Н. Заболоцким. «Витязь в тигровой шкуре» переведен почти на все языки народов СССР.

Первым полным опубликованным переводом поэмы за рубежом считается ее перевод на *польский* язык, принадлежащий К. Лапшинскому, вышедший в 1860 году. Главы из поэмы в наше время были переведены известным польским поэтом Ю. Тувимом. В 1960 году поэма Руставели была выпущена отдельным изданием в новом переводе поэта И. Сикирицкого.

Близким к оригиналу исследователи называют перевод поэмы «Витязь в тигровой шкуре» на *английский* язык, выполненный переводчицей М. С. Уордроп, вышедший в Лондоне в 1912 году. Академик Н. Я. Марр, большой знаток языка поэмы, считал перевод Уордроп наиболее точным и научно обоснованным из всех переводов того времени. Однако этот перевод страдал одним существенным недостатком: он был выполнен в прозе.

Перевод поэмы на *французский* язык был сделан в конце прошлого столетия и вышел в 1886 году, его автор — А. Борин. Новый перевод «Витязя в тигровой шкуре» был сделан в 1938 году. Он принадлежал Ж. Гвазаве и А. Марсель-Паон. В 1964 году был издан еще один перевод, принадлежащий С. Чуладзе, который был удостоен премии Ланглуа.

В Брюсселе в 1900 году был опубликован перевод поэмы Руставели, автором которого был А. Мурир.

К 90-м годам прошлого столетия относятся первые попытки перевода поэмы Шота Руставели на *немецкий* язык — в то время в Дрездене вышли отрывки из поэмы в переводе А. Лейста. Полный перевод поэмы, выполненный Г. Гуппертом, вышел отдельной книгой в Берлине (ГДР) в 1955 году.

Перевод поэмы на *венгерский* язык, сделанный Б. Винаром, вышел в 1917 году. Новый перевод поэта Ш. Вереша был выпущен в Будапеште в 1954 году.

На *итальянский* язык поэма была переведена в 1945 году Ш. Беридзе и вышла в Милане.

На *румынский* язык «Витязь в тигровой шкуре» впервые был переведен в 1947 году В. Роман; в 1956 и 1963 гг. поэма выходила в переводе В. Кернбача.

На *чешском* языке поэма появилась в 1957 году в переводе Я. Едличека.

Из последних полных переводов поэмы «Витязь в тигровой шкуре» известен ее перевод на *испанский* язык, вышедший весной 1966 года в Чили. Несколько лет над ним работал поэт Густаво де ла Торре Ботарро. Переводчик написал обширное предисловие к поэме, представляющее собой детальное исследование жизни и творчества Шота Руставели, грузинской культуры той эпохи и различных аспектов поэмы, делающих ее классическим образцом литературы своего времени.

«Поэма Руставели переведена на все основные языки мира»,— писал в связи с выходом перевода поэмы в Чили обозреватель газеты «Эль Меркурио». Из переводов на восточные языки известны *китайский, японский* (автор перевода—Фукуро Ипэи, 1955 год), *монгольский* (перевод Д. Томбожо, 1965 год) и другие.

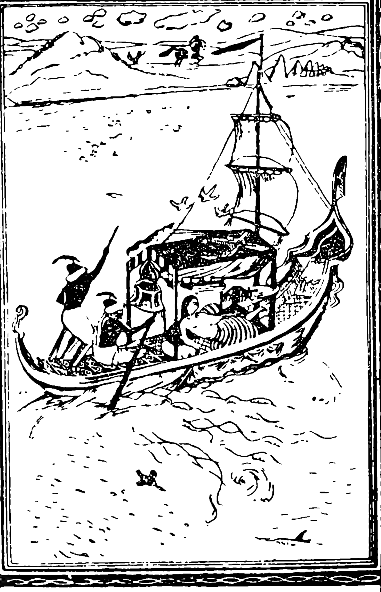
«Витязь в тигровой шкуре» продолжает волновать творческое воображение поэтов, которые стремятся совершенствовать переводы поэмы, сделать ее достоянием своих национальных культур. Над переводом поэмы не перестают работать известные поэты-переводчики во многих странах.

Поэма «Витязь в тигровой шкуре» по праву занимает достойное место в сокровищнице мировой культуры.

Рисунки итальянского художника Фульвио Бьянкони, сделанные им для первого итальянского издания «Витязя в тигровой шкуре», выпущенного в Милане в 1945 году.

(см. на обороте)

ნავი იყო, გარს ეფარა სამოსელი მოსავლო. ნავში
შიგან ქალი მოჯდა ზის ციურ თვალნი ამად დაჯდომი



era una barca ben ricoperta di veli nell'arca era seduta una donna di bellezza celeste

მას ღამეს ფატმან ხათუნ გამართა ლხინი მეტად კარგა
ავთანდილმან უძღვნა ძღვენი ტურფა, მიმღებელთა სიქას .

Quella sera Farman diede un fastoso banchetto. Avthandil le offrì ricchi doni, accolti con esclamazioni gioiose.

ესე გვესმა, მოვადგენით ლაშქარ გარე მოვარტყენით.
ვით მზე რამე ცხენოსანი გაგვიცადეთ თვალით ჩვენ

Dopo aver sentito questa parola noi serrammo strettamente le file e circondammo lo sconosciuto una bellezza un vero sole luminoso apparve

მათ აკოცეს ერთმანერთსა, უცხოობით არ იცოდეს.
ვარდსა ჰხლეჩდეს, ბაგეთაგან კბილნი გამოსჭვია .

Assi si baciarono cordialmente, benché sconosciuti l'uno all'altro. Le rose delle labbra si aprivano, i denti bianchi brillavano ......

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

«АВСТРАЛИКАНСКАЯ КУЛЬТУРА»

«Что это такое?» — спросит читатель. Так называют прогрессивные круги в Австралии непрерывную американизацию австралийской культуры, американское влияние на литературу, радио, телевидение, театр, живопись. Обо всем этом идет речь в недавно вышедшей публицистической книге писателя и журналиста А. Эшболта «Американский опыт».

Как заявил сам автор на симпозиуме, организованном австралийским «Обществом книги» по случаю выхода «Американского опыта», он предпринял попытку развеять иллюзии относительно США, показав противоречия и конфликты американского образа жизни. Негритянский вопрос и рост преступности, сказал он,— самые острые проблемы американской действительности.

«Для меня,— продолжал автор книги,— люди, сидящие перед своими телевизорами, на экранах которых один за другим идут американские «шоу» (обозрения),— это жертвы натиска американской пропаганды. Человек, ежедневно читающий в газете телеграммы, составленные агентством Ассошиэйтед Пресс, тоже испытывает давление американской пропаганды».

Эшболт подвергся критике со стороны некоторых консервативных деятелей, таких, как, например, профессор Маккаллум, за резко антиамериканский характер книги. Отвечая на критику, Эшболт заявил, что Маккаллум — классический пример «наемника австралийского обскурантизма» в ученой среде. Если поверить Маккаллуму, то защищать национальную культуру — дело, достойное осуждения, а написать антиамериканскую книгу — чуть ли не смертный грех!

В театре «Сэлл блок тиэтр» поставлено антивоенное ревью под названием «Там, внизу, вместе с ангелами» на тему войны во Вьетнаме и отправки туда австралийских войск.

На снимке: артист Эндрью Маклэннон в роли лидера группы студентов, которые выражают свой протест против войны во Вьетнаме, сжигая военные билеты.

(Еженедельник «Трибюн»)

АНГЛИЯ

ДЖОН АРДЕН: «ИСКУССТВО И ПОЛИТИКА НЕОТДЕЛИМЫ»

Английский писатель Джон Арден, автор антивоенной пьесы «Танец сержанта Масгрейва», побывал недавно в Нью-Йорке на премьере этой пьесы, которая имела успех у зрителя (напомним, что Шон О'Кейси после премьеры пьесы Ардена в Англии семь лет тому назад сказал: «Это бесспорно лучшая пьеса нашего времени, полная силы, протеста и глубокого чувства»).

Отвечая на многочисленные вопросы корреспондентов о позиции писателя в отношении внешнеполитических событий и, в частности, войны США против вьетнамского народа, Джон Арден сказал: «Я сомневаюсь, чтобы антивоенные пьесы достигли сразу конкретных успехов. Маловероятно, например, чтобы Джонсон и Макнамара, посмотрев мою пьесу, сказали: «Ах ты, господи, надо нам, пожалуй, уходить из Вьетнама». Так же неправдоподобно, чтобы несколько сот зрителей, которые видели пьесу в театре, после спектакля отправились совер-

«США — вон из Вьетнама!» — плакат, выпущенный английскими коммунистами.

(Газета «Морнинг стар»)

шать революцию... Можно протестовать, выступать на публичных митингах, участвовать в движении гражданского неповиновения, сжигать военные билеты, призывные повестки. Но все это не влияет сколько-нибудь значительно на ход событий. И все-таки я считаю эти действия совершенно необходимыми. Потому я и участвую во всем этом, в меру моих способностей».

Арден рассказал, что работает над пьесой «Трафальгар» из жизни адмирала Нельсона. Это будет пьеса с музыкальным сопровождением. «Я надеюсь,— сказал драматург,— что получится серьезный спектакль, в котором будет поставлен ряд современных проблем».

БОЛГАРИЯ

«РОССИЯ ЖЕЛАННАЯ»

«Едва ли существует у нас другой поэт, который бы так много писал о России, о великой Стране Советов, как Николай Марангозов. С малых лет воспитанный в духе любви к русскому народу, поэт выражает свое преклонение перед этой страной и ее народом в нескольких поэтических произведениях. Среди них особенно выделяется его последняя поэма «Россия желанная»,— говорится в рецензии, опубликованной журналом «Читалище».

Новое произведение Марангозова — лирическая хроника в девяти циклах. Это, в сущности, автобиографическая поэма, в которой автор выражает свою нежную любовь к великой славянской стране, говорит о контактах с русскими людьми, с их культурой и литературой, рассказывает о встречах с представителями советской поэзии. В поэме также много места уделено тем большим переломным событиям, которые, начиная от Великого Октября и кончая встречей советских освободительных войск осенью 1944 года, оказали влияние на судьбу Болгарии.

В поэме много личного, автобиографического, что усиливает ее лирический тон, ее эмоциональное и поэтическое воздействие на читателя. И сюжет, и композиция, и пафос, и поэтические образы, и языковые выразительные средства — типично марангозовские, характерные для наиболее сильных его произведений.

«Поэма «Россия желанная»,— пишет в заключение рецензент,— новое поэтическое свидетельство крепости болгаро-советской дружбы. Николай Марангозов действительно самобытный национальный поэт с устоявшимися взглядами, стилем и поэтическим миром».

Обложка книги Н. Марангозова «Россия желанная»

Битый американский вояка святому Петру: «Генерал приказал обеспечить как можно больше мест».

(Рисунок М. Бехера из журнала «Септември»)

ГДР

«РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ИЩУЩИХ»

...Молодой ученый Юрген Фрей в тяжелом состоянии попадает в больницу, где умирает после операции. Здесь, в больнице, собираются все участники событий, предшествовавших этой трагедии. Так начинается новая драма Райнера Керндля «Речь в защиту ищущих» (о Керндле см. «Иностранную литературу» № 12, 1963).

Зритель узнает обо всем, что случилось до этого, из воспоминаний героев, главным образом Ильзы Шленцов. Десять лет назад человек, которого любила совсем еще молоденькая Ильза, предал свою страну. Догматики того времени затравили молодую девушку, исключили ее из школы и из Союза свободной немецкой молодежи. Трудным путем шла она по жизни, работала, сумела окончить школу, получила специальность. Но она отделила себя от людей стеной, жила, не любя родной страны, ко всему относясь с иронией, озлобленная, холодная.

И вот настал момент, когда надо было решать, с кем

Сцена из спектакля «Речь в защиту ищущих».
(Журнал «Театер дер цейт»)

она. На ее пути повстречался Фрей — бывший товарищ юности, невольно оказавшийся среди тех, кто ее травил.

Фрей борется за Ильзу, хочет вернуть ее к настоящей жизни. Ее цинизм разбивается о действия Фрея, в которых она видит осуществление своих идеалов. Руководство предприятия всеми силами стремится сдать сборочный цех, считая его годным к эксплуатации. Фрей, который сомневается в правильности расчетов, считает это преждевременным. Разгорается борьба. Ильза знает, что Фрей прав, но молчит. Доведенный до тяжелого нервного состояния, Фрей едет за советом в окружной город и попадает в автомобильную катастрофу...

В ночь его смерти происходит переоценка ценностей. Многое по-новому воспринимают Ильза, молодой секретарь парторганизации Лозе, директор Хенкельман. Ярче раскрывается натура карьериста Беллина, человека, глубоко равнодушного к своей работе.

В конце концов побеждает та правда, которую отстаивал Фрей,— принято решение еще раз пересмотреть все технические расчеты. Это грозит простоем, потерей прибыли, но люди выиграют.

Драма Керндля с успехом поставлена в лейпцигском театре «Каммершпиле». Отмечая большую работу, проделанную коллективом театра, рецензент газеты «Нейес Дейчланд» пишет: «Речь идет об ответственности за вчерашний день, сегодняшний и завтрашний, причем одно нельзя отделить от другого; об ответственности личности перед коллективом и коллектива перед отдельной личностью... Молодые драматурги редко показывают нам теперь интересные женские фигуры. Заслуга Керндля состоит в том, что он сумел это сделать.

«Речь в защиту ищущих» — честная и интересная пьеса»,— пишет в заключение рецензент.

«ЛИТОВСКИЕ МЕЛОДИИ» ИОГАННЕСА БОБРОВСКОГО

«Этот маленький роман снова и, очевидно, в последний раз напомнил нам, какого писателя мы потеряли»,— пишет рецензент «Литератур-66» о вышедшем посмертно романе Иоганнеса Бобровского «Литовские мелодии». Талантливый прозаик и поэт, рано ушедший из жизни (о нем см. «Иностранную литературу» № 7, 1965 и № 4, 1966), Бобровский не случайно в своем последнем романе обращается к музыке. Он считал, что песни и танцы выражают особенности национального характера. «Поэзия и музыка для него всегда были неотделимы,— пишет рецензент.— Часто он играл для гостей на рояле так же охотно, как читал свои стихи».

Время действия романа «Литовские мелодии»—1936 год. Два немного чудаковатых человека, профессор Фойгт и концертмейстер Гавен, немцы, живущие в Тильзите, задумали написать оперу о литовском поэте Донелайтисе. С этой целью они отправились к литовскому деревенскому учителю, собирателю народных песен. Этот несложный, на первый взгляд, сюжет позволяет писателю дать широкую картину жизни того времени — фашистской Германии и буржуазной Литвы, где каждое проявление человечности встречалось в штыки. В накаленной до предела политической атмосфере сама мысль об опере, посвященной Донелайтису, кажется дикой. Образ литовского поэта XVIII века, учителя и пастора, выступавшего в защиту своих прихожан, писавшего о нуждах и радостях простых людей на их родном языке, очень близок Бобровскому.

«В этой книге рассказано о жизни человека прошлого, о гневе и надеждах, об отпоре национализму любого рода,— пишет рецензент «Литератур-66»...—Идеи этого романа очень созвучны нашему времени...»

ФРГ

«КОРИЧНЕВЫЕ КОШМАРЫ»

Западногерманская кинопрокатная фирма «Атласфильм» объявила о своем намерении выпустить на экраны цикл фильмов, поставленных в гитлеровской Германии в период между 1933 и 1945 гг. И хотя цикл носит название «Запрещенные фильмы» и преследует цель, как утверждает официальная западногерманская пресса, показать немецкому обществу всю фальшь гитлеровской пропаганды,— весь этот маскарад способен обмануть разве только наивных людей. Речь здесь идет об определенном мероприятии в широкой кампании неонацистской реваншистской пропаганды, которая ведется сейчас в ФРГ.

Что же это за фильмы, которые двадцать лет спустя последыши доктора Геббельса (кстати, уделявшего большое внимание выпуску кинофильмов и предъявлявшего их авторам особые требования) извлекают из архивов, чтобы снова отравлять ум и сердце немецких обывателей? Речь о них шла осенью прошлого года на специальном семинаре на тему «Художественные фильмы в Третьей империи» в Оберхаузене, организованном дирекцией фестивалей короткометражных филь-

мов, которые постоянно проходят в этом городе, фирмой «Атлас-фильм» и Институтом социологических исследований Кёльнского университета для кинокритиков и журналистов, главным образом западногерманских.

За двенадцать лет существования фашистской Германии было выпущено ни много ни мало — 1100 художественных фильмов! Критики, занимающиеся этим вопросом, подразделяют их по темам на фильмы о национальной истории, первой мировой войне, Веймарской республике, истории «национал-социалистского движения», о немцах за рубежом, на фильмы о «великой» Германии, о второй мировой войне на фронте и в тылу, а также «антифильмы» (то есть антисоветские, антипольские, антифранцузские, антианглийские, антисемитские и другие фильмы).

Всем им была свойственна общая черта — с первого до последнего кадра они были подчинены требованиям фашистской пропаганды. Их художественный уровень, как правило, был убогим.

Любопытна история создания последнего полнометражного фильма «тысячелетней Германии» — «Кольберг». В нем была воспроизведена история упорной обороны гарнизона крепости Кольберг, окруженной войсками Наполеона в 1806 году, которая кончилась победой осажденных. Геббельс, по инициативе которого снимался этот фильм, лично следил за ходом его производства. Война велась уже на территории Германии, и в зависимости от положения на фронтах в сценарий фильма вносились коррективы... «Кольберг» вышел на экраны 30 января 1945 г. Он должен был стать символом триумфа «немецкого духа», но стал символом крушения гитлеризма.

Ныне его снова намереваются демонстрировать в кинотеатрах, стремясь возродить «немецкий дух», отравить сознание молодого поколения немцев, которые родились в послевоенное время.

Здравомыслящие люди в Западной Германии выступают против подобного решения. Так, например, рецензент «Вестдейче альгемейне цейтунг» Михаель Ленц советует не извлекать из архивов эти «коричневые кошмары».

ГОЛЛАНДИЯ

ЗВУЧАТ КАРИЛЬОНЫ АМСТЕРДАМА

Амстердам нельзя себе представить без перезвона колоколов, пишет корреспондент газеты «Ваархейд». В июле и августе там на четырех красивейших и старейших карильонах города и на одном, построенном в послевоенное время, были исполнены классические и народные мелодии, детские песни, сюиты, прелюдии, рондо, фрагменты из опер и другие музыкальные произведения.

В длинном списке авторов, произведения которых были включены в программу, значились не только Дворжак, Моцарт, Вивальди и Бетховен, но также и современные композиторы, как, например, Гершвин и голландец Юриан Андрисен.

Для исполнения летних концертов амстердамских колоколов, в частности, были приглашены звонари из «страны карильонов» — Бельгии, а также из северо-восточной провинции Нидерландов — Фрисландии.

Любопытно, что в 1953 году в голландском городе Амерсфорте было открыто училище, где готовятся звонари для сдачи государственного экзамена по игре на карильоне.

ГРЕЦИЯ

ДИМИТРИС ФОТИАДИС: «ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЛИЦО ЭПОХИ»

«Я считаю, что история должна быть теснейшим образом связана с искусством слова. Она должна не только сообщать о тех или иных событиях, но и восстанавливать образы людей, в них участвовавших, восстанавливать лицо эпохи,— заявил в интервью газете «Авги» известный исторический писатель Димитрис Фотиадис.— История не должна быть сухой наукой, напротив, она призвана привлекать широкие читательские круги с тем, чтобы из опыта прошлого извлекать уроки для настоящего и будущего».

Фотиадису принадлежит серия романов о народных восстаниях и их предводителях, роман о героическом городе Месолонги, двухтомный роман о первом греческом короле баварце Оттоне. Все эти книги построены на строго научном историческом материале, они созданы в результате скрупулезной работы над греческими и иностранными источниками и по своему значению могут быть приравнены к большому историческому труду, дающему марксистское освещение событий революции 1821 года. Романы Фотиадиса читаются с захватывающим интересом. Читателя покоряет обаяние, непринужденность авторской речи, яркость даже второстепенных образов. Популярность книг Фотиадиса огромна, они расходятся необычайно большими для Греции тиражами и выдерживают 4—5 изданий.

Сейчас Фотиадис работает над трехтомной историей революции 1821 г. Но и на этот раз он намерен сохранить верность своей литературной манере.

ИЗРАИЛЬ

ДОМ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА НА УЛИЦЕ ТЕВЬЕ МОЛОЧНИКА

В Израиле широко отмечалось пятидесятилетие со дня смерти классика еврейской литературы Шолом-Алейхема. Как сообщает корреспондент газеты «Кол гам», в Тель-Авиве состоялась торжественная закладка музея писателя — Дома Шолом-Алейхема, который

ДАНИЯ

На всех широтах империалистов США встречает одна и та же надпись: «Американцы, убирайтесь домой!». А дома американского солдата ждут жена и дети, которые просят: «Папа, приезжай домой».

Рисунки Херлуфа Бидструпа, заимствованные из газеты «Ланд ог фольк».

сооружается в настоящее время на средства местного муниципалитета и должен скоро открыться. В инициативный комитет по созданию музея входят известные израильские писатели Беркович и Хазаз, а также другие видные деятели культуры.

Здание музея расположено в одном из новых районов Тель-Авива на улице, которая совсем недавно была безымянной. По предложению писателя Берковича эту улицу решено назвать именем Тевье Молочника — героя одного из самых ярких произведений Шолом-Алейхема.

■

Как сообщают израильские газеты, в связи с юбилеем Шолом-Алейхема «Театр Моше Галеви» поставил спектакль «Мое местечко», составленный из пяти одноактных пьес по произведениям писателя в сценической обработке М. Галеви и А. Эшмана.

По словам корреспондента газеты «Кол гаам», в новом спектакле Шолом-Алейхем предстает перед зрителями не только как писатель-юморист, но и как реалист, правдиво рисующий жизнь старого еврейского местечка.

ИСПАНИЯ

СЕРВАНТЕС БЕСЕДУЕТ... СО СМЕРТЬЮ

В нынешнем году мировая общественность отмечает 350 лет со дня смерти выдающегося испанского писателя Мигеля Сервантеса де Сааведра, автора всемирно известного произведения «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

В связи с юбилеем испанский журнал «Эстафета литерариа» опубликовал статью Альфонсо Пасо «Мигель и смерть», построенную в виде воображаемого диалога Сервантеса со смертью. «Эстафета литерариа» не отличается, как известно, особым демократизмом, и тем более примечательно, что автор статьи называет роман «Дон Кихот» произведением «нонконформистским», боевым, резко критическим по отношению к современному ему обществу. Альфонсо Пасо вспоминает о тяжелой жизни, прожитой Сервантесом. В его уста он вкладывает слова о горькой доле писателя в Испании: «Почва наша для писателей неблагоприятна». Видимо, автор статьи считает, что за последние 350 лет в этом смысле к лучшему ничего не изменилось. Этим объясняется, по всей вероятности, и скорбный тон всего диалога. Жалобы великого писателя на судьбу коллег по перу звучат как нельзя более современно.

ПРОТИВ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ

«Координация университетского действия» — так именуется существующее в Барселоне объединение, в состав которого входят представители многочисленных студенческих организаций Каталонии, организации Народного университета, Движения февраля 62 и Национального фронта Каталонии. В опубликованном им протесте против агрессии американского империализма во Вьетнаме, в частности, говорится: «1965 год воочию показал то безрассудство, до которого может дойти империализм в бесплодных попытках увековечить свое господство над народами. США превратили войну во Вьетнаме в массовое истребление народа, который героически сопротивляется американским империалистам».

Останавливаясь на катастрофе американского атомного бомбардировщика в Альмерии, авторы документа подчеркивают ту опасность, которой чревата для испанского народа агрессивная политика американского империализма. В документе говорится: «Университет не может быть к этому безразличен. Несмотря на идеологические разногласия, преподаватели и студенты Барселоны должны всеми средствами выражать свое отвращение к политике, основанной на насилии, угнетении и преступлении, которая привела мир на грань катастрофы. Только воля и борьба народов могут спасти мир во всем мире».

Печать сообщает, что изгнанный недавно правительством из университета профессор Агиляр Наварро в лекции в Севилье по случаю 13-го Ватиканского собора заявил, что «иностранные базы навязывают нам рабство». Наварро охарактеризовал войну во Вьетнаме «как агрессивную войну империализма... К сожалению,— добавил он,— создалось впечатление, что американских епископов посылало на 13-й Ватиканский собор скорее министерство обороны, а не церковь». Наварро заявил также, что по существу собор, тем не менее, вынес моральный приговор «атомной политике янки».

«ХОРОШАЯ ЛЮБОВЬ»

Испанский режиссер Франциско Регуэйро осуществил постановку фильма «Хорошая любовь», посвященного жизни молодежи современной Испании. В центре фильма — история любви двух молодых людей, Хосе и Марии, рассказанная, по отзывам рецензентов, с необыкновенным лиризмом и теплотой. Вместе с тем режиссеру удалось, несмотря на препятствия, чинимые цензурой, реалистически отобразить некоторые стороны испанской действительности, в частности, трудности, которые встречаются на пути молодых людей, стремящихся к простому человеческому счастью. Как отмечает прогрессивная критика за рубежом, во многих эпизодах фильма и в репликах героев ощущается резко отрицательное отношение авторов фильма к франкистскому режиму.

В связи с выходом на экраны фильма «Хорошая любовь» в кубинской прессе появились обширные комментарии и статьи о культурной жизни в Испании. Обозреватель газеты «Гранма», например, отмечает, что в испанской кинематографии после долгого периода застоя наблюдаются новые, прогрессивные явления, связан-

Кадр из фильма «Хорошая любовь».

(Газета «Гранма»)

ные, в частности, с приходом в кинематограф молодого поколения. Говорят о «новой волне» в испанском кино. Представители этой «волны», преодолевая огромные трудности, все чаще создают произведения, которые, несмотря на рогатки франкистской цензуры, правдиво освещают жизнь сегодняшней Испании.

ИТАЛИЯ

ПРИГОВОР ОТМЕНЕН ЧЕРЕЗ... 650 ЛЕТ

Шестьсот пятьдесят лет тому назад, в 1315 г., величайший поэт Данте Алигьери был заочно приговорен судом своего родного города Флоренции к смертной казни. Это был уже вторичный смертный приговор поэту за... «коррупцию», как было сказано в обвинительном заключении. На самом же деле «преступление» Данте заключалось в том, что он был сторонником политического объединения Италии, поборником общеитальянского литературного языка. После смерти Данте в изгнании его «дело» было передано в город Ареццо.

Прошумели века, и ныне, в 1966 г., суд города Ареццо объявил, что обвинение, предъявленное великому поэту, снято и смертный приговор Данте Алигьери, умершему в 1321 г., вынесенный Флорентийской республикой в 1315 г., отменен.

Комментируя это сенсационное, но несколько запоздавшее судебное разбирательство, английская газета «Крисчен сайенс монитор» иронически замечает: «Удивительно, что власти Ареццо не сделали этого на несколько столетий раньше. Дело в том, что Ареццо, находящийся в 54 милях от Флоренции, всегда с ней враждовал. Немало кровопролитных войн вели между собой оба города. За шесть с половиной столетий власти Ареццо могли бы воспользоваться случаем и «утереть нос» по столь необычному правовому вопросу своему исконному врагу — Флоренции».

«ОЧЕНЬ ХОЛОДНАЯ ЗИМА»

Так называется новый роман писательницы Фаусты Чаленте, привлекший внимание критики и вошедший в число книг — кандидатов на получение литературной премии «Стрега» этого года. Авторы рецензий — Карло Салинари в газете «Унита», Оттавио Чекки в журнале «Ринашита», Пьеро Далламано в литературном приложении к газете «Паэзе сера» и другие — дают роману положительную оценку и называют его одним из наиболее значительных произведений текущего литературного года. Действие происходит в 1946 г., в первую послевоенную зиму, в Турине, жестоко пострадавшем от войны. У людей нет ни жилья, ни работы, не хватает еды, топлива, теплой одежды. Но еще тяжелее, чем материальные лишения, душевные переживания — в каждой семье горе, принесенное войной. Писательница повествует об одной большой туринской семье, поселившейся в холодной мансарде. В центре романа — закаленная невзгодами, сильная и мужественная женщина Камилла, которой, однако, знакомы минуты сомнений и тоски по незаметно ушедшей молодости. Муж ее пропал без вести во время войны, и она осталась со старухой матерью и тремя рано повзрослевшими детьми — двумя дочерями и сыном.

Действие романа достигает кульминации, когда рушится единство семьи: каждый идет своим путем, сам должен решать проблемы, которые ставит перед ним жизнь. Камилла понимает, что ее надежды на то, что трудности еще теснее сплотят этот маленький коллектив, скрепленный узами родства и дружбы, не оправдались — жизнь быстро идет вперед, берет свое. Нельзя жить самой и заставлять других жить воспоминаниями и иллюзиями.

Большая удача писательницы, как отмечают критики,— не только психологически сложный и своеобразный образ его главной героини — Камиллы, но и то, как передана в книге атмосфера «очень холодной зимы», воссозданная Чаленте через переживания и раздумья Камиллы и других персонажей романа.

МАРТИНИКА

ПЬЕСА О ЛУМУМБЕ

Известный негритянский поэт и общественный деятель мартиниканец Эме Сезэр написал пьесу «Сезон в Конго» — о самых трагических и кровавых событиях в истории конголезского народа, поднявшегося на борьбу против колониальных поработителей. Обозреватель французского еженедельника «Фигаро литтерер» писал, что Эме Сезэр перенес на сцену главных лиц реальной трагедии: генерального секретаря ООН Хаммаршельда, короля Бельгии, Чомбе и других. Но в центре произведения — Патрис Лумумба.

На страницах этого еженедельника Сезэр сказал о своем любимом герое следующее:

— Лумумба был поэтом, мечтателем, он намного опередил свое время. Человек необычайно одаренный, жизнедеятельный, он обладал блестящим красноречием. Он был самоучкой, много читал. Его величие состоит в том, что он видел значи-

тельно дальше некоторых конголезских деятелей, запутавшихся в национальных, вернее, племенных проблемах. Он мечтал о единстве не только Конго, но и всей Африки. Победить он не смог. Конго — страна слишком обширная, слишком богатая своими недрами, слишком лакомый кусок для капиталистов. Но и погибнув, Патрис победил. Он стал легендой. Крестьяне верят в то, что он вернется. Легенда о нем неотделима сегодня от Африки, континента легенд. А легенды не знают границ. Поэтому я считаю мою, страшную в своем развитии, трагедию оптимистической.

Критик еженедельника «Жён Африк» оценивает пьесу Сезэра как «красноречивую иллюстрацию трагедии африканской освободительной борьбы, в которой Лумумба остается гениальным символом».

ОАР

ТАХА ХУСЕЙН ОБ АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Египетский журнал «Ахер саа» («Последний час») напечатал интервью своего корреспондента с виднейшим деятелем арабской культуры, писателем и ученым, доктором Таха Хусейном, которому скоро исполнится 78 лет.

Писатель затронул много важных проблем арабской культуры. Так, говоря о проблеме языка, он подчеркнул, что арабский язык был одним из трех мировых языков древности наряду с древнегреческим и латинским. В настоящее же время, сказал он, мы боремся за то, чтобы арабский язык стал так же, как английский, французский, русский и испанский, официальным языком ООН. Однако для этого арабы должны, прежде всего, решить свои языковые проблемы, добившись победы литературного языка над разговорными диалектами.

Таха Хусейн упрекнул молодых арабских драматургов и киносценаристов в том, что они злоупотребляют диалектом в такой степени, что это угрожает существованию литературного арабского языка («языка-матери», как он его называет), и сказал также, что они порой недостаточно эрудированны и не могут создать значительных произведений для сцены и экрана.

Отвечая на вопрос, согласен ли он на включение женщин в состав Академии арабского языка (пока они в ней еще не представлены), Таха Хусейн сказал: «А почему бы и нет? Я согласен, чтобы их туда принимали, хотя, например, во Французской академии дамы до сих пор не представлены». Писатель добавил, что он был первым, кто предложил принимать студенток в Каирский университет, и первая в истории Египта студентка была принята на руководимый им литературный факультет.

Писатель рассказал также, что сейчас он работает над третьей частью повести «Дни» (ранее написанные ее части переводились на многие языки, в том числе на русский; по ним сейчас в ОАР снимается фильм). Большую часть свободного времени Таха Хусейн уделяет чтению. Книги ему (слепому с раннего детства) читают его секретарь и жена.

ВЫСТАВКА МОЛОДЫХ

Недавно в Каире, в «Галерее изящных искусств», состоялась выставка произведений молодых египетских художников. Большой интерес у посетителей вызвали картины молодого художника Мустафы Ахмеда, посвященные строительству высотной плотины в Асуане и пейзажам Нубии. Художник рисует в условной манере, которая, по его словам, помогает ему отразить основную тему — титанический труд тысяч людей на строительстве плотины. Напряженные мышцы рук, вздымающих глыбы гранита, динамика движения, резкие тона помогают ему, по мнению критиков, донести свою мысль до зрителя.

Самый большой успех на выставке выпал на долю художницы Инджи Эфлатун, известной прогрессивной деятельницы Египта, члена Национального совета мира, которая сумела в сочных, жизнерадостных тонах передать все очарование пейзажей и быта родной страны. Легкие и яркие мазки, игра света — характерные особенности манеры художницы. Сама Инджи называет свой стиль «новым реализмом».

— Я ищу новых форм, новых средств выражения, способных лучше передать содержание, вдохнуть в него жизнь,— говорит Инджи Эфлатун.— Я ищу новый, революционный динамичный стиль в духе нового реализма, стараясь освободиться от догматического формализма. Иначе говоря, я стремлюсь к революционному социалистическому реализму, ибо только так можно создать новое, истинно социалистическое искусство,

Рисунок Инджи Эфлатун «Закат в Асуане».

соответствующее великим социальным преобразованиям в мире, и донести его до народа.

КОНЧИНА НАИМЫ АКЕФ

По сообщениям арабской прессы, в Каире в возрасте 36 лет умерла известная египетская танцовщица и киноактриса Наима Акеф, исполнявшая главные роли в фильмах «Хлеб и соль» и «Море любви». Наима Акеф известна и в нашей стране — в 1957 году она участвовала в Московском фестивале молодежи и студентов и была удостоена за исполнение восточных танцев Золотой медали.

ПОЛЬША

УСПЕХ СТАРОГО ТЕАТРА ИЗ КРАКОВА

Во Вроцлаве прошел седьмой по счету фестиваль современных польских пьес. В нем приняли участие театры Варшавы, Кракова, Гданьска, Вроцлава, Кошалина и Калиша.

Центральное место на фестивале занимали сценические произведения таких известных польских писателей, как Славомир Мрожек и Тадеуш Ружевич. Поставленные режиссером Ежи Ярецким в краковском Старом театре пьеса Тадеуша Ружевича «Вышел из дома» и пьеса Славомира Мрожека «Танго» были удостоены премии журнала «Одра», выходящего во Вроцлаве. Как отмечают театральные обозреватели, Старый театр из Кракова пользовался на фестивале наибольшим успехом: он завоевал три премии из пяти — не считая премии «Одры».

Внимание зрителей привлекла также пьеса Тимотеуша Карповича «Перерыв в путешествии». Вызвали интерес постановки по повести Марии Домбровской «Станислав и Богумил» в исполнении артистов Вроцлавского театра, а также «Колумбы» по трилогии Романа Братного, показанные варшавским «Театром повшехным».

Театральный обозреватель газеты «Трибуна люду» Роман Шидловский пишет, что реалистическое направление современного польского театра не было представлено на этом фестивале достаточно широко. По его мнению, наиболее значительным событием фестиваля была театроведческая сессия, посвященная современной польской драматургии и театру.

«За долгое время это был первый серьезный разговор о нынешней ситуации и перспективах нашей драматургии и нашего театра...— писал Шидловский.— Единственным выходом из нынешнего сложного положения, когда даже авангард становится традиционным и академичным, является более тесная связь с жизнью, переход на позиции театра политического, театра философских, моральных и общественных проблем, который стремится за что-то бороться и сказать людям что-то существенное в идейной, философской и моральной сферах. У театра должно быть что сказать зрителям, он должен стремиться сказать им что-то новое в области мысли, а не только формы».

Эта точка зрения,— по словам обозревателя,—была сформулирована в выступлениях Богдана Коженевского, Яна Котта, Константина Пузыны.

«КОСТЕЛ И КИНО»

Так назвал Владислав Лещинский свою новую книгу, которая посвящена проблеме взаимоотношений между кинематографом и костелом. Автор привлек многочисленные документы и показал, как с течением времени менялось отношение католической церкви к кино. Началось с того, что верующим католикам строго запрещалось посещать кинотеатры. В разных странах были созданы специальные организации католической церкви, ведающие вопросами кинематографии, которые автор называет «группами давления».

В двадцатые годы нашего столетия положение коренным образом изменилось. «Костел,— пишет Владислав Лещинский,— не будучи в состоянии исключить кино из арсенала культуры XX века, должен был примириться с его существованием, согласиться с появлением и победой этого нового средства распространения культуры. Однако отказ от позиции полного отрицания вовсе не означал, что святая церковь сложила оружие. Костел начал новое наступление: теперь тактика церковников была направлена не на ликвидацию кино, а на подчинение его влиянию костела... История отношения костела к кино начиная с двадцатых годов является, по сути дела, историей создания этих специальных групп и учреждений, которые оказывают давление на зрителя и на кинопромышленность».

В конце двадцатых годов католики уже говорили на своих собраниях: «Кто владеет кино, тот правит миром» и «Кино — это сила, преобразующая мир». Эта тенденция получила свое дальнейшее развитие и продолжение в энциклике папы Пия XI, датированной 1936 годом, которая целиком была посвящена проблемам кино. А в 1957 году папа Пий XII сформулировал концепцию «идеального» кино, которое помимо того, что оно затрагивает общечеловеческие проблемы, как то: сохранение человеческого достоинства, развитие сил человека и воспитание добродетелей, поиски «пути истинного»,— должно проповедовать идеи незыблемости мира «свободного предпринимательства» и необходимости борьбы против «безбожного коммунизма».

В последние годы число католических учреждений, оказывающих нажим на кинематографию и в какой-то степени формирующих эстетические вкусы католиков, значительно выросло, что, как подчеркивает Лещинский, указывает на продолжающееся наступление костела в этой области массовой культуры. И тем не менее, свидетельствует автор, костелу не удалось подчинить кинематографию свое-

му влиянию, поставить себе на службу это новое искусство XX века, как делала «святая церковь» в прошлые века с другими видами искусства. Несмотря на старания Ватикана, все меньше верующих прислушивается к рекомендациям церкви — смотреть или не смотреть тот или иной фильм.

ПОЛЬСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТ

Исполнилось 25 лет с того дня, как гитлеровцы в оккупированном Львове уничтожили большую группу польских деятелей культуры и ученых. Среди них был выдающийся польский писатель и общественный деятель Тадеуш Бой-Желенский. Он был поэтом, публицистом, критиком, ученым, переводчиком.

Среди литературных работ Боя-Желенского чаще всего называют переводы классической французской литературы. Почти ежегодно он выпускал переводы произведений Мольера, Бальзака, Стендаля, Пруста. Они выходили в так называемой «Библиотеке Боя». К моменту гибели Боя-Желенского вышло около двухсот его переводов.

Бой близко знакомился и поддерживал тесные связи со многими зарубежными писателями. Перу Боя-Желенского принадлежат исследования о творчестве Мицкевича, Фредро, французских классиков.

«Тадеуш Бой-Желенский не был марксистом, не был коммунистом...— пишет обозреватель газеты «Трибуна люду».— Он не дожил до свободной, социалистической Варшавы, в которой для него есть место. И все же... он близок нам, достоин того, чтобы мы не только чтили его память, но и часто возвращались к написанному им... У нас в Польше не было энциклопедистов. Воспитанный на их произведениях, Бой превратился в настоящего польского энциклопедиста, человека, который трудом всей жизни привил своим последователям и поклонникам привычку трезво и точно думать и излагать свои мысли. Важно, чтобы мы не забыли этот его труд».

Популярный польский киноактер Збигнев Цыбульский выступит в роли Вокульского в фильме, снимающемся по роману Болеслава Пруса «Кукла».

(Еженедельник «Экран»)

РУМЫНИЯ

«ДОБРЫЙ ПАЛАЧ»

В Румынии вышла новая книга — «Добрый палач» — молодого прозаика Василе Ребряну, известного советскому читателю по рассказам, напечатанным в сборнике произведений румынских писателей «Солнце для каждого».

...Мальчик в белой феске странствует по земле в поисках лошадей, чтобы потом дарить их людям (символ чудес детства),— такова основная поэтическая нить повествования.

Сюжет вдохновлен мотивами народных сказок. Но книга Ребряну не только сказка, это сложная многоплановая аллегория. Смерть — красивая женщина с мертвенно-бледным лицом, разъезжающая в элегантном лимузине; одинокой женщине, подобной заброшенному, высохшему колодцу, мальчик приносит солнце, луну и звезды; девочку он превращает в прозрачную звонкую речку и т. п.

Символично и название книги «Добрый палач». Впрочем, его объясняет сам автор. Это объяснение похоже скорее на красивую легенду о лошадях: их, как и людей, бог сотворил в последнюю очередь, поэтому они красивее ветра, солнца, трав и звезд, красивее вод. Но бог забыл, что требуется еще немного ласки, тепла, счастья. Мы творим их сейчас. Мы возводим города для счастливых людей, где никто не будет оскорблять друг друга, а если кто и посмеет обидеть людей, его ждет кара добрых палачей — Нежности, Тепла, Ласки. «Мы творим день восьмой»,— пишет Василе Ребряну.

США

«БЭТ»-БЕЗУМИЕ

У супермена-разведчика Джеймса Бонда, героя романов Яна Флеминга, а в последние годы — и героя киноэкрана, появился опасный соперник Бэтмен: человек — летучая мышь. Впервые «программа с Бэтменом» была передана по американскому телевидению 12 января 1966 года, и с тех пор она передается еженедельно. Новый супергерой Бэтмен и его помощник Робин, одетые в черные трико, плащи и маски, завладели умами телезрителей. 40 миллионов мужчин, женщин и детей, пишет корреспондент журнала «Нью-Йорк таймс мэгезин», затаив дыхание следят на телеэкранах за похождениями Бэтмена, посвятившего себя преследованию, разоблачению и поимке преступников. Передвигаются Бэтмен и Робин с быстротой молнии в своей сверхскоростной машине, называющейся «бэтмобиль». Увлечение Бэтменом таково, что, когда в марте 1966 года космонавтам Скотту и Армстронгу пришлось срочно вернуться с орбиты на Землю и для сообщения о их благополучном приводнении была прервана программа, посвященная Бэтмену, тысячи возмущенных телезрителей звонили по телефону в американскую радиовещательную корпорацию и скандалили из-за того, что их «отвлекли»...

Появилась мода «а-ля

Бэтмен»: мужские сорочки, плащи, трико...

«Нью-Йорк таймс бук ревью» сообщает, что специальная бэтменская «литература» печатается издательством «Уитмен паблишинг компани»; «Нью Америкен лайбрери» оповестила о том, что уже вышли два выпуска дешевой бэтменской серии. Любопытно, что начало литературе о Бэтмене было положено рисунками к комиксам, сделанными впервые в 1939 г. карикатуристом Бобом Кейном, который сейчас искренне удивлен успехом своего «героя».

«Бэтмен и три злодея» — изложенный в форме романа неким предприимчивым Уинстоном Лайоном пересказ приключений Бэтмена, показанных по телевидению,— вышел тиражом в 850 000 экземпляров. Комиксы с Бэтменом печатаются миллионными тиражами — и спрос на них не ослабевает! Да и сам Боб Кейн, двадцать семь лет прозябавший в безвестности, хочет сейчас включиться в столь выгодный литературный бизнес и написать серию бэтменских приключений. Это вызывает опасения: не столкнутся ли между собой Бэтмен Уинстона Лайона и Бэтмен Боба Кейна?! «Что тогда произойдет?» — насмешливо спрашивает корреспондент «Нью-Йорк таймс бук ревью».

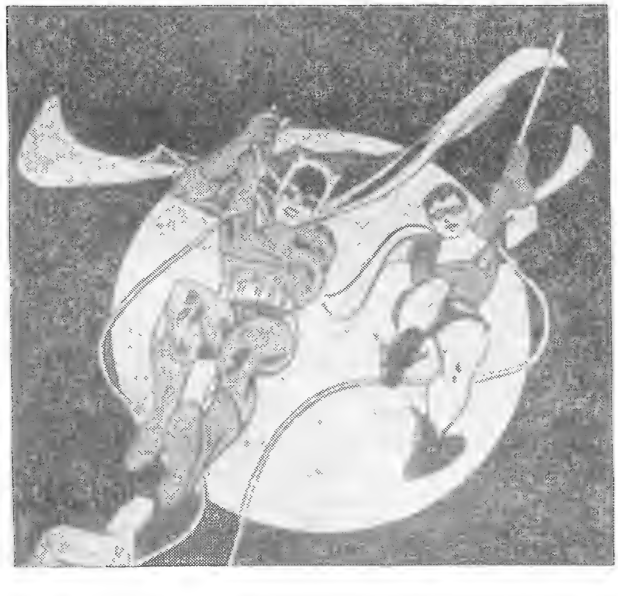
Охватившее Америку «бэт»-безумие вызывает справедливые опасения здравомыслящих людей.

ГДЕ ЖЕ НОВЫЕ ДРАМАТУРГИ?

Статья Луиса Фюнка под таким заголовком опубликована в газете «Нью-Йорк таймс». Прошлый театральный сезон показал, пишет автор, что нужны новые драматурги. «Где-то» они, несомненно, существуют, пишет Фюнк, «возможно, на чердаках и в подвалах пригородных домов, возможно, в аудиториях колледжей и в любительских студиях, а может быть, они ютятся где-нибудь в грязных закоулках Гринич Вилледж...» Во всяком случае, продолжает Фюнк, новые творческие силы следует искать не в модных театрах Бродвея... Они могут быть в «Американ плейс тиэтр», в «Лефт уоркшоп» и в «Тиэтр 1966», руководимом Эдвардом Олби, Ричардом Клинтоном и Ричардом Барром. Существует также и Драматургический центр-студия актера («Экторз студио плэйрайтинг юнит»), на который возлагают надежды режиссеры и продюсеры.

Однако всякому ясно: мало того, что талантливые молодые драматурги существуют, надо дать им возможность сказать свое слово в американской драматургии.

Бэтмен и Робин.



ТУНИС

ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Газета «Аль-Амаль» («Действие») поместила интервью генерального директора тунисского радиовещания и телевидения, главного редактора журнала «Аль-Фикр» («Мысль») Мухаммеда Мзали.

Мзали сказал, что литература Туниса переживает ныне переходный период, так как в ней сосуществуют два противоположных течения. Одно из них, охарактеризованное Мзали как «консервативное», ориентируется на Арабский Восток и классическую арабскую культуру, интересуясь лишь старым наследием. Это течение представлено главным образом выпускниками мусульманского университета «аз-Зейтуна» («Оливковая мечеть»). Второе течение представляют литераторы, получившие французское образование. По словам Мзали, эти люди потеряли всякую связь со своей страной и ее прошлым и «смотрят на все сквозь очки французской и европейской культуры». Будущее тунисской литературы принадлежит, по мнению редактора «Аль-Фикр», третьему течению. Оно состоит из представителей так называемой «смешанной» культуры, его ядро составляют выпускники колледжа «ас-Садыкийя», основанного знаменитым тунисским реформатором Хайр эд-Дином пашой еще до установления в стране французского протектората. (В «ас-Садыкийе» кроме традиционных мусульманских наук впервые в истории Туниса было введено преподавание математики и западных язы-

ков.) Представители этой школы стремятся, по словам Мзали, совместить древние традиции арабской культуры и литературы с современным европейским мировосприятием.

Несмотря на трудности роста, переживаемые тунисской литературой, в настоящее время уже можно назвать немало писателей, внесших вклад в развитие тунисской новеллы и романа. Это — ат-Трики, Б. Храйеф, аль-Хамзави, аль-Мес'ади, аль-Фариси, аш-Шемли, аль-Кармади, ад-Дуаджи и другие.

В последнее время в Тунисе большим успехом пользуется Башир Храйеф, который лет пять тому назад никому не был известен.

В своем первом большом рассказе «Банкротство» Храйеф нарисовал тунисское общество в период между двумя мировыми войнами. Его роман «Бараг аль-Лиль» — историческое произведение, действие которого происходит в Тунисе XVI века. Герой романа — черный раб из Судана. По словам Мзали, творчество Храйефа носит гуманистический характер и, несомненно, должно привлечь внимание социологов, ибо в произведениях этого автора даются картины жизни тунисского общества в его постоянном развитии и изменении. Другая особенность творчества Храйефа — это использование им народного тунисского диалекта для передачи речи своих героев.

ТУРЦИЯ

«В ТУПИКЕ ЗАПРЕТОВ»

Под таким заголовком стамбульский журнал «Еди тепе» («Семь холмов») поместил статью своего литературного обозревателя Оздерима. «Книгоиздатели и книготорговцы,— писал критик,— жалуются на сокращение книгопечатания и продажи книг. Причины? Давление, оказываемое властями. Министерство образования, например, отказалось одобрить выпуск книг Платона «Государство», Мора «Утопия», Кампанеллы «Город солнца». «Не знать произведения классиков, написанные сотни лет назад, позорно», — отмечал критик.

«Недавно были изъяты пластинки с записями классической музыки, выпущенные в России,— продолжал Оздерим.— Каковы причины, доискаться не удалось. Но если причиной было желание скрыть от общественного мнения все, что связано с Россией, то следует вспомнить, что в эти же дни в Анкаре с большим успехом выступал ансамбль грузинского танца. Сотни людей восхищались им. Если приезд артистов балета считать пропагандистским маневром, то они добились значительного успеха — их видело куда больше народу по сравнению с немногочисленными любителями музыки, которые приобрели русские пластинки. Этот прием,— сказано в заключение,— показывает, насколько смехотворна политика запретов в области искусства и культуры в современном мире».

ФИНЛЯНДИЯ

СМЕЛЫЙ СПЕКТАКЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА

40-летний юбилей хельсинкского Студенческого театра был отмечен премьерой спектакля «Лапуаская опера» — автор текста Арво Сало, музыка Кая Кидениуса. Этой постановкой, как утверждает критик газеты «Кансан уутисет» Майю Савутиэ, «Студенческий театр укрепил свою репутацию самого смелого и радикального экспериментального театра страны». Пьеса Арво Сало — документально-достоверный рассказ о финской действительности в период разгула фашистского лапуаского движения 30-х годов. Первым открытым выступлением фашистов был тщательно подготовленный налет на вечер художественной самодеятельности рабочей молодежи в Рабочем доме местечка Лапуа в северной Финляндии 25 ноября 1929 года. Выступление ансамбля песни и пляски было прервано вторжением шюцкоровцев-чернорубашечников. Они разогнали зрителей, учинили расправу над организаторами вечера, самодеятельными артистами. В основу пьесы легли архивные и газетные материалы того времени.

Однако, по мнению Савутиэ, «Лапуаская опера» обличает не только лапуаское движение и его духовное наследие, но также «насилие и разрушение в более общем плане... Борец за законность судья Ассер Сало — воплощение здравого смысла, совести человечества. «Лапуаская опера» — откровенно идейная пьеса... Вдохновенная, мастерская работа всего коллектива делает честь Студенческому театру в знаменательный день его сорокалетия,— продолжает Савутиэ.— Это актуальная и яркая новая отечественная пьеса для театров. Кто еще отважится ее поставить?»

Сцена из спектакля «Лапуаская опера».

(Газета «Кансан уутисет»)

ФРАНЦИЯ

«ВОЙНА ОКОНЧЕНА»

Фильм Алена Рене «Война окончена» не был допущен французскими властями на XX кинофестиваль в Канне из опасения вызвать недовольство официальных представителей Испании. В фильме рассказывается о борьбе против франкистского режима в сегодняшней Испании.

Ален Рене и исполнитель главной роли Карлоса в фильме Ив Монтан рассказали корреспонденту еженедельника «Леттр франсез» Жану Луи Пэю, как они работали над картиной.

Ален Рене: Для Карлоса (он же Диэго-Доминго) совершенно ясно, почему он борется, для него нет даже необходимости называть имя Франко. Когда мы начали работать над фильмом, меня кто-то спросил: «Итак, вы делаете антифранкистский фильм?» Но не это было для меня главным. Дело в том, что, с точки зрения французов, быть антифранкистом совершенно естественно, это понятно каждому.

Ив Монтан: Мы считаем, что большая часть публики настроена против франкистского режима, так как ей известно все, что происходило в Испании, начиная с Герники, и она знает, что это фашистская диктатура, которая не может вызывать никаких симпатий... «Война окончена»— хроника нашего времени. И, на мой взгляд, в этом основное значение фильма... Карлос — это герой нашего времени. Очевидна красота его бескорыстия, и кроме того, он живой человек, а не святоша.

Ален Рене: Существует предвзятое представление, будто профессионального революционера надо изображать либо как экзальтированного ясновидца, либо как человека, который борется самоотверженно, заранее уверенный в поражении. Нам хотелось показать, что профессиональный революционер — это человек, у которого множество самых обыденных забот, и что каждую минуту своего существования он должен принимать решения. Это великолепный драматический персонаж, так как он все время должен делать выбор, который в любом случае подвергает опасности его жизнь и существование его организации...

Жан Луи Пэй: Вас считают левыми. Хотели ли вы этим фильмом доказать свою активную солидарность с борьбой за определенные идеи?

Ив Монтан: Если быть левым означает стремление к сближению людей, протест против всех видов нетерпимости, где бы они ни проявлялись, то я причисляю себя к левым. Я уехал из фашистской Италии... Для меня, как и для большинства, франкизм — это режим, навязанный испанскому народу немецкими и итальянскими фашистами. В течение тридцати лет я отказывался сниматься в Испании. Я бывал повсюду, но только не в Испании. Ален Рене создал фильм, в котором главное — это интерес к проблемам нашего времени, и он изображает их очень правдиво. Не мне об этом говорить, но я считаю фильм великолепным.

ПРЕМИЯ АНДРЕ РЕМАКЛЮ

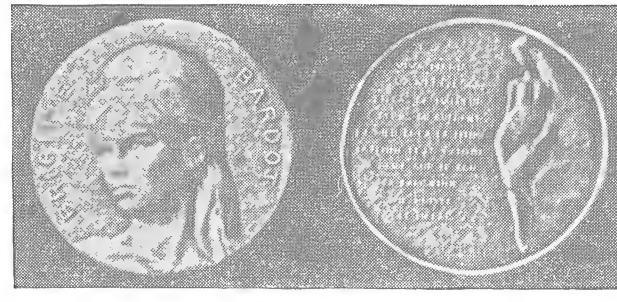
Премии «Попюлист» за 1966 год удостоен писатель Андре Ремакль за роман «Время жить», выпущенный издательством «Эдитер франсэ реюни». Писатель постоянно живет в Марселе и сотрудничает в местной газете. Во время войны его поэмы, впоследствии составившие два сборника «Ветер Октября» и «Песнь народов», тайно распространялись в рукописях и пользовались огромным успехом.

Действие романа «Время жить» происходит в маленьком городке Прованса, превратившемся в промышленный центр. Это рассказ о том, как тяжко жить трудовым людям в странах капитала при адском темпе современной жизни, таящем в себе к тому же огромное количество соблазнов. Люди, одержимые страстью приобрести автомобиль или телевизор, работают сверх сил по двенадцать-четырнадцать часов в сутки, хватаясь за любую «левую» работу. На любовь, семью не остается времени.

Пьер Гамарра в еженедельнике «Франс нувель» высоко оценивает роман Ремакля, считая, что премия присуждена достойному произведению. Он пишет: «Социальная направленность и художественные достоинства романа неоспоримы. Мы оказываемся в самой гуще обыденной жизни трудящихся больших городов и современных промышленных центров. Но не темп, не условия современной жизни с ее соблазнами являют собой суть романа. Это роман о любви — супружеской и материнской,— которую омрачают условия жизни, роман о счастье, которое так трудно сохранить в наше время».

В газете «Юманите» напечатано интервью с писателем.

— Роман возник на основании материалов анкеты, проведенной газетой «Марсельеза» среди трудящихся Прованса об условиях их жизни,— рассказал Ремакль. — Все писали о том, что тратят по 12—14 часов в день, чтобы побольше заработать.



Во Франции выпущена медаль с изображением популярной киноактрисы Брижитт Бардо работы Клода Лезо — в золотом и серебряном вариантах. На обороте медали перечислены основные фильмы с участием актрисы. Цена серебряной медали — 30 франков, золотой — 1000! «Можно не сомневаться,— пишет корреспондент журнала «Синемонд»,—что пламенные поклонники нашей Брижитт будут рвать из рук эту медаль».

(Еженедельник «Синемонд»)

В жизни изображенной мною семьи Поля и Мари очень велика роль телевидения,—продолжал Ремакль.

— Для Марии оно символизирует культуру, и оно же отнимает драгоценное время.

ЭКСПЕРИМЕНТ В ГАВРЕ

В Доме культуры в Гавре в торжественной обстановке открыта выставка современного искусства. Произведения живописи и скульптуры, экспонируемые на этой выставке, не продаются, а выдаются «напрокат». Желающие могут взять на время картину или скульптуру по своему выбору, как пластинку или книгу. За десять франков житель Гавра будет иметь возможность повесить на стену своей комнаты подлинную картину Пикассо или Шагала. Предельная продолжительность «проката» — три месяца.

Подобный эксперимент проводится впервые. Его цель — приобщить трудящихся к современному искусству. Чтобы по-настоящему полюбить произведение искусства, надо к нему привыкнуть, видеть его ежедневно, утверждают организаторы выставки.

Эксперимент этот вызвал большой интерес и живейший отклик. Триста художников и более двадцати галерей предоставили Дому культуры безвозмездно картины, скульптуры, гравюры, рисунки.

ЧИЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАБЛО НЕРУДЫ

Вернувшись на родину из поездки в Соединенные Штаты, поэт Пабло Неруда сделал следующее заявление:

— Встречи с писателями Северной Америки, со студентами, с моими читателями, с простыми американцами были необычайно интересными — и в собственно поэтическом, и в политическом смысле.

За круглым столом всемирного конгресса ПЕН-клуба в обсуждении проблем, стоящих перед Латинской Америкой, приняли участие Карлос Фуэнтес из Мексики, Мартинес Морено и Хорхе Онетти из Уругвая, Никанор Парра из Чили, Эрнесто Сабато из Аргентины и Марио Варгас Льоса из Перу.

Я с большим удовольствием участвовал в общих дискуссиях с такими людьми, как Артур Миллер, как поэты и прозаики Германской Демократической Республики, Венгрии, Болгарии, Польши, Югославии и других социалистических стран.

Мне довелось также давать отпор выступлениям профессиональных антикоммунистов, таких, например, как итальянский писатель Силоне.

Я выступал с чтением моих антифашистских, антиимпериалистических стихов — послушать их собиралось огромное количество людей: североамериканцев, мексиканцев, перуанцев.

Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз выразить мои дружеские чувства деятелям культуры США, которые — а их так много — смело выступают против агрессивной политики своего правительства, многочисленному негритянскому населению, продолжающему героически отстаивать свои права, а также Коммунистической партии США — я послал ей братский привет, когда находился в Нью-Йорке.

В заключение я должен добавить, что агрессивные действия правительства Соединенных Штатов являются величайшим преступлением нашей эпохи. То же самое можно сказать и о его политике на американском континенте. Я имею в виду блокаду, которой страны Латинской Америки, следовавшие приказам государственного департамента, подвергли Кубу. Во время поездки я делал все возможное, чтобы разоблачать эти безобразные действия и выступать в поддержку кубинской революции.

И я не прекращу эту борьбу, несмотря на то что она вызывает негодование многочисленных моих врагов и неодобрение некоторых друзей.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

МЫ С ВАМИ, ВЬЕТНАМСКИЕ ДРУЗЬЯ!

Председатель Союза чехословацких писателей Иржи Шотола направил посольству Демократической Республики Вьетнам в Праге письмо, в котором выражается поддержка справедливой борьбы вьетнамского народа против американской агрессии во Вьетнаме. «С глубоким волнением мы следим за героической борьбой вьетнамского народа в обеих частях разделенной страны против американского империализма и восхищаемся стойкостью, мужеством и волей к победе вьетнамских рабочих, крестьян и интеллигенции. Мы всем сердцем на стороне вашей свободолюбивой родины, которая два десятилетия спустя после окончания второй мировой войны вынуждена снова и снова платить за свободу и общественный прогресс кровью своих лучших сыновей.

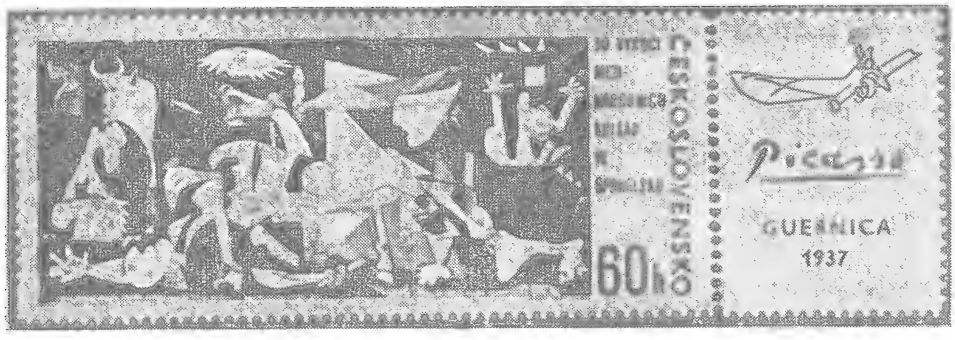
Мы знаем, что наши друзья — вьетнамские писатели — не остаются в стороне в этой борьбе, что они отдают все свои силы делу окончательной победы...

Еще раз заверяем вас, дорогие товарищи, в полной поддержке справедливой борьбы, которую ведет ваша родина, и просим передать вьетнамским писателям наш боевой привет».

ЮГОСЛАВИЯ

НА СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ

На состоявшемся в Белграде съезде славистов Сербии было торжественно отмечено столетие со дня рождения крупного югославского русиста, основателя кафедры восточнославянской литературы в университете города Белграда профессора Радована Кошутича (1866—1949). Доклад на тему «Метод Кошутича в изучении славянских языков» сделал профессор Лалич. Он подчеркнул значение трудов Кошутича — трехтомника «Примеры литературного русского язы-



В ознаменование 30-й годовщины создания Интернациональных бригад в Испании в Чехословакии выпущена эта марка с репродукцией знаменитой «Герники» Пикассо.

ка» и «Грамматики русского языка», книг, которые, выдержав несколько изданий, до настоящего времени служат ценным пособием для изучения русского языка. Еще в 1928 году Радован Кошутич был избран членом Академии наук СССР.

На съезде были прочитаны также рефераты Костича и Конатара о произведениях М. Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», а также реферат Неделковича на тему «Война и мир» Л. Толстого.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Как сообщает корреспондент газеты «Борба», в нынешнем году выйдет первый из четырех томов югославской литературной энциклопедии. В энциклопедии будут собраны биографические сведения о писателях всех народностей страны от девятого века до наших дней с анализом их произведений. К работе над энциклопедией привлечено около двухсот специалистов по вопросам литературы из всех культурных центров республик. Работа по изданию литературной энциклопедии будет закончена к 1970 году.

ЯПОНИЯ

«РОДИНА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

«В Японии очень хорошо знают русскую литературу. Исключая Россию, нет другой страны, в которой русскую литературу читали бы так широко, как в нашей. Почти все выдающиеся произведения русских писателей XIX века переведены на японский язык. Огромное влияние на литературу нашей страны оказали произведения Достоевского, Толстого, Чехова». Этими словами переводчик, специалист в области русской литературы Хироси Кимура начинает свою книгу «Родина русской литературы», выпущенную недавно издательством Хоикуся.

Кимура решил рассказать японским читателям о достопримечательных местах в Советском Союзе, связанных с русской литературой. Книга снабжена множеством прекрасно выполненных автором цветных фотографий с обширным пояснительным текстом. Вторая часть книги — краткие, яркие эпизоды из жизни выдающихся русских писателей, эссе о театрах, музеях, о культурной жизни Советского Союза.

Обложка книги Хироси Кимура.

С 1958 по 1965 г. Кимура четыре раза побывал в нашей стране, отснял, по его словам, около двух тысяч кадров. Отобрать из них примерно сто двадцать было нелегким делом. Нужно по-настоящему знать и по-настоящему любить русскую литературу, чтобы так точно и поэтично рассказать о ней в небольшой книжке. Под циклом фотографий, посвященных Ясной Поляне, он написал: «Ясную Поляну можно назвать священным местом. Здесь Толстой родился, прожил большую часть жизни, создал многие свои выдающиеся, всемирно известные произведения».

Фотографию «Медного всадника» Кимура сопровождает отрывком из поэмы Пушкина, памятника Лермонтову в Пятигорске — строками из «Героя нашего времени».

А вот какой подписью он снабдил волжскую панораму у Волгограда: «Волга-Волга — мать родная!.. На весь мир прославила ее песня, которую пел Шаляпин... Сейчас песня светлого труда пришла на ее берега вместо голоса страданий народа, воспетых Некрасовым...» Теплые страницы посвящены городу-герою. Рассказывая о битве на Волге, Кимура вспоминает книги Гроссмана, «Дни и ночи» Симонова, скульптурные произведения, запечатлевшие подвиг советского народа.

Книга Хироси Кимура — свидетельство огромного интереса в Японии к русской культуре.

Авторы этого номера

ДАН ДЕШЛИУ — DAN DEŞLIU (род. в 1927 г.).

Румынский поэт Дан Дешлиу — автор сборников стихов: «Горны сердца» («Goarnele inimii», 1949), «Во имя жизни» («In numele vieţii», 1950), «Избранное» («Versuri alese», 1953), «Повседневные чудеса» («Minunile de fiecare zi», 1964) и др.

Публикуемое в номере стихотворение «Ленин» передано редакции в рукописи, два других вошли в последний сборник.

ГРЭХЕМ ГРИН — GRAHAM GREENE (род. в 1904 г.).

Творчество английского писателя Грэхема Грина пользуется в Советском Союзе широким признанием. В нашем журнале впервые на русском языке были опубликованы его романы: «Тихий американец» («The Quiet American», 1955), «Наш человек в Гаване» («Our Man in Havana», 1958), «Ценой потери» («Burnt—out Case», 1961); на русский язык переведены также роман «Суть дела» («The Heart of the Matter», 1948), пьеса «Гостиная» («The Living Room», 1954) и многие рассказы

В этом номере мы начинаем публикацию нового романа писателя «Комедианты» («The Comedians»), вышедшего в этом году.

■

В этом номере мы публикуем подборку стихов поэтов Африки, в ней представлены:

ЭНРИКИ ЛОПИШ ГЕРРА (род. в 1936 г.).

Участник антологии ангольской поэзии, вышедшей в 1961 году. В 1959 году арестован за участие в народно-освободительном движении.

АНТОНИУ ЖАСИНТУ (род. в 1924 г.).

Участник антологии ангольской поэзии. Один из основоположников современной поэзии Анголы, автор сборника «Стихи» («Poemas», 1961). В 1959 году арестован за участие в народно-освободительном движении.

АЛЕШАНДРИ ДАШКАЛУШ (1924 — 1959 гг.).

Участник антологии ангольской поэзии, автор вышедшего посмертно сборника «Стихи» («Poemas», 1962).

АНТОНИУ КАРДОЗУ (род. в 1933 г.).

Автор сборников стихов «Стихи по случаю» («Poemas de Circumstância») и «Побег» («Fuga», 1961). Участник антологии ангольской поэзии. В 1959 году за участие в народно-освободительном движении поэт был арестован.

АЛДА ЛАРА (1928—1964) — поэтесса, участница антологии ангольской поэзии, выпущенной издательством Дома студентов.

ЖОНАШ НЕГАЛЬЯ.

Псевдоним бойца армии Народного движения за освобождение. В 1961 году арестован.

ЖОЗЕ КРАВЕРИНЬЯ (род. в 1922 г.).

Известный мозамбикский поэт и общественный деятель. Автор книги стихов «Шигубо» («Chigubo», 1964). Участник антологии мозамбикских поэтов. В 1965 году арестован за участие в народно-освободительном движении.

ОВИДИУ МАРТИНШ (род. в 1928 г.).

Известный поэт, участник антологии поэзии островов Зеленого Мыса. Автор сборника стихов «Далекий путь» («Caminhada»).

АНТОНИУ НУНИШ (1917—1959).

Поэт островов Зеленого Мыса. Участник антологии поэзии этих островов.

КАБВЕРДИАНУ ДАМБАРА.

Псевдоним одного из руководителей Африканской партии независимости Гвинеи и островов Зеленого Мыса. Автор поэтического сборника «Ночь» («Noti»).

ФЕРЕНЦ ПАПП — FERENC PAPP (род. в 1924 г.).

Публикуя повесть «Под корнями» («A gyökerek alátt», 1964), мы впервые знакомим читателя с творчеством румынского писателя Ф. Паппа, пишущего на венгерском языке. Роман получен редакцией в рукописи.

Перу писателя принадлежат также роман «Стальные зубы» («Acélfogak», 1953), сборники рассказов «Совесть» («Lelkiismeret», 1955), «Ржавчина» («Rozsda», 1957), «Разочарование» («Csalódás», 1958) и другие произведения.

Помещая в этом номере подборку стихов нескольких крупных поэтов США, мы впервые знакомим советского читателя с их творчеством.

РИЧАРД УИЛБЕР — RICHARD WILBUR (род. в 1921 г.).

Стихи американского поэта Р. Уилбера собраны в сборниках: «Прекрасные перемены» («Beautiful Changes», 1947), «Церемония» («Ceremony», 1950), «Советы пророку» («Advice to a Prophet», 1961) и др.

УИЛЬЯМ СНОДГРАСС — WILLIAM SNODGRASS (род. в 1926 г.).

Американский поэт У. Снодграсс за свой первый поэтический сборник «Игла сердца» («Heart's Needle», 1959) получил в 1960 году Пулитцеровскую премию. Уильям Снодграсс преподает в университете, занимается переводческой и журналистской деятельностью.

ДЖОН ЧИАРДИ — JOHN CIARDI (род. в 1916 г.).

Американский поэт, критик, эссеист, преподаватель университета. Автор сборников стихов: «Домой, в Америку!» («Homeward to America», 1940), «Другие небеса» («Other Skies», 1947), «Как будто» («As If», 1955), «В каменоломне» («In the Stoneworks», 1961). Наиболее известны его критические работы — «В чем смысл стихотворения?» («How Does a Poem Mean?», 1959) и «Диалог с аудиторией» («Dialogue with an Audience», 1963).

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ — DENISE LEVERTOV (род. в 1923 г.).

Американская поэтесса Д. Левертов родилась в Англии, в США она приехала в 1948 году. Ее стихи вышли сборниками: «Туда, на острова» («Overland to the Islands», 1958), «Лестница Иакова» («The Jacob's Ladder», 1961) и др.

АЛЛЕН ГИНЗБЕРГ — ALLEN GINSBERG (род. в 1926 г.).

Одно время американский поэт Аллен Гинзберг был признанным главой «битников». В юности поэт служил во флоте, работал грузчиком. В 1950 году начал сотрудничать в газете, публикуя книжные обозрения. Свою поэтическую карьеру начал с чтения стихов в картинных галереях, ночных ресторанах и на выставках, снимался в кино. Автор сборников стихов «Вопль» («Howl», 1955), «Пустое зеркало» («Empty Mirror: Early Poems», 1961), «Бутерброды реальности» («Reality Sandwiches», 1963) и др.

Журнал сопровождает публикацию поэтической подборки статьей критика И. Левидовой «Об американской поэзии наших дней».

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ АСТУРИАС — MIGUEL ANGEL ASTURIAS (род. в 1899 г.).

Известный гватемальский писатель и общественный деятель, лауреат Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Перу Астуриаса принадлежат многочисленные стихотворные сборники, книга «Гватемальские легенды» («Leyendas de Guatemala», 1930), романы «Люди маиса» («Hombres de maíz», 1949), «Сильный ветер» («Viento fuerte», 1950) и переведенные на русский язык романы «Сеньор Президент» («El señor Presidente», 1946), «Его зеленое святейшество» («El Papa verde», 1954) и сборник рассказов «Уик-энд в Гватемале» («Week-end en Guatemala», 1956).

В работе «Латиноамериканский роман — свидетельство нашей эпохи» Мигель Анхель Астуриас выступает как оригинальный ис-

следователь, теоретик и историк латиноамериканской литературы от древней эпохи до наших дней. Эта работа была зачитана им в Москве на литературном семинаре в дни VI Всемирного фестиваля молодежи (1957), почетным гостем которого он был. Публикуется впервые. О самом семинаре можно прочесть в статье П. Палиевского «Встреча молодых литераторов» («Иностранная литература» № 12 за 1957 год).

■

АНА МАРИЯ МАТУТЕ — ANA MARIA MATUTE (род. в 1926 г.).

В статье «Гражданская война и писатели моего поколения» известная испанская писательница рассказала о писателях, пришедших в литературу после окончания гражданской войны (1936—1939 гг.) в Испании. А. М. Матуте — автор романов «На этой земле» («En esta tierra», 1952), «Мертвые дети» («Los hijos muertos», 1958), «Первое воспоминание» («Primera memoria», 1960), «Торговцы» («Los mercaderos», 1961), «Солдаты плачут по ночам» («Los soldados lloran de noche», 1964) и др. Ее книги не раз были отмечены литературными премиями.

Статья, опубликованная в номере, получена редакцией в рукописи.

■

АНДЖЕЙ ДРАВИЧ — ANDRZEJ DRAWICZ (род. в 1932 г.).

Польский критик и литературовед, специалист по русской литературе Анджей Дравич постоянно сотрудничает в молодежной газете «Штандар млодых». Сейчас Дравич готовит к печати книгу «Советская литература за 50 лет».

Статья, публикуемая в номере, получена от автора в рукописи.

■

ДУШАН ГАМШИК — DUŠAN HAMŠIK (род. в 1930 г.).

В 1963 году на русском языке вышла книга чехословацкого писателя Д. Гамшика «Это начиналось в Яхимове» («Začátek je Jáchymově», 1960). Наш журнал опубликовал написанную им в соавторстве с Иржи Пражаком документальную повесть «Бомба для Гейдриха» («Bomba pro Heydricha», 1963).

В этом номере мы публикуем главы из новой книги писателя «Обед с Аденауэром» («Oběd s Adenauerem», 1966).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **В. Ф. Лактионов.** Технический редактор **Л. Д. Богданова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 15971. Сдано в производство 1/VII-66 г. Подписано к печати 30/IX-66 г.
Бумага 70 × 108¹/₁₆. 9,0 бум. л.; печ. л. 18. Зак. 2200.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПУБЛИКУЮТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ВСЕХ СТРАН МИРА — РОМАНЫ И ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ И СТИХИ, ПЬЕСЫ И СЦЕНАРИИ. ЛИТЕРАТУРНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ БОЛЕЕ ДЕВЯНОСТА СТРАН НАХОДИТ ОТРАЖЕНИЕ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА. МЫ ПУБЛИКУЕМ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ АВТОРОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ МИРОВОЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ, И КНИГИ МОЛОДЫХ, ВПЕРВЫЕ ВСТУПАЮЩИХ В ЛИТЕРАТУРУ.

В разделе «Критика» будут напечатаны статьи, освещающие актуальные проблемы развития зарубежных литератур, обзоры, полемические заметки, литературные портреты. Как и в прошлые годы, будут широко рецензироваться новинки литературы, вышедшие за рубежом и у нас в стране.

В разделе «Публицистика» будут печататься выступления крупных писателей, деятелей культуры, ученых по важнейшим проблемам современности; дневники, воспоминания, документы. Журнал, как и раньше, будет печатать статьи о зарубежном кино и театре.

С первого номера 1967 года мы будем предпочтительно публиковать в номерах самостоятельные законченные произведения.

Подписная цена

на 12 мес.— 9 р. 60 к.
на 6 мес.— 4 р. 80 к.
на 3 мес.— 2 р. 40 к.

Цена одного номера—80 коп.

В ПЛАНЕ РЕДАКЦИИ НА 1967 ГОД СЛЕДУЮЩИЕ РОМАНЫ И ПОВЕСТИ:

Рамон Амайа Амадор (Гондурас)
Операция «Горилла»

Джон Апдайк (США)
Ферма

Мигель Анхель Астуриас (Гватемала)
Незаконнорожденный

Чинуа Ачебе (Нигерия)
Человек из народа

Генрих Бёль (ФРГ)
Новый роман

Эрико Вериссимо (Бразилия)
Господин посол

Кристиан Гейслер (ФРГ)
Холодные времена

Хуан Гойтисоло (Испания)
Новый роман

Богумил Грабал (ЧССР)
Поезда специального назначения

Фридрих Дюрренматт (Швейцария)
Метеор

Герман Кант (ГДР)
Актовый зал

Кобо Абэ (Япония)
Чужое лицо

Джеймс Олдридж (Англия)
Новый роман

Жорж Перек (Франция)
Вещи

Владимир Познер (Франция)
Испания — первая любовь

Хосе Солер Пуиг (Куба)
Крушение

Ричард Райв (ЮАР)
Чрезвычайное положение

Уильям Фолкнер (США)
Осквернитель праха

Леонардо Шаша (Италия)
Каждому свое

Мы рассматриваем также произведения МАРИО БЕНЕДЕТТИ, СИМОНЫ ДЕ БОВУАР, ШТЕФАНА БЭНУЛЕСКУ, БОГУСЛАВА БРЖЕЗОВСКОГО, МАКСА ФОН ДЕР ГРЮНА, ТРУМЭНА КАПОТЕ, ДЖОНА КИЛЛЕНЗА, АНДРЕ МОРУА, АЗИЗА НЕСИНА, ТАДЕУША РУЖЕВИЧА, ХОРХЕ САЛАМЕА, ЖОРЖА СИМЕНОНА, ГЕНЧО СТОЕВА, КРИШАНА ЧАНДАРА, ИРВИНА ШОУ.

Мы предполагаем опубликовать стихи поэтов: ВЛАДИСЛАВА БРОНЕВСКОГО, САРДАРА ДЖАФРИ, МИРОСЛАВА КРЛЕЖИ, ХЕСУСА ЛАРЫ, РОБЕРТА ЛОУЭЛЛА, ОКТАВИО ПАСА, КАРЛА СЭНДБЕРГА, ФАИЗА АХМАДА ФАИЗА, МУХАММЕДА АЛЬ-ФЕЙТУРИ, ИШТВАНА ШИМОНА, ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ, КАРЛА МАГНУСА ЭНЦЕНСБЕРГЕРА.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.